

*Шимон Токаржевский
(Токажевский)*

**СИБИРСКОЕ
ЛИХОЛЕТЬЕ**



Кемерово
Кузбассвузиздат
2007

ББК
Т

Издание подготовлено при участии:

Омского регионального отделения Союза российских писателей, Кемеровского регионального представительства Союза российских писателей, Кемеровского областного отделения Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры, Русской Общины в Варшаве

Перевод с польского:

Мэри Кушникова

**Авторы предисловия, составители примечаний,
указателей и хроники:**

Мэри Кушникова, Вячеслав Тогулев

Адрес в сети Интернет: <http://www.tokarzewsky.narod.ru>

Т **Токаржевский (Токажевский) Ш.** Сибирское лихолетье / Пер. с польск. М. Кушниковой, сост. и авт. предисл. М. Кушникова, В. Тогулев. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 2007. – 980с.

В сборник «Сибирское лихолетье» вошли восемь книг известного польского патриота, литератора и общественного деятеля XIX века Шимона Токаржевского (Токажевского). На русский язык полностью переводятся впервые.

ISBN

© Изд-во «Кузбассвуиздат», оформление, 2007.
© М. Кушникова, перевод, 2007.
© М. Кушникова, В. Тогулев, предисловие, составление, 2007
© А. Брагин, компьютерная верстка, 2007

**Предисловие
к «Сибирскому лихолетью»
Шимона Токаржевского**



Да не удивится читатель разностью в написании фамилии Шимона Токажевского, этого страдальца и героя. Фамилия его традиционно пишется в России, как *Токаржевский*, что не совсем верно, но что поделаешь: авторитетные академические источники (такие, как Полное Собрание Сочинений Ф.М. Достоевского¹, «Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского»² и множество иных) используют именно такую неверную передачу.

Наше внимание обратил на это ещё в середине 1990-х гг. московский литератор Лиян Янович Контер, поляк по происхождению, который прислал нам тогда для ознакомления ксерокопию книги «Семь лет каторги», и совсем недавно – один из самых авторитетных европейских славистов Елена Васильевна Логиновская.

Сейчас, издавая перевод восьми его книг, мы по-прежнему придерживаемся традиции, но считаем своим долгом предупредить читателя об этой явной несостыковке уже на титульном листе нашего издания...

Загадки, которые ставит перед нами Токаржевский, начинаются уже с его фамилии!

Первая полученная нами книга поразила сразу же колоритным литературным слогом, несмотря на трагичность сюжета, проникнутого, порой, лёгким юношеским юмором – ведь этот закованный в кандалы каторжанин – ещё несовершеннолетний, экзальтированный юноша, выросший в высококультурной среде: он владеет французским, итальянским и немецким языками и, конечно же, латынью, – ведь он глубоко верующий католик, слушающий мессы на латыни.

В дальнейшем, в последующих его книгах, стиль несколько меняется. Их пишет уже зрелый муж, свободно и раскованно, мы обнаруживаем в них и его глубокое знакомство с музыкой, живописью и поэзией. Проходят годы, прежние восторги в адрес Наполеона I, некогда обещавшего свободу Польше, сменяются разочарованием в великом императоре. Но глубокая и непоколебимая вера в освобождение Польши, также и готовность посвятить всю свою жизнь этой главной идее, Токаржевский и вся горстка его

Эта книга с почтением и восхищением посвящается тем польским каторжникам и поселенцам, что в результате политических событий тридцатых, сороковых и шестидесятых годов XIX века провели в Сибири долгие десятилетия. Одним из них был Шимон Токажевский (Токаржевский), переводы нескольких книг коего приводятся ниже.



сотоварищей по Сибири, которые проходят сквозными персонажами и по другим его книгам, остаются нерушимыми до конца дней.

Книги Токаржевского представляют и огромный познавательный интерес, поскольку он исколесил всю Сибирь от Урала до Приамурского края и красочно, сочно, – местами идиллически, – описывает увиденные города, поразившую его незнакомую и изумительную природу, быт и нравы многих народов Сибири; не без иронии, но без всякого зла пишет он о повадках сибирского купечества, достоверно передаёт быт, нравы и страдания заключённых, а также подвиг многих польских женщин, которые последовали за своими мужьями, и пребывали в Сибири долгие годы, повторяя скорбный путь российских «декабристов».

Его книги – своеобразная «энциклопедия» Сибири, её географии, флоры, фауны, нравственного климата, уровня цивилизации. Этот каторжник, претерпевший в Сибири несколько десятилетий изгойства, тем не менее, восхищается ею и предсказывает этому богатейшему и красивейшему краю великое будущее.

Мы же, читатели, знакомясь с книгами Токаржевского, научаемся с огромным сочувствием и великим уважением относиться к Польше, стране во многих отношениях необыкновенной, которая в самые лихие годы верила, что её былое, единственное в своём роде, правление, с «выборными Королями», такое, «к которому – не прибавить, ни убавить».

Оно давало право польскому шляхетству верить в свою избранность и абсолютную свободу, неподвластную никому, ради которой не жаль положить жизнь, что герои книг Токаржевского, да и он сам и совершили.

Мы глубоко благодарны Публичной библиотеке в Варшаве (главной библиотеке Воеводства Мазовецкого), которая так любезно и оперативно откликнулась на нашу просьбу и послала нам ксерокопии имеющихся в ней книг Токаржевского; равно выражаем глубокую благодарность Русской Общине в Варшаве, особенно же господам Нине Латусек и Марине Вишневской, которые облегчили нам необходимые контакты с библиотекой. Хочется подчеркнуть особо, как приятно поражает кипучая культурная и литературная жизнь русскоязычной диаспоры в Польше –



свидетельство тому интереснейший журнал «Новая Польша», издающийся на русском языке Польской Национальной Библиотекой, газета «Русский курьер Варшавы», а также множество культурных мероприятий, организованных Русской Общиной.

Но вернёмся к творчеству Шимона Токаржевского.

Мы приводим в примечаниях, в качестве приложения, отклики разных польских газет столетней давности на вышедшие тогда книги Шимона Токаржевского.

Сегодня книги Шимона Токаржевского по-прежнему вызывают пристальный интерес, о чём свидетельствуют десятки польских статей, на некоторые из коих мы ссылаемся ниже, очерк бывшего директора Омского музея Достоевского, Виктора Вайнермана, опубликованный нами в четвёртом выпуске альманаха «Голоса Сибири»³, перевод фрагментов книг Токаржевского на английский язык, напечатанный на страницах «Сарматского обозрения» etc.

Интерес к Токаржевскому проявляется ныне и в Казахстане, и это неудивительно, поскольку он побывал в Усть-Каменогорске и в Семипалатинске, и посвятил им несколько глав своих воспоминаний. Кстати, на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в ноябре 1997г., польский президент Александр Квасневский в своей торжественной речи упомянул в ряду славных польских имён, связанных с этой дивной страной, также и Шимона Токаржевского, как человека, побывавшего в Казахстане и писавшего о нём.⁴

Мы рады, что российский читатель познакомится, наконец, с захватывающими и прекрасно написанными книгами человека судьбы необыкновенной – Шимона Токаржевского.

* * *

Шимон Токаржевский большую часть жизни провёл на каторге и поселении в Сибири, за активную деятельность по освобождению Польши. Как уже сказано, интерес к Токаржевскому и к его воспоминаниям не угасал и не угасает по сю пору, начиная с момента, когда его не стало. Остаётся удивляться, что восемь представленных в этом издании книг не были переведены на русский язык и до сих пор, хотя прошло более ста лет со дня его смерти,



если не считать перевода небольшого фрагмента, опубликованного в сборнике «Звенья» в 1936г.⁵ И то этот перевод был вызван, очевидно, тем, что там упоминается совместное пребывание на омской каторге Токарежвского и Достоевского.

О качестве перевода можем судить по следующему обстоятельству: покушение на Токарежвского, которое он подробнейшим образом описывает в одной из своей книг, отчасти посвящённой пребыванию на омской каторге, вдруг превращается... в покушение на Достоевского! И эта басня, вызванная неверной передачей текста Токарежвского, кочует по солидным изданиям, включая академическую «Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского!» (О подробностях см. ниже).

Вызывает удивление и другое: достаточно ли ёмко и точно отражена в российской литературе суть описанных Токарежвским разногласий между поляками и Достоевским, которые далеко выходили за пределы личной приязни или неприязни? Ведь это ни много – ни мало – тот самый «польский вопрос», в который упиралось противостояние Запада и Востока, а, вернее, России и Запада ещё с начала XIX века.

Элизабет Блэйк из Мемфисского университета пишет: «...Отношение к полякам в “Записках из Мёртвого Дома” следует рассматривать в свете отношений Достоевского к современным реалиям польского вопроса, в историческом контексте. Например, А.Е. Врангель в своих мемуарах подчёркивает отношение Достоевского к многочисленной группе поляков в Семипалатинске как весьма неприязненное, хотя сам Врангель относится к ним с большой симпатией... Написание “Записок из Мёртвого Дома” в начале 60-х годов совпадает с горячими политическими дебатами вокруг польского вопроса: А.П. Милюков в воспоминаниях, касательно Достоевского и его описаний поляков-политических преступников, подчёркивает политические соображения, лидирующие у автора. И, наконец, исследование истории публикации “Записок из Мёртвого Дома” во “Времени” (журнал, в котором Достоевский был соредктором своего старшего брата) показало в дальнейшем, в какой мере первые изображения поляков на каторге связаны с политическим национальным конфликтом тех дней»⁶.



Загадкам нет конца. Так в чём же, в чём корни взаимной неприязни юных шляхтичей, втянутых в политические смятения сороковых годов, в том числе и Токарежвского, и Достоевским, который попал в процесс Петрашевского, тем самым вызывая справедливое удивление поляков – ибо, по их описаниям, Достоевский неустанно подчёркивал «особость» дворянства и отличие его от всего прочего люда, чем и удивляет поляков.

Вполне очевидно, как и утверждает ряд авторов, которые в начале XXI века вдруг начали проявлять огромный интерес к личности Токарежвского и его литературному наследию, что поляки оказались правы: начитавшись в домашней библиотеке готических романов с одной стороны, и современной тому времени французской классики, Достоевский был объят типичным «соломенным огнём», который и привёл его в ряды петрашевцев.

Однако, как только он столкнулся с реальными последствиями этого своего пылкого увлечения, он вновь стал просто самим собой, потомком военного лекаря, который получил дворянство за службу в войсках, человеком, который потому так и подчёркивает своё дворянское происхождение, что оно благоприобретённое, а не врождённое, как у его собеседников, Токарежвского и прочих шляхтичей, насчитывающих четыреста или пятьсот лет своего шляхетства.

Артур Новачевский подчёркивает, что Шимон Токарежвский писал о Достоевском без всякой симпатии, поминая его вспылчивый характер и его политические весьма неопределённые убеждения. После цитаты из Токарежвского на эту тему Новачевский делает вывод, что шляхетство – в русском варианте дворянство – всю жизнь было «комплексом великого писателя». Тем более, что, как мы уже знаем, и это вновь подчёркивает Новачевский, оттого, что он не принадлежал к старинному дворянскому роду, а обрёл дворянство лишь благодаря заслугам отца, который был военным лекарем. «Поэтому, – пишет Новачевский, – наверное, сам Достоевский, который так ненавидел поляков, очевидно, опираясь на звучание своей фамилии, тем не менее, пристально выискивал корни своего собственного происхождения в Литве».⁷

Удивительно, что Достоевский, по рассказам Токарежвского, всячески не только принижал поляков, их имена, их внешность,

но даже утверждал, что если бы у него было хоть несколько капель польской крови, он просто бы не перенёс этого, и велел бы их выпустить.

Удивляться не приходится. Как пишет в статье «Присутствие имперской России в литературе» Разван Унгуреану («Сарматское Обозрение», апрель 2007г.), «среди апологетов Российской империи не было более красноречивого, чем Фёдор Достоевский. И случилось так, что он и Шимон Токаржевский, польский шляхтич, противник империи, одновременно отбывали каторгу как политические преступники в одной и той же сибирской крепости, и оба оставили о том свои воспоминания. Их мемуары очень сходны; большая часть фактов, написанных Токаржевским в 1857 году, всплывает у Достоевского в “Записках из Мёртвого Дома” (1862) в художественно обработанной форме. Оба автора описывают коменданта крепости, прибытие поляков, обитателей тюрьмы, также, как повседневный быт заключённых. Сопоставляя эти два описания, мы видим удивительный пример разных отношений к постколониальному времени России, поскольку Достоевский пишет для Российской Империи, тогда как Токаржевский говорит от имени польских инородцев, вернее, *других*».⁸

Ибо для Достоевского, как для любого русофила той поры, и это видно по описаниям Токаржевского, мир делится на Россию и всех остальных, то есть инородцев, то есть *других*. Поляки были теми *другими*, отсюда и отношение к ним, что нашло отражение и в ряде произведений великого писателя, где многие проходимцы и прохвосты оказываются поляками.

«Если проанализировать мемуары Токаржевского и Достоевского, – продолжает далее Унгуреану, – учитывая эту точку зрения, мы понимаем, что “Записки из Мёртвого Дома” защищают русский колониализм, что видно даже по портретам поляков-сотюремников, то есть *других*, и это кажется унижительным, а во многом даже неверным по приведённым фактам».⁹

Трудно не согласиться с автором этой статьи, если обратиться к описанию поляков-политических заключённых, в том числе Токаржевского, которым Достоевский приписывает, порою, много отталкивающих свойств.

Унгуреану считает, что «Достоевский пишет о них снисходительно, как бы свысока, приписывая им высокомерное отношение и ненависть к русским» (но для книг Токаржевского, заметим, обобщения подобного рода не свойственны, читатель не почувствует враждебного отношения поляков к каким-либо другим народам, но ему ненавистно хамство и нецивилизованность, жульничество, беспробудное пьянство, с которыми постоянно сталкивался в Сибири не только в крепости, но и будучи на поселении). Автор статьи для примера приводит выдержку из описания Достоевского. Из неё мы читаем, что поляки якобы выказывают особую утончённую презрительную вежливость к заключённым, они необщительны с ними, **закл~~ю~~ч~~ё~~нными, и никак не скрывают своё к ним отвращение**.¹⁰

Возможно, отчасти это и правда. Поляки сторонились убийц и бандитов, и Достоевский даже упрекает товарища Токаржевского, несчастного Александра Мирецкого, к которому Ф.М. как будто относится неплохо, что тот по-французски твердит: «Я ненавижу этих бандитов!».

И... вместе с тем, Достоевский настойчиво утверждает, что ведёт свой род от Литвы (то есть, по сути, от той же шляхты, ибо в то время Королевство Польское и Литва, хотя были едины, но считались как бы разными частями одного государства). Чем не характеристика парадоксальности натуры великого писателя, подмеченной Токаржевским?

Истоками противоречивости характера Достоевского как раз и интересуются Токаржевский и поляки, которые отбывали с ним каторгу в Омске. Они просто не принимают его взрывную манеру вести политические дискуссии, и отчасти пытаются объяснить это его болезнью. Кстати, Токаржевский утверждал, что Достоевского лечили меркурием (ртутью), и тогда это свидетельствовало бы, что он был болен наследственным сифилисом? Наследственным, потому что тогда, когда встретились Токаржевский и Достоевский, тот был ещё слишком молод, чтобы пройти весь опыт «Записок из подполья», где мог эту болезнь захватить в результате походов, описанных, ну, хотя бы в «Зимних заметках о летних впечатлениях».¹¹

Как бы в продолжение этого свидетельства Токаржевского «Сарматское обозрение» делает вывод, что интерес Достоевского

к криминальным сюжетам подкреплён «также его личным опытом, что позволило ему ввести в его романы столько интересных типов проституток».¹²

Далее в статье из этого же номера подчёркивается исчезновение нескольких страниц из воспоминаний Токаржевского, вверенных им ксёндзу Рогожинскому (см. приведённые ниже книги) из Вавельского кафедрального собора в Кракове: «После его смерти (Рогожинского, – *сост.*) обнаружилось, что 15 страниц рукописей исчезли. Издатели не знают, какие именно страницы отсутствуют. Касались ли они Достоевского и его жизни в Сибири? Было ли их исчезновение организовано агентами царя, или это – просто случайность?».¹³

В 2005г. польский автор Иво Циприан Погоновский вновь возвращается к упомянутым выше исчезнувшим пятнадцати страницам рукописи воспоминаний Токаржевского. Автор считает, что это могли быть негативные описания Достоевского со времён его каторги. Он также считает, что, возможно, исчезновение было организовано царскими агентами, и добавляет: «Из содержания воспоминаний Токаржевского следует, что Достоевский был лечён ртутью, что означало бы, будто великий писатель действительно болел сифилисом». Буквально в следующем абзаце своей статьи Погоновский тоже пишет, что многие описания криминальных историй в его романах опираются на собственный опыт и заикленность, весьма возможно – на педофилии. «Смертоубийственные и трагические сцены переживаний и самоубийств изнасилованных девочек не раз звучат в романах Достоевского».¹⁴

И тут Погоновский ставит вопрос, к которому мы ещё вернёмся, а именно: «Во всяком случае, описание каторги в “Записках из Мёртвого Дома” можно считать переломным для творчества Достоевского, и загадкой, достойной глубокого изучения историками литературы на основе польских и российских архивов, поскольку только таким образом можно найти ответ на вопрос, “выбился” ли Достоевский на путь великого писателя благодаря плагиату честно написанных воспоминаний Токаржевского».¹⁵

Эта проблема глубоко интересуется Погоновского. В своей содержательной статье он приводит ряд доводов, которые подтолкнули его к этой мысли. Итак:

«На вопрос, возможно ли, чтобы Достоевский с помощью плагиата воспоминаний Токаржевского был объявлен великим писателем, могла бы, конечно, ответить докторская диссертация на основе польских и российских архивов. Федор Достоевский (1821-1881) и Шимон Токаржевский (1821-1890) встретились как каторжники в Сибири и каждый из них описал свои наблюдения. Токаржевский закончил свои в 1857г., а в 1862-м вышла в свет книжка Достоевского “Записки из Мёртвого Дома”, в которой фигурируют те же личности, и описаны примерно те же обстоятельства, весьма сходно с тем, как это сделал Токаржевский, однако у Достоевского отсутствует их интерпретация.

В трёхквартальнике “Сарматское Обозрение” в апреле 2005г. приводится первый английский перевод воспоминаний Токаржевского, одну копию которой автор оставил студентам-полякам в Москве (с этой копией мог быть знаком Достоевский), а вторую копию автор передал госпоже Терезе Булгак и эта копия вернулась к автору в 1882г. Эти воспоминания были изданы под названием “Семь лет каторги” (второе издание: Гебетнер и Вольфф, Варшава, 1918). На английский язык переведены страницы 137-173 и 230-231 под названием “В сибирских тюрьмах. 1846-1857”.

Хотя уже в 1846 году появились первые романы Достоевского “Бедные люди”, “Двойник”, автор их стал по-настоящему известен как великий писатель только после издания “Записок из Мёртвого Дома”, причём эта книга считается переломной в творчестве Достоевского и в развитии его литературного таланта. Возникают вопросы. Представил ли Достоевский как свои повествования Токаржевского? Эта загадка, подлежащая объяснению. Во всяком случае, очередность издания во времени представляет такую возможность.

Выяснению вопроса, была ли, и в какой мере, книжка “Семь лет каторги” основой для “Записок из Мёртвого Дома” могло бы иметь большое значение в истории мировой литературы...

Стиль и организация воспоминаний Токаржевского весьма сходны с “Записками из Мёртвого Дома” и, очевидно, были они написаны раньше, чем книга Достоевского, описывающая те самые обстоятельства, которые Токаржевский в содержании своих воспоминаний повторяет по несколько раз в тексте, написанном в 1857-м году. Это вопрос, который требует особого изучения.

Если Достоевский читал и использовал рукописи воспоминаний Токаржевского, поляка преследованного, и двукратно осуждённого

на каторгу, то он вполне мог проигнорировать авторские права Токаржевского, тем более, что Достоевский поляков ненавидел и даже говорил, что если в нём имеется капля польской крови, то он хотел бы от неё избавиться. Было бы удивительной игрой случая, если бы оба автора без заимствования воспоминаний друг у друга, описали бы так необыкновенно сходно этот период и людей, которые участвовали в описанных обстоятельствах...

Достоевский утверждал, что российская литература всегда была на несравненно более высоком уровне, чем все другие существующие в мире. Его российский шовинизм был грубым и агрессивным, так что поляки избегали разговоров с ним и подозревали его в болезненной мании. И Достоевский действительно был очень нервным, упрямым и болезненным человеком. Учитывая то, что он рассказывал полякам в тюрьме из прочитанных им описаний французской революции и творчества этого периода, следовало, что он увлёкся этой идеей, в результате чего попал в опасное положение, после чего от этих идей отказался и был готов любой ценой выйти из создавшегося положения.

Поляки избегали с ним говорить на эту тему. Достоевский служил после увольнения как солдат в Семипалатинске и во время Крымской войны написал поэму в честь царя Николая I, как некоего божества, стоящего наравне с богами Олимпа. Токаржевский считает, что Достоевский надеялся получить увольнение с солдатской службы и, возможно, денежное вознаграждение, поскольку был человеком слабым, со «скользящим» характером. Похоже было на то, что Достоевский был арестован и осуждён по мотивам, не казавшимся осуждённым полякам, политическим преступникам, достойными уважения».¹⁶

Токаржевский и поляки, сокаторжники Достоевского, также удивляются чрезвычайно тому, как мог он со столь выраженным шовинизмом претендовать на участие в борьбе народа от царского угнетения. Опираясь на воспоминания Токаржевского, современные польские авторы делают акцент на то, что в пылу дискуссий на омской каторге Достоевский раскрывает полякам свои мечты о захвате Константинополя и, более того, захвате Россией всего славянского мира, что не могло, конечно, вызвать восторгов у Токаржевского. Фёдор Михайлович потому и взбудоражен и возбуждён в дискуссиях с поляками, что не может допустить, как это

они, славяне, отшатнулись от России и представляют собой как бы форпост Запада на границах России, и «не понимают», что Галиция, Белоруссия, Украина, Польша, Волынь якобы являлись «исконно русскими территориями» и поэтому та часть Польши, которая досталась России при очередном разделе этой несчастной страны, как бы естественно примкнула к своей первозданной родине, а отнюдь не является оккупированной ею.

В описаниях Токаржевского фигурирует достаточно много интересных личностей, встречаются и те, кто был хорошо известен в научном мире. Загадочна фигура профессора Жоховского, которого юный Токаржевский буквально боготворит, и в момент смятения, когда чуть было не покончил с собой, бросается к нему за советом и помощью, и получает его благословение, что на самом деле помогло ему пережить критический момент.

Об этом профессоре Жоховском Достоевский поминает как о богомольном чуде, который, может быть, что-либо и знал в математике, которую он преподавал до каторги, но вряд ли знал что-нибудь ещё. И, кстати, – парадокс! – как мог Фёдор Михайлович Достоевский, который, по утверждению многих исследователей, именно на каторге «обрёл себя», то есть «себя в вере», как мог он удивляться «чужаковости» Жоховского, который всё время молится. Казалось бы, именно это не должно было его удивлять.

В «Сарматском Обозрении» за апрель 2007г. Разван Унгуреану в статье «Присутствие имперской России в литературе» с большой симпатией пишет о профессоре Жоховском и подчёркивает, что «Токаржевский и Достоевский совершенно по-разному описывают маленький эпизод прибытия Жоховского в Омск и необоснованное наказание его розгами по указу плац-майора, так называемого Васьки. В описании Токаржевского Жоховский почувствовал себя оскорблённым, когда Васька назвал его бродягой, и объяснил плац-майору, что он политический заключённый. Васька оскорбил его и приказал наказать его 300 ударами розог. В то время как Токаржевский сочувствует унижению старого и достойного человека, Достоевский подчёркивает, как смешны поляки, утверждая, что профессор невежественный человек, который всё путает и даже уменьшает количество ударов розгами до ста. Он всячески выпячивает, что Жоховский плохо понимал по-русски,

однако же профессор ответил на оскорбление: “Я не бандит, я политический преступник”, что является отнюдь не следствием непонимания языка или вообще путаности мышления, а естественным протестом против Васькиного унижительного замечания; это дезавуирует утверждённое Достоевским умаление не только Жоховского, но и поляков, которые якобы не могут понять то, что им говорят... И далее Достоевский уменьшает число ударов розгами на 200, а потом ещё и придумывает дальнейшую сцену раскаяния Васьки в том, что он унизил профессора».¹⁷

В воспоминаниях Токаржевского мы читаем о большой дружбе поляков с лезгинами, кабардинцами, а также с единственным на каторге евреем, бывшим ювелиром Бумштейном (впрочем, фамилии трактуются по-разному, о чём *см. ниже*), и восхищение поляков кавказскими горцами, возможно, было вызвано тем, что в результате длительного периода «покорения» Кавказа российской империей горцы остались всё такими же свободолюбивыми и внутренне непокорёнными, какими были и до включения их в империю.

Токаржевский несколько раз поминает о том, что жаль, нет писателя, который бы зафиксировал интереснейший эпос, который вечерами лезгины и кабардинцы рассказывают и поют своим сокамерникам. Эти рассказы настолько выразительны, что они покоряют даже слушателей, которые не знают языка горцев, и восполняют пробелы в языковом непонимании.

Причём Токаржевский поминает о том, что есть такой писатель среди заключённых, и называет Достоевского, и сожалеет, что тот этими рассказами не интересуется.

Воспоминания Токаржевского ставят перед нами ряд загадок. Во-первых, как верно подмечает автор «Сарматского Обозрения», исследователи утверждают: «на каторге произошло полное перерождение Достоевского, – пришёл на каторгу “революционером”, а переродился в “реакционера”, то есть обрёл веру в Бога и, более того, веру в державность империи».¹⁸

А Токаржевский утверждает обратное. Он полагает, что Достоевский после того, как отгорел «соломенный огонь», «уже пришёл на каторгу пламенным патриотом», который все остальные народы считал недостойными свободы, а что касается империи,

то, как мы знаем из воспоминаний Токаржевского, Достоевский на каторге читал полякам вслух оду, которую написал на завоевание России Константинополя, – то есть он мечтал о русско-турецкой войне, и был уверен в победе России. Поляки были более реалистичны, и спросили, не написал ли он оду на возвращение после поражения, после чего последовала громкая политическая дискуссия, закончившаяся скандалом, так что заключённые передавали друг другу, что «политические дерутся».

Но «политическим» драться не надо было. Они даже не ненавидели друг друга. И думается, когда говорят, что Достоевский ненавидел поляков, это не вполне верно. Они просто были людьми двух разных миров.

В этом отношении весьма интересна статья Яцека Углика (декабрь 2004г.), которая называется «Поляки у Достоевского». Он отмечает, что поляки и Достоевский писали, ставя перед собой разные цели. Токаржевский пытался объяснить, почему такими несломленными оказывались каторжане и поселенцы-поляки в Сибири, их нельзя было сломить, поскольку они неукоснительно придерживались раз навсегда принятых убеждений: освобождение Польши от российской оккупации. Достоевский же писал свои воспоминания, всячески пытаясь завуалировать уж слишком одиозные моменты омской каторги, поскольку он – в глубине души – апологет и защитник имперской России. Я. Углик пишет: «Там, где в творчестве Токаржевского на первый план выдвигается народность, у Достоевского проявляется шовинизм. Но отчего у российского писателя столько брезгливости к полякам? Это вопрос сложный, ведь ни один из русских классиков, кроме Достоевского, не позволил себе смеяться над людьми, поставленными в маргинальные условия. Стоит попытаться найти более или менее убедительный ответ на этот вопрос, опираясь на три причины: политическую, этическую и религиозную...».¹⁹

Мы привели некоторые свидетельства вспышки интереса к биографии Токаржевского и его литературному наследию, которая наблюдается в начале XXI века одновременно в Польше и Сибири. В Польше Токаржевский, наконец, переводится на английский, в Сибири, впервые в таком объеме, – на русский. Исследователи заняты детальным, обстоятельным сравнением текстов



двух «потерпевших» в сороковые годы: россиянина Достоевского и поляка Токаржевского. Ниже мы приводим некоторые из подмеченных нами и другими исследователями параллелей в биографии и творчестве этих двух литераторов.

* * *

Обратимся к сопоставлению текстов Достоевского и Токаржевского.

О крепости

Достоевский, как и Токаржевский, при описании омского острога употребляет слова «вал» и «крепость» шестиугольной формы. У Достоевского она окружена «забором из высоких столбов» (палями), у Токаржевского – «частоколом из толстых высоких бревен». *Достоевский*: «Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть что-нибудь? – и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу, день и ночь, расхаживают часовые... Представьте себе большой двор, шагов в двести длины и шагов в полтора ширины, весь обнесённый кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепко прислонённых друг к другу рёбрами, скрепленных поперечными планками и сверху заострённых: вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми; их отпирали по требованию, для выпуска на работу»²⁰.

Сравним с Токаржевским, который подчёркивает, что Омская крепость была устроена не так, как европейские. Он уточняет – ворота открывались дважды в день: «Территория крепости являла собой огромную площадь, напоминающую фантастическую геометрическую фигуру, похожую на шестиугольник. Не было здесь обычных стен, как в европейских крепостях. Вместо стены – частокол из толстых высоких брёвен, тесно сомкнутых друг с другом, остроконечных вверху, глубоко вбитых в землю. Вокруг частокола – вал, на котором днём и ночью несли вахту солдаты



крепостной команды. У ворот, ещё более укреплённых частоколом, стояла стража. Ворота открывались два раза в день: когда каторжане под конвоем шли на работу и с тем же конвоем возвращались. Тюремная площадь шириной была примерно пару сот шагов»²¹.

Строения в остроге

Не очень различается и описание строений внутри острога. У Достоевского: «Как входите в ограду – видите внутри её несколько зданий. По обеим сторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба. Это казармы. Здесь живут арестанты, размещённые по разрядам. Потом, в глубине ограды, ещё такой же сруб: это кухня, разделённая на две артели; далее ещё строение, где под одной крышей помещаются погреба, амбары, сараи. Средина двора пустая и составляет ровную, довольно большую площадку. Здесь строятся арестанты, происходит поверка и переключка утром, в полдень и вечером, иногда же и ещё по нескольку раз в день, – судя по мнительности караульных и их уменью скоро считать. Кругом, между строениями и забором, остаётся ещё довольно большое пространство...»²².

У Токаржевского: «Здесь, также в ограде частокола, стояли три невысокие удлинённые постройки: две казармы, то есть казематы, были обиталищем разбойников и политических заключённых, в третьем, самом маленьком строении находились кухня, погреб и кузня»²³.

В казарме

Оба автора пишут о сальных свечах, коими освещались казармы, о «трёх досках», на которых каторжникам доводилось спать. *Достоевский*: «Когда смеркалось, нас всех вводили в казармы, где и запирали на всю ночь. Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещённая сальными свечами, с тяжёлым, удущающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десять лет. На нарах у меня было три доски: это было всё моё место»²⁴.

Общая тональность описания – довольно мрачная. «Мёртвый дом» во всей его «красе». Токаржевский тоже никак не радуется

встрече с «Мёртвым домом» и его обитателями²⁵, и вносит уточнения: «Казармы размещались в узких и длинных избах. Дневной свет проникал в них через зарешёченные окна. Вечером казармы освещались тонкими сальными свечами, которые в Польше называют “субботники”, потому что в бедняцких еврейских домах их зажигают по субботам. На нарах мы спали все вместе. Каждый имел в своём распоряжении всего три доски. Из досок было сколочено и небольшое возвышение, которое заменяло подушку, пока сам каторжник не ухитрился раздобыть себе настоящую из соломы, песка и разных тряпок, которые подбирал, где придётся. Наволочки бывали из перкаля, и чем ярче, тем больше ценились и составляли предмет зависти каторжан»²⁶.

В сумерках

Далее – о числе обитателей каземата и некоторых особенностях их поведения после наступления сумерек. *Достоевский*: «На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимой запирали рано. А до того – шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клеймённые лица, лоскутные платья, всё – обруганное, ошельмованное... да, живуч человек! Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение»²⁷.

Уточнения Токарежеского: «В каждом каземате обитало двадцать-тридцать человек, воздух был спёртый от дыхания жильцов, от копоти сальных свечей, водочного перегара и табака. С наступлением сумерек казематы запирались на ключ и тогда начиналась полная разнузданность: “гуляй душа” – был девиз разбойников, и “гуляние” начиналось, как только стихали шаги офицера, запиравшего каземат. Тут и воцарялись необузданная гульба и пьянство, поскольку арестанты ухитрялись добывать себе водку из города. Как? – остаётся лишь гадать»²⁸.

Водка

Описывая острожные порядки, Токарежеский как бы следует схеме, заданной «Записками из Мёртвого Дома». Следующий пассаж – водка в остроге. *Достоевский*: «... в каторге иногда можно было напиться»²⁹. Токарежеский на контрабанде спиртным

останавливается более детально: «...некий каторжанин, в знак особого расположения, решил однажды поведать мне, с какой опасностью сопряжена была подобная контрабанда, какие хитроумные способы нужно было придумывать, чтобы обмануть или подкупить стражу из солдат. Контрабандист, доставляющий водку из “кабака”... в крепость, по понятиям каторги, был настоящим “героем”... Но поскольку водку я не пил никогда, а представления о геройстве у нас были совершенно разные, я, отговорившись занятостью, сердечно поблагодарил за рассказ и обещал никому больше не сообщать, как доставляется водка»³⁰. Токарежеский упоминает также, что иногда «штоф водки» каторжники ставили на кон в карточной игре³¹.

Одежда

Наблюдаем параллели и в описании одежды каторжников. *Достоевский*: «Различались все разряды по платью: у одних половина куртки была тёмно-бурая, а другая серая, равно и на панталонах – одна нога серая, а другая тёмно-бурая. Один раз, на работе, девчонка-калашница, подошедшая к арестантам, долго всматривалась в меня и потом вдруг захохотала. “Фу, как не славно! – закричала она, – и серого сукна не достало, и чёрного сукна не достало!” Были и такие, у которых вся куртка была одного серого сукна, но только рукава были тёмно-бурые»³².

Токарежеский упоминает иную цветовую гамму: «Одежда омских каторжников была двуцветная, из тяжёлого сукна, чёрного и тёмно-синего, или серого и чёрного, причём одна половина куртки и одна штанина были синими, а вторая – чёрными, кожухи тоже были “украшены” цветными латами на плечах»³³.

Бритьё головы

Как брили головы? Токарежеский и тут вносит дополнения.

Достоевский: «Голова тоже брилась по-разному: у одних половина головы была выбрита вдоль черепа, у других поперёк»³⁴. И далее: «Регулярно каждую неделю [я] ходил брить половину своей головы. Каждую субботу, в шабашное время, нас вызывали для этого, поочерёдно, из острога в кордегардию (не выбрившийся уже сам отвечал за себя), и там цирюльники из батальонов

мылили холодным мылом наши головы и безжалостно скребли их тупейшими бритвами, так что у меня даже и теперь мороз проходит по коже при воспоминании об этой пытке...»³⁵.

Токаржевский: «Обривали нам голову по-разному, в зависимости от пожелания каторжников³⁶. Некоторые, желавшие выглядеть франтами, просили обрить их поперёк головы – другие, без всяких претензий на моду, и не надеявшиеся кому-нибудь понравиться, были обриты вдоль головы, в том числе и мы, поляки. По указу его “благородия”... Васьки, брили нас каждую неделю, причём не только голову, но и усы, так что еженедельно у нас оставался только один ус. Казённый цирюльник был неумехой и бритва у него, тупая как дерево, царапала по голове и щекам так, что по телу пробегали мурашки до самых пят. Каторжане сыпали угрозами и проклятьями, а мы, поляки, старались сносить это спокойно, не скажу, чтобы терпеливо, но сохраняя достоинство, поскольку поклялись соблюдать его на каторге всегда, особенно в присутствии разбойников»³⁷.

Виктор Вайнерман считает приведённые Токаржевским сведения о бритве головы невероятными: «...его³⁸ утверждение, что каторжники могли сами выбрать себе стиль причёски – обривать голову то ли вдоль, то ли поперёк, явно не соответствует действительности. На этот счёт существовали чёткие предписания».³⁹ Виктор Вайнерман, подкрепляя свой вывод, ссылается на Полный Свод Законов Российской Империи: «...“Бродягам, срочным, гражданского и военного ведомства” полагалось сбривать “спереди полголовы от одного уха до другого, а всегдашним от затылка до лба полголовы с левой стороны”⁴⁰. Таким образом, “желавшие выглядеть франтами” обрекли бы себя на “всегдашнее”, то есть пожизненное нахождение на каторге».⁴¹

Это очень существенное и важное замечание.

Однако в текстах бывших каторжан, в том числе Достоевского, порой находим свидетельства, что «чёткие предписания» часто нарушались, и начальство на многое смотрело сквозь пальцы (например, на пронос в острог водки). С другой стороны, Токаржевский действительно мог ошибаться, поскольку в детали быта уголовников иногда особо не вникал. Заметил, что головы побриты по-разному, но не смог верно объяснить сей «феномен».

Возможно, на вопрос о «разнообразии» причёсок однажды услышал шутивное: некоторые каторжники «франтят», и безоговорочно этому поверил.

В любом случае, не хотелось бы использовать «промах» Токаржевского для каких-либо обобщений. Он ещё нуждается в объяснениях.

Не вовсе точное толкование Токаржевским пассажа с причёсками побудило Виктора Вайнермана прибегнуть к следующему выводу: «Пытаясь найти дополнительные аргументы, обвиняя Достоевского в великодержавном шовинизме, Токаржевский напрочь забывает о реальных условиях, в которых он сам когда-то жил».⁴²

«Мостик» понятен: если Токаржевский иногда не очень точен в трактовке мелких деталей, вроде причёски каторжан, то не мог ли он ошибиться в главном, то есть в приписывании великому классику антипольских, антилитовских и прочих аналогичных настроений? Однако об агрессивном «почвенничестве», воинствующем панславизме Достоевского пишут отнюдь не только поляки...

Насколько был объективен Токаржевский?

Виктор Вайнерман, на наш взгляд, правильно подчёркивает, что польский автор лишь «претендует на объективность».⁴³ Потому что любые мемуары, как бы ни стремились их создатели к взвешенным оценкам, прежде всего – субъективное свидетельство, проникнутое чувствами и переживаниями мемуариста, тем они и ценны для истории и для литературы. Вчерашняя субъективность сегодня раскрывает перед нами духовный мир человека полуторавековой давности!

Пища

Достоевский считал питание на каторге «вполне достаточным». Но по отзывам Токаржевского оно не выглядит обильным и, главное, разнообразным. Оба автора упоминают о тараканах, плавающих в щах. *Достоевский*: «Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли, что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную пищу... Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили

только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не выдаётся с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы голодная... Хлеб наш был как-то особенно вкусен и этим славился во всём городе. Приписывали это удачному устройству острожных печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на это никакого внимания»⁴⁴.

Токаржевский: «Выходя на работы, мы брали с собой кусок хлеба. Хлеб был всегда хорошо выпечен, вкусный, и походил на тот, что у нас в Польше называют “подситковый”. Этот кусок хлеба и составлял наш завтрак. Обед получали на кухне, не все сразу, а по несколько человек. Садись мы за стол и “кухарь”, тоже из каторжников, черпал половником из котлов и наливал в глиняные миски похлёбку с крупой, в которой плавали кусочки говяжьих голов и ног. Из мисок мы ели по двое и по трое, в зависимости от величины плошки. Огромные миски с кусками нарезанного хлеба стояли на столах. Хлеба можно было есть, сколько хочешь. Давали нам попеременно похлёбку и кислые щи, а в праздничные дни и по воскресеньям – по куску говядины. Тем не менее, должен сказать, в похлёбке и щах часто обнаруживались неожиданные приправы: плавающие тараканы. Для разбойников это был повод для шуток, они вылавливали их и доедали свою порцию, ничуть не утратив аппетит. У нас, конечно, это вызывало отвращение и тошноту. Часто после таких “находок” мы по несколько дней не могли поднести еду ко рту»⁴⁵.

Кандалы

Достоевский: «Кандалы мои были неформенные, кольчатые, “мелкозвон”, как называли их арестанты. Они носились наружу. Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из колец, а из четырёх железных прутьев, почти в палец толщиной, соединённых между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К среднему кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку»⁴⁶.

Токаржевский более лаконичен: «...нас повезли в кузню, где заковали в тяжёлые грубые кандалы»⁴⁷.

Утро

Утренние процедуры: побудка, барабанная дробь, умывание. *Достоевский:* «Помню первое моё утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили свои клеймённые лбы... У вёдер с водой столпились арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе руки и лицо изо рта...»⁴⁸.

Токаржевский: «На рассвете в соседней казарме⁴⁹ били в барабан. Вскоре появлялся офицер вместе со стражей, один за другим отпирал казематы. Значит, пора вставать. И не раз нам было так тяжело, очень тяжело, извлечь свои натруженные вчерашней работой кости из неудобного “ложа”, особенно после ночи, либо бессонной, либо проведённой в горячечных кошмарах и видениях, но потягиваться не приходилось!⁵⁰ Толпа заспанных каторжан бежала к вёдрам. Из них ковшом зачерпывали воду, понемногу набирали её в рот, а потом выплёскивали на ладони и умывались этой смесью воды и слюны»⁵¹.

Казённые работы

Утреннее определение арестантов к месту работы. *Достоевский:* «Выходя из острога на работу, арестанты строились перед кордегардией в два ряда; спереди и сзади арестантов выстраивались конвойные солдаты с заряженными ружьями. Являлись: инженерный офицер, кондуктор и несколько инженерных нижних чинов, приставов над работами. Кондуктор рассчитывал арестантов и посылал их партиями куда нужно на работу»⁵².

Токаржевский: «Каждое утро на арестантской площади офицер инженерных войск делил арестантов на партии и под конвоем солдат с заряженным оружием дозорный каждой партии вёл их до места работы, намеченной инженерами»⁵³.

Отношение к казённой работе Достоевским и Токаржевским описывается по-разному. Ф.М. подчёркивает, что к принудительной работе в остроге относились с ненавистью, но зато в свободное время «ремесленничали» с удовольствием: «Казённая каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью: арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы и шёл в острог. На работу смотрели с ненавистью... Длинный летний день почти весь наполнялся казённой работой... Но зимой арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую... Многие из арестантов приходили в острог, ничего не зная, но учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми»⁵⁴.

Токаржевскому же, похоже, любой труд был в радость, даже «казённый»: «Для себя я решил, что надо обучиться какому-нибудь ремеслу, и пошёл учеником в инженерную слесарную мастерскую. После трёх месяцев усердной работы я уже не худо орудовал молотком, и даже мог неплохо выковать всякие мелочи»⁵⁵.

Кирпичный завод

Какое-то время Достоевский и Токаржевский работали на кирпичном заводе близ острога. Ф.М. пишет, что находился он в трёх верстах, Токаржевский же называет другую цифру: пять вёрст (в другом месте: «восемь вёрст в два конца»). Оба сообщают, что это были самые тяжёлые, изнуряющие работы, причём без перерыва на полноценный приём пищи, потому что дорога занимала много времени и питаться приходилось у печей тем, что было взято с собой утром из крепости. *Достоевский*: «Эта... работа считалась у нас самую тяжёлою. Кирпичный завод находился от крепости в верстах в трёх или в четырёх... На эту работу выбирали чернорабочих, то есть не мастеровых и не принадлежащих к какому-нибудь мастерству. Они брали с собою хлеба, потому что за дальностию места не выгодно было приходиться домой обедать и, таким образом, делать *вёрст восемь*⁵⁶ лишних, и обедали уже вечером, возвращаясь в острог. Урок же выдавался на весь день, и такой, что разве в целый рабочий день арестант мог с ним справиться.

Во-первых, надо было накопать и вывезти глину, наносить самому воду, самому вытоптать глину в глиномятной яме и наконец сделать из неё что-то очень много кирпичей, кажется сотни две, чуть ли даже не две с половиной. Я всего только два раза ходил в завод. Возвращались заводские уже вечером, усталые, измученные, и постоянно целое лето попрекали других тем, что они делают самую трудную работу»⁵⁷.

Токаржевский: «Олеся Мирецкого и меня через три дня после прибытия в крепость приставили к кирпичному заводу, за пять вёрст от крепости. Из каземат мы выходили натошак, с куском сухого хлеба в кармане... Изготовление кирпичей было работой куда более тяжёлой. Сперва приходилось накопать глину, тачками свезти её в сарай, обработать или вытоптать ногами, закованными в кандалы! А ещё нужно было доставлять воду на взгорье, высотой не менее ста локтей, и из этой вытоптанной глины налепить по пятьсот кирпичей в день. Это был «урок» на трёх человек. Честно говоря, хоть я и был молодым и сильным, эта работа сильно меня изнуряла... Заметим, что на обед мы не возвращались в острог, потому что восемь вёрст в два конца заняли бы слишком много времени, и мы бы не выполнили нормы, так что вся наша еда за день – кусок сухого хлеба»⁵⁸.

Достоевский изготовлением кирпичей если и занимался, то всего два дня, зато ему довелось поработать подносчиком кирпичей и на их вывозе. Токаржевский тоже вскоре был переведён на такую работу, причём не считал её «намного легче». *Достоевский*: «Я же или по-прежнему ходил в мастерскую, или на алебастр, или, наконец, употреблялся в качестве подносчика кирпичей при постройках. В последнем случае пришлось однажды перетаскивать кирпичи с берега Иртыша к строившейся казарме сажень на семьдесят расстояния, через крепостной вал, и работа эта продолжалась месяца два сряду. Мне она даже нравилась, хотя верёвка, на которой приходилось носить кирпичи, постоянно натирала мне плечи. Но мне нравилось то, что от работы во мне видимо развивалась сила»⁵⁹.

А вот как Токаржевский рассказывает о переводе на новую работу после болезни: «Дозорные постановили дать мне работу полегче. Ходил я на тот же кирпичный завод вплоть до зимы, но

не на производство и вывоз кирпичей, теперь я работал со строителями, подавал им извѣстку, кирпичи, воду. *Можно подумать, что эта работа была намного легче!*^{60,61}.

Сопоставление цитат позволяет сделать вывод, что работы, которые выполняли Токарежвский и Достоевский, были одинаково тяжѣлыми. Вряд ли кому-то из них было «легче». Исследователи, тем не менее, приходят и к другим выводам. Виктор Вайнерман, ссылаясь на мнение безвестного автора из Алматы, пишет: «До сих пор некоторые местные краеведы не желают ничего слышать о страданиях Достоевского на каторге и в солдатах. Он, мол, здесь, как сыр в масле катался. Недавно автор из Алматы принёс мне для ознакомления рукопись своей статьи о Достоевском. В ней, в частности, говорится, что Достоевского “распределили при комендатуре, как знающего иностранный язык, с жильём и с основным занятием уборкой улиц”. Вместо ответа на вопрос, откуда почерпнул столь ценную информацию, автор стучался и обещал изменить в статье этот фрагмент...»⁶².

В противоположность мнению не названного по имени исследователя из Алматы, Виктор Вайнерман полагает, что Достоевскому приходилось на каторге несладко, и даже гораздо хуже, чем Токарежвскому:

«Вновь в книге “Семь лет каторги”, как и в “Воспоминаниях каторжанина”, Токарежвский пишет о работах, на которые его направляли в Омске. Судя по его мемуарам, это он, Токарежвский, “как сыр в масле катался” в Омске⁶³, а вовсе не Достоевский. Ведь это его приглашали в дом коменданта, где, вместо того, чтобы работать, он весело проводил время за чаем и разговорами с женой коменданта и её “сестричками”...»

А вот Достоевский тяжко трудился...

Толчение алебаstra, о котором упоминает Токарежвский, не было единственной работой, которую выполнял в Омске Достоевский. Он переносил кирпичи на кирпичном заводе, расположенном на правом берегу вниз по Иртышу, верстах в трёх или четырёх от крепости. По замечанию А.Ф. Палашенкова, работа на заводе считалась самой трудной⁶⁴.

Необходимое уточнение. Читатель, конечно, согласится: из процитированных мемуаров Токарежвского отнюдь не следует,

что он в Омске «как сыр в масле катался». Совсем напротив. А встречи Токарежвского с женой А.Ф. де Граве и её воспитанницами, как становится ясным из воспоминаний, были эпизодичными, тайными, тщательно скрываемыми, и, конечно, они не дают оснований для обобщений.

Да и сам Достоевский тоже получал иногда поблажки, что признает и Виктор Вайнерман, цитируя слова сына декабриста Якушкина, который писал о событиях 1853г. так: «Достоевского я никогда до того времени не видел <...> Его на другой же день привёл конвойный очистить снег на дворе казённого дома, в котором я жил. Снега, конечно, он не чистил, а всё утро провёл со мной...»⁶⁵.

Значит, и Достоевскому иногда «фартило», он тоже порой освобождался от работ и пользовался гостеприимством известных людей. Но это вряд ли даёт повод, – также, как и в случае с Токарежвским, – утверждать, что жизнь у него на каторге была легче, чем у иных-прочих.

Уборка снега

По-разному описывается уборка снега. Достоевскому такая работа по душе: «Особенно... я любил разгрести снег... Каждому давалась лопата... и все дружно принимались за дело... Все становились веселее; раздавался хохот, вскрикивания, остроты... всеобщее увлечение обычно кончалось руганью»⁶⁶.

Токарежвский добавляет: «Зимой для очистки улиц и государственных зданий использовали каторжных... Работа была не тяжёлой, но неприятной из-за собиравшихся обычно возле нас ротозеев. В течение многих лет жители Омска каждую зиму любовались на это зрелище... Сильным раздражителем для нас были постоянные выкрики стражи: “Скорее! Скорее!”, а что эти же понукания повторяли ротозеи, что собирались около нас, было уж вовсе невыносимо. По-моему, эти окрики подобны ударам кнута, которым работник подгоняет ленивый скот во время работы...»⁶⁷.

Госпиталь

К медицинскому персоналу у Достоевского и Токарежвского отношение сходное. Им обоим довелось лечиться в госпитале.

Достоевский: «Я уже и прежде слышал, что арестанты не нахвалятся своими лекарями. “Отцов не надо!” – отвечали они мне на мои расспросы, когда я отправлялся в больницу»⁶⁸. И далее: «Повторяю: арестанты не нахвалились своими лекарями, считали их за отцов, уважали их. Всякий видел от них себе ласку, слышал доброе слово; а арестант, отверженный всеми, ценил это, потому что видел неподдельность и искренность этого доброго слова и этой ласки. Она могла и не быть; с лекарей бы никто не спросил, если б они обращались иначе, то есть грубее и бесчеловечнее: следственно, они были добры из настоящего человеколюбия»⁶⁹.

Токаржевский: «Я не помню, конечно, ни того, как проходила моя болезнь, вообще ничего не помню, осталось у меня лишь ощущение, что за мною очень ласково ухаживали»⁷⁰.

Впрочем, даже с тяжелобольных не снимали кандалы, такая жестокость удивляет авторов. *Достоевский:* «Я говорю о кандалах, от которых не избавляет никакая болезнь решённого каторжника. Даже чахоточные умирали на моих глазах в кандалах... Но положим, что для здорового всё ничего. Так ли для больного? Положим, что и обыкновенному больному ничего. Но таково ли, повторяю, для труднобольных, таково ли, повторяю, для чахоточных, у которых и без того уже сохнут руки и ноги, так что всякая соломинка становится тяжела?»⁷¹.

Токаржевский: «Единственно только бряцание кандалов, сопровождающее каждое моё движение, не позволяло забыть, что я в арестантском госпитале. Цепи не положено было снимать даже с самых тяжёлых больных. Расковыывают кандалы только перед смертью или тем, у кого вышел срок наказания и кого выпускают на свободу»⁷².

Кражи

О воровстве. В «Записках из Мёртвого Дома» и в книге «Семь лет каторги» читаем об искусных ворах, от которых не спасали самые крепкие сундуки с замками. *Достоевский:* «Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой сундук с замком, для хранения казённых вещей. Это позволялось; но сундуки не спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры»⁷³.

Токаржевский: «всё... наше хозяйство мы должны были прятать в сундучках, надёжно укреплённых и с крепкими замками, поскольку кражи здесь были делом обычным, и каторжане не считали это проступком, а просто способом улучшить своё существование. Пострадавший не мог ни разыскать украденное, ни даже пожаловаться, что его обокрали. Его бы только высмеяли и посчитали бы дураком, коли не сумел хорошенько упрятать своё добро»⁷⁴.

Доносительство

Достоевский приводит случай доносительства по поводу заклада «ростовщикам» (из каторжных) казённых вещей: «Заложивший и получивший деньги немедленно... доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же отбирались у ростовщика обратно...»⁷⁵.

Токаржевский упоминает о доносительстве в иной связи: «Доносительство разбойники тоже нередко практиковали. Среди нас также был один шпик, но этот уж считался, что называется, шпином высокого класса...»⁷⁶.

Требует подтверждений вывод исследователя В.А. Дьякова, который утверждает, что Токаржевский обвинял в доносительстве и самого Достоевского. «Если говорить о фигуре Достоевского, встающей перед читателем со страниц произведений Токаржевского и Богуславского, – пишет В.А. Дьяков, – то она не одноцветна. И у Токаржевского, и у Богуславского есть вещи, в которые очень трудно поверить»⁷⁷. Они утверждают, например, будто Достоевский в годы Крымской войны собирался выдать тюремным властям содержание своих прежних откровенных дружеских бесед с поляками, чтобы выслужиться и получить прощение.⁷⁸ Читая и перечитывая *хвалебные эпитеты*, которыми писатель сопровождает в “Записках” фамилии польских ссыльных, в том числе Богуславского и Токаржевского, невозможно вообразить, что он всерьёз думал о доносе. Неубедительность такого обвинения легко выявляется с помощью простого здравого смысла. Если писатель собирался донести, то почему он не исполнил своего намерения? Ведь никакой помехи, кроме собственной совести, для него не существовало».⁷⁹

Однако в приведённых ниже текстах книг Токаржевского мы не нашли ни одного обвинения в доносите́льстве, адресованного Достоевскому. Откуда взяты подобные сведения? В середине приведённой выше цитаты В.А. Дьяков после словосочетания «получить прощение» делает ссылку: «Там же. – С.27». Но предыдущая его сноска касалась четвёртого тома ПСС Достоевского. На 27-й странице мы не нашли ничего, касающегося упомянутых обвинений в доносите́льстве. Между тем, этот пример приведён В.А. Дьяковым как иллюстрация к выводу, что «у Токаржевского... есть вещи, в которые очень трудно поверить» (см. выше). Таким образом, вывод исследователя не оказался в достаточной мере подкреплённым. Что касается *хвалебных эпитетов*, которыми Достоевский награждает польских каторжников, то ведь и сам В.А. Дьяков немногим выше делает оговорки о пристрастности и даже негативности характеристик великого классика, «относящихся к некоторым полякам».⁸⁰

Суанго

Очередной «узел», связанный с трактовкой творчества Достоевского, завязывается по поводу главы «Суанго» из книги Токаржевского «Каторжники: сибирские зарисовки».

Один из самых уважаемых нами исследователей, Виктор Вайнерман, пишет: «*Основной мотив*⁸¹ главки “Суанго” – дружба Достоевского с собакой. Он известен опять-таки по “Запискам из Мёртвого дома”. В главе “Каторжные животные” говорится о собаке по кличке Шарик, которую Достоевский спас от голодной смерти. Собачка привязалась к Достоевскому. В обоих произведениях⁸² судьба этого животного трагична. Но, судя по “Запискам...” Достоевского, собака погибла от руки живодёра, а, по Токаржевскому, она была отравлена».⁸³

Налицо небольшая неточность, вызванная тем, что исследователи Сибири долгое время не имели доступа к полному переводу сочинений польского автора. *Основной мотив* главы «Суанго» в книге Токаржевского «Каторжники» – не дружба Достоевского с собакой, а привязанность к собаке самого Токаржевского. В названной главке Достоевский упоминается лишь несколько раз, он даже не является сколько-нибудь видным её героем. *Основная же*

нить – автобиографическая, то есть изложение коллизий собственной жизни Токаржевского.

Требует также более внимательного прочтения очень интересная версия, что собака Шарик в «Записках из Мёртвого дома» и Суанго из «Каторжников» Токаржевского – одно и то же животное. Однако, скорее, речь идёт о разных животных.

Прежде всего, из текста Достоевского не следует, что Шарик погиб от рук живодёра. Напомним: Достоевский упоминает о трёх собаках, живших в остроге – Шарике, Белке и Кульпяпке, и именно о *последней* сообщает, что к ней присматривался арестант Неустроев, занимавшийся выделкой кож. Возможно, в текст очерка В. Вайнермана, опубликованного «Голосами Сибири», вкралась опечатка. Конечно, автор имел в виду не Шарика, а Кульпяпку.

Заметим, что Токаржевский, описывая перипетии, связанные с Суанго, упоминает также и о «трагичной участи» Кульпяпки: «Фёдор Достоевский, который очень любил животных, ещё опечаленный трагичной участью своего воспитанника и любимца Кульпяпки, первым увидел гостя⁸⁴ и ласково его подозвал».⁸⁵

А вот что пишет о Кульпяпке Достоевский: «Я ужасно полюбил этого маленького уродца... Но в один прекрасный день арестант Неустроев, занимавшийся шитьём женских башмаков и выделкой кож, обратил на него особенное внимание... Бедный Кульпяпка!».⁸⁶

Поскольку Токаржевский прямо указывает на существование собаки Кульпяпки, любимой Достоевским, становится ясным, что имеется в виду не Суанго. В другом месте главы Токаржевский подтверждает написанное Достоевским: «От рук Неустроева погиб также Кульпяпка Фёдора Достоевского...».⁸⁷

Достоевский, как уже было сказано, сообщает о ещё двух собаках: Белке и Шарике. Ни одна из них не подходит под описание Суанго. Ведь Суанго, как справедливо отмечает Виктор Вайнерман, был отравлен, а о подобных кончинах собак, живших при остроге, Достоевский не упоминает. И, значит, тождество Суанго с Кульпяпкой, Шариком или Белкой вряд ли доказуемо.

И ещё один аргумент: в пользу того, что Токаржевский не «измыслил» имя Суанго, «переправив» на свой «беллетристический» лад кличку, упомянутую у Достоевского, свидетельствуют

подробные объяснения, почему именно Суанго так назвали: «Нашего безымянного приبلудного приятеля мы прозвали Суанго, потому что, если Алмазов на него прикрикнет, он всегда прятался в закутке под углом сарая. Угол, уголок, *ангул*, под углом, – от такой сильно притянутой этимологии Суанго и получил своё имя».⁸⁸

Слово Суанго (от «ангул») – «европейское», а не русское. Вряд ли речь идёт о собаке Достоевского; сердцу русского человека, почвенника до мозга костей, ближе были «Шарики», «Культяпки» и «Белки».

И, наконец, Токаржевский поясняет, что Суанго жил *за пределами острога*, тогда как Достоевский в главе «Каторжные животные» сообщает только о тех, что обитали непосредственно на территории крепости. Впрочем, в одном месте упоминается и «вереница собак», за которой увязалась Белка⁸⁹ – то есть в окрестностях обитало множество бродячих псов, и, возможно, приبلудный Суанго – из их числа.

Почему мы обращаем внимание на такие «мелочи», как клички собак? Весьма иллюстративный ответ на этот вопрос даёт один из любимых наших авторов, Виктор Вайнерман: «Заметим, ... что там, где речь идёт о таких личностях, как Достоевский, важны все мелкие детали, вплоть до цвета новой заплатки на одежде соседа писателя по нарам».⁹⁰

Однако весь этот «собачий» пассаж – лишь прелюдия к ещё более занятому витку «интриги». Потому что речь пойдёт... о попытке лишить жизни великого писателя. В который уже раз обращаемся к обстоятельному исследованию Виктора Вайнермана:

«В истории..., рассказанной Токаржевским, важно то, что *собака Суанго издохла от яда... предназначавшегося Достоевскому*».⁹¹

Официальные источники утверждают, что у Достоевского в каторге часто случались приступы падучей, и он после припадков попадал в омский военный госпиталь. Здесь его опекали врачи, фельдшеры и их жёны. (Опекали, хотя рисковали при этом жизнью). И вот один из докторов, *Борисов (фамилия доктора с такой фамилией не встречается в документах. Вероятно,*

Ш. Токаржевский и в данном случае использует условную фамилию), уезжая к больному, *передаёт Достоевскому деньги*. Это заметил один из арестантов Ломов (такой арестант действительно был в остроге при Достоевском. Семья Ломовых выведена и в «Записках из Мёртвого дома», правда, безотносительно к госпиталю). Через некоторое время фельдшер, находившийся в стоворе с Ломовым, *принёс Достоевскому молоко. Тот хотел его пить, но собака Суанго, приручённая Достоевским, неожиданно вбежала в палату и, кинувшись к нему, стала выразить свой восторг*. Молоко пролилось. Собака на радостях его слизала. Вошедший фельдшер выгнал собаку из палаты. И лишь позднее Достоевский узнал, что она издохла от принятого ею «угощения». Эта история не повторяется в других биографических источниках. Сюжет о покушении на его жизнь отсутствует и в текстах Достоевского».⁹²

Признаёмся, сидели, как на раскалённых угольях, когда читали это место. Покушение на жизнь Достоевского – шутка ли!

Однако читатель попадает в очередную ловушку, вызванную недостаточностью сведений из польских источников, на которые так скупа была советская историография!

А дело в том, что ни о каком покушении на жизнь Достоевского Токаржевский не писал. Всякий, кто внимательно прочитает соответствующую главу, приведённую нами в этой книге полностью, убедится, что речь идёт *о покушении на жизнь Токаржевского*. Это Токаржевскому, а не Достоевскому, передают деньги, это Токаржевскому фельдшер приносит отравленное молоко, и это Токаржевского спасает от верной смерти собака Суанго.

Произошла какая-то сверхъестественная подмена персонажей. Но факт остаётся фактом: приписывание Токаржевскому сюжета о покушении на жизнь Достоевского не имеет под собой ни малейшей основы. Доказательства читатель может найти самостоятельно, изучив главу «Суанго» из книги Токаржевского «Каторжники», которую мы приводим ниже.

И ещё небольшое отступление. Ни о каком докторе *Борисове* Токаржевский не писал. Токаржевский повествует читателю о докторе *Борисе* (причём отнюдь не только в книге «Каторжники») и даже делает необходимое пояснение: «Молодой доктор *Борис*

(не могу простить себе, что фамилия его стёрлась в моей памяти⁹³) вообще всех политических преступников и особенно меня тщательно осматривал. Он приносил мне то крепкое вино, то какую-нибудь вкусную и питательную еду».⁹⁴

Таким образом, всё разъясняется: называется *имя*, а не *фамилия*, которую Токарежский не помнит, и укоряет себя за это. Почему *Борис* превратился в *Борисова*? Ответ несложный: у исследователей не было полного перевода книг Токарежского; именно отсюда – изъяды в толкованиях. Токарежский неверно прочитан и поэтому плохо понят.

Из новых сведений, что приводит Токарежский в названной главе, достоевковедов, конечно, заинтересует свидетельство, что Ф.М., оказывается, принимал участие в судьбе Суанго, и даже заплатил два рубля Неустроеву, с тем, чтобы тот «словом каторжника поклялся никогда не посягать на жизнь нашего четвероногого любимца».⁹⁵

«Театр»

Разительные отличия находим, сопоставляя главы, посвящённые театральному представлению в Омском остроге.

В чём именно заключаются основные «несхожести»?

Во-первых, Достоевский пишет о *нескольких* представлениях, которые заняли не менее трёх вечеров. Токарежский же сообщает только об *одном* вечере.

Во-вторых, Достоевский сообщает, что представление не имело никаких афиш, и только лишь ко второму, или даже третьему вечеру появилась одна – «для г. офицеров и вообще благородных посетителей, удостоивших наш театр, ещё в первое представление, своим посещением».⁹⁶

Токарежский же упоминает о *паре* афиш: «Экс-канцелярист, нынешний каторжник Баклушин, приготвил пару афиш».⁹⁷

В-третьих, Достоевский специально подчёркивает, что поляки присутствовали только на одном (из трёх?) представлении: «Из нашей казармы отправились почти все, кроме черниговского старовера и поляков. Поляки только в самое последнее представление, четвёртого января, решились побывать в театре, и то после многих уверений, что там и хорошо, и весело, и безопасно.

Брезгливость поляков нимало не раздражала каторжных, а встречены они были четвёртого января очень вежливо. Их даже пропустили на лучшие места».⁹⁸

Если принять за истину версию, изложенную в книге «Каторжники», то написанное Достоевским теряет смысл: ведь Токарежский с товарищами присутствовал на представлении, а оно было одно-единственное.

В-четвёртых, по сообщению Токарежского, он лично и другие поляки принимали непосредственное участие в подготовке театральной постановки, оформляли зал и разукрашивали декорации и занавесь.

Достоевский, расхваливая роскошный «антураж», изготовленный к спектаклям, сообщает: «Занавесь была такою роскошью, что действительно было чему подивиться... Наши же маляры, между которыми отличился и Брюллов – А-в⁹⁹, позаботились раскрасить и расписать её».¹⁰⁰

Таким образом, Достоевский об участии поляков в подготовке представления явно, открыто, не упоминает, что контрастирует с данными Токарежского. Однако, если судить по иным местам «Записок из Мёртвого дома», становится вполне ясным, кого именно имеет ввиду классик, когда пишет о *малярах*. Именно так он называл Бэма, Токарежского и других поляков, которые занимались росписью потолков по заказам омичей.

Значит, Достоевский намеренно не упоминает об активной помощи поляков в этом всеми заключёнными ожидаемом празднике. Тогда как упоминает об Аристове, хотя вполне очевидно, что о «художественных» способностях последнего язвительно отзывался не только Токарежский, но и сам Достоевский (*см. ниже* историю с портретом), поскольку тот явно уступал полякам в искусстве оформления интерьеров – об этом пишут и русский, и польский авторы.

Но Достоевский в данном случае говорит только об Аристове. Почему?

Напомним также, что, по версии Достоевского, поляки побывали только на третьем представлении, и проигнорировали первые два. Но если они так негативно относились к спектаклю, как это описывает Достоевский – почему тогда тратили время и силы на оформление зала?

Очевидно, чувствуя возникшую «неувязку», Достоевский пассаж с работами поляков – художественной росписью декораций, подбору предметов для спектакля, почти полностью «смазывает», ограничиваясь невнятным указанием на участие в таковых неких *маляров*, в том числе Аристова.

Но загадочный узел легко распутывается, если принять версию Токаржевского: спектакль занимал всего один вечер, поляки дружно помогали в создании декораций, и, конечно, присутствовали на представлении. Да и странно было бы, если, затратив столько сил на подготовку «акции», они, как уверяет Достоевский, вдруг отказались посетить постановку.

И, наконец, *пятое* и самое важное.

По сообщению Токаржевского, единственный вечер, который был отведён под «театр», оказался скомканным: явился пьяный плац-майор и приказал закончить представление. «Мы надеялись, – пишет Токаржевский, – что представление повторится ещё раз на праздник Троицы. Теперь всё это ожидала другая участь. Когда мы снимали и сворачивали декорации, слёзы заволокли глаза этих закалённых и бесстрашных людей, которые не раз за свою жизнь, безропотно, с пренебрежительной усмешкой сносили удары, голод, всяческие невзгоды».¹⁰¹

У Достоевского же представление закончилось «парадно» и потом продолжалось, как уже было сказано, ещё несколько дней, что выглядит, по крайней мере, удивительно. Трудно поверить в такую доброту острожного начальства, которое в течение нескольких дней допускало послабления, связанные с серьёзным нарушением режима арестантской жизни.

Возможно, Достоевскому хотелось закончить первую часть книги на «мажорной» ноте, чтобы не создавать у читателя особо негативного настроения ни к каторжникам, ни к их начальству. Отсюда – утешительный финал: «Тем и кончается театр, до следующего вечера. Наши все расходятся весёлые, довольные, хвалят актёров, благодарят унтер-офицера. Ссор не слышно. Все как-то непривычно довольны, даже как будто счастливы, и засыпают не по-всегдашнему, а почти с спокойным духом, – а с чего бы, кажется? А между тем, это не мечта моего воображения. Это правда, истина».¹⁰²

Но – истина ли?

Семейство Алексея Фёдоровича де Граве

Достоевский называет коменданта крепости «человеком благородным и рассудительным». Токаржевский, скорее, подтверждает такую оценку: «Алексей Фёдорович де Граве был славным человеком, и если не делал добра – то просто потому, что не умел, а если не делал зла – то потому, что не хотел... Страстный охотник..., постоянно прославлял польское гостеприимство и был также чрезвычайно гостеприимен, принимая гостей в своём доме. Наибольшую радость доставлял ему тот, кто говорил: “Де Граве принимает гостей по-польски”...»¹⁰³.

Виктор Вайнерман обращает внимание на не вполне проявленное обстоятельство. Он сообщает, что в книге «Семь лет каторги» обнаружил «неизвестные мне сведения и о коменданте, и о его жене», и цитирует то место воспоминаний, в котором сказано об учреждённом с помощью Анны Андреевны де Граве так называемом «Доме опеки». Следует вывод: «Токаржевского снова подводит память. “Дом опеки”, о котором он пишет, на самом деле назывался приют для девочек “Надежда”. В его создании, действительно, принимала участие А.А. де Граве. Однако открытие в Омске девичьей школы и при ней приюта “Надежда” “последовало” 22 июля 1858 года. Таким образом, Токаржевский мог видеть в гостях у А.А. де Граве двух воспитанниц “Дома опеки”, которых он называет также сестричками жены коменданта, *только после своего выхода из острога на поселение*.¹⁰⁴ Эта деталь интересна, в первую очередь, тем, что выясняется возможность законному в кандалы политическому преступнику приходиться в дом к самому коменданту крепости. Токаржевский, по его признанию, частенько был приглашаем Анной Андреевной то под предлогом починки замков, а то и росписи стен или же проведения мелких ремонтных работ».¹⁰⁵

Таким образом, сопоставление цитат превращается в очередной ребус.

Начать с того, что в книге «Семь лет каторги» термин «воспитанницы» по отношению к упомянутым «сестричкам» А.А. де Граве используется дважды. Слово «сестрички», кстати, как оказалось, в данном случае употребляется именно как свидетельство

родства по крови: в книге «Тернистый путь» Токаржевский пишет, что они были племянницами Алексея Фёдоровича, дочерями его сестры. Что касается книги «Семь лет каторги», то в одном месте говорится о *воспитанницах Анны Андреевны де Граве*¹⁰⁶, в другом – о *воспитанницах «Дома опёки»*¹⁰⁷, и всё это – применительно к одним и тем же лицам.

Высказывание о *воспитанницах Анны Андреевны де Граве* передано в режиме реального времени, то есть речь идёт о конкретном, запомнившемся Токаржевскому, диалоге, который происходил в период, когда он отбывал каторгу.

Высказывание же о *воспитанницах «Дома опёки»* не привязано к какой-то определённой дате и событию, происходящему в конкретный месяц или год.

Таким образом, сопоставление цитат с весьма ценными свидетельствами, на которые ссылается наш коллега Виктор Вайнерман, доказывает только одно: сначала, то есть во времена, когда Токаржевский отбывал каторгу, «сестрички» были просто воспитанницами Анны Андреевны, а потом, с открытием приюта «Надежда», то есть после окончания у Шимона Себастьяновича срока каторги, в дополнение к этой «частной» опёке, появилась еще опёка «учрежденческая».

И значит, противоречие источников, возможно, мнимое, никак не связанное с «памятью» Токаржевского. Его книги, кстати, тем и ценны, что содержат самые разные временные пласты, и, конечно, ещё потребуют дополнительного изучения в контексте темы «Время – пространство – автор».

И ещё. «Дом Опёки» – это привычный в польском языке эквивалент для учреждений, подобных приюту «Надежда».

Так, благодаря нашему товарищу по писательскому ремеслу, Виктору Вайнерману, начала «растемняться» ещё одна загадочная история.

Василий Кривцов

И Достоевский, и Токаржевский называют плац-майора Василия Кривцова не иначе, как «бешеным». Достоевский, впрочем, не упоминает имени, но ошибиться – трудно: «Этот майор был какое-то фатальное существо для арестантов; он довёл их до

того, что они его трепетали. Был он до безумия строг, “бросался на людей”, как говорили каторжные. Всего более страшились они в нём его пронизательного, рысьего взгляда, от которого нельзя было ничего утаить. Он видел как-то не глядя. Входя в острог, он уже знал, что делается на другом конце его. Арестанты звали его восьмиглазым. Его система была ложная. Он только озлоблял уже озлобленных людей своими бешеными, злыми поступками, и если б не было над ним коменданта, человека благородного и рассудительного, умерявшего иногда его дикие выходы, то он бы наделал больших бед своим управлением. Не понимаю, как мог он кончить благополучно; он вышел в отставку жив и здоров, хотя, впрочем, и был отдан под суд»¹⁰⁸.

Токаржевский: «Стоя перед Васькой, мы все чувствовали опасение, какое испытываешь при виде бешеной собаки, и то, что происходило в моей душе, даже не берусь описать»¹⁰⁹.

И Достоевский, и Токаржевский узнали о тяжёлом норове Кривцова задолго до того, как прибыли в омский острог. Описывая первую встречу с Кривцовым, Достоевский упоминает, что был при этом не один, а с неким «ссылным из дворян», однако имени его не называет. Но благодаря книге «Семь лет каторги» мы точно знаем, о ком идёт речь: о Сергее Фёдоровиче Дурове¹¹⁰. Репутация у него была не вовсе завидная – может быть, поэтому Ф.М. стесняется рассказывать о своём бывшем товарище подробнее. *Достоевский:* «Вспоминаю теперь и мою первую встречу с плац-майором. Нас, то есть меня и другого ссылного из дворян, с которым я вместе вступил в каторгу, напугали ещё в Тобольске рассказами о неприятном характере этого человека. Бывшие там в это время старинные двадцатипятилетние ссылные из дворян, встретившие нас с глубокой симпатией и имевшие с нами сношения всё время, как мы сидели на пересыльном дворе, предостерегали нас от будущего командира нашего и обещались сделать всё, что только могут, через знакомых людей, чтоб защитить нас от его преследования. В самом деле, три дочери генерал-губернатора, приехавшие из России и гостившие в то время у отца, получили от них письма и, кажется, говорили ему в нашу пользу. Но что он мог сделать? Он только сказал майору, чтоб он был несколько разборчивее. Часу в третьем пополудни мы, то есть я и товарищ мой,

прибыли в этот город, и конвойные прямо повели нас к нашему повелителю. Мы стояли в передней, ожидая его. Между тем уже послали за острожным унтер-офицером. Как только явился он, вышел и плац-майор. Багровое, угреватое и злое лицо его произвело на нас чрезвычайно тоскливое впечатление: точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшуюся в его паутину»¹¹¹.

Сходное описание – у Токарежевского: «Ещё в Семипалатинске за 700 вёрст до Омска у всех на устах было имя майора Кривцова. О нём рассказывали всякие ужасы, в которые трудно было поверить. Его называли негодной тварью, недостойной названия человека. Когда Кривцов выходит на улицу – говорили – люди прячутся в домах, а собаки в будках. На нас смотрели с сочувствием, а в ушах у нас постоянно звенело зловещее имя “Кривцов! Кривцов!”. Если честно, то я даже хотел, наконец, увидеть этого демона в людском облике, посмотреть ему в глаза. В глубине души у меня тлела искорка надежды, что люди уж очень в чёрных красках описывают этого Кривцова и что “не так страшен чёрт, как его малюют”... Тот момент, когда я впервые увидел Кривцова, никогда не изгладится из моей памяти... Из дома вышел мужчина довольно высокого роста, тучный, седоватый. Его небольшие усики срастались с густыми бакенбардами, которые верёвочкой проходили посреди одутловатых набрякших щёк, таких же красных, как и его глаза, что свидетельствовало о пьянстве. И на самом деле, Васька был-таки заядлым пьяницей»¹¹².

«Конфискации» Кривцова

Достоевский сообщает, что личные вещи арестантов майор Кривцов приказывал конфисковать и продавать с какого-то загадочного «аукциона» в пользу заключённых. Токарежевский добавляет, что конфискованные у арестантов вещи видели потом в доме Кривцова. Диалог унтер-офицера с Кривцовым в описании Достоевского:

« – Унтер-офицер!... С ними нет ничего? – спросил он вдруг конвоировавшего нас жандарма.

– Собственная одежда есть, ваше высокоблагородие, – отвечал жандарм, как-то мгновенно вытянувшись, даже с небольшим вздрагиванием. Его все знали, все о нём слышали, он всех пугал.

– Всё отобрать. Отдать им только одно бельё, и то белое, а цветное, если есть, отобрать. Остальное всё продать с аукциона. Деньги записать в приход. Арестант не имеет собственности, – продолжал он, строго посмотрев на нас. – Смотрите же, вести себя хорошо! Чтоб я не слышал! Не то... телес-ным на-казанием! За малейший проступок – р-р-розги!..»¹¹³.

У Токарежевского же приводится сходный диалог Кривцова с писарем Дягилевым:

« – Ваше Высокоблагородие, как прикажете поступить с их собственными вещами? – спросил Дягилев.

– Всё отобрать, описать, и передать на публичные торги, отобранные деньги использовать на улучшение содержания каторжан.

Вот, оказывается, каким филантропом выказал себя Васька! Он радел об улучшении положения каторжан!...

Потом в ордонанцгаузе составили список вещей. Отобрали у нас всё. Васька оставил нам только по паре сорочек, и то, по особой щедрости. Всё остальное было распродано.

Как? Где? Когда? Кто всё это купил, – осталось для нас тайной. Знаю только, что много позже, работая в Васькином доме, я видел на его постели наши сафьяновые подушки, а одежда Александра Мирецкого, из оленьего меха, защищала Ваську от мороза»¹¹⁴.

Отставка Кривцова

Оба автора отмечают, что отставка Кривцова и последующий суд над ним были восприняты на каторге с ликованием. В словах Достоевского угадывается торжество: «Вместо женитьбы он¹¹⁵ попал под суд, и ему велено было подать в отставку. Тут уж и все старые грехи ему приплели. Прежде в этом городе он был, помнится, городничим... Удар упал на него неожиданно. В остроге непомерно обрадовались известию. Это был праздник, торжество! Майор, говорят, ревел, как старая баба, и обливался слезами. Но делать нечего. Он вышел в отставку, пару серых продал, потом всё имение и впал даже в бедность. Мы встречали его потом в штатском изношенном сюртуке, в фуражке с кокардочкой. Он злобно смотрел на арестантов. Но всё обаяние его прошло, только что

он снял мундир. В мундире он был гроза, бог. В сюртуке он вдруг стал совершенно ничем и смахивал на лакея. Удивительно, как много составляет мундир у этих людей»¹¹⁶.

Токаржевский также удивляется резким переменам в поведении Кривцова. Но автора «Семи лет каторги» интересует прежде всего, конечно, отношение бывшего плац-майора к полякам, оно стало почти подбострастным:

«Плац-майор Василий Григорьевич Кривцов под судом! Эта весть молниеносно облетела весь город и дошла до нашей тюрьмы.

Плац-майору Василию Григорьевичу Кривцову была предложена отставка! Эта весть пришла к нам через несколько дней после первой.

Нет нужды повторять, с каким восторгом приняли эту новость арестанты.

Мы ходили прямо-таки в упоении от радости:

– Ваську отправили в отставку!

За что? Нам не очень и хотелось вникать в это дело... обнаружили какие-то давние грешки, какие-то взятки, мошенничества...

Хотя он утратил работу, чин и привычный быт, Васька всё-таки остался в Омске. Бродил по городу и за городом, чаще всего пьяный, в «цивильной» одежде.

И такой стал кроткий, что он, этот сатрап с неограниченной властью над нами – он, Васька, встречая нас, когда мы возвращались с работы, не раз останавливался и по-военному приветствовал нас и говорил:

– Здравствуйте!

Теперь он уже не вызывал страха, а лишь удивление, таким он выглядел смиренным, этот пьяница в неряшливой одежде...»¹¹⁷.

Небольшой нюанс: Достоевский пишет, что *на арестантов* Кривцов смотрел *злбно*; но, оказывается, для *поляков* делал исключение, *отдавал им честь*, то есть «по военному приветствовал», как пишет Токаржевский.

Исай Бумштейн

Единственный еврей на каторге – Исай Бумштейн. Фамилия его в документах и библиографических источниках передаётся по-разному. Но среди каторжан, скорее всего, звали его именно

Бумштейном. Достоевский: «Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик»¹¹⁸. Первая часть девятой главы «Записок из Мёртвого дома» посвящена именно Бумштейну, «товарищу моей каторги и сожителю по казарме»: «Господи, что за уморительный и смешной был этот человек!... В выражении лица его виднелось непрерывное, ничем непоколебимое самодовольство и даже блаженство... В нём была самая комическая смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвастливости и нахальства»¹¹⁹.

Токаржевский находился с Бумштейном в близком контакте, жил с ним в одном каземате, поэтому описывает его не менее «сочно»: «Маленький, худой, на диво рябой лицом, всегда грязный, кроме субботы; табак потреблял до тошноты. Осуждён был за убийство... Бумштейн был весьма искусным ювелиром и, по еврейским понятиям, слыл очень учёным человеком. Мы приняли Бумштейна в наше польско-кабардинское содружество, как личность необычную, а больше из жалости, чтобы защитить от притеснений и злобных выходок прочих каторжан. Он всем нам был за это благодарен, предупредителен и постоянно заверял в своей признательности»¹²⁰.

Токаржевский пишет – Бумштейн был труслив¹²¹, что подтверждает и Достоевский: «Он был дерзок и заносчив и в то же время ужасно труслив... Мы с ним были большие друзья... В каторге жить ему было легко; он был по ремеслу ювелир, был завален работой из города, в котором не было ювелира, и таким образом избавился от тяжёлых работ»¹²².

Исследователь *В.А. Дьяков* приходит к выводу, что отношение Достоевского и «польских мемуаристов» (Богуславского и Токаржевского) к Исаю Бемштейну (Бумштейну, Бумштелю), равно и к горцам, сходно: «Здесь характеристики Достоевского и польских мемуаристов очень близки друг к другу как по содержанию, так и по тональности».¹²³

Горцы

С большой теплотой Токаржевский пишет о горцах. В книге «Семь лет каторги» дважды поминает Нурру-Шахнурру (Нурру Шахмурлу) Оглы¹²⁴.

Нурра очень понравился и Достоевскому: «...Нурра произвёл на меня с первого же дня самое отрадное, самое милое впечатление... В каторге его все любили. Он был всегда весел, приветлив ко всем, работал безропотно, спокоен и ясен... Сам он во всё продолжение каторги не украл ничего, не сделал ни одного дурного поступка. Был он чрезвычайно богомолен... Его все любили и в честность его верили. “Нурра – лев”, – говорили арестанты... Нельзя было не заметить его доброго, симпатизирующего лица... Добрый и наивный Нурра!»¹²⁵.

В комментариях к ПСС находим небольшую ремарку, относящуюся именно к Нурре: «Достоевский осуждает политику национального угнетения. Так, вся вина честного лезгина Нурры была в том, что он переходил от мирных горцев к немирным, но это не мешало ему на каторге прекрасно ужиться с русскими»¹²⁶.

Необходимое уточнение: Токаржевский пишет о том, что горцы в остроге были гораздо ближе к полякам, чем к русским. Поляки жили с горцами в одном каземате, им даже вместе приходилось отражать нападения уголовников, из которых состояла основная масса каторжан.

Аким Акимыч

Загадочна фигура Акима Акимыча. Как убедительно доказывается в комментариях ПСС, под этим «псевдонимом» скрывается прапорщик Иван Белых. Возможно, Ивана Белых действительно на каторге звали Аким Акимычем, то есть речь идёт о прозвище, и Достоевский с Токаржевским могли не знать его подлинного имени (то же самое нужно сказать о ряде других персонажей, чьи фамилии у обоих авторов весьма отличаются от тех, что обозначены в архивных источниках).

Достоевский пишет об Акиме Акимовиче как о человеке, с которым он «близко сошёлся»: «Начал он на Кавказе... наконец, был произведён в офицеры и отправлен в какое-то укрепление старшим начальником. Один соседний мирный князёк зажёг его крепость и сделал на неё ночное нападение; оно не удалось... Аким Акимыч звал князю к себе по-дружески в гости. Тот приехал, ничего не подозревая... Тут же прочёл ему самое подробное наставление, как должно мирному князю вести себя вперёд, и, в заключение, расстрелял его...»¹²⁷.

Таким образом, сказано однозначно: «князёк зажёг его крепость». Конечно, Достоевский в данном случае передаёт свидетельство самого Акима Акимовича и его убеждённость в агрессивных намерениях «князюка».

Шимон Токаржевский в книге «Побег» посвящает этой истории целую главу.¹²⁸ Из её текста вовсе не следует, что князь был поджигателем. Просто «стражник под одними воротами почувствовал запах тлеющих тряпок и дерева», а Аким Акимович непонятно почему заподозрил в поджоге горцев.

Комментарии к ПСС содержат текст документа, из коего следует, что Акима Акимыча приговорили к двенадцати годам каторги, что полностью соответствует и сведениям Токаржевского. Там же сообщается, что сторожевой пост действительно «неизвестно отчего загорелся», что скорее подтверждает данные Токаржевского, чем Достоевского. Однако имя князя у Токаржевского – Джемал-Еддин, а то, что упомянуто в архивном источнике – Мурза бек Кубанов. В архивном документе также сказано, что князя не расстреляли, как это утверждали Достоевский и Токаржевский, а ударили его несколько раз по голове, после чего было приказано «лезвием ножа перерезать шею».¹²⁹

Возможно, упомянутые разночтения вызваны сознательной или, напротив, непреднамеренной неточностью сведений, которые Аким Акимыч передавал сокаторжникам, а также тем, что на слух славянина кавказские имена воспринимаются не всегда достаточно отчётливо, отсюда их плохая «запоминаемость».

Аристов

Оба автора с брезгливостью пишут о доносчике Аристове. *Достоевский*: «Это был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и исподлиться человек и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство, без труда и без раскаiania... он переносил нашему плац-майору всё, что делается в остроге... Я вспоминаю об этом гадком существе как об феномене. Я несколько лет прожил среди убийц, развратников и отъявленных злодеев, но положительно говорю, никогда ещё в жизни я не встречал такого полного нравственного падения, такого решительного разврата и такой наглой низости, как в А-ве... На моих

глазах, во всё время моей острожной жизни, А-в стал и был каким-то куском мяса, с зубами и с желудком и с неутолимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений... Это было чудовище, нравственный Квазимодо... нет, лучше пожар, лучше мор и голод, чем такой человек в обществе!»¹³⁰.

Токаржевский: «Крапо¹³¹... доносит плац-майору обо всём, что происходит в тюрьме, рассказывает и о том, что никогда не было, не щадя никого... Крапо восстановил против нас всю каторгу, подстрекая тем, что поляки, де, доносчики и злодеи... Злодей и махинатор Аристов омерзел всем каторжанам, и всё-таки изменить своё поведение даже не думал. Он подделывает паспорта, фабрикует фальшивые деньги...»¹³².

История с портретом

В обеих книгах находим историю с портретом, который плац-майор Кривцов заказал у Аристова, представившегося художником. *Достоевский:* «Между прочим, он¹³³ уверил майора, что он может снимать портреты... и тот потребовал, чтоб его высылали на работу к нему на дом, для того, разумеется, чтоб рисовать майорский портрет... Наш майор, кажется, действительно верил, что А-в был замечательный художник, чуть не Брюллов, о котором и он слышал... Между прочим, он заставлял А-ва снимать ему сапоги и выносить из спальни разные вазы, и всё-таки долго не мог отказаться от мысли, что А-в великий художник. Портрет тянулся бесконечно, почти год. Наконец, майор догадался, что его надувают, и, убедившись вполне, что портрет не оканчивается, а, напротив, с каждым днём всё более и более становится на него непохожим, рассердился, исколотил художника и сослал его за наказание в острог, на чёрную работу...»¹³⁴.

Токаржевский: «Сперва-наперво (Аристов, – *сост.*) представился плац-майору как художник-портретист, считая, что таким образом найдёт применение своим “галантам”. И в самом деле, Васька, не долго думая, вызывает Аристова и заказывает написать с себя портрет. Вооружённый кистями и красками, Крапо¹³⁵, продолжая выдавать себя за художника, усердно работает, а попутно лебезит и угождает из всех сил... Мы же потешались, что рукою шпика запечатлён будет образ пьяницы и гнобителя

безвинных людей. Но вот получилось так, что именно портрет разрушил благополучие Аристова. Почти целый год Васька позировал ему ежедневно, а Крапо энергично размахивал кистями, но из-под кисти художника-самозванца “вылупился” бесформенный уродец, какая-то ни на что не похожая пачкотня разноцветных красок. Васька впал в бешенство, что позволил так себя провести, повалил псевдо-художника на пол, пинал его ногами, избил и велел конвойным солдатам отправить в тюрьму и использовать на самых тяжёлых работах»¹³⁶.

Аристов и Мирецкий

Отношение доносчика Аристова к поляку Мирецкому авторы называют не иначе, как подлым. *Достоевский:* «...А-в... тотчас уверил его¹³⁷, что он сослан за совершенно противоположное доносу, почти за то же, за что сослан был и М. М. страшно обрадовался товарищу, другу. Он ходил за ним, утешал его в первые дни каторги, предполагая, что он должен был очень страдать, отдал ему последние свои деньги, кормил его, поделился с ним необходимейшими вещами. Но А-в тотчас же возненавидел его именно за то, что тот был благороден, за то, что с таким ужасом смотрел на всякую низость, за то именно, что был совершенно не похож на него, и всё, что М., в прежних разговорах, передал ему об остроге и о майоре, всё это А-в поспешил при первом случае донести майору. Майор страшно возненавидел за это и угнетал М., и если бы не влияние коменданта, довёл бы его до беды. А-в же не только не смущался, когда потом М. узнал про его низость, но даже любил встречаться с ним и с насмешкой смотреть на него. Это, видимо, доставляло ему наслаждение. Мне несколько раз указывал на это сам М.»¹³⁸.

Токаржевский: «Распрекрасный Олесь¹³⁹, обуянный жалостью, поделился с Аристовым скудным своим “состоянием”, поскольку тот пожаловался, что лишился одежды, в которую зашито было немного денег... Вся эта история впечатлительному Олесю показалась вполне правдоподобной. Когда мы прибыли, он даже предложил, чтобы Аристова тоже допустили в наш круг, и чтобы он жил рядом с нами бок о бок, по-братски. Если бы не Юзик¹⁴⁰, который внимательно взгляделся в нашего проходимца

и воспротивился предложению Олеся, Аристов – этакая змея, влез бы в нашу среду, нам на горе... Бедный Олень, который поделился с Аристовым остатками того, что у него оставалось, в результате наветов шпики сразу же становится излюбленным объектом преследований Васьки¹⁴¹ за вымышленные Аристовым проступки, так что днём и ночью Мирецкому приходилось быть начеку. Нас тоже Аристов не “забыл”, так что мы решительно его от себя оттолкнули»¹⁴².

Олень Мирецкий

Достоевский «зашифровал» Мирецкого¹⁴³ либо сокращённым «М-цкий», «М-кий», либо просто буквой М., причём в последнем случае нигде не оговаривался, что пишет о поляке. Кого имел в виду Достоевский, когда писал о «М.», становится понятным только при сопоставлении текста с книгой Токаржевского. Так, в упомянутой истории с портретом под «М.» скрывался именно Мирецкий, это доказывает сравнением приведённых выше цитат.

Токаржевский пишет, что «Александр Мирецкий прибыл в Омск ещё в 1846 году. До нашего прибытия он был единственным поляком и политическим заключённым среди толпы бандитов»¹⁴⁴. Для Токаржевского это товарищ, друг, соотечественник.

Достоевский отдаёт должную дань уважения Мирецкому, его дружелюбию, добродушию, контактности. Фёдор Михайлович заслужил расположение Мирецкого, брал у него во временное пользование вещи. В «Записках» поминается, например, «наш смешной, самодельный, маленький самовар из жести, который дал мне на подержание М.»¹⁴⁵.

Впрочем, во второй части «Записок из Мёртвого Дома» встречаем и более сдержанные оценки: «Между тем М-кий с годами становился грустнее и мрачнее. Тоска одолевала его. Прежде, в первое моё время в остроге, он был общительнее, душа его всё-таки чаще и больше вырывалась наружу. Уже третий год жил он в каторге в то время, как я поступил. Сначала он многим интересовался из того, что в эти два года случилось на свете и об чём он не имел понятия, сидя в остроге; расспрашивал меня, слушал, волновался. Но под конец, с годами, всё это как-то стало в нём сосредоточиваться внутри, на сердце. Угли покрывались золою.

Озлобление росло в нём более и более. “Je hais ces brigands”, – повторял он мне часто, с ненавистью смотря на каторжных, которых я уже успел узнать ближе, и никакие доводы мои в их пользу на него не действовали. Он не понимал, что я говорю; иногда, впрочем, рассеянно соглашался; но на завтра же опять повторял: “Je hais ces brigands”. Кстати: мы с ним часто говорили по-французски, и за это один пристав над работами, инженерный солдат Дранишников, неизвестно по какому соображению, прозвал нас фершелами. М-кий воодушевлялся, только вспоминая про свою мать. “Она старая, она больная, – говорил он мне, – она любит меня более всего на свете, а я здесь не знаю, жива она или нет? Довольно уж для неё того, что она знала, как меня гоняли сквозь строй...” М-кий был не дворянин и перед ссылкой был наказан телесно. Вспоминая об этом, он стискивал зубы и старался смотреть в сторону»¹⁴⁶.

Причины сдержанного отношения Мирецкого, равно и других поляков, к Достоевскому? Токаржевский объясняет это посвоему: «Однако же, в самом деле, каким чудом Достоевский заделался конспиратором?... Наверное, он невольно поддался минутному увлечению, также, как невольно пришлось примириться со злосчастьем, которое случайно через конспирацию занесло его аж до омской каторги. Достоевский ненавидел поляков, поскольку ему не нравились ни их внешность, ни их имена, увы! Ему претило польское происхождение, он говорил, что если бы узнал, что в его жилах течёт хотя бы одна капля польской крови, он тотчас бы велел её выпустить»¹⁴⁷.

Богуславский и Жоховский

В седьмой главе («Новый знакомства. Петров») Достоевский посвящает несколько предложений Богуславскому, Жоховскому и Токаржевскому. Богуславского¹⁴⁸ он «зашифровывает» буквой «Б.», а Токаржевского и Жоховского не называет ни действительными именами, ни литературными, однако, сравнивая «Записки из Мёртвого Дома» с книгой Токаржевского, становится понятным, о ком именно идёт речь. Надо отметить также, что в этой главе упомянутые лица не названы и поляками.

Итак, Достоевский пишет: «Б.¹⁴⁹ был слабосильный, тщедушный человек, ещё молодой, страдавший грудью. Он прибыл в

острог с год передо мною вместе с двумя другими из своих товарищей – одним стариком¹⁵⁰, всё время острожной жизни денно и ночью молившимся богу (за что очень уважали его арестанты) и умершем при мне, и с другим, ещё очень молодым человеком¹⁵¹, свежим, румяным, сильным, смелым, который дорогою нёс уставшего с пол-этапа Б., что продолжалось семьсот вёрст сряду. Нужно было видеть их дружбу между собою. Б. был человек с прекрасным образованием, благородный, с характером великодушным, но испорченным и раздражённым болезнью»¹⁵².

В примечаниях у Токаржевского это место приводится с сокращениями. Но «анонимные» персонажи Достоевского автором примечаний («переписчицей») названы по именам. Вот как выглядит перевод цитаты из Достоевского в подстрочнике к книге «Семь лет каторги»: «...встретился с *Токаржевским*¹⁵³, ещё очень молодым человеком, свежим, румяным, сильным, смелым, который в дороге пол-этапа нёс на плечах падающего от усталости *Богуславского*, что повторялось на протяжении 700 вёрст. Надо было видеть, какая приязнь связывала их»¹⁵⁴.

Но почему Достоевский не сообщает, что речь идёт о поляках? Заметим: когда он пишет о них уважительно, национальность не упоминается. Но когда появляется не вовсе лицепрятный подтекст – вот тогда и вводятся в обращение слова «поляки» или «Польша».

О Жоховском¹⁵⁵ Токаржевский отзывается с исключительной теплотой: «Этот старец... оставался таким умиротворённым!... Он не винил свою долю, не проклинал её, а на всё и на всех взирал со спокойствием мудреца – с всепониманием истинного христианина»¹⁵⁶. И далее: «Бедный старик молился каждый день и подолгу, всегда тихий, спокойный, учтивый – он даже в оголтелых и диких людях вызывал сочувствие и уважение»¹⁵⁷. Токаржевский, как бы уточняя свидетельство Достоевского, сообщает, что умер Жоховский в 1851 году¹⁵⁸.

И ещё один переключ с написанным у Достоевского: «Юзефа Богуславского назвали “больной”, так как он, на самом деле, часто недомогал, вид у него был болезненный. Меня окрестили “храбрый”, потому что, хотя никому я не перебежал дорогу, и был со всеми исключительно уступчивым, – что-то этакое внушал

разбойникам, что они держались от меня подальше, но с оглядкой, опасаясь моих достаточно сильных кулаков»¹⁵⁹.

«Убеждения его иногда были очень странные...»

Отношения с Богуславским у Достоевского были неровные. Во второй части книги Ф.М. пишет о полном разрыве: «...мы два года ходили с Б-м на одни работы, чаще же всего в мастерскую. Мы с ним болтали; говорили об наших надеждах, убеждениях. Славный был он человек; но убеждения его иногда были очень странные, исключительные. Часто у некоторого разряда людей, очень умных, устанавливаются иногда совершенно парадоксальные понятия. Но за них столько было в жизни выстрадано, такую дорогою ценою они достались, что оторваться от них уже слишком больно, почти невозможно. Б-кий с болью принимал каждое возражение и с едкостью отвечал мне. Впрочем, во многом, может быть, он был и правее меня, не знаю; но мы наконец расстались, и это было мне очень больно: мы уже много разделили вместе»¹⁶⁰.

О том, в чём могли заключаться у Достоевского разногласия с Богуславским и другими поляками, легко представить по книгам Токаржевского. Вот один из примеров столкновения взглядов:

«...“Аристократизм”, “дворянство”, “я дворянин”, “мы, дворяне” – повторял он¹⁶¹ постоянно, как скворец, который только одно это умеет и любит повторять.

Иногда, повернувшись к нам, полякам, повторял “*мы, аристократия*”, но мы прерывали его постоянно:

– Извините, – говорил я, – но мне думается, что в этом остроге нет никакой аристократии и никакого дворянства, здесь только люди, лишённые всяких прав, только каторжники.

И он тотчас же просто вспенивался от злости.

– А вы, наверное, и рады, что каторжник, – кричал он, злобно иронизируя.

– Да, я каторжник, я таков, я рад, что я есть то, что есть, – отвечал я ему спокойно»¹⁶².

«Вечно молившийся богу старик...»

В восьмой главе второй части Достоевский вновь обращается и к фигуре Жоховского, очень невежливо называя его «тупым» и

«неприятным»: «Этот Ж-кий был тот самый вечно молившийся богу старик, о котором я уже упоминал. Все наши политические преступники были народ молодой, некоторые даже очень; один Ж-кий был лет уже с лишком пятидесяти. Это был человек, конечно, честный, но несколько странный. Товарищи его, Б-кий и Т-кий, его очень не любили, даже не говорили с ним, отзываясь о нём, что он упрям и вздорен. Не знаю, насколько они были в этом случае правы. В остроге, как и во всяком таком месте, где люди собираются в кучу не волею, а насильно, мне кажется, скорее можно поссориться и даже возненавидеть друг друга, чем на воле. Много обстоятельств тому способствует. Впрочем, Ж-кий был действительно человек довольно тупой и, может быть, неприятный. Все остальные его товарищи были тоже с ним не в ладу. Я с ним хоть и никогда не ссорился, но особенно не сходиллся. Свой предмет, математику, он, кажется, знал. Помню, он всё мне силился растолковать на своём полурусском языке какую-то особенную, им самим выдуманную астрономическую систему. Мне говорили, что он это когда-то напечатал, но над ним в учёном мире только посмеялись. Мне кажется, он был несколько повреждён рассудком. По целым дням он молился на коленях богу, чем снискал общее уважение каторги и пользовался им до самой смерти своей. Он умер в нашем госпитале после тяжкой болезни, на моих глазах»¹⁶³.

Слово «тупой», обращённое к человеку науки, выглядит более чем неуместно, равно и утверждение, что свой предмет Жоховский, «*кажется, знал*». Ничем не подкрепляются и утверждения, что Токаржевский с Богуславским «его очень не любили». В своей книге Токаржевский с неприязнью пишет о Достоевском, но никак не о Жоховском. Более того, Токаржевский называет Жоховского «любимым моим профессором» и вспоминает случай, когда в тяжёлую минуту, когда готов был совершить самоубийство, обратился за помощью именно к нему:

«Наверное, я исполнил бы своё намерение, потому что самоубийство казалось мне единственным выходом из страданий, обид и преследований.

От греха, от погибели моей бессмертной души спас меня любимый мой профессор Жоховский.

Это случилось в предвечерний час... Жоховский вышел, чтобы помолиться...

Я почувствовал себя таким ничтожным по сравнению с ним, таким грешным, что припал к его ногам, охваченным кандалами, и изболевшей своей головой прижался к его коленям и, заливаясь слезами, прошептал:

– Помолимся вместе, отче! Помолимся, а потом ты молись за меня, ох, молись за меня каждодневно!»¹⁶⁴.

Разнится описание обстоятельств, сопутствующих наказанию Жоховского. По прибытии в Омскую крепость плац-майор распорядился дать старику Жоховскому, по информации Достоевского – сто розог, тогда как у Токаржевского сказано: «триста розог». У Достоевского безобразная сцена с майором Кривцовым обрывается на том, что тот приказывает наказать Жоховского, тогда как, по информации Токаржевского, последовали также «оскорбительные и похабные» выражения, которые «повторять не берусь». Приводим доказательства. *Достоевский*: «Впрочем, уважение каторжных он¹⁶⁵ приобрёл с самого первого шагу в острог после своей истории с нашим майором. В дороге от У-горска до нашей крепости их не брили, и они обросли бородами, так что когда их прямо привели к плац-майору, то он пришёл в бешеное негодование на такое нарушение субординации, в чём, впрочем, они вовсе не были виноваты.

– В каком они виде! – заревел он. – Это бродяги, разбойники!

Ж-кий, тогда ещё плохо понимавший по-русски и подумавший, что их спрашивают: кто они такие? бродяги или разбойники? – отвечал:

– Мы не бродяги, а политические преступники.

– Ка-а-к! Ты грубить? грубить! – заревел майор. – В кордегардию! сто розог, сей же час, сию же минуту!

Старика наказали. Он лёг под розги беспрекословно, закусил себе зубами руку и вытерпел наказание без малейшего крика или стоны, не шевелясь»¹⁶⁶.

А вот как этот случай описан Токаржевским:

«Плац-майор Василий Григорьевич Кривцов, владыка нашей жизни и смерти, впервые предстал перед нами в очках и шлафроке.

– Это что? – крикнул. – Что это, я спрашиваю? Это крепостные арестанты? Каторжники в гражданской одежде, небритые, с бородами, с усами (*профессор Жоховский и Богуславский отпустили длинные бороды*). Это что за обличье? Я кому говорю? Это почему? Смею спросить, на кого эти люди похожи?...

Поскольку мы молчали, наверное, криками всё бы и обошлось, если бы Васька, указывая на Жоховского, не рыкнул:

– А этот? Это кто? Настоящий бродяга (*так русские называют бывших каторжников и тех, кто не помнит роду-племени*).

Жоховский, оскорблённый такими эпитетами, подал голос и крикнул:

– Я – политический заключённый.

Последовавшие выкрики Васьки и выражения, допущенные в отношении профессора, повторить не берусь – чересчур они были оскорбительны и похабны... А когда ему уже не хватало слов, чтобы нас достаточно унижить, он велел писарю записать, что на следующий день Жоховский получит триста розог¹⁶⁷.

Достоевский приводит свидетельства Олесь Мирецкого, который вспоминал о наказании Жоховского. Возможно, некоторые неточности, которые как бы «исправляет» Токаржевский, следуют от того, что Достоевский не совсем правильно понял отдельные высказывания Мирецкого.¹⁶⁸ *Достоевский*: «Б-кий и Т-кий тем временем уже вошли в острог, где М-кий уже поджидал их у ворот и прямо бросился к ним на шею, хотя до сих пор никогда их и не видывал. Взволнованные от майорского приёма, они рассказали ему всё о Ж-ком. Помню, как М-кий мне рассказывал об этом: “Я был вне себя, – говорил он, – я не понимал, что со мною делается, и дрожал, как в ознобе. Я ждал Ж-го у ворот. Он должен был прийти прямо из кордегардии, где его наказывали. Вдруг отворилась калитка: Ж-кий, не глядя ни на кого, с бледным лицом и с дрожащими бледными губами, прошёл между собравшихся на дворе каторжных, уже узнавших, что наказывают дворянина, вошёл в казарму, прямо к своему месту, и, не слова не говоря, стал на колени и начал молиться богу”¹⁶⁹. Каторжные были поражены и даже растроганы. “Как увидел я этого старика, – говорил М-кий, – седого, оставившего у себя на родине жену, детей, как увидел я его на коленях, позорно наказанного и молящегося, – я

бросился за казармы и целых два часа был как без памяти; я был в исступлении...” Каторжные стали очень уважать Ж-го с этих пор и обходились с ним всегда почтительно. Им особенно понравилось, что он не кричал под розгами»¹⁷⁰.

Причины такого «чувствительного» поведения Мирецкого становятся понятными по прочтении книги Токаржевского. Мало того, что Мирецкий до 1849г. был единственным поляком на каторге, так он ещё подвергался постоянным незаслуженным притеснениям со стороны плац-майора Кривцова, который посылал его на самые тяжёлые работы. В тексте Токаржевского находим также место, которое помогает прояснить вопрос о разночтениях в вопросе о количестве «розог», полученных Жоховским на второй день прибытия в Омск. Напомним: Достоевский пишет о 100 «розгах», а Токаржевский о 300. Но почему?

Возможно, причина в неточностях свидетельств Мирецкого, которые использует Достоевский, или в неправильной их передаче. Сам Мирецкий, как сообщает Токаржевский, получил однажды 100 розог. Не исключено, что Мирецкий рассказал о том Достоевскому, который, в свою очередь, спутал два события, и упоминает о ста розгах, но уже для Жоховского. *Токаржевский*: «В дверях стоял Олесь Мирецкий, который до того совершенно нас не знал, а теперь с радушной улыбкой бросился нам в объятия... Прибыл он в 1846 году. Вскоре после этого Васька стал плац-майором. Бедный Олесь терпел всяческие притеснения. Васька отобрал у него всё, что тот имел, посылал его на самые тяжёлые работы и зорко следил, чтоб все его приказы, касающиеся Олесья, неукоснительно соблюдались. Он приходил в каземат по нескольку раз в день, и даже вечером, как бешеный пёс рычал на Олесья, а однажды велел ему дать сто розог¹⁷¹»¹⁷².

Описывая последствия экзекуции Жоховского, Достоевский обращает внимание на то, что история эта вызвала резонанс среди начальства и пострадал прежде всего авторитет Кривцова. Токаржевский же предполагал, что Кривцова ещё долго мучила совесть; несколько лет спустя, будучи в отставке, уже после смерти Жоховского, он попросил прощения у Токаржевского и всех поляков. Кривцов считал, что Бог наказал его именно за несправедливое отношение к Жоховскому. *Достоевский*: «Нам известно

было, что комендант, узнав об истории с стариком Ж-ким, очень вознегодовал на майора и внушил ему, чтоб он на будущее время изволил держать руки покороче. Так рассказывали мне все. Знали тоже у нас, что сам генерал-губернатор, доверявший нашему майору и отчасти любивший его как исполнителя и человека с некоторыми способностями, узнав про эту историю, тоже выговаривал ему. *И майор наш принял это к сведению*¹⁷³. Уж как, например, ему хотелось добраться до М-го, которого он ненавидел через наговоры А-ва, но он никак не мог его высечь, хотя и искал предлога, гнал его и подыскивался к нему. Об истории Ж-го скоро узнал весь город, и общее мнение было против майора; многие ему выговаривали, иные даже с неприятностями»¹⁷⁴.

Касаясь прибытия новой партии поляков в Омск 17 июня 1850г., Токаревский вновь упоминает Жоховского: «С ними Васька вёл себя пристойно, совсем не так, как с нами. *Может, мучили его угрызения совести за незаслуженные издевательства над Жоховским*¹⁷⁵...»¹⁷⁶.

Достоевский тоже считает, что Кривцов раскаиался, однако причиной такой перемены к профессору называет потепление отношения плац-майора к полякам вообще, а всё потому, что они стали для него полезны, поскольку расписывали потолки в его доме:

«В этом месяце майор совершенно изменил своё мнение о всех наших и начал им покровительствовать. Дошло до того, что однажды вдруг он потребовал к себе из острога Ж-го.

– Ж-кий! – сказал он, – я тебя оскорбил. Я тебя высек напрасно, я знаю это. Я раскаиваюсь. Понимаешь ты это? Я, я, я – раскаиваюсь!

Ж-кий отвечал, что он это понимает.

– Понимаешь ли ты, что я, я, твой начальник, призвал тебя с тем, чтоб просить у тебя прощения! Чувствуешь ли ты это? Кто ты передо мной? Червяк! Меньше червяка: ты арестант! А я – божьею милостью майор. Майор! Понимаешь ли ты это?

Ж-кий отвечал, что и это понимает.

– Ну, так теперь я мирюсь с тобой. Но чувствуешь ли, чувствуешь ли это вполне, во всей полноте? Сообрази только: я, я, майор... и т.д.

Ж-кий сам рассказывал мне всю эту сцену. Стало быть, было же и в этом пьяном, вздорном и беспорядочном человеке человеческое чувство. Взяв в соображение его понятия и развитие, такой поступок можно было считать почти великодушным. Впрочем, пьяный вид, может быть, тому много способствовал»¹⁷⁷.

Токаревский же рассматривает несчастья, обрушившиеся впоследствии на Кривцова, как бумеранг судьбы за несправедливое отношение к полякам. На последних страницах «Семи лет каторги» рассказывается о встрече с Кривцовым, который просил милостыню на мосту:

«Он поднял мутные и бездумные глаза и узнал меня. Снял шапку.

– Что с Вами случилось, Василий Григорьевич? – спросил я.

– Бог наказал меня за светлой памяти Жоховского, за вас всех, простите!»¹⁷⁸.

Анчиковский и Бэм

Поляка Анчиковского Достоевский почти не замечает, считая его личностью совершенно бесцветной. А к Бэму настроен скорее враждебно, называет «грубой, мелкопомещанской душой» и подчёркивает, что он «на всех нас производил прескверное впечатление». Но Токаревский отзывается о Бэме прекрасно. И, значит, отнюдь не на всех он действовал отталкивающе? *Достоевский*: «...А-чуковский был уж слишком простоват и ничего особенного не заключал в себе, но... Б-м, человек уже пожилой, производил на всех нас прескверное впечатление. Не знаю, как он попал в разряд таких преступников, да и сам он отрицал это. Это была грубая, мелкопомещанская душа, с привычками и правилами лавочника, разбогатевшего на обчисланные копейки. Он был безо всякого образования и не интересовался ничем, кроме своего ремесла. Он был маляр, но маляр из ряду вон, маляр великолепный. Скоро начальство узнало о его способностях, и весь город стал требовать Б-ма для малеванья стен и потолков. В два года он расписал почти все казённые квартиры... Но всего лучше было то, что на работу вместе с ним стали посылать и других его товарищей. Из троих, ходивших с ним постоянно, двое научились у него ремеслу, и один из них, Т-жевский, стал малевать не хуже его.

Наш плац-майор, занимавший тоже казённый дом, в свою очередь потребовал Б-ма и велел расписать ему все стены и потолки. Тут уж Б-м постарался: у генерал-губернатора не было так расписано. Дом был деревянный, одноэтажный, довольно дряхлый и чрезвычайно шелудивый снаружи: расписано же внутри было, как во дворце, и майор был в восторге... Он потирал руки и поговаривал, что теперь непременно женится. «При такой квартире нельзя не жениться», – прибавлял он очень серьёзно. Б-мом был он всё более и более доволен, а чрез него и другими, работавшими с ним вместе»¹⁷⁹.

Токаржевский, в основном, подтверждает и детализирует свидетельства Достоевского. Но в оценке личности Бэма с автором «Мёртвого Дома», конечно, не сходится. *Токаржевский*: «Как только по Омску разошлась весть, что новый польский каторжник – художник, тотчас омская элита вознамерилась использовать умение Бэма, чтобы приукрасить свои жилища. Васька первым приставил Бэма к росписи комнат в своём доме»¹⁸⁰.

Заметим разночтение: Токаржевский пишет, что Бэм расписывал комнаты Кривцову *в первую очередь*, у Достоевского же такое умение Бэма Кривцов использует лишь после того, как тот расписал комнаты генерал-губернатору. И если Токаржевский был знаком с «Записками из Мёртвого Дома», то, значит, Достоевского как бы *поправляет*. Читаем «Семь лет каторги»: «При своих художественных работах Бэм брал в помощники Юзика и меня. Так мы набили себе руку в росписи апартаментов, особенно я. В Щербезинской школе я делал успехи в рисовании, и без ложной скромности, теперь я мог выполнять задания, которые мне поручал Бэм, причём он говорил, что “ученик превзошёл учителя”...»¹⁸¹ Далее в польском тексте следует ссылка на использованное «переписчицей» издание «Записок из Мёртвого Дома», которое как бы «подкрепляет» мемуары Токаржевского.¹⁸²

Исследователь В.А. Дьяков, сравнивая цитаты из Достоевского с архивными источниками, делает вывод, что текст «великого классика» в части, касающейся четырёх новоприбывших поляков (среди коих – Бэм и Анчиковский) грешит искажениями: «Характеристика, данная им в “Записках из Мёртвого дома”, явно не соответствует действительности»¹⁸³. Связано ли это с

недостатком информации или с *предвзятостью* писателя, судить трудно; но факт остаётся фактом»¹⁸⁴.

Правда, не указывается точно, в чём именно текст Достоевского, касающийся упомянутых четырёх поляков, *не соответствует действительности*, нет необходимой детализации вывода, хоть он и подкреплён цитированием документов.

Писарь Дягилев

Верного помощника плац-майора Кривцова, писаря Дягилева, Достоевский «зашифровывает» под псевдонимом «Дятлов»: «...писарь Дятлов, чрезвычайно важная особа в нашем остроге, в сущности, управляющий всем в остроге и даже имевший влияние на майора, малый хитрый, очень себе на уме, но и не дурной человек. Арестанты были им довольны»¹⁸⁵.

Токаржевский: «В Ордонанцгаузе представился нам писарь Дягилев. Вежливый до слащавости, тем не менее, он сразу предупредил, что все наши вещи отберут. Очевидно, хотел получить деньги и посоветовал, чтобы мы сразу облачились в каторжную форму, потому что плац-майор так требует, а он очень строгий»¹⁸⁶.

В.А. Дьяков, цитируя воспоминания Ю. Богуславского, приходит к ошибочному выводу, что Достоевский в «Записках» не упоминает писаря Дягилева вовсе¹⁸⁷: «В “Воспоминаниях” Богуславского упоминается писарь ордонансгауза Омского гарнизона Ипат Семенович Дягилев. Он был первым официальным лицом, с которым встречались в Омске партии каторжников, в том числе и та, с которой прибыл Богуславский... В “Записках из Мёртвого дома” Дягилева нет, но человек это совершенно реальный и наверняка известный Достоевскому»¹⁸⁸.

Первое упоминание о Токаржевском

Достоевский впервые упоминает Токаржевского (сокращая его фамилию до «Т-вский») в седьмой главе второй части. Отдавая дань уважения этому человеку, Достоевский пишет о нём всё же без особой теплоты: «В сенях в кухне мне встретился Т-вский, из дворян, твёрдый и великодушный молодой человек, без большого образования и любивший ужасно Б.»¹⁸⁹ Его из всех других различали каторжные и даже отчасти любили. Он был храбр,

мужественен и силён, и это как-то выказывалось в каждом жесте его»¹⁹⁰.

К слову сказать, эту цитату (с небольшими стилистическими изменениями при переводе) «переписчица», готовившая текст «Семи лет каторги», помещает в подстрочнике в такой редакции: «В сенях перед кухней встретил меня Токаржевский, юноша сильного характера и великодушного сердца. Каторжники выделяли его среди прочих и, похоже, даже любили. Он был мужественный, отважный и сильный, и это отражалось в каждом его движении»¹⁹¹.

Заметим, что Токаржевский настроен к Достоевскому более холодно: «...нам показалось сразу же, что этот известный сочинитель, автор “Бедных людей”, этот светоч северной столицы, как бы не дорос до своей собственной славы. Притом, что талантом сочинительства действительно обладал. Но речь идет не столь о повести Достоевского, сколь о его характере. Как, каким образом этот человек заделался конспиратором... Каким образом принимал участие в демократическом движении, он, гордец из гордцов, притом гордящийся по той причине, что принадлежит к привилегированной касте? Каким образом этот человек мог жаждать свободы людей, он, который признавал только одну касту и только за одной кастой, а именно аристократией, признавал право руководить народом во всём и всегда?»¹⁹².

«Купирование» цитат

Как уже было сказано, в подстрочнике к книге «Семь лет каторги» «переписчица» прибегает к прямому цитированию Достоевского, опуская при этом некоторые предложения. Похоже, что издатели тщательно сопоставляли тексты и купирование едва ли являлось случайным.

Сравним.

Достоевский: «Кроме этих троих русских, других (дворян, – *сост.*) в моё время перебивало у нас восемь человек. С некоторыми из них я сходилась довольно коротко и даже с удовольствием, но не со всеми. Лучшие из них были какие-то болезненные, исключительные и нетерпимые в высшей степени. С двумя из них я впоследствии просто перестал говорить»¹⁹³.

Подстрочник «Семи лет каторги»: «...Кроме тех трёх русских, других из дворянского сословия, во время моего пребывания в остроге было всего восемь человек... Лучшие из них были люди болезненные, обособляющиеся и в высшей степени нетерпимые. С двумя из них я потом перестал разговаривать...»¹⁹⁴.

Таким образом, в польском издании исключено из цитаты предложение: «С некоторыми из них я сходилась довольно коротко и даже с удовольствием, но не со всеми». Возможно, «переписчица» не согласна с таким утверждением Достоевского.

Далее. *Достоевский:* «Образованных из них было только трое: Б-ский, М-кий и старик Ж-кий, бывший прежде где-то профессором математики, – старик добрый, хороший, большой чудак и, несмотря на образование, кажется, крайне ограниченный человек. Совсем другие были М-кий и Б-кий. С М-ким я хорошо сошёлся с первого раза; никогда с ним не ссорился, уважал его, но полюбить его, привязаться к нему я никогда не мог. Это был глубоко недоверчивый и озлоблённый человек, но умевший удивительно хорошо владеть собой: как-то чувствовалось, что он никогда и ни перед кем не развернёт всей души своей. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Это была натура сильная и в высшей степени благородная. Чрезвычайная, даже несколько иезуитская ловкость и осторожность его в обхождении с людьми выказывала его затаённый, глубокий скептицизм. А между тем это была душа, страдающая именно этой двойственностью: скептицизма и глубокого, ничем непоколебимого верования в некоторые свои особые убеждения и надежды. Несмотря, однако же, на всю житейскую ловкость свою, он был в непримиримой вражде с Б-м и с другом его Т-ским. Б-кий был больной, несколько наклонный к чахотке человек, раздражительный и нервный, но в сущности предобрый и даже великодушный. Раздражительность его доходила иногда до чрезвычайной нетерпимости и капризов. Я не вынес этого характера и впоследствии разошёлся с Б-м, но зато никогда не переставал любить его; а с М-ким и не ссорился, но никогда его не любил»¹⁹⁵.

А вот как это место подано в подстрочнике к книге Токаржевского: «Старик Жоховский некогда был профессор математики – старец добрый, большой чудак и помимо специального образования, как

мне кажется, очень ограниченный человек. Совсем иными были Мирецкий и Богуславский. С Мирецким я сразу завязал близкое знакомство, никогда с ним не ссорился, уважал его, но полюбить его, привязаться к нему никак не смог. Это был человек глубоко недоверчивый и раздражённый, но прекрасно умевший владеть собой. Именно эта слишком сильная способность владения собой не нравилась мне в нём. Чрезмерная, иногда даже иезуитская осторожность в обхождении с людьми выдавала в нём глубокий, скрытый скептицизм. А между тем это была душа, страдающая именно вследствие своей двойственности: скептицизма и глубокой и ничем не омрачённой веры в правильность своих идеалов и их осуществлении... Богуславский был болезненный, с некоторой склонностью к туберкулёзу, нервный и вспыльчивый, но, в основном, прекрасный человек. Раздражительность приводила его иногда к чрезмерной нетерпимости и капризам. Я не мог этого вынести и впоследствии расстался с Богуславским»¹⁹⁶.

Что именно исключено «переписчицей» из цитаты? Во-первых, утверждение, что «образованных» среди поляков было только трое. Во-вторых, фраза, что Мирецкий «никогда и ни перед кем не развернёт всей души своей» и оговорка Достоевского, что он, «может быть, ошибается» (Ф.М. сам не уверен в верности оценки, поэтому издатели её из текста цитаты удаляют, как и утверждение, что Мирецкий – «натура сильная и в высшей степени благородная»; очевидно, противоречивость и путаность суждений великого писателя, при явном многословии, заставляет польских редакторов идти на купирование текста). В-третьих, удалена не совсем ясно выраженная мысль Достоевского: «Несмотря, однако же, на всю житейскую ловкость свою, он был в непримиримой вражде с Б-м и с другом его Т-ским». Получалось, что Мирецкий всячески «ловчил», чтобы не враждовать с Богуславским и Токаржевским, но ничего из такой «ловкости» не выходило, и мира не получалось. На «кастрирование» текста в данном случае подтолкнула, несомненно, некоторая невнятность формулировки. И, наконец, исключено утверждение, что Достоевский «никогда не переставал любить» Богуславского, а с Мирецким «и не ссорился, но никогда его не любил». Возможно, издатели заметили непоследовательность: если Достоевский

«никогда не переставал любить» Богуславского, то почему «не вынес его характера». Что касается слов «а с М-ким и не ссорился, но никогда его не любил», то они полностью воспроизводят сказанное выше: «никогда с ним не ссорился, ...но полюбить его, привязаться к нему я никогда не мог». То есть Достоевский дважды повторяет одно и то же, а польские издатели исключают «дубль».

А вот место о разрыве отношений с Токаржевским. *Достоевский*: «Разойдясь с Б-м, так случилось, что я тотчас же должен был разойтись и с Т-ским, тем самым молодым человеком, о котором я упоминал в предыдущей главе, рассказывая о нашей претензии. Это было мне очень жаль. Т-ский был хоть и необразованный человек, но добрый, мужественный, славный молодой человек, одним словом. Всё дело было в том, что он до того любил и уважал Б-го, до того благоговел перед ним, что тех, которые чуть-чуть расходились с Б-м, считал тотчас же почти своими врагами. Он и с М-м, кажется, разошёлся впоследствии за Б-го, хотя долго крепился»¹⁹⁷.

Перевод в польском издании: «Получилось так, что, порвав отношения с Богуславским, я вынужден был также прервать знакомство и с Токаржевским, с тем самым юношей, о котором я вспоминал в прежних главах книги. Всё это было мне тяжело. Токаржевский был добрым, мужественным, одним словом, был дельным юношей. Причиной разрыва послужило то, что он так любил и почитал Богуславского, что всех тех, которые хоть сколько-нибудь Богуславского сторонились, считал чуть ли не своими врагами...»¹⁹⁸.

Удалено место, касающееся «необразованности» Токаржевского. Действительно, если судить по стилю и содержанию книг этого удивительного поляка, никак нельзя назвать его «необразованным». Из его книг следует, что он владел несколькими языками, в том числе и латынью, он – тонкий знаток музыки и литературы, он сведущ в истории искусства, обо всём этом свидетельствуют многочисленные цитирования литературных произведений, постоянное использование музыкальных терминов (по-итальянски), живописнейшие описания сибирской природы, увиденной глазами художника. Более того, во второй части его воспоминаний язык

автора, может быть, даже избыточно пестрит выражениями «аристократического сленга» середины XIX «европейского» века, когда французский, немецкий и итальянский были общеходовыми языками, наряду с родным, в случае Токаржевского – польским.

Польский читатель, конечно, имел полное право проигнорировать выпады великого писателя по поводу «необразованности» Токаржевского. Очевидно, польские издатели не были согласны с Достоевским и в причинах разлада с Мирецким, потому что удалили из цитаты и фразу, что Токаржевский «разошёлся» с Мирецким из-за Богуславского, «хотя долго крепился». Возможно, Достоевский не очень верно представлял себе, каковы были отношения в кружке поляков, а издатели не хотели воспроизводить искажённые, непроверенные сведения.

Далее следует общая характеристика кружка поляков-каторжан. *Достоевский*: «Впрочем, все они были больные нравственно, желчные, раздражительные, недоверчивые. Это понятно: им было очень тяжело, гораздо тяжелее, чем нам. Были они далеко от своей родины. Некоторые из них были присланы на долгие сроки, на десять, на двенадцать лет, а главное, они с глубоким предубеждением смотрели на всех окружающих, видели в каторжниках одно только зверство и не могли, даже не хотели, разглядеть в них ни одной доброй черты, ничего человеческого, и что тоже очень было понятно: на эту несчастную точку зрения они были поставлены силою обстоятельств, судьбой. Ясное дело, что тоска душила их в остроге»¹⁹⁹.

Польский перевод в подстрочнике: «Все поляки омской каторги, впрочем, были морально нездоровыми, желчными, раздражёнными, недоверчивыми... Ясно, что их угнетала тоска^{200,201}».

Удалены, таким образом, объяснения причин, почему поляки были в дурном расположении духа. Очевидно, объяснения эти показали издателям излишними: сибирская каторга – не самое лучшее в мире место, радоваться нечему. Что касается «разглядывания» человеческого в каторжниках, на что поляки, по мнению Достоевского, были неспособны, то это, конечно, совсем неверно. Во-первых, автор «Мёртвого дома» сам же себе противоречит, поскольку тут же оговаривается, что с черкесами, татарами и Исаем Фомичом поляки были «ласковы и приветливы», а, во-вторых,

Токаржевский тоже описывает наиболее яркие характеры каторжан, и отнюдь не всех их представляет злодеями (о чём свидетельствует, например, главка «Федька»). Утверждение Достоевского не выглядит справедливым, поэтому издатели эту часть из цитаты исключают.

Далее Достоевский пишет так: «С черкесами, с татарами, с Исаем Фомичом они²⁰² были ласковы и приветливы, но с отвращением избегали всех остальных каторжных. Только один стародубский старовер заслужил их полное уважение. Замечательно, впрочем, что никто из каторжных в продолжение всего времени, как я был в остроге, не упрекнул их ни в происхождении, ни в вере их, ни в образе мыслей, что встречается в нашем простонародье относительно иностранцев, преимущественно немцев, хотя, впрочем, и очень редко. Впрочем, над немцами разве только смеются; немец представляет собою что-то глубоко комическое для русского простонародья. С нашими же²⁰³ каторжные обращались даже уважительно, гораздо более, чем с нами, русскими (дворянами, – *сост.*), и нисколько не *трогали* их. Но те, кажется, никогда этого не хотели заметить и взять в соображение»²⁰⁴.

В подстрочнике «Семи лет каторги» эта цитата подана так: «Для черкесов, татаров и для жидов они²⁰⁵ были ласковы и предупредительны, но избегали других каторжников. Только один стародубский старовер снискал их полное расположение... Примечательно, и стоит внимания, что никто из каторжников за всё время моего пребывания в остроге не надоедал им, не упрекал их, не пытался понять их образа мышления и узнать их происхождения, что часто бывает с нашим простым людом в отношениях с чужеземцами, особенно немцами. Что касается Немцев, то над ними только смеялись; немец для российского общества представляется как нечто удивительно смешное. С нашими поляками каторжники обходились даже с почтением, гораздо лучше, чем с нами, из русского дворянства, и вообще никогда их “не задевали”. А те, как мне кажется, не хотели даже видеть этого, или даже замечать...»²⁰⁶

Смысл передан, в целом, точно. Издатели цитируют это место, как бы соглашаясь с Достоевским в том, что каторжники уважали поляков более, чем немцев.

Перевод из Усть-Каменогорска в Омск

Достоевский коротко рассказывает об истории перевода группы поляков из Усть-Каменогорска в Омск: «Я заговорил о Т-ском. Это он, когда их переводили из места первой их ссылки в нашу крепость, нес Б-го на руках в продолжение чуть не всей дороги, когда тот, слабый здоровьем и сложением, уставал почти с полэтапа. Они присланы были прежде в У-горск. Там, рассказывали они, было им хорошо, то есть гораздо лучше, чем в нашей крепости. Но у них завелась какая-то, совершенно, впрочем, невинная, переписка с другими ссыльными из другого города, и за это их троих нашли нужным перевести в нашу крепость, ближе на глаза к нашему высшему начальству. Третий товарищ их был Ж-кий. До их прибытия М-кий был в остроге один. То-то он должен был тосковать в первый год своей ссылки!»²⁰⁷.

Токаржевский привносит некоторые дополнительные детали. «Невинная» переписка, о которой сообщает Достоевский, могла иметь для поляков роковые последствия: «Было это в конце мая. Когда мы вернулись с послеобеденной работы, в нашу камеру явился какой-то незнакомый полковник вместе с комендантом Маценко и майором Гусевым. С ними были ещё несколько офицеров и стражи. Они обыскали наши вещи, а нас рассадили по одиночке и запретили общаться между собой. Сперва мы очень встревожились, особенно присутствием нового полковника, но потом узнали, что обыски были и у Елизаветы²⁰⁸, и у Якублевичей²⁰⁹. Притом, ничего, кроме двух пустяковых писем, привезённых нам из Томска, больше не нашли... У нас обнаружили письма на польском языке, адресованные в Омск, для перевода на русский, из-за чего, собственно, и началось следствие. Нам пришлось при ведении протокола защищаться от недоказуемых обвинений Гусева. Этот глупец и негодяй оклеветал нас перед генерал-губернатором Сибири князем Горчаковым, будто бы через посредство Якублевича мы держали связь не только с Польшей, но даже с Парижем и Лондоном, якобы вознамеривались вооружить 60 тысяч киргизов и захватить фортецию (было бы что захватывать!!). Недоказанный никакими аргументами и ничем более неподкреплённый донос был принят следствием, причём повод к доносу

выяснился только во время его ведения. Целая история была придумана на том основании, что Якублевич не хотел подписать счета, представленные Гусевым, поскольку майор собирался присвоить уж слишком большие суммы, истраченные якобы на ремонты дамб и плотин, да и вообще всей крепости»²¹⁰.

История с побегом

Девятая глава второй части «Записок из Мёртвого Дома» посвящена истории побега с омской каторги – единственной на памяти автора. Токаржевский описывает её гораздо более сжато, причём бросаются в глаза некоторые разночтения в источниках.

Во-первых, Токаржевский приводит истинные имена участников побега, которые у Достоевского несколько видоизменены. Под А-вым подразумевается, конечно, Аристов, это было ясно и по предыдущим главам. Но вот новые уточнения: арестант особого отделения, названный в «Записках из Мёртвого дома» Куликовым, на самом деле был Александром Кулешовым, а поляк, обозначенный Достоевским как Коллер, в действительности был Котларом.

Во-вторых, история в изложении Достоевского всё-таки не совсем полная. Оказалась исключённой такая важная деталь, что это была вторая попытка побега Аристова, и что за первую, сорванную из-за доноса кучера генерал-майора Воробьёва, он после военного трибунала, длившегося несколько месяцев, получил триста розог.²¹¹ Выходит, что наказание не пошло Аристову впрок.

В-третьих, Токаржевский, очевидно, не доверяет свидетельствам Достоевского, хоть тот и описывает детали побега Аристова и его товарищей очень подробно. Токаржевский пишет: «Где они укрывались, неизвестно»²¹², хотя в «Записках из Мёртвого Дома» подробно обо всём рассказано. И, стало быть, показания Достоевского Токаржевский не считает убедительными, по крайней мере в этой их части.

В-четвёртых, Токаржевский поправляет Достоевского, который, возможно, привёл не совсем верные сведения о наказании провинившихся. По Достоевскому, Аристову «вышло всего пятьсот» бато-гов, ибо «взяли во внимание его удовлетворительное прежнее поведение и *первый*²¹³ проступок»²¹⁴. Тогда как Токаржевский

пишет о тысяче батогах для Аристов²¹⁵ и подчёркивает, что это попытка была отнюдь не *первая*, и, значит, Достоевский неточен.

Кулешов, по Достоевскому, получил полторы тысячи батогах (правда автор не уверен в этом и сопровождает означенные сведения словом «кажется»).²¹⁶ По Токаржевскому, Кулешов был приговорён к пятистам батогам.²¹⁷

Что касается Котлара, оба автора свидетельствуют, что он получил 2000 батогах. Достоевскому его было жаль более всего, а Токаржевскому вдвойне и втройне, потому как речь шла о соплеменнике, и не исключено, что тому определили наказание самое суровое, поскольку был поляком. Достоевский сообщает, что «Смолоду, только что придя на службу в Сибирь, он²¹⁸ бежал от глубокой тоски по родине», за что его приговорили к арестантским ротам.²¹⁹

В-пятых, Достоевский сообщает, что арестанты принимали известие о побеге «с какою-то необыкновенною, заглаженною радостью»²²⁰, с чем Токаржевский, конечно, не согласен. Напротив, он пишет, что ничего, кроме неприятностей, эта история не сулила, потому что тут же последовали обыски, и некоторые вещи у поляков были отобраны.

В-шестых, Достоевский свидетельствует, что означенные обыски не имели результата, и что арестанты «Предугадали тоже, что будут обыски, и заранее всё припрятали... всё перерыли, всё переискали – ничего не нашли, разумеется»²²¹. Но Токаржевский пишет прямо противоположное:

«Что стало в каземате после побега этих аферистов, трудно описать! Провели ревизию, однако что искали – так никто и не понял. Во время ревизии пропало всё убогое имущество арестантов...»

Когда толпа, которая проводила ревизию, появилась в нашем каземате, мы подошли к подполковнику и сообщили ему, что всё, что нам принадлежит, – с позволения Алексея Фёдоровича²²².

Шульгин был очень любезен, ревизия прошла мягче, чем в других местах, что пошло на пользу не только нам, но и всем прочим».²²³

Таким образом, хотя благодаря вмешательству Шульгина у поляков, а также и у некоторых других каторжников «ревизия прошла мягче», тем не менее, «пропало всё убогое имущество арестантов».

«Ошибка памяти...»

Исследователь Виктор Вайнерман обращает внимание на крайне интересную деталь. Токаржевский сообщает, что Достоевский на каторге читал полякам «своё произведение: оду на случай будущего вторжения победоносной армии в Константинополь», причём отдавал должное дань поэтическому мастерству писателя: «Ода была довольно красивая, но никто из нас²²⁴ не спешил её хвалить».²²⁵

Виктор Вайнерман считает, что сообщение Токаржевского не соответствует действительности: это «ошибка памяти», подобная той, которую польский автор допускает в том месте, где описывает, как каторжанам брили головы²²⁶ (*см. выше*).

Вывод подкреплён следующим образом: «Токаржевский не мог не знать, что Достоевскому, как и другим политическим, было запрещено в каторге писать и хранить какие-либо рукописи. Ода, о которой пишет Токаржевский, называется “На европейские события в 1854 году”. Она была написана Достоевским значительно позднее, в первые месяцы службы Достоевского в солдатах, в Семипалатинске. Таким образом, Токаржевский мог ознакомиться с этим стихотворением *только вне острога и только из уст самого писателя*²²⁷, потому что она никогда не была опубликована. Попутно возникает вопрос, на который у меня нет ответа – при каких же обстоятельствах участники описываемого диалога встретились? О факте их встречи в послекаторжные годы в литературе до сих пор не было никаких упоминаний».²²⁸

Но ведь Токаржевский совсем не утверждал, что видел *написанный* текст оды. Он только сообщает, что Достоевский *читал* её полякам. Очевидно, читал *изустный* вариант, который послужил основой для будущего, зафиксированного на бумаге уже после выхода из острога. Другого объяснения нет. Как справедливо утверждает Виктор Вайнерман, свидетельства о встречах Токаржевского с Достоевским в более поздние годы пока – по крайней мере, в Сибири – неизвестны, и в опубликованном виде Токаржевский упомянутую оду увидеть не мог никак.

Значит, никакой «ошибки памяти» у Токаржевского не было, и перед нами бесценное свидетельство, касающееся творческой кухни

великого писателя и прекрасной его памяти (какой же поэт не помнит наизусть то, что написал?). Как это и бывало у Достоевского не раз, сначала рождались планы, наброски, которые отнюдь не сразу превращались в законченное произведение. Очевидно, то же самое произошло и с одой, что и подтверждается Токаржевским, с той лишь разницей, что набросок был, в силу очень верно подмеченных В. Вайнерманом обстоятельств, не письменный, а изустный.

Построенный на не вполне крепком фундаменте вывод об «ошибке памяти» Токаржевского послужил отправной точкой для дальнейших обобщений:

«Не имея возможности дотошно проверить, насколько правдив Токаржевский, рассказывая о том, что происходило вокруг него, а, значит, и вокруг Достоевского, *всё же сделаем скидку на бурное воображение состарившегося человека и на время, прошедшее со времени событий, о которых он вспоминает.*²²⁹ Учтём, что мемуары ссыльного поляка едва ли не единственные в своём роде. Отметим его искреннее желание (я не говорю о возможности!) воссоздать реальную картину происходившего. И согласимся, что книга Токаржевского “Семь лет каторги” в её первом и единственном переводе на русский язык является источником уникальных сведений об омском периоде жизни будущего автора “Записок из Мёртвого дома”, в особенности о людях из окружения писателя».²³⁰

Но если «ошибки памяти», как было сказано выше, нет, то, значит, «скидка на бурное воображение состарившегося человека» тоже не актуальна?

Заметим, «ошибающаяся» память «состарившегося» Токаржевского не помешала написать ему десяток мемуаров, относящихся отнюдь не только к омской каторге и биографии Достоевского. И если прочие, не связанные с великим писателем и острогом, сведения, сообщаемые Токаржевским, не вызывали до сих пор бурных протестов, то, может, стоит отнестись к его воспоминаниям, – которые он начал писать, кстати, никак не в старости, а ещё будучи в Омских краях, – с куда большей симпатией и доверием?

«...строгий пересмотр прежней жизни...»

Достоевского каторга «поломала», его взгляды на общественное устройство резко изменились, чего не скажешь о Токаржевском.

«Записки из Мёртвого Дома»: «Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал всё до последних мелочей, вдумывался в моё прошедшее, судил себя один неумолимо и строго и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилося тогда моё сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего будущего и положил твёрдо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я всё это исполню и могу исполнить... Я ждал, я звал поскорее свободу...»²³¹.

Куда как понятно: «строгий пересмотр прежней жизни». Не то, совсем не то было с поляками! Они не изменяли себе, и каторга только укрепляла в них веру в идеалы, стремление видеть Отчизну свободной. *Токаржевский:*

«Во время отдыха в полдень я ложился обычно на траву, передо мной – пустыня, сливающаяся с далёким горизонтом. И мысль моя плавно забегала за этот горизонт и стремилась к Отчизне, к родным и родичам...»

На ясной погожей небесной синеве светило солнце, то же самое солнце, что слало свои лучи моей родной стране... И, порой, грусть овладевала мной, гнездилась у самого сердца, и обжигала его, обжигала!...»²³².

Насколько несломленным оказался Токаржевский в своих убеждениях, свидетельствует его участие в польских событиях начала 60-х, после чего он вновь попадает в Сибирь на каторгу и поселение.

Глава «Товарищи»

Таковы, в общих чертах, основные параллели, которые прослеживаются между «Записками из Мёртвого Дома» Достоевского и книгами Токаржевского.

Легко заметить, что большая их часть относится к восьмой главе второй части «Записок» Достоевского, которая озаглавлена «Товарищи». Поскольку она почти целиком посвящена полякам, то, конечно, под «товарищами» он имел в виду именно их.

Однако, – вот странность. В последнем прижизненном издании «Записок из Мёртвого дома» (Спб., 1875) эта глава отсутствует.²³³ Возникает вопрос – почему? В комментариях ПСС лаконично сказано: «Считать, что причиной её исключения была воля самого автора, нет оснований»; в подкрепление этого вывода приводится факт, что в «Дневнике писателя» за 1876г. «Достоевский с сочувствием вспоминает о польских революционерах, бывших с ним на каторге» (хотя в самом тексте «Записок», как мы уже знаем, Достоевский пишет о поляках отнюдь не всегда доброжелательно, и они, судя по книге Токаржевского, совсем не рассматривали его как «союзника» или «товарища»).

Из комментариев к ПСС узнаём также, что означенная глава, предназначавшаяся для публикации во «Времени», задерживалась цензурой в марте 1862г., и что её удалось напечатать только в декабрьском номере. Что касается отдельного издания «Записок из Мёртвого Дома», опубликованного в том же году, она туда не вошла, её воспроизвели только в Полном собрании сочинений Достоевского 1865г.²³⁴

Прямых указаний на то, что цензура запретила печатать главу о поляках в 1875г., авторы комментария к ПСС не приводят. Конечно, на пике своих «почвеннических» устремлений Достоевский мог от публикации опасной главы воздержаться. Что послужило поводом – цензура или «самоцензура», кто теперь скажет? Хотя, опять же, в первом посмертном издании сочинений Достоевского в 1883г. упомянутая глава о поляках присутствует. «Всё это заставляет предполагать, – читаем в ПСС, – что в издании 1875 в связи с ростом освободительного движения и ответным усилением политической реакции глава была исключена по цензурным мотивам»²³⁵. Но так ли это, или речь идёт об осторожности автора и нежелании касаться слишком «горючей» темы, сказать затруднительно...

«Достаточно полно и достоверно...»

Приведённые выше параллели между текстами как будто доказывают, что Токаржевский был знаком с «Записками» Достоевского. Однако этот вывод не всем исследователям казался очевидным. Так, В.А. Дьяков пишет о таком знакомстве сугубо в

предположительной форме, ссылаясь при этом на исследование З. Бобович-Потоцкой. Он считает, что русские издания книги Достоевского почти наверняка держал в руках Токаржевский: «Вполне правомерно и соображение З. Бобович-Потоцкой о том, что на... “симбиозный” текст Богуславского и Токаржевского²³⁶, с которым мы имеем дело, могли²³⁷ оказать воздействие “Записки из Мёртвого дома”. Как уже упоминалось, их полный перевод на польский язык был издан в 1901г. Однако русские издания “Записок” почти наверняка были известны как Токаржевскому, так и редакции “Новой реформы”, готовившей к публикации “Воспоминания сибиряка” Богуславского. Что касается книги “Семь лет каторги”, то сам комментарий издателей содержит ссылки на Достоевского. Впрочем, окончательные выводы будут более уместными после тщательного сопоставления конкретного фактического материала и отдельных оценочных суждений, содержащихся во всех мемуарных и документальных источниках».²³⁸

Как уже было сказано, ссылки на Достоевского, приведённые в сносках, принадлежат перу не издателей, а «переписчицы», причём в первом издании «Семи лет каторги» они не подписаны, так что легко впасть в заблуждение, кто их автор – Токаржевский, «переписчица» или издатель. Но в издании 1918г. они уже подписаны: «примечания переписчицы». В самом же тексте Токаржевского прямых указаний на знакомство с «Записками из Мёртвого дома» нет.

Существует также версия, что фрагменты рукописи Токаржевского, бродившие в списках по столицам, мог использовать Достоевский, – чем отчасти и объясняется множество схожих мест, – но так ли это было на самом деле – кто теперь скажет...

В комментариях к ПСС, касающихся параллелей с Токаржевским, читаем также, что Достоевский изобразил каторгу и каторжан «достаточно полно и достоверно»: «В воспоминаниях польского революционера Ш. Токаржевского, отбывавшего каторгу в омском остроге одновременно с Достоевским... и в записках П.К. Мартянова... изображены аналогичные эпизоды, действуют те же герои. Сопоставление текста “Записок” с этими воспоминаниями, с письмами Достоевского к брату, где он описывает ужасы каторжной жизни, и с вновь найденными официальными документами,

касающимися омской крепости, заставляет признать, что писатель *достаточно полно и достоверно*²³⁹ изобразил как основные моменты каторжного быта – внешний вид крепости, распорядок дня, работы, занятия арестантов, – так и тех, кто стал героями его произведения»²⁴⁰.

Но, внимательно изучая параллели с книгами Токаржевского, приходишь к выводу, что не в последнюю очередь его могли подвигнуть взяться за перо как раз *неполнота*, а зачастую и пристрастность описаний Достоевского, равно и допущенные им неточности, которые Токаржевский как бы исправляет! – если, конечно, он действительно был знаком с «Записками из Мёртвого дома».

«Написал две книги воспоминаний...»

Беглое переложение фактов биографии Токаржевского, приведённое в комментариях ПСС, в основном точное, но есть некоторые неувязки. Читаем: «Шимон Токаржевский (1821-1899²⁴¹), выведенный у Достоевского под буквами Т-ский, происходил из дворян Люблинской губернии. Он избрал профессию сапожника... Под влиянием ксендза Петра Сцегенского Токаржевский дал клятву идти по следам польских патриотов 1830-х годов: участвовал в заговоре; узнав об открытии его, бежал за границу, откуда в 1847г. был передан царскому правительству под именем Финикса Ходкевича; осуждён на десять лет, наказан шпицрутенами и отправлен сначала в усть-каменогорскую, а затем – в октябре 1849г. – в омскую крепость. Освобождённый в 1857г., он по возвращении на родину участвовал в подготовке и проведении восстания 1863г., был вновь арестован и в 1864г. приговорён к пятнадцати годам каторги. Вернувшись в 1883г. в Варшаву, Токаржевский написал *две книги воспоминаний*²⁴²: ... “Семь лет на каторге” (*об омском остроге*²⁴³; 1907²⁴⁴) и “Каторжники”...»²⁴⁵.

Требуются уточнения.²⁴⁶ Токаржевский написал отнюдь не *две книги воспоминаний*. Так, в настоящем издании приводится восемь автобиографических книг! И, конечно, не очень правилен акцент, что книга «Семь лет каторги» – *об омском остроге*, ведь «омские» события занимают в ней всего лишь около трети объёма всего текста. Да и не *острог* интересовал в первую голову Токаржевского; тема его мемуаров гораздо шире.

«Не скрывает своего враждебного отношения...»

Отдельные выводы комментария ПСС весьма категоричны. Читаем: «В книге “Семь лет на каторге” Токаржевский подробно описывает жизнь казармы; отдельные главы посвящены плац-майору, раскольнику, Аристову, Достоевскому и Дурову. Автор не скрывает своего враждебного отношения к Достоевскому²⁴⁷, *определившегося позднее под влиянием ознакомления с “Бесами” и “Дневником писателя”*. Выдвигая на *первый план* расхождения Достоевского с *революционерами* и приписывая им устойчивый характер, автор обвиняет писателя в том, что уже в остроге он гордился перед арестантами своим дворянским происхождением и отличался шовинизмом и ура-патриотизмом»²⁴⁸.

Но из воспоминаний Токаржевского совсем не следует, что его отношение к Достоевскому каким-то образом трансформировалось под влиянием «Бесов» или «Дневника писателя». Эти произведения Токаржевским даже не упоминаются, как и «Записки из Мёртвого Дома». Из текстов Токаржевского однозначно вытекает, что отношение к Достоевскому, причём весьма определённое, сложилось отнюдь не в 70-е годы, как пытаются убедить читателей комментаторы ПСС, а ещё на каторге. На наш взгляд, вывод о влиянии «Бесов» на Токаржевского не выглядит очевидным.

Нельзя не заметить к тому же, что Токаржевский не оперирует термином *революционеры* и нигде не называет себя таковым. Правильнее сказать – был *патриотом*. Следовательно, он не мог обвинять Достоевского в расхождении с *революционерами*, да ещё выдвигать таковые в своих книгах *на первый план*. Главное для поляка – свобода Отчизны, а каким образом её следовало добиваться, мирным путём или вооружённым – вопрос для Токаржевского менее важный.

«К воспоминаниям... надо относиться осторожно...»

Извлекаем очередную цитату из комментариев к ПСС: «По словам Токаржевского, он набрасывал свои воспоминания *сразу же по возвращении из Сибири*²⁴⁹, но затем, в 1883г., после вторичной девятнадцатилетней ссылки, дополнил их подробностями, которые первоначально опустил. Следовательно, к тому времени он читал

«Записки из Мёртвого дома» и позаимствовал у Достоевского многие события, имена, детали.²⁵⁰ Так, персонажи Баклушин, Ломов, Бумштейн фигурируют у Токарежевского и у Достоевского под одними и теми же именами, хотя их реальные фамилии были иными: Арефьев, Лопатин, Бумштель. У обоих авторов одинаково преступление, за которое осуждён старик, но, судя по Статейным спискам, оно носило несколько иной характер... Следовательно, к воспоминаниям... Токарежевского... надо относиться осторожно, извлекая из них те или другие сведения»²⁵¹.

Неточность: Токарежевский начал писать воспоминания отнюдь не по возвращении из Сибири, как утверждается в комментариях, а в Сибири, это доказывается текстом его книг.

Далее. По прочтении комментария складывается впечатление, что Токарежевский просто переписал Достоевского, «заимствуя» у него «события, имена, детали». Однако детальное сопоставление текстов, приведённое выше, доказывает, что Токарежевский не заимствует, а, приводя в воспоминаниях схожие коллизии, как бы дополняет и исправляет Достоевского. Конечно, это могло быть возможным только в случае, если Токарежевский ориентировался «в теме» никак не хуже Достоевского.

В чём-то, конечно, за давностью лет, Токарежевский не вполне уверен; отчётливо живописует характеры, но память слаба на даты и имена. Но мы не встречаем у Токарежевского сколько-нибудь приметных параллелей с «Мёртвым домом», которые бы не были существенно им скорректированы, то есть поданы иначе, чем у Достоевского.

Разумеется, к любым воспоминаниям надо относиться «с осторожностью», и к «Запискам из Мёртвого дома», как к их беллетризованной разновидности, в том числе. Истина познаётся в сравнении, в сопоставлении источников, если когда-нибудь вообще – познаётся...

Легенды каторги

Есть, конечно, и такие свидетельства, очевидцами коих ни Достоевский, ни Токарежевский не являлись, а потому их передача оказывалась не совсем точной. Оба, например, описывают случай покушения на плац-майора Кривцова. *Достоевский*: «Мне

рассказывали в подробности, как хотели убить нашего майора. Был в остроге один арестант. Он жил у нас уже несколько лет и отличался своим кротким поведением. Замечали тоже, что он почти ни с кем никогда не говорил. Его так и считали каким-то юродивым. Он был грамотный и весь последний год постоянно читал Библию, читал и днём и ночью... В один день он пошёл и объявил унтер-офицеру, что не хочет идти на работу. Доложили майору; тот вскипел и прискакал немедленно сам. Арестант бросился на него с приготовленным заранее кирпичом, но промахнулся. Его схватили, судили и наказали. Всё произошло очень скоро. Через три дня он умер в больнице. Умирая, он говорил, что не имел ни на кого зла, а хотел только пострадать. Он, впрочем, не принадлежал ни к какой раскольничьей секте. В остроге вспоминали о нём с уважением»²⁵².

Заметим, что Достоевский не называет имени арестанта. Очевидно, запомнил, ведь событие происходило задолго до появления автора «Записок» в остроге. Но Токарежевский «вспомнил» и решил, по обыкновению, «поправить» Достоевского. И пишет, что арестанта звали *Власовым*, тогда как позднейшие исследования, на которые опираются комментаторы ПСС, доказывают, что Токарежевский был неправ: фамилия покушавшегося была Чикарев, а имя – *Влас*,²⁵³ оно-то, очевидно, и дезориентировало польского автора, который перепутал имя и фамилию. Память человеческая несовершенна, и подобные «сбои» вполне понятны.

Конечно, могла быть неточной и сама легенда, которую довелось услышать Достоевскому и Токарежевскому, и не исключено, что – в разных «толкованиях». Поэтому Токарежевский, обнаружив в «Записках» означенный рассказ, решает изложить его в том варианте, какой был ему известен: «Это случилось ещё до нашего прибытия на каторгу. Один из каторжан, некий Власов, как-то раз ринулся на Ваську, за что был осуждён за одни сутки и погиб под батогами. Две тысячи ударов принял ещё живым, а тысяча досталась уже мёртвому. Обычно при подобных экзекуциях присутствовали все заключённые»²⁵⁴.

Легенда передана иначе, на что и обращают внимание комментаторы Полного собрания: по-Достоевскому, Чикарев скончался в больнице, а по-Токарежевскому – на месте казни.

«Преднамеренные» искажения

Комментаторы ПСС отмечают, что Достоевский иногда преднамеренно в «Записках» искажал события и факты, либо по цензурным соображениям, либо руководствуясь «художественными» пристрастиями.

Однако войдём в положение Токаржевского. Допустим, он читал «Записки» Достоевского. И относится к ним как к мемуарам. Видит неточность – и «правит» её. Но отследить каждую мелочь, конечно, не может. И в его текст вслед за Достоевским просачивается дезинформация.

В комментариях приведён пример: старик-раскольник был осуждён на самом деле не за поджог церкви, а «лишь за неисполнение обещания присоединиться к единоверцам и за отказ присутствовать при закладке церкви».²⁵⁵

Но ведь про поджог пишет не только Достоевский, но и Токаржевский! Либо доверяя «Запискам» Достоевского, как источнику, либо следуя легендам, которые распространяли сами каторжане.

Нельзя не обратить внимание на архивные материалы, найденные Б.В. Федоренко и опубликованные в комментариях к ПСС.²⁵⁶ Они подтверждают многое из того, о чём писали Достоевский и Токаржевский. Например, историю Аристовова. Достоевским она излагалась очень сжато, но Токаржевский дополняет её, подаёт куда более развёрнуто. Найденные Федоренко документы полностью подтверждают, что рассказ Токаржевского, в главных его чертах, был правдой.

Комментаторы доказывают, что прототипом героя «Записок» Куликова выступает арестант Кулишов, действительно совершивший побег из омского острога вместе с Аристовым.²⁵⁷ Но Токаржевский называет его именно Кулешовым (правда, пишет не с буквой «и» в середине слова, а с «е», что вполне простительно, ибо гласная безударная). Это ещё раз убеждает нас в том, что, корректируя и дополняя ситуации, упомянутые в «Мёртвом Доме», Токаржевский в подавляющем большинстве случаев доверяет своей памяти куда более, чем Достоевскому. Искажённые Достоевским фамилии он повторяет далеко не всегда (очевидно, только в тех случаях, когда подлинное имя он и в самом деле за давностью лет позабыл).

«Политурованный» Дуров

В комментариях затрагивается вопрос и об отношениях поэта-петрашевца С.Ф. Дурова с Достоевским. Приводятся факты биографии Дурова: на каторге «не изменил своих революционных воззрений», по окончании срока печатался в «Современнике», с ним встречались сибирский просветитель Григорий Потанин, известнейший поэт Чокан Валиханов. «Достоевский на каторге, – отмечают комментаторы, – отделился от Дурова; впрочем, они и на воле не были особенно близки. По свидетельству Мартыянова, они никогда не сходились вместе, не обменялись ни единым словом и даже “стали врагами”». Но судя по тому, что после освобождения из острога Достоевский и Дуров бывали вместе в доме К.И. Иванова, мужа О.И. Анненковой, дочери декабриста И.А. Анненкова..., их отношения можно назвать просто далёкими, а не враждебными».²⁵⁸

Тем не менее, сам Достоевский в «Записках» обозначает Дурова, как и поляков, словом «товариш».

Что касается Токаржевского, то он, описывая Дурова, презрения не скрывает: «Сергей Фёдорович Дуров, сразу же после первого знакомства с нами, поведал, что его мать по прямой линии происходит от Богдана Хмельницкого, а дядя где-то был губернатором. Всё это он повторял много раз, при каждом удобном случае, и даже без всякой надобности, как будто бы своё родословное дерево хотел вбить в наши головы на веки вечные... Места, где происходили рассказанные Дуровым сцены, чаще всего были либо кофейни, либо трактиры. Иногда, будучи в особом настроении, рассказывал разные случаи из жизни многих чиновников из высшего общества, из чего мы сделали вывод, что в свободное от службы время в какой-нибудь конторе Дуров любил собирать всякие городские сплетни и новости. Он надоедал нам бесконечным повторением одних и тех же фактов, случаев или сцен, в которых он выступал как главное действующее лицо».²⁵⁹

Впрочем: «Невзирая на то, что Дуров был чаще всего и нудным, и смешным, иногда можно было с ним поболтать не без приятности, – конечно, не очень вдаваясь в смысл разговора».²⁶⁰

Таким образом, Токаржевский сочно «дописывает» портрет Дурова, начатый Достоевским.²⁶¹

«Достоверность этих сведений трудно проверить...»

Заслуга комментаторов Полного собрания состоит в том, что они попытались привлечь внимание к явному разночтению источников. Например, они верно подмечают, что «По воспоминаниям Токарежевского (Жоховский) был незаслуженно наказан 300 ударами палок», тогда как «у Достоевского плац-майор приказал дать ему сто розог»²⁶²

До сих пор не разъяснен и пассаж с датой смерти Кривцова. Комментаторы подмечают странность: в 1861 г. в письме к Достоевскому Н.С. Крьюжановская сообщает, что кончина Кривцова произошла «в гостях у доктора», тогда как Токарежевский вспоминает, что лично встречался с Кривцовым три года спустя, то есть в 1864-м. «Достоверность этих сведений, – считают комментаторы, – трудно проверить».²⁶³

Однако, внимательно изучив соответствующую главу из «Семи лет каторги» Токарежевского, приходишь к выводу, что он неправильно понял. Она состоит из напластования записей, относящихся к 1857 и 1864 г. и пассаж с Кривцовым, очевидно, запрагивает именно год 1857-й, но никак не 1864-й!

Конечно, к произведениям Токарежевского, как и к «Запискам» Достоевского, нужно относиться не только как к мемуарам, но и как к художественным произведениям, в которых могла присутствовать и доля вымысла. Такое сочетание документальности и художественности изложения было во второй половине 19 в. широко распространено. Так, авторы упомянутых комментариев ссылаются на мнение Г.М. Фридлиндера, который «показывает, что органический сплав элементов художественного вымысла, автобиографии и очерка вообще характерен для литературы 1850-х и 1860-х годов»²⁶⁴, и, стало быть, Токарежевский, следуя в каких-то моментах «Запискам» Достоевского, лишь отдаёт дань литературным пристрастиям своего времени.

«Сочетание документально точного описания людей и событий с художественным вымыслом, – пишут комментаторы, ссылаясь на исследование Г. Чулкова, – дало возможность относить “Записки” к жанру, “который граничит с художественным очерком, с одной стороны, и с мемуарами – с другой”...»²⁶⁵

Но не то же ли самое нужно сказать и о книгах Токарежевского?

«Видели... одно только зверское начало...»

Сравнивая книги Токарежевского с «Записками» Достоевского, важно не идти на поводу у источников. Вот, например, в комментариях к

ПСС читаем: «Много размышляет Достоевский о лучших чертах народного характера. Он сожалеет, что политические арестанты из числа поляков видели в каторжниках одно только зверское начало и не могли, даже не хотели, разглядеть в них ничего человеческого. “J’hais ces brigands”, – говорит один из них».²⁶⁶

Создаётся впечатление, что комментаторы разделяют точку зрения Достоевского, ведь они не пытаются её дезаргументировать. Между тем, всякий, кто читал Токарежевского, согласится, что поляки-каторжане отнюдь не всегда «не хотели и не могли» видеть «человеческое» в соседях по казематам. Многие «каторжные» персонажи выписаны Токарежевским с большой симпатией. Получилось, что авторы комментария в этом вопросе слепо идут за текстом Достоевского, относятся к нему не совсем критично.

Конечно, в данном случае оценка Достоевского была явно пристрастной. Возможно, отнести к полякам объективно Достоевскому мешало его «почвенничество». Понимая «скользкость» темы, комментаторы прибегают к прямо противоположным трактовкам. Например, в одном месте они пишут:

«...славянофильски окрашенные, “почвеннические” взгляды не проникли на страницы “Записок”, которые скорее представляют собой своеобразное опровержение подобных воззрений».²⁶⁷

В другом же месте комментарий сказано совершенно противоположное:

«Специфически “почвенническая” окраска некоторых идей Достоевского, выраженная в “Записках”, не привлекла пристального внимания критики этого периода».²⁶⁸

То есть в одном месте сказано о «почвеннической окраске некоторых идей, выраженных в “Записках”», а в другом – что «почвеннические взгляды не проникли на страницы “Записок”».

Это мнимое или явное противоречие в высказываниях, на наш взгляд, требовало в комментариях куда более пространных объяснений. И книги Токарежевского, конечно, тоже в какой-то мере помогают осветить вопрос о «почвенничестве» Достоевского в каторжный период.

Суть разногласий

Исследователь В.А. Дьяков главными причинами разногласий между Достоевским и Токарежевским считает политические,

причём связанные с Крымской войной: «Известно, что Достоевский, в самом деле имел некоторые мало симпатичные черты: был нелюдимым, раздражительным и т.д. Но думается, что *главные причины напряжённости*²⁶⁹ взаимоотношений с польскими ссыльными в 1853-54гг. обуславливались не личными качествами писателя или общавшихся с ним лиц, а изменившимися внешними условиями, которые обнажили их политические позиции, вызвали острые столкновения по вопросам, которые *на предшествующем этапе в большинстве случаев обсуждались довольно мирно*. Крупнейший знаток эпохи проф. Стефан Кеневич отмечает, что среди участников польского освободительного движения тех лет, находившихся преимущественно в эмиграции, а отчасти в ссылке, видное место занимала ориентация возглавляемых А. Чарторыским правых кругов, которые связывали восстановление независимой Польши с дипломатическими комбинациями при поддержке военно-политических противников царской России: Англии, Франции и Турции. Ясно, что такая ориентация, принятая, вероятно, Богуславским и некоторыми другими польскими ссыльными, не могла найти понимания и сочувствия у Достоевского. Быстро усиливавшаяся напряжённость неизбежно распространилась вскоре и на другие идейно-политические проблемы, *дискутировавшиеся раньше без особых эксцессов*, а затем перекинулась, как это часто бывает в подобных случаях, на оценку личных качеств участников общения. Вот тут-то дошло дело до тех враждебных выпадов и взаимных обвинений. Знакомство с текстами рассматриваемых произведений не оставляет сомнений в том, что в «Записках из Мёртвого дома» такого рода мест значительно меньше, чем у Богуславского и Токаржевского. Думается, что *это различие объясняется не столько реальными расхождениями во взглядах, существовавшими в годы Крымской войны, сколько соображениями и настроениями, которые возникли в последующие годы*»²⁷⁰.

Итак, утверждается, что до Крымской войны разногласия между поляками и Достоевским «обсуждались довольно мирно» и «дискутировались... без особых эксцессов», а со времени Крымской войны, то есть *всего за год с небольшим до освобождения*

Достоевского, обострились настолько, что они порвали отношения (то есть три четверти срока Достоевского прошли «мирно» и четверть – «враждебно»). Книги Токаржевского и «Записки из Мёртвого дома» не содержат таких математически точных подсчётов. После знакомства антипатия возникла быстро и Крымская война действительно могла её лишь обострить, но, думается, связывать разрыв с каким-то конкретным событием можно только предположительно. Токаржевский отмечает, что полякам показалось *сразу же*, что «известный сочинитель... не дорос до своей собственной славы»²⁷¹, а о Крымской войне в приведённых ниже книгах не поминает вообще.

О «реальном расхождении во взглядах» во всех подробностях рассказывает Токаржевский:

«Досадно и больно было слышать, как этот писатель, этот радетель за свободу и прогресс, признавал, что лишь тогда почувствовал бы себя счастливым, если бы всё человечество оказалось бы под властью России.

Он никогда не говорил, что Украина, Волынь, Подолье, Литва, да и вся Польша в целом являются оккупированными странами, а лишь утверждал, что эти оккупированные земли всегда принадлежали России, что рука Божьей справедливости привела эти провинции и эти края под чужую власть оттого, что они не могли существовать самостоятельно и, не попав под власть России, ещё долго оставались бы в невежестве, нужде и дикости.

Прибалтийские провинции, по мнению Достоевского, это исконная Россия; Сибирь и Кавказ – то же самое.

Слушая эти доводы, мы убеждались, что Федор Михайлович Достоевский по некоторым вопросам просто страдает умственными маниями.

Все эти абсурды он часто, убеждённо и с наслаждением повторял. Он даже утверждал, что Константинополь давно должен был принадлежать России, точно также, как хотя бы европейская часть Турции, и тогда в скорости российская империя достигнет полного расцвета...»²⁷².

Как уже было подтверждено цитированием, причину того, что Достоевский гораздо меньше «критикует» поляков, чем поляки – его самого, исследователь В.А. Дьяков объясняет «не

столько реальными расхождением во взглядах, существовавшими в годы Крымской войны, сколько соображениями и настроениями, которые возникли в последующие годы». То есть выходит, что, разорвав отношения из-за Крымской войны, Достоевский и каторжники-поляки в последующие годы почти забывают о поводе к размолвкам и руководствуются в продолжающемся споре преимущественно какими-то иными «соображениями и настроениями». Но какими именно, по прочтении статьи так и не становится в достаточной степени ясным.

Чем же в действительности объяснить, что Достоевский на каторге ругал поляков куда более воинственно, чем в «Записках из Мёртвого дома», которые писались значительно позднее? Не хотел ли сказать исследователь В.А. Дьяков, что в обстановке назревающих польских событий начала 60-х нельзя было не учитывать настроений российской интеллигенции, часть которой симпатизировала национальному освободительному движению. Приходилось считаться с изменившимися условиями общественной и политической жизни. Достоевский в очередной раз меняет свои убеждения, и становится мягче в польском вопросе.

Но Токаржевский помнит Достоевского таким, каков он был на каторге, и описывает «классика» во всей его красе:

«Как-то Достоевский зачитал нам своё произведение: оду на случай будущего вторжения победоносной российской армии а Константинополь. Ода была довольно красивая, но никто из нас не спешил её хвалить, а я спросил его:

– А на случай отступления Вы оду не написали?

Он просто зажёг гневом. Он чуть не прыгал мне в глаза, называл неучем и дикарём, кричал так страшно, что по всему острогу среди преступников пошёл слух:

– Политические дерутся!

Чтобы прервать эту гротесковую сцену, мы все вышли из каземата на площадь.

По мнению Достоевского, на свете существовал только один великий народ, предназначенный для общего владычества, а именно русский народ.

Французы, твердил он, ещё немножко похожи на людей, но англичане, немцы, испанцы – это просто карикатуры, а литература

иных народов по сравнению с русской литературой – просто литературная пародия».²⁷³

Редактирование текстов

Исследователь В.А. Дьяков в своей обстоятельной и весьма для нас ценной статье сообщает, что Токаржевский редактировал воспоминания Богуславского. Сами же книги Токаржевского, утверждает В.А. Дьяков, мало того, что во многих моментах «вторичны» по отношению к «Запискам из Мёртвого дома» и мемуарам Богуславского, так ещё исправлялись редакторами, готовившими его тексты к печати:

«Что касается мемуаров Богуславского, то, по-видимому²⁷⁴, их первоначальный текст был выдержан примерно в такой же тональности, как “Записки из Мёртвого дома”. Однако рукопись дважды подвергалась весьма существенному редактированию, сперва Токаржевским (начало 80-х гг.), а затем – редакцией “Новой реформы” (90-е гг.). Переработке подверглись, вне всякого сомнения, и те места, где затрагивались польско-русские взаимосвязи, в частности, отношения между Достоевским и польскими ссыльными. Полубеллетристические тексты Токаржевского, который черпал часть фактического материала как в “Воспоминаниях сибиряка”, так и в “Записках из Мёртвого дома”, в свою очередь подверглись значительному редактированию. Тексты Богуславского и Токаржевского “модернизировались” с тем, чтобы приспособить их к нуждам текущей политической борьбы рубежа XIX и XXв. В частности, подверглось определённой доработке и то, что касается взаимоотношений между Достоевским и польскими ссыльными...».²⁷⁵

Но В.А. Дьяков не приводит доказательств. В этой части работы нет ни одной ссылки. Пишет о значительном редактировании, то есть исправлении, текстов Токаржевского, но не даёт никаких примеров и сопоставлений.

В настоящее время в нашем распоряжении – тексты восьми книг Токаржевского, изданных в самых разных издательствах и городах. Неужели так-таки все издательства кромсали тексты Токаржевского, значительно меняя смысл написанного?

Общий объём опубликованных сочинений Токаржевского – около двух тысяч книжных страниц. Удивительно, что сибирский

исследователь не сослался ни на одну из них, чтобы обосновать свой вывод.

Выше мы рассказали о некоторых недостатках работы издателей, но очень грубых вторжений в тексты Токарежвского всё же не заметили. Как правило, если возникала необходимость уточнить какие-то сведения, издательства не исправляли тексты, а делали необходимые пояснения, прибегая к системе ссылок. Как уже было сказано, они приводят даже примечания некой *перепищицы*, которая иногда уточняет в сносках, о годах какого именно века повествует Токарежвский. В книгах есть и примечания самого Токарежвского, которые издатели не вводят в основной текст, а подают в форме сносок, т.е. так, как это предлагал сам автор (исключение составляет второе издание «Семи лет каторги», выпущенное в 1918г.).

Не прибавляют доверия читателя к источнику замечания В.А. Дьякова о «беллетризованности» книг Токарежвского. Но, опять-таки, не приводятся конкретные факты, свидетельствующие о намеренном авторском вымысле.

Вывод о том, что первоначальный текст воспоминаний Богуславского был ближе к «Запискам» Достоевского, чем к книгам Токарежвского, В.А. Дьяков подаёт весьма осторожно, оговаривая его предположительность и используя слова «по-видимому» и «примерно». Сопоставление текстов, иллюстрирующее этот тезис, отсутствует.

Но главное – совершенно непонятно, зачем издателям, как утверждает В.А. Дьяков, понадобилось «модернизировать» сочинения Токарежвского. Польская интеллигенция, в большинстве своём, была единодушна в неприятии российских казарменных порядков на протяжении всего столетия. Думать, что издатели ненавидели царский режим в большей степени, чем сам Токарежвский, который провёл на каторге половину сознательной жизни – это нонсенс.

«Разумеется, – пишет В.А. Дьяков, – тексты Токарежвского и Богуславского должны занимать видное место среди материалов, освещающих пребывание Достоевского в Омском остроге. Однако, пользуясь ими, следует помнить, что речь идёт об источниках весьма сложного состава, включающих кроме первоначального

текста довольно значительные последующие напластования, которые изменяют как тональность, так и содержание текста».²⁷⁶

Сказано достаточно прямолинейно: «последующие напластования» *изменили тональность и содержание* текста Токарежвского, касающегося Достоевского.

Но где конкретные примеры?

Как бы то ни было, полагаем, что о радикальной перемене взглядов Токарежвского на личность Достоевского, а также о коренном вмешательстве нескольких издательств в упомянутые тексты говорить преждевременно.

«Непарадность» отзывов о Достоевском

Конечно, приходится согласиться, что Достоевский описан в книгах польского экс-каторжника весьма непарадно. Многолетнее пребывание бок о бок с великим писателем дало полякам богатый и бесценный материал для наблюдений. Токарежвский вспоминает:

«Помню, когда я рассказал ему²⁷⁷, что у нас в 1844 году была объявлена подписка на перевод “Скитания вечного Жида”, сперва он не хотел верить, а потом просто забросал меня всякими грубостями. Даже Дуров вмешался в этот разговор и заверил его в правдивости моих слов. И всё-таки он ещё не доверял, поскольку (он так выразился) в его крови заложено, чтобы каждый народ, уж не говоря о ненавистных поляках, не мог присвоить у других народов всё, что есть великого, красивого и благородного. Он, Достоевский, хотел бы всё уничтожить, затереть и сгладить, чтобы парадоксально доказать величие россиян над прочими народами всего мира.

Притом, Достоевский был часто просто невыносим во время споров.

Самоуверенный и грубый, он принуждал нас к диспутам, после чего мы с ним не только разговаривать, но и знаться не хотели...

*Возможно*²⁷⁸, такая неровность характера, такой вспльчивый темперамент Достоевского были *признаком болезни*, поскольку, как мы уже говорили, казалось, что петербургские господа²⁷⁹ были *чрезвычайно взвинчены и болезненны*...

Каким же образом Фёдор Михайлович Достоевский, воспитанник кадетского корпуса, попал на каторгу в положении заключённого?

Судя по рассказам, он неимоверно много читал. Безусловно, многие образы великой французской революции воспламенили его воображение, но это был соломенный огонь; несомненно, в поступках великих мыслителей содержались важнейшие идеи, которые оседали в его мозгу и впечатляли сердце.

И он дал себя увлечь на путь, с которого впоследствии жаждал скорее вернуться».²⁸⁰

Наш коллега из Омска Виктор Вайнерман, изучив процитированные выше тексты Токарежевского, вслед за В.А. Дьяковым приходит к выводу, что основными причинами разногласий были политические. Но есть новый акцент: В. Вайнерман пишет, что поляки отнесли такие настроения Ф.М. *полностью* на счёт нездоровья великого сочинителя, тогда как, на наш взгляд, Токарежевский выделил целый комплекс причин неадекватного реагирования, и болезнь Достоевского была лишь одной из них. «Думается, – считает В. Вайнерман²⁸¹, – автора “Семи лет каторги” более всего разделяли с Достоевским политические убеждения последнего, утверждавшего право России доминировать над Украиной, Вольной, Подольем, Литвой, Польшей как над исконно русскими территориями. Разумеется, участники польского освободительного движения, положившие свои жизни на борьбу за освобождение своей страны от российского влияния, никак не могли принять и, тем более, примириться с позицией Достоевского... Не в силах переспорить страстного Достоевского, ... Токарежевский и другие поляки решили, что Достоевский страдает маниями, и *полностью отнесли его вспыльчивость к болезненному состоянию писателя*».²⁸²...».²⁸³

Конечно, причины вспыльчивости Достоевского рассматриваются Токарежевским шире и с несколько иными акцентами.

Во-первых, налицо явная противоположность политических принципов, подпитывающая неприязнь к полякам.

Во-вторых, личные качества писателя, особенности его психологии иногда неприятно шокировали собеседников.

В-третьих, болезнь. Причём Токарежевский, когда упоминает о ней как об одной из причин неуравновешенности писателя,

употребляет предположительную форму изложения, с использованием слова «возможно»: «*Возможно*, такая неровность характера, такой вспыльчивый темперамент Достоевского были признаком болезни»²⁸⁴. Куда как ясно: речи о *полном* списывании упомянутых причин на болезнь и в помине нет.

В исследовании В. Вайнермана встречаем попытки сопоставления не только текстов, но и характеров двух авторов, различных мотивов и целей, находим интересные идеи и версии. Так, реагируя на утверждение, что Достоевского часто обвиняли «в измене юношеским идеалам», Виктор Вайнерман неожиданно затрагивает и «польскую» тему: «А ему²⁸⁵ необходимо было снова взять в руки перо, чтобы писать о людях и для людей, за них и для них, вновь и вновь пытаюсь разгадать величайшую загадку. Помните? “Человек есть тайна. Её надо разгадать. Я занимаюсь разгадкой этой тайны, ибо хочу быть человеком”. В этом было “малое дело” Достоевского. Мы знаем, какие плоды оно принесло. Это был принципиально иной подход к достижению поставленной цели, чем у других общих знакомых из польских политических ссыльных – *никакой категоричности, никаких открытых проявлений своих чувств*»²⁸⁶, напротив, демонстрация лояльности по отношению к властям и смирения перед вынесенным наказанием...».²⁸⁷

Вывод, на наш взгляд, заслуживает особого внимания. Получается, что поляки, в отличие от Достоевского, были людьми *категоричными*, то есть принципиальными, последовательными, не меняющими главных своих убеждений, и с этим нельзя не согласиться. Но чувства свои они отнюдь не всегда проявляли *открыто*. Автор «Семи лет каторги» сообщает, что поляки в остроге, напротив, чаще сдерживали эмоции, на провокации не поддавались и если были не согласны с оппонентом, предпочитали ограничиваться дипломатичным молчанием, что подчёркивалось Токарежевским многожды. Что касается Достоевского, то известно, что он *открытое проявление чувств* демонстрировал очень часто. Токарежевский вспоминает, что во время споров великий классик «чуть не прыгал мне в глаза», так что однажды каторжане подумали, что политические собралось драться.

Скорее всего, Виктор Вайнерман имел в виду *категоричность* и *открытое проявление чувств* «на бумаге», то есть в произведениях

упомянутых авторов. Но вряд ли можно представить такого писателя, который бы не имел «никаких (!!!) откровенных проявлений своих чувств». Такой писатель напоминал бы бесчувственное бревно и вряд ли был бы способен разгадать «тайну человека», о которой сказано выше.

Тем не менее, контекст цитаты вполне понятен: лояльность Достоевского к властям, возникшая на каторге, обеспечивает ему возможность заниматься любимым писательским делом, политические же убеждения если в «Записках» и демонстрируются, то неявно, в отличие от Токарежвского, который, мало того, что на протяжении всей жизни стойко придерживается определённых принципов и взглядов, так ещё и в книгах их не скрывает.

Разница в поведении двух авторов зиждется на разнице их статуса. Достоевскому было что терять – доступ в печать, а этого он терять не хотел, это было главнее всего. Токарежвский потерял всё и был готов терять и терять без конца, во имя заветной цели: освобождение Польши от российского имперского присутствия.

О «вторичности» сведений Ш. Токарежвского

Разные авторы, в том числе комментаторы ПСС, В.А. Дьяков и В.С. Вайнерман обращали внимание на «вторичность» сведений, приводимых Токарежвским. «Не случайно исследователи, – отмечает Виктор Вайнерман, – рассматривая воспоминания Токарежвского в ряду других источников сведений об омской каторге 1850-х годов, отмечали их вторичность по отношению к мемуарам иных авторов, а также к “Запискам из Мёртвого дома” Ф.М. Достоевского».²⁸⁸

Однако необходимы уточнения.

Во-первых, речь может идти только об отдельных эпизодах, и ни в коем случае – о какой-то значительной части воспоминаний. Наследие Токарежвского – это тысячи книжных страниц текста, по сравнению с ними «Записки» Достоевского или мемуары Богуславского не столь впечатляющи по объёму, поэтому обобщения, наверное, здесь не очень уместны.

Во-вторых, если рассматривать подобные «заимствования», что называется, «под лупу», убеждаешься, что таковые поданы совсем иначе, не так, как у Достоевского, содержат много ценных

уточнений и корректив. Речь идёт, скорее, не о заимствованиях, а о новых версиях событий.

В-третьих, можно ли вообще назвать заимствованиями рассказы о событиях, свидетелем коих Токарежвский как раз и являлся? В большинстве случаев мы имеем дело не с переписыванием Достоевского, а с независимым воспоминанием очевидца.

В-четвёртых, ряд эпизодов у Достоевского и Токарежвского относится к событиям, свидетелями коих ни тот, ни другой не являлись. И, стало быть, читатель знакомится с разными трактовками изустного творчества каторжан, которое к моменту прибытия в омский острог Достоевского и Токарежвского уже обросло легендами (возможно, отчасти именно этим объясняются многочисленные искажения фамилий и расхождения с документами, и прочие неточности, обнаруженные у обоих авторов).

В-пятых, существует версия, что не Токарежвский «заимствовал» факты у Достоевского, а наоборот – Достоевский у Токарежвского.

Возможно, более взвешенному анализу текстов Токарежвского в России мешал тот самый *пиетет* перед «великим классиком», о котором пишет Виктор Вайнерман: «Характеристика Токарежвским Достоевского очень любопытна, особенно для читателя, привыкшего к пиетету по отношению к классику. Для такого читателя любые не парадные, а житейские, бытовые подробности поведения знаменитых людей порой производят впечатлительные разорвавшейся бомбы...».²⁸⁹

Качество перевода

Книги Токарежвского полностью на русский язык не переводились никогда. Исключение составляет книга «Семь лет каторги», приведённая в полном виде в приложениях ко второму тому работы «“Кузнецкий венец” Федора Достоевского в его романах, письмах и библиографических источниках минувшего века» (Кемерово, 2007).

Но известен перевод большого фрагмента, опубликованный ещё в 1936г.; в дореволюционное же время в разных работах приводились обширные цитаты из Токарежвского. Исследователь В.А. Дьяков так пишет о качестве означенных переводов: «Из... четырёх

польских ссыльных, находившихся в Омском остроге одновременно с Достоевским, двое оставили воспоминания. Имя Ш. Токаржевского знают не только польские специалисты по творчеству Достоевского, но и советские биографы писателя. Перевод фрагментов из его книги «Семь лет каторги» ещё в 1936г. опубликовал В.Б. Арндт, а до революции о ней упоминалось в русских журналах, пользовавшихся широкой известностью²⁹⁰. Однако в дореволюционных работах приводились лишь краткие, *тенденциозно подобранные цитаты из Токаржевского*²⁹¹; перевод Арндта *резко изменил ситуацию*, но, к сожалению, он *не идеален ни с точки зрения учёта нюансов содержания, ни в смысле передачи тональности оригинала*».

На наш взгляд, тезис о *тенденциозности* отбора цитат из Токаржевского в работах дореволюционных исследователей требует доказательств. Этот вывод Б.А. Дьякова остаётся неподкреплённым. Исследователям, конечно, хотелось бы также знать, почему перевод Арндта *«не идеален ни с точки зрения учётов нюансов содержания, ни в смысле передачи тональности оригинала»*. Подобные заключения нуждаются в детализации, тщательном сравнении польского и русского текстов, но в работе Б.А. Дьякова мы подобных сопоставлений не обнаружили. В примечаниях к его статье находим лаконичную ремарку, которая объясняет несовершенство перевода Арндта, который «умер до выхода в свет его перевода, и, очевидно, не держал корректуры».²⁹² Но сравнение конкретных мест перевода Арндта с оригиналом в указанной статье, как уже было сказано, отсутствует.

Правописание имён

Собственные имена в переводах звучат по-разному.

Например, сама фамилия «Токаржевский» по-польски на слух воспринимается без «р», то есть: *Токажевский*. Лиан Янович Контер, который несколько лет назад разыскал для нас копию «Семи лет каторги», обратил на это особое внимание и предложил написание фамилии без «р». Однако составители не стали ломать традицию, принятую в русскоязычных источниках.

Конечно, отследить все случаи упоминания в литературе на русском языке тех имён, на которые ссылается Токаржевский, и

осуществить соответствующее корректирование текста, не представляется возможным, да, наверное, это и не было бы оправданным.

Конкретные примеры приводит Виктор Вайнерман: «Упомянется²⁹³ Ян Вожняковский (переводчик, стремясь быть максимально близким к польскому произношению, читает букву «Ж», в других источниках, возможно, менее точных, в фамилиях ставится буква «З». Мне приходилось писать о Яне Возняковском. Я использую написание этой фамилии в соответствии с архивными источниками)».²⁹⁴

Большинство фамилий, конечно, Токаржевский приводит на слух, по памяти, что тоже могло породить неточности. Виктор Вайнерман, например, отмечает, что упомянутый Токаржевским Кароль Кжижановский, с чьей женой он близко сошёлся, в русскоязычной литературе обозначен как Кръжановский.²⁹⁵

При всём желании, разнобоя в написании имён избежать удаётся далеко не всегда, но, думается, это не очень затруднит ориентирование читателя в текстах. Хотя разночтения в правописании встречаются довольно часто, но сложностей с «идентификацией» основных героев воспоминаний возникнуть не должно. Например, имя Мирецкого даётся в разных вариантах: Александр – Олесь – Олех; имя Богуславского: Юзеф – Юзик – Юзек – Юзя; имя одного из тунгусов в одном случае Токаржевский пишет как Тагиж, а в другом – как Тагир; вместо женского имени *Ненила* Токаржевский употребляет иногда *Нанила*; фамилия плац-майора омского острога *В.Г. Кривцова* в одной из книг Токаржевского постоянно обозначается как *Кривцев* (предпоследняя буква «е»); полное имя кавказца Нурры Токаржевский тоже меняет, употребляя такие транскрипции: Нурра Шахмурла Оглы, Нурра-Шахнурра Оглы, Нурра-Шах-Нурра-Оглы (то есть различия употребление дефиса между первым именем и вторым, а также правописание второго имени); в книге «Среди умерших для общества» рассказывается о знакомстве в Семипалатинске с интендантским урядником *Орлинским*, который в воспоминаниях «Семь лет каторги» обозначен как *Ордынский*. Можно привести много подобных случаев, причём сравнение с документальными источниками, даже если такие и удаётся найти в опубликованном виде, здесь не всегда

помогает, потому что известно, что и они не лишены погрешностей. Иной раз представляется, что автор не уверен в правильности своего перевода российских, еврейских, кавказских, сибирских имён на польский язык, а ведь переводчику приходится осуществлять в таких случаях обратный перевод, то есть с польского на русский. И, конечно, возможность искажений увеличивается при повторном, а иногда и «тройном» переключении с языка на язык, как в случае с Нуррой: язык одной из кавказских народностей – русский язык – польский язык – и опять русский. Так что особенности правописания имён зависят от многих факторов и составители постоянно работают над уточнениями.

* * *

Возможно, определённую помощь в изучении наследия Токарежовского российскому читателю окажет наш справочный аппарат, куда вошли не только указатели имён и географических названий, но и примечания, а также список сокращений и хроника событий по датам, упомянутым польским автором или его издателями²⁹⁶; она снабжена ссылками на названия использованных при её составлении книг.

При работе над Хроникой выявились некоторые разночтения в датах, упомянутых в примечаниях к книгам Токарежовского. Так, кончина Владислава Краевского отнесена в книге «Побег» к 1891г.,²⁹⁷ а в книге «Без паспорта» – к 1892г.²⁹⁸, дата отъезда Токарежовского из Костромы в Варшаву в книге «Без паспорта» – к 4 августа 1882г.²⁹⁹, а в книге «Тернистый путь» – к 11 августа.³⁰⁰

В книге «Побег» нашли ещё несколько несостыковок. Токарежовский пишет, что обнаружил умирающего декабриста Андрея Константиновича (фамилия не названа) по дороге от Большого Участка в Омск 31 декабря 1856г.³⁰¹, а *после* получил письмо омского лекаря, подтверждающего смерть упомянутого декабриста в январе 1856 года³⁰². Одно из двух: либо случай на дороге произошёл 31 декабря 1855г., и тогда верна дата смерти, либо событие действительно произошло 31 декабря 1856г., но тогда письмо лекаря было написано в январе 1857 года.

При сопоставлении двух польских изданий книги «Семь лет каторги» (1907, 1918) высветились некоторые особенности работы

издателей. Замеченные разночтения составители отразили в примечаниях к наст. изд.

Суть их сводится к следующему.

Во-первых, издание 1907г. оказалось «купированным» цензурой. В примечаниях мы дополняем текст 1907г. теми фрагментами, которые были добавлены в 1918г.

Во-вторых, в издании 1918г. существенно укрупнены абзацы, – иногда до размеров несколько книжных страниц. Художественная составляющая мемуаров от этого всё же пострадала. Токарежовский – прекрасный стилист и часто, чтобы придать действию динамизм, играет на коротких «рубленых» фразах и абзацах, которые занимают порой всего полстрочки. Об этом свидетельствуют почти все его книги, но издание 1918г. оказалось исключением. Чтобы читатель имел возможность для самостоятельных сопоставлений, составители в примечаниях указали, какие именно абзацы текста были укрупнены.

В-третьих, в издании 1907г. часть сносок не подписана, так что приходится гадать, кому они принадлежат – автору, издателю или «переписчице». В издании 1918г. сноски, которые, по мысли издателей, принадлежали перу Токарежовского, перенесены непосредственно в текст мемуаров. Но ведь если Токарежовский посчитал необходимым привести дополнения именно в подстрочнике – значит, либо не хотел перегружать «плоть» мемуаров деталями, либо того требовал его стиль.

Составители наст. изд. обозначают в примечаниях те места, которые были в 1918г. перемещены польскими издателями из подстрочника в основной текст.

В издании 1918г. часть сносок подписана: «примечания переписчицы». В издании 1907г. подобные ремарки отсутствуют – в частности, под цитатами из Достоевского. Таким образом, лишь в 1918г. авторство примечаний, в том числе и тех, что касались «Записок из Мёртвого дома», было расшифровано.

Отсутствие подписей в подстрочнике издания 1907г. привело к последующим искажениям. Так, В.А. Дьяков, на что мы обращали внимание выше, пишет, что цитаты из Достоевского приводятся в примечаниях *издателями*, тогда как они были составлены, как уже было сказано, *переписчицей*. В свою очередь, при

подготовке текста «Семи лет каторги» для публикации в приложениях второго тома книги «“Кузнецкий венец” Фёдора Достоевского в его романах, письмах и библиографических источниках минувшего века» (2007) по явному недосмотру две цитаты из Достоевского попали из примечаний в основной текст Токарежевского. В наст. изд. все эти недочёты устранены, а также удалены явные опечатки.

Некоторые фрагменты текста в републикуемых книгах отсутствуют. Это связано с дефектами библиотечных экземпляров, которыми пользовались составители. Так, нам не удалось разыскать окончание последней главы в книге «Каторжники» и разделительные листы с названием двух глав книги «В скитаниях». В примечаниях составители указали номера утерянных страниц.

И, наконец, ещё одна особенность. Токарежевский часто прибегает к написанию русских слов латинскими буквами. В наст. изд. такие места выделены курсивом. Чтобы польским читателям было понятно, что означает приведённое автором русское слово, Токарежевский в подстрочнике иногда приводил более или менее точный перевод. Конечно, российскому читателю не надо объяснять значение слов *сайка* или *острог*, поэтому в большинстве случаев, если такой перевод не сопровождался какой-либо дополнительной информацией, он в примечаниях опускается. При этом примечания подписываются:

Прим. авт. – Примечания автора, то есть Токарежевского.

Прим. польск. изд. – Примечания польских издателей.

Прим. переписчицы – Примечания переписчицы, готовившей текст для польского издания.

Прим. пер. – Примечания переводчика (мы прибегаем к ним в случаях, когда Токарежевский не объясняет значение употреблённых им французских, немецких, итальянских или латинских выражений).

Прим. сост. – Примечания составителей наст. изд.

*Мэри Кушникова,
Вячеслав Тогулев*

Шимон Токарежевский **СЕМЬ ЛЕТ КАТОРГИ¹** **Варшава, 1907²**



СЛОВО ОБ АВТОРЕ ВОСПОМИНАНИЙ³



1 июля 1900г. в Варшаве умер Шимон Токаржевский. 3 июля Станислав Гизпаньский обратился в магистрат, чтобы получить цеховое знамя, с которым сапожный цех намеревался торжественно выступить на похоронах умершего Шимона Токаржевского⁴.

Цеховое знамя не выдали.

Но Варшавская полиция почтила усопшего по-своему: на перекрестках улиц, через которые из костёла Святого Антония тянулся траурный кортеж, встали конные жандармы, а вдове усопшего, которая шла за гробом, окружили комиссар полиции и районный следователь...

Кто же этот человек, чья смерть так обеспокоила Варшавскую полицию?

Шимон Токаржевский был *сапожным мастером*. С 1864 года он никогда не сидел у рабочего стола – но званием сапожного мастера гордился, поскольку сапожное ремесло избрал для себя по убеждению, чтобы таким образом иметь возможность сеять добрые зерна народно-просвещения среди варшавских ремесленников.

Он был одним из рядовых на службе Отчизны, один из тех энтузиастов, которые отдавали всю свою душу, и жизнь коих была сплошным подвигом... Сын помещика Любельского края в юности встретился с ксендзом Петром Щегинным, познакомился с его патриотическими и демократическими идеями, и, оставив родительский кров, попал в ряды заговорщиков.

Деятельность народного трибуна была первым этапом тяжелых испытаний Шимона Токаржевского.

Двухлетнее заключение во Львове, затем пребывание в крепости Модлин, каторга в Омске – главные моменты этого периода его жизни.

В 1857 году, после вступления на трон Александра II, он вернулся в родные края и намеревался осесть здесь навсегда.

В Варшаве в доме Эмилии Госселин встретился с кружком ремесленников и, убедившись, что это люди с храбрым и горячим сердцем, решил сблизиться с ними, и поведал им о собственных чувствах и мыслях, и так вошёл в их среду.

Источники текста:

Tokarzewsky Szymon. Siedem lat katorgi. – Warszawa, 1907. [*Токаржевский Ш.* Семь лет каторги. – Варшава, 1907. – На польском языке].

Tokarzewsky Szymon. Siedem lat katorgi. – Warszawa 1918. [*Токаржевский Ш.* Семь лет каторги. – Варшава, 1918. – На польском языке].

Печатается с исправлениями и добавлениями по:

Токаржевский Ш. Семь лет каторги // *Кушникова М.М., Тогулев В.В.* «Кузнецкий венец» Фёдора Достоевского в его романах, письмах и библиографических источниках минувшего века. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 2007. – С.461-626. [Приложения].

По традиции решено было выбрать для него ремесло – он стал сапожным мастером.

Вскоре его скромный дом на углу улиц Биеланьской и Гломацкий стал очагом, к которому потянулись ремесленники во главе со Станиславом Гизпаньским и молодежь из школы изящных искусств, из медицинской академии, а также известные литераторы и деятели: Александр и Владислав Краевские, Эренберг, Титус Халубиньский, Йезиораньский, Траугут, Точиский и др. Вспыхнуло восстание...

В 1863 году Токаржевского выслали в Рязань, но через четыре месяца он вернулся, однако вскоре вновь попал на нары и в крепость.

В 1864 году его выслали в Александровск на Амуре, потом он пребывал в Иркутске, а затем в Галиче Костромской губернии.

Вернулся на родину в 1883 году.

*Польская Газета,
дня 2 января 1907г.*

* * *

*Если кто-либо когда-нибудь в сибирской степи
обнаружил бы где мои кости, пусть бы не искал
в моей голове корыстные мысли...*

*Пусть жажда славы или величия
Не прикоснется к той душе наивной,
Которая мир любила, как Бог велел,
И не умела, не могла иначе,
Потому что боль людская была и её боль.*

*И хоть заброшенная в горькую реку жизни,
Увидела мать родную на смертном одре,
О счастье которой мечтала с рожденья,
И это было ей первым правилом веры,
Всё ж не могла впасть в сомнения пропасть,
Всемогущество Божье над собой ощущая,
И веря: счастье блеснет, и светлым всё станет.
И это всё, что желала душа на века.*

Шимон Токаржевский⁵

ПРИСЯГА

Сердцем чувствую, что из горстки братьев-заключенных и изгнанников осталось нас очень немного. Вечность уже вступает в силу. И я тоже иду к краю моего земного путешествия. Всю свою молодость и зрелые годы, тридцать из них я провёл на каторге и на поселении. И всё это время я служил любимой моей Отчизне. Ещё до моей «службы» я, как ученик школы Щербезинской связал себя особой присягой, что произошло при следующих обстоятельствах.

В 1839 году я побывал в Замошье, в Соборе на литургии, где выступал мой дядя, декан, и с амвона огласил имена тех, кого объявили «политическими преступниками», лишёнными всех гражданских прав и осужденными на каторжные работы в Нерчинских рудниках. Фамилии, оглашённые им – Александр Венжик, Густав Эренберг, Михаил Ольшевский, Александр Краевский, Михаил Грушецкий, Гервазий Гзовский, Кароль Подлевский, Констанций Савичевский, Антоний Валецкий, Евгениуш Жмийевский, Марцелий Брохоцкий, Владислав Рабцевич, Александр Родкевич.⁶ «Может случиться, – сказал он, – что кто-нибудь из перечисленных выше сбежит в пути, посему объявляется, что кто бы такого каторжанина ни встретил, он обязан его поймать и под наистрожайшей ответственностью доставить в ближайший район живым или мертвым».⁷

Тут голос декана затих. Обливаясь слезами, он сбежал с амвона. Я стоял поблизости. Декан схватил меня за руку и потащил за собою в крестильню. Там висело огромное распятие и сквозь алые стекла красные блики отражались на Христовом теле, которое казалось залитым кровью. Мы встали перед распятием.

– Поклянись, парень! – взволнованно сказал декан. – Поклянись, что пойдешь той же дорогой, как те каторжане, имена коих я огласил с амвона. Я положил правую руку на ноги Христа и сказал:

– Ранами распятого Спасителя клянусь!⁸

И жизнь сложилась так, что именно с названными каторжанами я постоянно встречался на одних и тех же дорогах. И вместе с

ними радовался тем мимолетным надеждам, которые недолгие мгновения манили нас в 1860-1864гг., и с этими осуждёнными Михаилом Грушецким и Гервасием Гзовским, позднее мы вновь вкушали горький хлеб изгнания...

Словом, я прошел по жизни тем же путем, что и они, и, думаю, что выполнил присягу, принесенную в Замойском кафедральном соборе.

15 апреля 1889г.⁹

ВОЛНЕНИЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ



Дед мой, Барский конфедерат, из рода Токаржевских-Карашевичев, герб «Труба», из окрестностей Гродно, после первого раздела Польши переселился в Любельскую землю. Я родился в Миелише, поместье моего отца Себастьяна, и как ученик школы Щебжезинской во всех знакомых домах встречался с ксёндзом Щегиенным.

Ксёндз Пиотр был сыном земледельца и приходским священником в Ходле, в земле Любельской. Пламенный патриот, он был горячо принят бедными и притеснёнными слоями народа. Он твердо решил бороться с русскими чиновниками и добиться независимости Польши с помощью надежных народных рук. Но чтобы поднять народ на такую борьбу за независимость, он считал необходимым пробудить в нем уверенность, что свободу и счастье может принести только независимая Польша. Причины политические ксёндз не объединял с социальными мотивами. Одаренный острым умом и пламенным сердцем, ксёндз Пиотр высшего образования не имел, иностранными языками не владел, ни о каких социальных теориях не был наслышан, но притом общественное устройство представлял, согласно своим собственным соображениям, к которым пришёл в течение многих лет, наблюдая нужды, традиции, и стремления польских мужиков. Эти наблюдения мог проводить в жизнь, тем паче, что из всей его семьи только брат, учитель геометрии, покинул родительскую усадьбу, а все остальные работали на земле. Социальные теории ксёндза Пиотра в корне отличались от заграничных. В то время как французские, английские и немецкие социологи старались принизить

влияние католического костёла, – наш народный трибун представлял костёлу самую важную роль в польской Жечи Посполитой. Приходской священник должен быть выборным начальником волости, – считал он, – и в волости, в её обрядах должны отражаться самые животрепещущие интересы народа. А потому наш народный трибун и реформатор мечтал, что Польша, воскрешённая и обустроенная, согласно его пожеланиям, станет примером для всех народов, особенно для всех Славян. Социальная пропаганда привлекала к нему сторонников особо, потому что в своих речах он выказывал глубокое знание волостной жизни. И был уверен, что на его «холопский» голос в великой Отчизне от края до края, «победно и светло встанет Божья вера». Он был уверен также, что даже без участия шляхты и горожан (мещан) победа вполне возможна. Между тем, «холопский заговор» сблизился с «Союзом молодежи» и звеном, объединяющим эти движения, была строгая конспирация, охватившая земли: Любельскую, Сандомирскую, а потом и Краковскую. – В земле Киелецкой, в колыбели рода Щегиенных, должно было вспыхнуть восстание в 1844 году. Но ксёндз Пиотр не обладал данными вождя: не был предусмотрительным, не был расторопным. Он даже не запас оружия, надеясь, что когда двинется толпа людей со всей «холопской силой», мужицкие плечи, орудуя косами, вилами, цепями, сумеют побить регулярные русские войска. А вот что среди мужиков может объявиться предатель, – он не допускал. Как же так? Его брат, его кровь, его плоть, по прямой линии потомки Пьяста, кмета, колесника и короля, – чтобы кмет стал предателем и Иудой?.. Никогда!

И однако... Ох, ты, тёмный, сосновый лес, помнящий древние времена! Ох, вы, белые березы, растущие на взгорье, вы, поля, покрытые зеленью озимых! – Все вы были свидетелями знаменательного дня 24 октября, когда по всему краю в земле Киелецкой, ксёндз Пиотр Щегиенный в стихаре и красной епитрахили обратился к нам под сенью креста:

– Вознесем сердце к небу и присягнем, что никогда не отступимся от нашей святой веры, что по наказу Христову будем любить всех людей как братьев, что не пожалеем крови нашей для Отчизны, для той Матери Земли, которая была нам колыбелью, которая нас кормит и прах наш принимает в свое лоно.

Ксёндза Пиотра, стоя бок о бок, слушали мужики, шляхтичи, кулоны¹⁰, и всех нас охватил такой безграничный задор, что мы готовы были с голыми руками ринуться добывать оружие и побеждать регулярную армию.

Наутро крестьянин, крепкий хозяин, Валентин Яниц донёс обо всем губернатору Биалоскорскому, который приказал привести ксёндза Пиотра. Приказ выполнили. Нашего трибуна арестовали в Билче. В Кельцах губернатор Биалоскорский сердечно и гостеприимно принял ксёндза. Покоренный таким обращением, наш народный трибун во всем губернатору признался, а тот сразу же отослал его в Варшаву.

Ксёндза посадили в крепость и приговорили к смертной казни. Он уже стоял под виселицей в Кислицах, под барабанный бой ему уже надели петлю на шею, сняв с него одеяние священника, когда вдруг ему зачитали приказ о помиловании и замене смертной казни на пожизненные каторжные работы. На каторге оказались также двое его братьев, Карол и Доминик, оба крепкие хозяева. Обоих перед высылкой подвергли порке.

В Сибири, в Александровске, ксёндз Щегиенный, вместе с несколькими сотнями своих товарищей, создал род коммуны, согласно своим собственным теориям, где сотоварищи поровну делили плоды своих трудов. Оказалось, однако, что ленивые и нечестные живут за счёт оборотливых и трудолюбивых, так что сотоварищество распалось. – Освобождённый от наказания, вследствие амнистии, ксёндз Щегиенный вернулся на родину и через несколько лет умер в Люблине.¹¹

В КРЕПОСТИ

После ареста ксёндза Пиотра большую часть заговорщиков, особенно шляхтичей, тоже схватили и отправили в крепость. Некоторым удалось вырваться за границу. Я был одним из них. Но польская земля слишком близко соседствовала с Австрией, где правил Меттерних, и потому Австрия была ненадежным убежищем для политических преступников. Как только я прибыл во Львов, меня арестовали и после следствия выдали

русским властям. Я назвался Феликсом Ходкевичем, который вместе со мной прятался в Галиции, но умер там у своих родственников. Изменить имя было необходимо, поскольку Ходкевич если бы и был наказан, то только за переход границы без паспорта. Вместе с ещё несколькими меня отправили в кутузку. В Старом Замошье я встретился с отцом и братом, а в Краснымставе увидел, что Мисячкевич, заместитель волостного головы Старого Замошья, приложил к нашим бумагам, адресованным в Совет Губернской Экспедиции такое указание: «Остерегайтесь статьи экстрадиции, поскольку один из заключенных – не Феликс Ходкевич, а Шимон Токаржевский, за которым помощник военного начальника Любельской губернии наблюдал как за политическим преступником». Этот донос Мислачкевича, который был моим школьным соучеником, этот донос обрушил все мои планы и поставил меня в наипоопаснейшее положение.

В Люблине нас привели в губернский Совет, где советник Липинский сразу взял меня под свою «опеку».

Сладкий, как карамелька, нежный и скромный, как дитя, добрый как мать, он своей наигранной чуткостью и любезностью добился признания не только от меня, но и от многих других. Однако вскоре его поведение совершенно изменилось и из любезника он превратился в озверевшего грубияна, пообещал мне множество неприятностей, впрочем, многие сам придумывал на ходу и, не dokonчив протокола, отослал меня в кабинет военного начальника.

Тут повторилась такая же комедия: сперва любезности, потом хамство. В конце концов, меня отослали на гауптвахту, откуда наутро жандармы экстрапочтой отвезли меня в Варшаву.

В столицу «Королевства Польского» я прибыл 13 июня 1846 года перед полуднем. Задержались на плацу. Около ордонанцхауза прождали несколько минут.

Появился Блюменфельд, который спросил у меня фамилию и сословие.

– Мужик, крестьянин, – ответил я, гордо подняв голову.

Блюменфельд принялся листать страницы какой-то большой книги и через несколько минут, иронично посмеиваясь, сказал:

– Шимон Токаржевский¹² – сын Себастьяна, герб «Труба» – родом из Гродненской губернии, дед Шимона Токаржевского – Барский конфедерат, поселился в Любельском...

Я опешил. Из этой огромной книги Блюменфельд прочёл мне вслух всю нашу родословную, потом закрыл книгу, уселся и пытливым взглядом уставился на меня.

Тут в комнату вошел жандарм: майор Лейхте.

– Откуда вы прибыли? – спросил он с ироничной усмешкой и, выслушав мои ответы, покачал головой с укоризной:

– Ой! Дети! Дети!

Как только Лейхте вышел, появился третий, высокий, худой, сухощавый, с аксельбантами, подполковник Жуковский, адъютант князя Паскевича. Этот закричал сразу:

– Говори правду, а то мы тебя переведём в крепость и под батогами ты, бунтовщик, сразу всё выложишь.

В молчании я выслушивал угрозы, вымышленные и настоящие, так что для меня было спасением, когда, наконец, меня отослали в крепость.

Целая стая жандармов с Жуковским во главе вышла на встречу нового постояльца, привезённого в узилище. После обыска жандармы забрали у меня всякие мелочи, которые нашли: ножнички, перочинный нож, гребенку, бумажник и прежде всего – деньги.

– Так, теперь у меня нет больше никакого движимого имущества, – размышлял я, – господа забрали у меня всё, кроме того, что кроется в моём сердце и разуме.

– *Куда? Куда? Что это такое?* – орал фельдфебель, но Жуковский скомандовал: «Марш», и жандармские кулаки втолкнули меня в какую-то грязную и мрачную избу.

Около простого деревянного стола, вымазанного чернильными пятнами, развалившись в кресле, обтянутом потертой кожей, сидел молодой мужчина.¹³

– *Новый мятежник, Ваше благородие,* – как бы представил меня фельдфебель.

Квиечинский довольно усмехнулся и раскрыл большую, лежащую на столе, книгу и, послунив грязный палец, принялся её листать, потом спросил:

– Имя и фамилия его?

– Его зовут Шимон Токаржевский, – ответил я, всячески стараясь придать спокойствие голосу.

– Происхождение?

– Холоп.

Квиечинский бросил перо.

– Bravo! Bravo! – закричал он, хлопая в ладони. – Демократия на показ, а в глубине души высокомерие и тщеславие. Bravo! Захотелось вельможным панам шляхтичам Жечи Посполитой и золотой шляхетской вольницы, захотелось возобновить выборные сеймы, и выбрали бы королем кого-нибудь из щегиеннистов, а пан ксендз тотчас бы стал примасом и канцлером. А почему нет? Давай, давай!

И так хамски он смеялся, этот мерзкий человек, который почему-то родился поляком! Я старался не слушать и не слышать, вооружился терпением, молчал... Наконец, Квиечинский, видя, что говорит в пустоту, крикнул:

– Вон! Свиная утроба!¹⁴ – и приказал жандармам посадить меня в камеру №46.

Это было продолговатое помещение с высоко расположенным окном, забранном толстой решеткой; в дверях – форточка, через которую постоянно заглядывал охранник, дежуривший в коридоре день и ночь. Деревянный стол и стул, миска для умывания, нары: вот и весь скарб заключенного.

Будучи уже опытным человеком после Львовской тюрьмы, я сразу же начал осматривать стены и мне удалось на их серой и грязной поверхности обнаружить несколько имен, очевидно, прежних «жильцов» и красноречивые надписи: «Да здравствует Польша!», «Люди, к оружию!», «К оружию все вместе!», «Прочь титулы *ксёндз* и *пан*!», «Про Патриа!», «Про Кристо!», как будто в Мамертинской тюрьме или в Тулиануме.

Я устал с дороги, и был сломлен обидами, так что, когда жандарм принес мне постель, я рухнул на нары и эту первую ночь в крепости проспал непробудным сном праведника.

Около моей камеры сидел Генрих Мониковский¹⁵. В первые дни заключения меня ежедневно вызывали в следственную комиссию. Во время допросов не скупилась на оскорбления и угрозы.

Обещания порки сотнями и даже тысячами батогов сыпались как из рога изобилия. Однажды сенатор Стороженко даже показал мне дерево, из которого сделают для меня виселицу...

Три недели я пребывал в полном одиночестве, потом меня перевели в камеру №1, где я застал 70-летнего Венда, который сердечно меня приветствовал, как отец сына, и назвал «новичок». Преклонный возраст Венды, его светлое и приятное лицо, испытания, которые он пережил и которые его еще ожидали впереди, будили в моем сердце уважение и горячую привязанность к милому старику. Сколько дорог, сколько разнообразнейших приключений прошел Венда! Служил в армии Наполеона и любил рассказывать об этой головокружительной эпохе. Обычно в вечерних беседах мы, следом за императорскими орлами, проходили через всю Европу, не раз в нашей камере раздавался возглас «vive l'Empereur!»¹⁶. И так нам было хорошо вместе! Мужество старого вояки согревало мое юное сердце, воспламеняло его ещё больше любовью к вольности и свободе – нам так хорошо было вместе! Но как-то утром моего старичка забрали и перевели не знаю куда. Это было для меня большое горе.

Другим моим товарищем оказался ксёндз Юзеф Станишевский из Куяв.

С его вселением в камеру №1 воцарилось совершенно другое настроение.

Ксёндз Юзеф вёл жизнь, полную бурных приключений, о которых любил рассказывать. Притом был пламенным патриотом, что доказал на деле, так что полгода мы прожили бок о бок в полном согласии – а шалости, которые творил ксёндз Станишевский, очень разнообразили печальную унылость тюремной жизни. По закону положено было освещать камеру сальной свечкой, которую ставили в плошку с водой, и она должна была гореть до рассвета. Это освещение стало для нас настоящей пыткой, потому что жандарм появлялся то и дело и щипцами отстригал коптящую верхушку фитиля. Он будил нас всякий раз, когда отворял дверь и бряцал ключами, притом ругаясь, почему фитиль сильно обгорел, а *скотина* свечка слишком быстро тает и её не хватит до утра, за что он, жандарм, схлопочет *выговор*, почему плохо обрезает фитиль. А, бывало, ксёндз Юзеф не спит,

но храпит, как рыкающий тур и велит мне тоже храпеть, а потом, услышав, что охранник в другом конце коридора, соскакивает с нар, ползёт к свечке и гасит её. Приходит охранник и видит, что в камере полная темнота и поднимает переполох – а вдруг *мятежники* удрали?

Прибегают жандармы, зажигают свечу и ломают голову, почему она погасла, коли узники храпят и видят сны. А мы после ухода жандармов задыхаемся от смеха, потому что те пришли к выводу, что в этом деле замешана *нечистая сила*.

Ксёндз Станишевский часто симулировал разные болезни. Его забирали в госпиталь, врачи находили, что он совершенно здоров, и через несколько часов он возвращался очень довольный – всё-таки развлечение, и притом, хоть какая-то возможность общения с товарищами по несчастью.

Как-то ему пришло в голову сыграть сумасшедшего. Он кричал во всю глотку, пинал жандармов ногами, ударил по лицу Квиечинского, который в гневе приказал надеть ему кандалы на руки и ноги. В это время прибежал лекарь. Мнимый сумасшедший успокоился, только вращал глазами и жалобно стонал. Лекарь, русский, неплохой человек, осмотрел ксёндза Юзефа, потрогал лоб, покачал головой и тихонько шепнул:

– Успокойтесь!

И даже выписал какое-то лекарство и холодный лимонад, а что до кандалов на руки и ноги, чего особенно требовал Квиечинский, – лекарь твёрдо их запретил, заверив, что у ксёндза болезнь проходит в виде периодических приступов, хотя, – я уверен! – что как врач он всё понял.

В подобных шалостях я, по возможности, ксёндзу Станишевскому «ассистировал», и в результате мы добивались хоть какого-то расслабления нашей жизни, которая проходила в убийственном однообразии – мы видели новые лица, помимо жандарма и охранника, иногда удавалось услышать какую-нибудь новость, встретить приятного человека...

Переводы из камеры в камеру приводили новых соседей. Так, из №1 нас перевели в №53, где ксёндз Юзеф начертал на стене такое изречение: «В одиночестве человек говорит с Богом. В тишине Бог говорит с человеком».

Из камеры 53 в октябре меня представили перед военным судом, который проходил в большом зале. Посредине стоял стол, покрытый зелёным сукном. На первом месте сидел председатель военного суда, за ним – комендант крепости, генерал Симонич, по обеим сторонам стола сидели офицеры разных чинов, но их присутствие было чистой формальностью; главная роль в этом суде принадлежала Обер-аудитору. Он задавал вопросы, находил соответствующие правовые статьи или «указы», согласно которым подсудимый должен быть наказан. Он же писал приговоры, которые члены военного суда подтверждали своими подписями.

Когда я впервые встал перед этим ареопагом, Обер-аудитор спросил моё имя и фамилию и объявил, что по приказу наместника Королевства Польского я отдан под военный суд.

– А это члены военного суда, – сказал он, показывая рукой на сидящих офицеров, – у вас нет возражений против кого-либо? Желаете ли взять себе адвоката или будете защищать себя сами?

Я думал, что мне разрешается вызвать гражданского защитника, но Обер-аудитор объяснил, что в защитники я могу выбрать себе кого-либо из офицеров, которые как мумии сидели за столом. Это предложение показалось таким же смешным, как если бы овце предложили взять в защитники волка. А потому я, усмехаясь, сказал:

– Господа! Я вижу, что вы добуквенно выполняете свои обязанности, и я думаю, что приговор для меня уже давно готов, а потому нет смысла задерживать его оглашение.

Начался допрос.

– Знали ли Вы приходского священника из Ходла, ксёндза Пиотра Щегиенного?

– Имел эту честь!

– К каким целям стремился ксёндз Щегиенный?

– Осчастливить детей, насытить голодных, утереть слёзы плачущим, утешить несчастных, указать верный путь заблудшим...

– Довольно! – гневно прервал меня Обер-аудитор. – К сути! К сути! Вы как будто читаете из катехизиса и перечисляете нам подвиги христианского милосердия, а мы хотим узнать, к каким политическим, *по-ли-ти-чес-ким*, понимаете, *политическим* целям стремился ксёндз Пиотр Щегиенный?

– Только к одной – к той, за которую патриот готов пролить кровь и отдать свою жизнь до последней минуты, – к цели, к которой не может не стремиться каждый порядочный человек, цели освобождения Отчизны...

Генерал Симонич опустил глаза, и видно было, как он пытался успокоиться, но взволнованное дыхание выдавало его. Очевидно, стыдился, что он, солдат, он, человек безупречно порядочный, должен ставить свою фамилию под приговорами, которые обрекали не только на заключение и высылку, но и на смерть тех, кто стремился к освобождению Отчизны.

– Замолчите! – крикнул Обер-аудитор. – Мы не для того собрались здесь, чтобы слушать пафосные речи заговорщика, – мы хотим... нам нужны Ваши признания... Вы меня понимаете?

– Конечно, не понимаю, какие признания Вам нужны?

– Сами знаете, хорошо знаете, мы преследуем цель пресечения того, что нам известно также, как и Вам...

– Не сомневаюсь ни на секунду.

– Ну, нет, так нельзя! Придираться к словам – это неуважение к суду... Мы просим, просто, без всяких выкрутас, отвечать только на заданные вопросы.

– Я готов, если это окажется мне по силам.

– Прошу назвать фамилии наиболее видных щегиенцев.

– Рад бы услышать эти фамилии от Вас.

– Не мудрите, а вспоминайте, – ну, будешь болтать или нет?

– Не буду! – ответил я спокойно. – Я не попугай.

– А ты знаешь, что за такие дерзости тебя можно приговорить к батогам?

– Это было бы несправедливое наказание.

– К делу! В чём ты можешь сознаться?

– Ни в чём! Никаких фамилий назвать не могу – не знаю никого из щегиенцев, как Вы их назвали. Цели заговора, если это вообще можно назвать заговором, с чем я решительно не согласен, Вам известны, как Вы только что сами сказали, а что до восстания по всему краю, о том сам ксёндз Щегиенный рассказал господину губернатору Биалоскорскому, так что высокий суд, несомненно, уже получил подробнейший рапорт.

– Вижу, что мы с Вами не столкнёмся.

– Притом, что я горячо надеюсь найти взаимопонимание с высоким судом.

– Хватит! Хватит комедии! – закричал Обер-аудитор. После чего громко зачитал «моё признание», то есть наш диалог, и, набросав карандашом на краях бумаги разные значки и «Нота Бене» (особое внимание!) при приписках и объяснениях, ещё раз спросил, не желаю ли я что-либо добавить или изменить, и, получив ответ, что пусть всё остается, как есть, велел мне «признание» подписать.

Когда я вернулся в камеру, свечка в плошке уже горела. При виде моего измученного лица, охота шутить у ксёндза Юзефа пропала. Он сидел молча, а потом начал молиться и читать требник – а я, как будто под действием какого-то наркотика, большими шагами ходил в камере по кругу, ступал размашисто, погруженный в безотрадные мысли, когда вдруг – у моих ступней послышался легкий шелест, тоненький писк, я нагнулся – Боже! – далее последовало одно из самых тяжких мгновений моей жизни...

Во время наших коротких прогулок мы нашли как-то во дворе малосенького воробышка, подняли пташку еле живую, отогрели, обласкали её вместе с ксёндзом Юзефом, кормили и всячески пестовали. Воробышек превратился во взрослого воробья и был настолько «домашним», что когда мы брали его с собой на прогулки, он спархивал с руки, облетал вокруг двора и спешил спрятаться в рукав моего пальто. Любил сидеть на окне, с любопытством разглядывал своих собратьев, порхающих на воле. Наш воробышек был любимцем всего крепостного люда, даже жандармы говорили с милой птахой ласковым голосом! И этого нашего любимца, нашего дорогого товарища, я нечаянно растоптал... Над мёртвой птичкой мы оба плакали, да что я говорю, – мы рыдали так громко, что охранник постучал в оконце: *«Господа, господа»*, и уговаривал нас утешиться. Сейчас, когда я об этом думаю и пишу, не могу сдержать слёзы.

10 ноября меня снова вызвали в военный суд. Офицер проводил меня в зал, где я увидел всё тех же персонажей, заседающих у стола, того же самого аудитора и Обер-аудитора. Они хотели ещё раз повторить формальности прошлого раза, и я попросил, чтоб

меня от них избавили, мне снова подсунули моё «признание» – я его от себя отодвинул, потом прочёл только суть моего дела, то есть выводы, и выслушал решение суда.

Меня осудили на лишение всех прав, конфискацию имущества, две тысячи батогов и ссылку на десять лет в Сибирь на каторжные работы.

Приговор я слушал настолько спокойно, что, наверное, второй раз в жизни мне бы это уже не удалось. Потом мне задали ещё один вопрос:

– *Довольны ли Вы решением?*

На это я уже ответил смехом, что моих судей неслыханно разгневало. А мне казалось, что приличней всего было бы спрятать портрет императора, перед которым все это происходило.

Я думал, что после приговора я покину крепость, – но всё обернулось иначе. 12 декабря 1846 года забрали от меня ксёндза Станишевского – и в камере №15 я остался один.¹⁷ Через несколько дней прибыл ко мне Заденбский, парень из Хробжа, мужичок маркграфов Виелопольских.

Это был высокий, представительный мужчина.

Привычный к безграничной свободе, «среди своих нив и полей», бедный парень страшно страдал в крепости и каждые несколько минут вздыхал: «Ой! Тошно мне, тошно! О, Иисусе!» – вечерами привычно читал молитвы и был хорошим рассказчиком. О Кракове, о красотах своих родных мест рассказывал образно, красочно, объятый любовью к своей усадьбе. Немного хватаясь, рассказывал, что у него красивая «изба» с садом, и запасы зерна, и фруктовых деревьев посажено «вдоволь» – прекрасный «скот», инвентарь, который каждому «глянулся бы». Однажды на обычной прогулке у меня перед глазами мелькнули двое «новых», в белых краковских кафтанах и пунцовых краковских шапках. Обычно мы, «старые», то есть давнишние постояльцы крепости, устраивались так, чтобы встретиться с «новыми», шепнуть своё имя, пожать руку, и услышать какую-нибудь новость «с воли». И сейчас тоже, идя в паре с Заденбским, мы перешли дорогу «новым». Это были очень молодые и необыкновенно ладные мужчины: блондин и шатен, которые, увидев моего товарища, оживлённо крикнули:

– Привет! Брат Заденбский, привет!
 – Привет и вам, братья! – откликнулся Заденбский.

На маленьком пространстве, где проходили наши прогулки, роились тучи жандармов, однако пан Квиечинский тоже надзирал над нами, очевидно, ради собственного удовольствия.

Услышав приветствия, адресованные Заденбскому, он крикнул жандармам, конечно, по-русски:

– Загоните это быдло, это бешеное стадо в стойло!

– Золотенький Шимко! – сказал, сияя, Заденбский, когда мы вернулись в камеру. – Шимку, оба этих панича были вместе с нами, когда мы отлупили казаков в Видоме. Знаешь? Видома, корчма при тракте из Миехова до Кракова.

– Слышал. И что? Вы отлупили там казаков?

– В пух и прах, братик золотенький! В мелкий прах!

– А сколько тех казаков было? – спросил я.

– Точно не скажу. Была ночь, гроза надвигалась от Сломника, а дальше мы нашли хороший багор... Захватили мы их во сне, отлупили от души, но скоро они пришли в себя, вскочили на коней и сделали ноги. А коняги у них – как кабань!

После возвращения из моей второй ссылки (в 1883 году) довелось мне быть в Кракове (в 1885г.) в гостеприимном доме Иенджея Дескура в Санциньове. Собралось нас несколько старых непреклонных *мятежников*, и Заденбского тоже пригласили и привезли из Хробжа. Вспоминали давнишние «добрые» времена конспирации и... надежд. В этой сердечной и милой беседе каждый вспоминал всякий раз ещё что-нибудь. Иенджей Дескур рассказал, как стоял на эшафоте в своём красном, подбитом атласом, «камзоле», в котором его, когда он возвращался из Парижа, схватили на границе и отправили в крепость, как палач уже накинул ему петлю на шею, и тут галопом прискакал адъютант князя Паскевича, издали размахивая белым платком в знак помилования, которого добилась мать Иенджея у самого Николая I... Как прямо с эшафота втолкнули его в кибитку в том самом щёгольском красном жилете, без запасов одежды, без денег и, вместе со Стефаном Добжичем, повезли в Сибирь. Мы утопали в воспоминаниях, потому что они были «поэзией» нашей жизни... Как только в нашем кружке голоса умолкали, тут же Заденбский вступал в беседу и

начинал рассказывать о Видоме, потирал руки и хлопал по плечу Юзефа Лесчинского, который тоже был участником «расправы» над казаками, и старик смеялся:

– Ну, мы ж казаков излупцевали в пух и прах, в мелкий мак, в опилки, что называется. Ну, пан Юзеф, правда, а?..

Невдолге потом у меня в Варшаве гостил сын Заденбского. Парень удивительно сильный, дородный, разговорчивый; но о прошлом своего отца не знал ничего. Наверное, работа на хозяйстве захватила Заденбского полностью, так что у него не оставалось времени рассказывать детям о прошлом.

А те двое «новых», которых мы встретили тогда во дворе, были родственники друг другу: Юзеф Белина Лесчинский и Игнаций Костжицкий.

Заденбский недолго побыл со мной. Сразу после Рождества его перевели в другую камеру, а в мою поместили Яна Микуловского, с которым мы уже не расставались до самого выезда в Модлин¹⁸.

Лениво тянулись дни в крепости, среди жандармов и солдат. Единственным нашим развлечением были книги, которые доставляли нам родственники. Ещё мы лепили из хлеба шахматы, цветы, туалетцы и прочие мелочи. Вечерами говорили с соседями через высверленную в стене дырку, тщательно укрытую от глаз Морока и Квиечинского. С помощью таких дырок и перестукиваний весь павильон переговаривался друг с другом.

Как-то мы устроили, как говорил ксёндз Станишевский, *театр*. По данному сигналу начали петь:

К оружию, люди! Встанем все в строй!

И подадим друг другу братскую руку.

Сохраним следы гонений.

Пусть завоеет право весь люд.

У нас одно общее имя: ближний и брат.

К оружию! К оружию! К оружию!

Мы пели громко, что было сил, так что весь павильон содрогался от клича «К оружию! К оружию! К оружию!». Начался переполох. Охранник стучал кулаками в дверь камер. Видно, сразу не

могли сообразить, откуда идёт этот боевой призыв... Наконец, к солдатам, дежурным офицерам и в коридор к охране явились Морок, Блюменфельд и Квиечинский. При бряцании сабель и выкриках проклятий, песня, конечно, умолкла. Вся тройственная компания, Морок, Блюменфельд и Квиечинский пенились от злости. Квиечинский ворвался в нашу камеру.

– Всех поубиваю! – кричал он. – Я вас четвертую! Прикажу всех повесить!

– Ничего этого вы не сделаете, – спокойно ответил ксёндз Юзеф, – вы не можете этого сделать, а то кого же вы пошлете на каторгу и кто бы пополнял ряды армии Его Императорского Величества!

И всё-таки *театр*, так весело начатый, закончился печально. Некоторых из нас, известных буйным нравом, заперли в карцер на хлеб и воду.

Но вскоре опять по данному сигналу из камер неслись: собачий лай, мяуканье котов, петушиный крик, хрюканье, завывания, словом, – адский хор, после которого начиналась беготня наших охранников, сторожей и «опекунов»...

И как это в крепости была нам охота придумывать такие шалости? Наверное, дело было в том, что нас не покидала вера и надежда, что наши мучения не напрасны, что даже если нам, в конце концов, доведётся погибнуть, то падём мы за Отчизну, за её свободу и волю.

Морок и Квиечинский, помимо обычных служебных посещений, наносили нам ещё и частные визиты. Такой «гость» заходил в камеру, разваливался в кресле, и сладким голосом закадычного приятеля завязывал с узниками беседу, которая была сплошным издевательством. Иногда ему удавалось «разговорить» какого-нибудь юнца, поймать его на слове, вытянуть из него целую цепочку домыслов и фактов. Иногда Морок и Квиечинский умышленно провоцировали стычки, особенно, если узник был норовист, – а главное – богат! Однажды случилось, что Квиечинский вошёл в камеру Юзефа Лесчинского и Александра Червинского. Олесь был спокойный, флегматичный, терпеливый, а Юзек – живой, как искра, гневливый, шумный. На этот раз Квиечинский был в особо ехидном настроении и дразнил то того, то другого всем, что для поляков было дорого и свято. А стоявшие в углу

элегантные башмаки Лесчинского натолкнули его на мысль повторить хорошо известные слова¹⁹: «Как только на трёх шляхтичей придёт одна пара башмаков, которые они, выезжая из дома, будут занимать друг у друга, тотчас же прекратятся бунты и вооружённые восстания в Польше».

– Правильно! Правильно! – сказал Квиечинский. – Правильно! Бунтовщики набираются из шляхты, потому что шляхта – это собачье племя.

И тут Юзек схватил свой башмак и двинул им нахала по роже. Тот бросился на Юзека, поранил ему ногтями лицо²⁰. Кроме того, он разорвал на Юзефе одежду, топтал его ногами и сломал ему ребро. А потом посадил в карцер на хлеб и воду. Стараниями отца, подкрепленными значительной суммой денег, бедного Юзека вызволили из темницы, при условии, что он публично извинится перед Квиечинским. На церемонию извинения собрались все высшие чины крепости и члены военного суда: майор Лейхте, Сиянов, Жуковский, Блюменфельд, Босакиевич и комендант крепости, генерал Симонич со всем своим штабом.

На предложение извиниться Лесчинский ответил:

– Извиняться перед господином Квиечинским я не стану, потому что не за что. В моем лице он нанёс оскорбление всей шляхте и разве что только не шляхтич, не дворянин, мог бы сказать, что я не прав. Шляхтич признает, что я имел право выйти из себя!

Кроме коменданта Симонича и, может, кого из офицеров, среди всей этой толпы не было ни шляхтичей, ни дворян – и никто не хотел громко признаться, что не принадлежит к дворянству, и своим молчанием как бы выказали солидарность Юзефу, а Квиечень (так мы называли Квиечинского) даже не муркнул, только генерал Симонич усмехался себе в усы. Так что Юзека так и отвели в камеру без всяких извинений.

Хотел бы изобразить хотя бы силуэтно наших крепостных мучителей и состав следственной комиссии, но разве бы мне это удалось? Справился бы я? Думаю, когда-нибудь найдётся кто-то, хорошо владеющий пером, который сумеет раскрыть перед всем миром мерзость поступков, которые допускали эти люди. Весь их разум был направлен на то, чтобы как можно больше выследить заговорщиков или несправедливо обвинённых в заговоре арестовать,

чтобы таким образом удержаться на своих местах, на которых их осыпали наградами, титулами, там звенели деньги, там был источник их грязных доходов. В кровавом нашем народном мартирологе на веки веков останутся вписанными имена таких людей, как председатель следственной комиссии Стороженко, майор Лейхте²¹, Сиянов²², Жучковский²³, подполковник Жуковский, Блюменфельд, Квиечинский²⁴, Босакиевич. Трое последних были подобны молодым сторожевым псам, которые без усталости выслушиваются перед старшими. Думали ли эти люди о судьбе тысяч узников, об их несчастной судьбе? Нет! О жизни тысяч заключенных? Им дана была огромная неограниченная власть.

Из этой власти они умели извлекать пользу только для себя. Каждый из них, насколько мне известно, превратился во владельца ослепительных состояний, выуженных у тех, кто терпел за свободу Отчизны, кто мыкался по миру или по своей земле, зарабатывая на кусок сухого хлеба. И, в конце концов, сломленный невзгодами и неволей, умирал где-нибудь в больнице в общей палате.

Среди этой чёрной фаланги единственная светлая личность – комендант крепости, генерал Симонич. К нам, политическим, он касательства не имел, а будучи вынужденным выступать как председатель военного суда, никогда и никому не вредил. Если кто-нибудь из узников за какую-то провинность, в понимании вышеназванных лиц, лишался книг, табака, постели, попадал в темный и сырой каземат на хлеб и воду, то родственники таких несчастных обращались к дочерям генерала Симонича с просьбой о заступничестве. Эти красивые и добрые барышни добивались отмены подобных «милостей» от тех, от кого они исходили.

В «ЧЁРТОВЫХ БРИЧКАХ»



Хотя я был давно приговорён и давно ожидал выезда, эта пора всё не наступала.

28 апреля 1848 года, вечером, я услышал во дворе какое-то необычное движение. Звучали громкие голоса, слышался грохот заезжающих повозок. Мы жили тогда в камере №26. Я быстро вскочил на подоконник. Фонари освещали двор светлее, чем обычно. Стража была удвоена, а посередине территории

стояли так называемые нами «чёртовы брички». Иногда до нас долетало позвякивание железа о железо, будто бряцание каких-то цепей, то жандарм бежал по коридорам вдоль наших камер, то изнутри «чёртовых бричек» слышались какие-то шелесты, какие-то голоса...

Наконец, всё затихло...

Но до полночи мы оба оставались на моём наблюдательном посту.

– Наверное, меня сегодня вывезут, – сказал я моему товарищу.

Тоска сжимала сердце в предчувствии расставания, не выплаканные слёзы как огнём жгли веки.

Как только я лёг на постель, двери нашей камеры открылись с грохотом.

Бренча шпорами, замашисто вошёл вахмистр жандармов Татмахов.

– *Прошу собираться!* – крикнул он.

– Оба? – спросил Ясик.

– Оба! Оба!

– Видишь, нас не разлучают, – шепнул я.

Мы крепко обнялись. В несколько минут были полностью готовы.

Жандармы вывели нас на территорию, потом завели в строение, где был склад вещей, которые мы привезли с собой в крепость.

Там ждал нас Морок, взял у нас расписки, что мы получили вещи (причём не позволил открыть чемоданы), потребовал письменного подтверждения, что у нас нет к нему никаких претензий. А когда получил оба документа, передал нас под опеку жандармского офицера В.

Алоизий Венда много рассказывал нам об этом В., с которым он учился в школе в Киелцах. В юном возрасте, этот индивидуум допускал такие непристойности, что коллеги порвали с ним всякие отношения, причём напророчили ему, что кончит он на виселице. И объясняли это тем, что шея у В. такая длинная, как будто была создана для верёвки.

Теперь этот В. проводил нас к другой, рядом расположенной комнате. При слабом свете фонаря мы увидели там кучи цепей, и при них будто на страже стояло несколько жандармов и люди в кожаных фартуках.

– Садись, пан! Очень просим! – обратился он к Микуловскому, жестом указывая на кирпичный пол, покрытый толстым слоем грязи и всякого сора.

Мы удивились такому приглашению – усесться на кирпичный пол. Очень осторожно первым сел мой Ясько и вытянул ноги.

И тут начали на него надевать кандалы, короткие, но тяжёлые, «согласно предписанному весу». После него на пол сел я; очень быстро прошла церемония с одеванием кандалов, потом В., освещая дорогу фонарём, проводил нас обоих к «чёртовым бричкам».

Поистине дивное сооружение такая «чёртова бричка». Это огромное воз, разделённый на две половины коридором, в котором дежурят два жандарма. Внутри ведут семь ступеней. С обеих сторон коридора – по шесть камер, таких маленьких и тесных, что человек едва может поместиться и сесть, но только в одном каком-нибудь положении. Стены каждой такой клетки выложены матрацами, но есть круглое оконце, не больше доньшка стакана, такое грязное и пыльное, что через него мало что увидишь; есть ещё коротенькая форточка для доступа воздуха. Двери клеток закрываются на замки и на несколько засовов. Посредине двери – прямоугольное отверстие, затянутое сеткой из толстой проволоки, и стеклом, и это отверстие зовётся оконцем, потому что через него страже постоянно видны заключенные.

Мы залезли в первый воз, и я занял клетку №1, а Ясько – клетку №2. Через некоторое время привели ещё четырёх, и когда все клетки были заняты с левой стороны, мы услышали, как тяжёлая толстая железная рельса, проходящая вдоль всего ряда наших клеток, привинчивалась к каждой двери. Видно, это было очень мудрёное и сложное приспособление – такая «закрывашка».

Уже светало, когда оба воза были снаряжены. Они вмещали по 24 *больших преступников*. Погрузка проходила в большой спешке и с усердием, достойным высшей похвалы. Во всём этом было нечто похожее на тайное злодеяние грабителей и убийц, которые собираются «на дело» и почему-то задержались, и теперь пытаются наверстать упущенное время и страшно спешат, чтобы наступающее утро и солнечный свет не осветили их обличье и их чины.

Но нашим «опекунам» так-таки не удалось провезти нас незамеченными по варшавским улицам. Громкий лягз и грохот «чёртовых

бричек» будил сонных жителей. Через отверстие в матраце я видел, что во многих домах открывали окна, из которых выглядывали испуганные лица женщин и мужчин, плакали дети, и все протягивали к нам руки. Говорили ли они что-нибудь? Не знаю – потому что кое-что увидеть ещё можно было, а услышать – ничего.

Куда нас везут? – думали мы. Трудно было сориентироваться, я плохо знал Варшаву.

Слева, перед моими глазами, мелькали флажки на мачтах барж – значит, Висла была налево. Потом я вновь увидел флажки и башню крепости.

– Ага! – решил я. – Значит, едем в Модлин.

Первая перемена лошадей была в Яблонни.

Отверстие в дверях, железная сетка и стёкла отодвинуты, нам подают завтрак – ржаное пиво и булки.

Около наших возов собралось много любопытных. Иные, наверное, пришли поглядеть на нас, как ходят в зверинец, но у большинства были расстроенные лица и слёзы на глазах. Особо заметил молодую девушку.

Она стояла около ступеней, ведущих к возам, и плакала. Почему? Не знаю.

Может, недавно такой же воз увёз её отца, брата или возлюбленного? Может, наша общая участь будила в ней такое горячее сочувствие? Кто теперь скажет? Но я видел, что она едва сдерживает рыдания, а слёзы текли по её бледному лицу.

В МОДЛИНЕ

Когда мы остановились на улицах Модлина, из другого воза кто-то крикнул мне:

– Шимек, ты тут? Ты в браслетах²⁵?

– Я тут, и – в них! – ответил я, а спрашивал меня Юзеф Лесчинский.

– А мне почему-то браслетов не дали!

Я хотел сказать Юзефу, что его, видимо, считают «зайчиком»²⁶, а меня – «волком». Но я не успел ничего сказать, потому что началась высадка.

Я вышел первым. Вся улица была забита военными. Во главе стоял комендант тюрьмы Федеренко со всей своей свитой.

Федеренко о чём-то меня спросил – я ничего не ответил, сделал вид, что не понимаю по-русски. Потом меня повели в каземат.

Мы свернули налево, сюда доходил солнечный свет и отсюда был чудный вид на Нарву и Вислу. Но жандарм буркнул: «*Нельзя*», и толкнул меня вправо, в каземат, куда свет попадал через маленькое, очень высоко расположенное окошко и через три зарешеченных отверстия.

Сразу же за мной вошел Ясько. Вскоре пришли остальные.

И тут начались приветствия, горячие, сердечные, долгие объятия. Каждый из нас был оглушён такой резкой сменой обстоятельств.

Трудно представить, – после длительного заключения в одиночестве вдруг очутиться среди дружественных людей, которые разделяют твои убеждения, которые стремятся к тем же целям, что и ты, которые тесным узлом связаны с тобою мыслью, духом и общей бедой.

Какое бурное чувство охватывает тебя, может понять лишь тот, кто сам пережил такие минуты и подобные потрясения.

Мы приветствовали друг друга как самые близкие знакомые, как наилюбимейшие братья. И какое это было странное знакомство в тех условиях!

Как завязывалось оно в крепости? А вот как: с помощью стуков в стену.²⁷ Иногда на коротких прогулках мы ещё пытались мимолётным взглядом что-то дать понять друг другу, вот и всё!

Потом началась беседа. Очень шумная, беспорядочная, взволнованная. Только один из нас как бы сдерживал наши искренние излияния. Это был Зиенткевич из Нового Бжешка. Имелись серьезные доказательства продажности этого человека.²⁸

В Модлине передо мной обрисовались контуры того, что ожидало меня позднее.

Через пару дней после нашего прибытия в Модлин, на мосту появился ещё один обоз, что проезжал через Нарву.

– К нам везут ещё братьев! – вскрикнули мы. Их привезли ещё 20 человек.

Каждый из братьев, входивших в наш каземат, был в непомерном удивлении. Потому что никто не ожидал, что уже тут встретит

политических узников, которые станут громко и радостно приветствовать «новичков».

– Как жизнь? Привет! Давай, входи быстрее!

Первым вошёл Ян Кенниг.

Я хорошо помню, он постоял на пороге, покачнулся, застыл в изумлении и, наконец, вошёл.

Вот имена тех, которые были тогда в Модлине:

Ксёндз Воронец, старик 73 лет, Александр Гжегожевский, Францишек Каминский, Людвиг Мазараки, Алоизий Венда, Феликс Йордан, Юлиан Йордан, Ян Кенниг, Каминский, Ковальский, Яцек Кохановский, Михал Подгорский, ксёндз Доминик Ясинский, ксёндз Томаш Влодек, Юзеф Белина Лесчинский²⁹, Юзеф Точиский, Юзеф Рудницкий, Карол Рудницкий, Владислав Панговский, Доморадзкий, Кириак Акорд, Доминик Ходаковский, Адольф Грушецкий, Шимон Токаржевский, Бенедикт Косевич, Август Карасинский, Владислав Моджейовский, Констанций Бжоско, Генрик Рациборский, Иполит Рациборский, Ян Микуловский, Игнаций Костжицкий³⁰, Ян Микошевский, Шимон Чаплицкий, Мьешковский, Александр Гжибовский, Филитовский, Ян Собиеранский, Флориан Бутвилло, Рачинский, Александр Червинский, Станислав Дулкиевич, Миечеслав Заренбский, Соболевский, Михал Кожениовский, Зиенткевич.

Прошёл месяц со дня нашего прибытия в Модлин, но мы так и не знали, что с нами будет.

А когда обсуждали друг с другом наши предположения, за шутками, смехом, весёлостью, которые с самого начала не умолкали в нашем каземате, проглядывала кручина. Нас одолевала тоска по родным, по свободе, по какой-нибудь деятельности. Мы были как бы заживо погребёнными.

Иногда доходили до нас вести с воли. Мы узнали об отречении французского короля Людовика-Филиппа, о революции в Вене, как-то случайно к нам попал обрывок газеты «Варшавский курьер», где мы прочли, что площадь Св. Стефана в Вене теперь называется площадью Конституции, а позднее узнали, что Миерославский начал военные действия в Познаньском княжестве.

От бедующего в арестантских ротах еврея, который приходил нас брить (никто из нас не брился и не стриг волос), а также от

других узников, которые приходили подметать наши казематы и приносили воду, мы часто узнавали перевернутые, а, порой, просто смешные новости.

Нам не позволяли получать письма, газеты, мы никого не видели, кроме солдат, а иногда евреев-уголовников – и, тем не менее, при более точной осведомленности и при более близком знакомстве с окружением, у нас образовалась постоянная связь с Варшавой.

Среди инвалидов, назначенных нам в службу, а, вернее, для постоянного надзора над нами, был некий Марков. Когда-то он служил жандармом. За какую-то провинность был осуждён на наказание батогами и выслан в модлинский гарнизон. Это был хитрый, пронырливый и находчивый субъект. Каждое сказанное слово ухватывал на лету, мысли – отгадывал, любое желание, подкреплённое рублём, исполнял наилучшим образом.

Когда мы предложили Маркову относить в Варшаву наши письма и пообещали, что, помимо данных нами денег, получатели дадут ему не только рубли, но и пятизлотные монеты, – он охотно согласился. Письма в Варшаву доставил, ответы принес и был просто очарован приёмом, какой ему оказывали в домах, куда он носил наши послания.

– *Вот полячишки!* Вот это народ, – рассказывал он с восхищением. – Быстренько взяли письма, посадили меня на диван, дали вина, водки и чаю с ромом, и мяса, и калачи. А я развалился на диване и набивал брюхо, пока уже ничего не лезло. И тогда я сказал: ей-богу, уже не могу. А они просили: ешь, брат, пей, брат! А не то бери в карманы, что хочешь. И я в карманы напихал: и вино, и водку, и мясо, и деньги. Так они плакали все – и матери, и отцы, и маленькие дети, и я тоже плакал. Господи, помилуй! Господи, помилуй!..

После этого первого выхода Марков, как можно чаще, делал вылазки в Варшаву. Даже нашёл себе пристанище в «Новом Дворе» под Модлиным. Так что связь с Варшавой была довольно частой, постоянной и надёжной, поскольку Марков был нам предан всей душой и *полюбил поляков*, как заверял нас при каждой возможности.

С помощью Маркова мы получали «Варшавскую газету», «Варшавский курьер», получали письма, – но самое важное, к некоторым

нашим братьям начали приезжать и проводить их родственники и друзья.

Наше пребывание в Модлине держали в строжайшей тайне.

– Их в крепости уже нет, они там, где должны быть, и где им хорошо.

Так неизменно отвечали Лейхте, Квиечинский, Стороженко на взволнованные просьбы родственников, жён, сестёр, увидеться с заключёнными.

Можно представить себе отчаяние тех, кто уходили из крепости в полном неведении о судьбе своих любимых.

Марков впервые принёс в Варшаву правдивые сведения о нас и, как уже сказано, после писем появились у нас и первые гости.

Комендант Федеренко позволял политическим видеться с «гостями» в офицерских комнатах. Обычно и сам присутствовал при таких «свиданиях», которые продолжались до получаса.

Часто «гости» подходили к оконцам наших казематов. Охранник при содействии Маркова, «смягчённый» хорошей взяткой, отворачивался в противоположную сторону и стоял как вкопанный, слепой, глухой, как неживой...

Иногда около решетки оконца появлялась седая голова старика, или прекрасное женское личико, или детская головка...

Такие появления около нашей тёмной норы вносили к нам будто солнечный свет, будто привет с любимой воли, от которой нас отгораживали толстые крепостные стены.

Как-то к Мазараки приехала с визитом родственница со своей маленькой дочкой. Дама носила известную аристократическую фамилию, была из очень богатой семьи, весьма хороша собой, а дочка её походила на ангелочка.

По этой причине, когда дама пришла в офицерскую комнату, Федеренко принял её очень любезно и заговорил с девочкой³¹. В это время солдаты в казармах закончили петь какую-то очень красивую песню, и Федеренко спросил девчущку:

– А ты умеешь петь, славенькая барышня?

– Умею, – ответила девочка, – и мой маленький братец тоже умеет.

– А, может, ты будешь такой миленькой, что споёшь что-нибудь и для меня?



– Если пан так хочет, – спою! – и запела тоненьким голоском:

*Убегают в степи Русы,
Наступают на них краковчане...*

Можно представить, каким пристальным взглядом посмотрела мать на свою девочку, которая тут же умолкла, опустив глазки, и прошептала:

– Извините, я умею петь только дома, а здесь – не умею.

– Ах, так, понимаю! – засмеялся Федеренко. – В самом деле, такие песни можно петь только дома. Но стишки ты, наверное, умеешь рассказывать, хорошенькая барышня?

И прежде чем мать успела вклиниться в диалог, девочка начала декламировать:

.....
.....³²

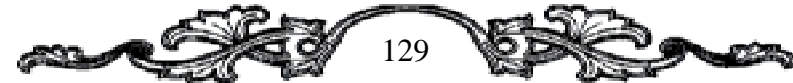
– И после этого стоит ли удивляться, что крепость Модлин полным-полна и что мы ежедневно вынуждены посылать кибитки в Сибирь! – разгневанно крикнул Федеренко.

– Господин комендант, – со слезами взмолилась испуганная женщина, – господин комендант, Людвиг Мазараки первый раз в жизни увидел сегодня это дитя, клянусь Богом всемогущим.

– Когда Людвиг Мазараки был маленьким мальчиком, его обучали тем же песням и тем же стихам, что Вашу девочку, и вот куда привела его эта наука, – сказал Федеренко, указывая рукой на наши казематы. – Плохо воспитывают польские матери своих детей, плохо, плохо!

Мы стояли на скамьях под окнами и слышали весь разговор, и сердце у нас сжималось. Иные события стёрлись в моей памяти, в том числе и имя маленькой кузины Людвиг Мазараки, но всякий раз, вспоминая эту сцену, я благодарен польским матерям, что так плохо, по мнению Федеренко, воспитывали своих детей.

В Модлине дни наши текли спокойно – конечно, насколько это возможно в темнице. Но во многом нам было лучше, чем в



крепости. Само питание здесь тоже было похоже на обычное для свободных людей. В казематах не разрешалось курить трубку, а только в помещении офицера охраны. Мы могли украдкой пользоваться табаком, но надо было найти способ постоянно поддерживать огонь. Поэтому мы скручивали шнуры из ваты, которую выдергивали из одеял, шлафроков и разной ватной одежды. Зажженный кончик такого фитиля тлел в печи.

Если часом кто-нибудь из «начальства» узнавал, что мы нарушили запрет курения и доносил о том коменданту, то как только он показывался в нашем каземате, его тут же освистывали.

Однажды мы освистали комендантского сына, молоденького офицера, который, следуя по стопам отца, окинул нас таким взглядом, точно был министром.

Как-то, когда мы шли в офицерское помещение, чтобы покурить, увидели, что охранникам принесли обед – излюбленное блюдо русских «щи». Вонь от этого блюда ощущалась издалека, а на поверхности плавали большие белые черви...

– Если солдатам дают такую еду, чем же станут кормить нас, каторжников? – думали мы, едва допуская, что человек вообще может есть нечто подобное. Между тем, какой-то полковник зашёл в избу; видно, в его обязанность входило снимать пробу с еды. Он зачерпнул ложкой из котла, поднёс ко рту и изрек: «Отличные щи».

До глубины души возмутила меня похвала такого паскудства. С уголовниками, нашими соседями из арестантских рот, мы жили в добром согласии. Они, по возможности, охотно оказывали нам услуги. Никогда не забуду один вечер. Когда в коридорах были зажжены лампы и окна закрыты досками, вошёл к нам некий еврей... Высокий, статный, только очень бледный. Вошёл с огромной веткой можжевельника, объятый пламенем, поднял её повыше и крикнул:

– Да здравствует Польша!

Этот порядочный и добрый еврей получил такие аплодисменты, что аж стены каземата задрожали.

Иногда к нам приезжали гости из Варшавы. Я говорю «к нам», потому что те, кто приезжал, навещали не кого-то одного,

а всех. Разве же мы не породнились, связанные общностью чувств, целей и судеб?

Чаще всего в Модлин приезжала госпожа Карасинская, мать Августа. Приезжал господин Антоний Лесчинский, отец Юзефа, госпожа Костжицкая с дочкой, красивой, как заря. При первом же посещении она привезла Игнацию мясные продукты, печенье, лакомства, книги, табак, а также толстое ватное одеяло, такой же шлафрок и камзол (жилет).

– Господи! – смеялся Игнаций. – Может быть, моя мать и сестра уже знают, что меня сегодня или завтра отправят в Сибирь? Мы тут задыхаемся от жары и духоты, а эти дамы одарили меня не менее чем ста фунтами ваты.

– Каждое следствие должно иметь причину, – назидательно заявил Ясько Микуловский, – а потому я советую не только хорошо осмотреть, но и «вникнуть» внутрь этого «ватного сюрприза».

Мы начали всё осматривать, и даже пытались «вникнуть», но ничего не достигли. Ещё посоветовались и решили: надо всё распороть.

Пороть так пороть! В первую очередь мы принялись за красивое красное шёлковое одеяло. Кто мог до него «дорваться», с жаром вытягивал нитки. Через несколько минут такой нечеловеческой работы на пол выпала какая-то смятая почерневшая тряпка, которая находилась между верхом и подкладкой.

Это было письмо госпожи Костжицкой к брату. Но как искусно было изготовлено это письмо... Кусок тонкого старого полотна, смоченный растопленным жиром, положен на зачерненную сажей бумагу и толстой проволокой на все это были нацарапаны буквы, отчетливые, как печать. Такие же письма мы нашли в шлафроке и в камзоле. Мы жадно их читали, вырывая их друг у друга, а красавец Игнаций размашисто шагал вдоль каземата и всё повторял.

– А что, умница у меня сестрёнка? Так? Или не так?

Кто бы мог возразить! Все мы воодушевлённо восхищались «умненькой сестрёнкой» Игнация, и ксёндз Воронеж изрёк:

– Да благословит Господь Бог добрую девушку, которая доставила нам такую радость.

БАТОГИ



7 июня, когда мы ещё крепко спали, ранним утром в каземат вошли жандармы. По имени и фамилии вызвали девятерых из нас. Торопили, чтоб мы скорее оделись, и уверяли, что скоро вернёмся.

Не очень полагаясь на заверения жандармов, мы попрощались с оставшимися в каземате и вышли вместе с жандармами.

На дворе нас разделили на две партии и каждую партию, кроме жандармов, окружило по несколько солдат при штыках.

На плацу за казармами мы увидели ряды солдат, а за ними связки батогов.

Последним стоял аудитор – он должен был нам зачитать приговор. «По Указу Его Императорского Величества» велел снять головные уборы. Кириак Акорд очень потешно снял свою конфедератку, подражая деревенскому парню, который кланяется хозяину до колен.

Первыми услышали приговор: Адольф Грушецкий, Александр Червинский, Точиский, Ходаковский, Рациборский, все с лишением в правах и конфискацией имущества были приговорены к каторжным работам: Грушецкий и Червинский на 10 лет; Точиский на 7 лет; Ходаковский и Рациборский на 12; Грушецкий, Точиский, Червинский в самой крепости, а Рациборский в рудник.

После объявления приговора их отвели в сторону и зачитали приговор остальным.

Кириак Акорд, Коженевский, Карасинский и я – приговорены к 10 годам каторги с лишением прав и конфискацией имущества. Кроме того: Акорд должен был получить 200 ударов батогами, Коженевский 300, Карасинский – 1000, а я – 2000 батогов. Причина такой суровости мне неизвестна, может, это была просто ошибка...

Несмотря на то, что, как я помню, мы все, проходившие по делу ксёндза Щегиевского, когда нас привезли в крепость, были записаны как мужики (холопы), но Следственной Комиссии известно было, что все мы дворяне.

Дворянин не подлежит телесным наказаниям, поэтому всех нас, принадлежащих к «привилегированному сословию», построили

рядами, появился палач, который держал каждого за плечи, и над головой у нас ломали деревянную шпагу, после чего оглашали, что таких-то и таких «Его Императорское Величество изволил пожаловать в мужики».

После этой страшной церемонии началась экзекуция.

Каждого, полностью обнажённого, ставили на плацу, спиной к рядам солдат. Сколько батогов ему полагалось, столько и имели при себе солдаты, и каждый ударял приговоренного батогом.³³ Удары были сильнее или слабее. Это зависело от солдата – было ли у него в груди человеческое или звериное сердце. Иногда более имущие приговоренные, с помощью фельдфебеля, приплачивали солдатам, чтобы не очень сильно били. Но это случалось редко, очень редко, поскольку, во-первых, приговор зачитывали в самый день казни, а, главное, у нас считалось, что такое «купленное» послабление равно предательству Отчизны, настолько братская любовь связывала всех нас, что каждый, стар и млад, говорил: «Не хочу страдать меньше, чем мой брат по узилищу! Не хочу страдать меньше!».

Хотя мне присудили больше всех батогов, на казнь меня позвали первым, по возрасту. Карасинский шёл сразу за мной.

Я прижал к груди медальон с изображением Божьей Матери Ченстоховской, попытался молиться, но не мог припомнить ни одного слова молитвы, только после каждого удара говорил: «Это в твою честь, Королева Польской Короны – это за освобождение любимой Отчизны!».

Страдал ли я во время избиения? Нет! Видел ли я своих мучителей? Нет! Всё окружающее как бы исчезло, мои глаза ничего не видели.

Только какие-то световые круги мелькали передо мной.

Может, в этот кровавый час душа моя отлучилась от тела и пребывала в каких-то неземных сферах? Возможно ли это? Пусть бы врачи и психологи это объяснили...

Но что в момент религиозного или патриотического экстаза человек не ощущает физической боли, это я могу твердо и уверенно засвидетельствовать.

Получив 500 батогов, услышал, что больше меня бить не будут. Я повернулся на бок и обнажённым лег на траву. Мое тело от

шеи и до пят было сплошной кровоточащей раной... Чтобы освежить спёкшиеся губы, я сорвал щепотку травы и начал её жевать. Противный вкус горечи, казалось, пророчествовал, что столь же горькой будет вся моя жизнь.

Солдат принёс мне одежду и когда я приложил её к себе, ко мне подошёл молоденький офицерик и на чистом польском языке сказал:

– Разорвите сорочку на спине, Вам не будет так больно.

Я же раздраженно ему ответил:

– Вам-то какое дело, больно мне или не больно!

Офицерик взглянул на меня удивленно, как бы с вопросом: «В моих словах не было ничего обидного для тебя, чем я провинился?». Я опустил глаза и чувствовал, что мой ответ был для него неожиданным, а ведь, наверное, это был совсем неплохой паренёк...

Карасинский получил полную порцию – 1000 батогов, после чего нас проводили к тому месту, откуда началась наша кровавая дорога. Там, лёжа на животе, мы ждали, пока не кончатся пытки для остальных наших товарищей.

Первым подошёл к нам Кириаки Акорд и сказал:

– А что, Шимек, хорошо лупили? Тем горше будет отместка!

Тут целая толпа, комендант, аудитор, офицеры подняли страшный гвалт.

Грозили Кириаку повторным судом, повторным телесным наказанием, но, к счастью, всё ограничилось угрозами. Так, страшно изувеченных, нас повели не в госпиталь, а в каземат уголовников.

Какой-то фельдфебель, в ответ на наш протест, почему нас переводят не в наш каземат, а в другой, объяснил, что в Модлине все делается только *по закону*. А поскольку после приговора мы уже *каторжники*, то в каземат, занятый *политическими преступниками*, нам уже *нельзя*.

В каземате, занятом уголовниками, царил страшный беспорядок!

Стены буквально кишели клопами и тараканами, а запах – трудно даже представить, и на эти нары, покрытые соломой, кишевшей насекомыми, мы уложили свои израненные тела, без всякой

подстилки и перевязки... Чтобы хоть немного перебить страшную вонь спёртого воздуха, мы облепили себе носы лимонными корками – не очень это помогало, но хоть немного.

А наутро произошло ужасное.

Вместе с другими четырьмя товарищами Юзек Лесчинский, приговоренный к 500 батогам, несколько раз терял сознание, его откачивали и не простили ни одного удара.

После экзекуции беднягу без памяти отвезли в госпиталь.

И тут – несчастливый случай! Как раз в этот день в Модлин приехал господин Антоний Лесчинский проведать сына. Это был настоящий шляхтич, холеный и весьма представительный.³⁴ В Модлин он приехал в собственном отличном экипаже, что очень импонировало Федеренко. Впрочем, господин Лесчинский сумел его расположить к себе дорогими подарками, очевидно, и деньгами, переданными через третьих лиц.

Комендант разрешил господину Лесчинскому свидание с сыном в госпитале, с тем условием, что о подробностях экзекуции и о случае с обмороком речи со стариком не будет.

Но вскоре в госпитальной палате господин Лесчинский уже стонал около ложа, на котором лежал Юзеф, увидев лицо своего красавца-сына, посиневшим и опухшим.³⁵ А госпитальная обслуга с самой грубой откровенностью, ничуть его не щадя, рассказала о причинах «болезни» Юзефа и к их рассказу примешивались циничные шутки и хохот больных-уголовников. Несчастный отец так и рухнул около кровати сына, сражённый апоплексическим ударом.

Несколько дней он пролежал в доме крепостного лекаря, из Варшавы вызвали врачей, которые его увезли.

Это происшествие взволновало весь Модлин – все сочувствовали несчастному отцу – даже вся крепостная команда...

В среду 14 июня прибыл жандармский офицер с жандармами и забрал пятерых наших братьев, чтобы отвезти в Москву, а потом дальше. В Сиедлицах этот офицер чрезвычайно грубо обошелся с женщинами, которые несколько дней ожидали там своих мужей, сыновей и братьев, чтобы попрощаться с ними перед отправкой в Сибирь на каторгу. За обиженных женщин вступились жители Сиедлиц, всполошились войска, едва не последовала стычка. Но подробности этого дела мне неизвестны.

Мы все, уже осужденные и батогами поротые, все мы хотели возможно скорее покинуть Модлин; пребывание в этом проклятом месте было для нас ещё и опасно, поскольку срок наказания засчитывался только с момента начала самой каторги.

Крепость, Модлин, наш путь к месту казни – все это было ничто! Всего лишь незначительные вехи в дополнение к основному приговору. Хотя наши раны едва затянулись, что неудивительно, – как ещё не загноились! – мы готовились в путь.

Мы вызвали на плац майора, который позволил нам зайти в прежний каземат, где ещё оставались наши братья.

Какое это было радостное мгновение! Какие приветствия, когда мы вновь встретились с нашими братьями!

ПУТЬ НА КАТОРГУ



Уже в субботу утром 17 июня 1848 года мы ждали прибытия жандармов, но лишь в пятом часу на мосту показались возы.

Наступило общее прощание – прощание, которое я, наверное, до конца дней не забуду и стану вспоминать с горечью.

Провожали нас братья сердечно, о, как сердечно они нас провожали!³⁶

Одни кричали:

– До встречи в Тобольске!

Другие говорили:

– До свидания в Нерчинске, или ещё где в Сибири!

Увы, не со многими из них посчастливилось мне встретиться потом...

Счастья и радости ничто нам не сулило, каждый из нас знал, что не к тому ведёт наш путь...³⁷

С трудом вырвались мы из объятий тех, кто ещё оставался в этом аду.

Наконец, погрузились мы на повозки. С моста на Нарве ещё раз, в самый последний, взглянули на окна казематов, где мелькали белые платки и «здоровья вам, прощайте!» долетало до нас, догоняло нас, и как бы растворялось в пространстве.

Солнце шло к закату, когда мы въезжали в Прагу.

День был прекрасный, тёплый, но не жаркий; варшавяне умеют радоваться доброй погоде и множество людей возвращались или шли «на музыку»; по тротуарам сновали прохожие.

С улицы Беднарской мы выехали по Краковскому предместью. Около почты³⁸ стоял какой-то мужчина с огромными седыми усами, сложив руки на груди. Он как-то странно поглядел на нас. Мы были уверены, что кто-то из его близких уже вывезен в Сибирь, или ещё в темнице ожидает такой же судьбы.³⁹

Ибо есть ли у нас хотя бы одна семья, несколько членов которой, или хотя бы один, не подвергается гонениям где-нибудь вдалеке, или вообще увезён на чужбину, увы! Думаю, что в Польше не осталось больше таких семей!

В Ордонанцгаузе⁴⁰ встретили нас как всегда: клеветой и издевательствами, не стоит и рассказывать об этом.

Мы сразу же отправились в мастерские, поскольку было приказано заковать нас в кандалы. Кузнецы явились уже поздней ночью и тут же на площади выполнили задание: заковали, причем, по мнению офицера, заковали «очень хорошо».⁴¹

Нам было сказано, что мы выезжаем утром в три часа. И всё, конечно, произошло совсем иначе: кто-то, оказывается, не подготовил нужных бумаг и выезд затянулся.

Множество знакомых и незнакомых пришли нас проводить. Плачущие женщины стояли под окном, возмущённые грубостью стражей.⁴²

«Пошли вон!» – кричали солдаты, а они, несчастные, всё-таки не уходили; стояли, несмотря на наши просьбы и заверения, что нам больно видеть их в таком положении, когда мы, мужчины, не можем за них заступиться. Наконец, одной из дам, стоявших под окном, пришла мысль просто подкупить солдат. И смешная же получилась картинка, когда страж, столь грозный минутой раньше, стал кротким, как ягнёнок, быстро и внимательно оглядывал улицу во все стороны, не видно ли какой опасности, и, заметив кого-нибудь издалека, нарочито орал: «Расходитесь, расходитесь!».

В двенадцатом часу, в полдень всё уже было готово к отправке. Собрав наши пожитки, мы отправились через плац к Ордонанцгаузу.

Там последовали ещё проверки. Нас опять задержали на мосту. Толпа знакомых и незнакомых ждала, чтобы ещё раз пожать нам руки.⁴³

И, наконец, мы двинулись... Варшава исчезала из вида в облаке пыли, что поднимали наши повозки.

Мы страдали, одолеваемые тоской, замученные теснотой, я уже чувствовал, как всё это меня душит и, конечно же, все остальные ощущали то же самое.

Мы молчали, чтобы жалобы нас не разбередили ещё больше.⁴⁴

В Милосне перепрягали коней.

Там ожидала мать Карасинского. Как только воз остановился, она кинулась в объятия сына. Это было печальное зрелище. Пани Карасинская и Август, оба были так бледны, что, казалось, как только объятия разомкнутся, жизнь покинет обоих.

О! как я радовался в это мгновение, что никто из моих не приехал проститься со мной, страдая сам, я был бы не в силах видеть ещё и горе моих близких.

– Господа, время ехать! – объявил офицер жандармов.

Ещё раз мать обнимает и целует сына и, повернувшись к нам, говорит:

– Благословляю вас! Благословляю во имя небесных заступниц наших!

И, осенив нас крестным знаменем, она всех нас прижала к своей груди.

Возможно, это не по-мужски, но в эту минуту все мы плакали. Даже толпа, которая собралась неподалеку, стояла в потрясении.

– Двигай! – скомандовал офицер.

Заиграли трубы – мы двинулись.

И в это мгновение раздалась песня:

*Боже Святой, Святой и всемогущий!
Святой и вечный,
Смилуйся над нами...*

Мы оглянулись. Оказалось, что песню завела мать Августа Карасинского, а за ней её подхватили все, встав на колени.

И эта песня ещё долго слышалась нам, порывы ветра несли её долго и далеко...

И мы тоже присоединили наши голоса к этому хору.

*Боже Святый! Боже всемогущий!
Святый и вечный,
Смилуйся над несчастной Польшей!*

Так мы простились надолго с нашей Отчиной.

Отдохнув пару часов в Биале, следующим вечером мы уже были в Брест-Литовском.⁴⁵

Описывать подробно путь из Варшавы в Тобольск не стоит. Кибитки несли нас быстро, охоты разговаривать не было – возможности отдохнуть не представлялось никакой.

Между тем, мы минули Бобруйск, Березину, Красну, Можайск, Смоленск, ведь в этих краях на каждом шагу всплывали воспоминания – мысли наши обращались к иной, бурной эпохе, которая так хорошо известна каждому поляку из книжек и устных преданий... наши деды и наши отцы в той эпохе так мужественно играли столь важную роль! Сколько морей проходили, сколько континентов прошли, следуя за победоносными орлами «маленького корсиканца»... во всех этих воспоминаниях, образах, мыслях не было ни лада, ни порядка, но стоя во всех этих местах, мы твердили слова поэта: «Здесь рассеяны по степи чугунные изваяния».⁴⁶

Мы въезжали в Москву – вторую царскую столицу.

Холера опустошила город. На улицах – ни души. Только иногда встречался погребальный кортеж всего из нескольких человек. Иногда какой-нибудь столичный «лев» бил поклоны около ворот церкви. Вот всё, что я мог увидеть и заметить по дороге к Кремлю, где мы остановились на пару минут, не выходя из кибиток, и откуда нас привезли в канцелярию губернского правления.

Чиновники выбежали сразу же, чтобы не пропустить такое зрелище – польских *мятежников*! Губернатор распорядился, чтобы нас сейчас же выслали другой дорогой.

Тем временем наступила смена жандармов, им выдали подготовленные заранее бумаги, и мы долго ожидали в секретном отделении губернского правления.⁴⁷

Москва – огромный город со множеством прекрасных строений. Но она не произвела на меня особого впечатления.

Воображение рисовало передо мною только *кну́т*, висящий над старинной столицей... и ничего более!⁴⁸

Новгород мне очень понравился, он больше похож на наши города. Тут ощущалась жизнь, движение, которые необходимы большому городу. Две красивые реки: Ока и Волга, способствуют тому, что в Новгороде множество прекрасных видов, но все эти красоты лишь мелькали у меня перед глазами.

Казань, некогда столица ханства казанского, город небольшой, но очень упорядоченный, в нем есть даже университет.

Студенты этого университета, увидев наши кибитки, встретили нас обиднейшими словами, мы сделали вид, что не понимаем этих оскорблений, которые исходили от интеллигентов (!?), от будущих сеятелей цивилизации и науки в российской империи. В конце концов, один из студентов просто показал нам язык, на что мы ответили ему громким «браво!».

В Казани тоже есть фабрика кнутов – архимедов рычаг, на который опирается бюрократическая машина России⁴⁹.

По дороге в Пермь нас встретил Леопольд Яржина, который из Иркутска был отправлен в Вологду на *поселение*. Мы не могли с ним долго разговаривать, но все-таки узнали от него о жизни-бытии наших братьев в Нерчинских рудниках, где у каждого из нас были знакомые и школьные соученики. Судя по рассказам Яржины, жизнь в Нерчинске не была столь уж страшной. И вообще, тем, кто попал на рудники и фабрики, не пришлось перенести и половины тех ущемлений, что достались заключенным в крепости, что могу сам засвидетельствовать и о чём ещё расскажу.

В Перми мы застали нескольких земляков.

В гарнизоне был Генрих Волинский, сосланный в 1846-м, доктор Ярошевич, высланный из Вильно, и Скавронский, работавший в строительной комиссии. Земляки приняли нас очень гостеприимно, как и в Казани. В Перми мы пробыли только один день, после чего отправились в Тобольск.⁵⁰

Это губернский город на берегу Иртыша и считается памятником завоевания Сибири Ермаком.

Через пару дней после нашего прибытия в Тобольск там объявилась неведомая до тех пор холера.

Более шестидесяти человек умирали ежедневно. Весть о том, что мы якобы привезли с собой холеру и распространили по улицам города, как молния поразила весь Тобольск. Нашлись и такие, которые под присягой утверждали, что собственными глазами видели, как мы вытаскивали холеру из карманов. Если бы нас заперли в тюрьме, куда никто не имел к нам доступа, с нами точно повторилось бы то, что не раз случалось в других городах России.

Трудно поверить, сколько раз простой люд в своем невежестве бросался на тех, кто во время эпидемии старался принести больным облегчение, сколько раз бросались на врачей! Если в местах, где свирепствовала холера, показывались поляки, их обвиняли, что они травят людей. И они первыми попадали под нож убийцам. Такие случаи происходили часто.

Одновременно открывался источник дохода для заседателей, потому что отдельным убийствам подвергался всякий городской сброд. Богатые платили и следствие закрывалось, установив, что богатый невинен, как ягненок, а бедный попадал под кнут и получал долгие годы ссылки на каторгу.

В Тобольске, кроме тех пяти, которые опередили нас при выезде из Модлина, мы застали ещё Южка Богуславского и Юзефа Жоховского, который был некогда профессором природоведческих наук в школе в Щебжешине. Невдольге прибыли из Модлина Юзеф и Карол Рудницкие и сразу же за ними Александр Гжегожевский.

Через пять недель моего пребывания в Тобольске я опять встретился с бродягами и задался вопросом, почему, с годами, человек превращается в отверженного.

Часто заходил в тюремные камеры тех, кто был прикован к стенам на несколько лет.⁵¹

Меж подобных заключенных встретил еврея из Ченстохова. Он заверял всегда, что ни в чем не виноват, и то же самое говорил даже в свой смертный час, который освободил его от казни, пока мы пребывали в Тобольске.

Другой заключенный, Корнев, хладнокровный, с едкой усмешкой, хвалился своими грабежами и рассказывал, как убивал не только взрослых людей, но и детей в пелёнках.

Несколько сот таких преступников находились в Тобольской тюрьме со сроком по шесть и восемь лет.⁵²

А что же потом сделают власти с такими, как они? *«Справедливость»* велит, чтобы, уже без кандалов, они оставались в тюрьме пожизненно. Многим удается сбежать, другие в тюрьме занимаются фальшивомонетчеством и пускают в оборот фальшивые деньги через выходящих в город солдат, быстро собирают крупные суммы и покупают себе защитников, но в конце концов опять попадают в тюрьму и – снова в бега...

Такие беглецы не становятся на путь истины, как можно было бы представить. При первой же возможности они снова пускаются в кражи, убийства, поджоги, их опять сажают и они уже считаются рецидивистами. В каждой партии, а из Тобольска партии выходят еженедельно, можно встретить людей с диковинными фамилиями: например, Иван Непомнящий, Иван Безназвания, или Иван Безотчества – так рецидивисты меняют себе фамилии.⁵³

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ



Мы начали готовиться к дальней дороге, которая вскоре нас ожидала.

Дня 11 августа 1848 года в партии номер двадцать мы двинулись из Тобольска. К нам, девяти, присоединились Александр Гжегожевский, Карол Рудницкий и Юзеф Жоховский. Всего нас было двенадцать – ровно по числу апостолов. Кроме нас – ещё всякий сброд, так называемые «бандиты» или «разбойники», числом около семидесяти. Перед отправкой нам выдали «форменную» одежду, состоящую из шапки серого сукна и чего-то вроде шлафрока (халата) с квадратной заплаткой другого цвета, пришитой на плечах. Сукно было такое жидкое, что один малоросс обозвал его: *«дождь ещё за горой, а спина уже мокрая»*.

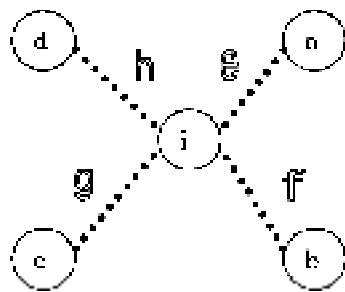
Из ткани, что используется у нас на мешки, мы получили по одной сорочке и «черки», то есть по паре башмаков, которые по форме похожи на сковородки. Кроме всего этого великолепия нам выдали по мешку. Для чего нам мешок, никто не мог додуматься. Все эти вещи были красного маслянистого цвета со штемпелем: «т. э. с. 1848 года». Буквы означали *«Тобольская экспедиция ссыльных»*.

На пропитание каждого ссыльного полагалось по три копейки в день.

В таком странном одеянии мы мало ходили на людей. 11 августа в пятом часу утра мы выстроились на плацу, где проходил осмотр.

Проверяли прежде всего, крепки и целы ли кандалы, цела ли одежда, которую мы получили, поскольку некоторые каторжники, получив *казенную* одежду, тут же ее продают или проигрывают в карты.⁵⁴

После переключки «разбойникам» было велено подойти к железному рельсу, к которому прикрепляются наручные кандалы, одетые одному на левую руку, следующему на правую и т.д. Тех, кому не хватает места у рельса, сцепляли по три или четыре с помощью приспособления, приведенного ниже:



Пояснение: a, b, c, d – железные обручи, надетые на шею и закрепленные к кандалам; e, f, g, h – цепи, замкнутые на середине кольца.⁵⁵ Люди находятся в такой взаимозависимости, что, если, например, физиологические потребности принуждают к положению, в котором ни сесть, ни стоять невозможно, все его сотоварищи должны тоже нагнуться к земле, как будто что-то ищут, причем всячески проклиная того, кто заставил их таким образом наклоняться.

Нам, двенадцати полякам, ручных кандалов не надели, считая, что с нас хватит и ножных.

Офицер, который конвоировал партию из Тобольска до первого ночлега – старый инвалид, высокий, худой, отъявленный пьяница, в мундире, полном пятен и заплат. Звали его Иванов.

Когда партия отошла на десять верст от Тобольска, Иванов велел остановиться и спросил старосту⁵⁶ – хотел знать, согласятся ли *ссылные* заплатить по две копейки с *рыла*. Если согласятся, он скажет, чтоб их спустили с рельса. Конечно, все охотно согласилось и тут же заплатили «дань».

Требования таких выплат от конвоиров повторялись при выходе из каждого этапа. С той только разницей, что иные офицеры требовали эту «дань» более вежливо: не с «рыла», а с «носа», «головы», «человека».

Убедившись, что некоторые так легко принимают взятки, и даже сами напоминают о них, мы решили использовать это обстоятельство и предпринять ответные акции.

Когда мы выехали из крепости, у нас изъяли все деньги, у кого сколько было, и отдали их жандармам. Мы имели право брать деньги из этой кассы, только надо было вести точные расчеты. В Тобольске наши «капиталы» получил Иванов и обязан был передать их следующему конвою. Чтобы отобрать все деньги, надо было подкупить Иванова и уничтожить «бумагу», приложенную к ним.

Для этого мы вступили с ним в переговоры, а Кириак Акорд был нашим уполномоченным. Он подошел к Иванову и завёл разговор.⁵⁷

– Ваше благородие!

Затем спросил у «благородия», сколько бы он хотел получить за то, чтоб передать нам из рук в руки наши собственные деньги? Даже не ожидая ответа, предложил дать полштофа водки (стоимость составляет 30 копеек). Мы были уверены, что переговоры сорваны и «благородие» ещё и разгневется.

Но где там! Всё обстояло замечательно. «Благородие» не только не гневалось, но, похоже, уже глотало слюнки в ожидании обещанного полштофа. Однако сказало, что за такое важное послабление предложено слишком мало, ему требуется получить рубль.

И начался торг. Наш полномочный набавлял по копейке или по две, мы просто давились от смеха. Наконец, удалось выторговать 40 копеек в нашу пользу. Мы уже ожидали того места, где можно передохнуть и купить горилку. Акорд опять подступился к

Иванову. «Благородие» улыбалось, чесало затылок, называя Кириака скупцом и вымогателем, но в конце концов сошлись на 50 копеек, Иванов вернул нам деньги и сжег «бумагу».

Так начался наш путь из Тобольска в Томск, который длился три месяца с лишком. Два дня мы были в походе, а на третий – отдых.⁵⁸

На четвертом или пятом этапе от Тобольска один из разбойников заболел холерой. Имени его не помню – только лицо в синяках, видно, от побоев. Еще в походе его спустили с цепи и погрузили на воз. Довезли до этапа, где предстояла ночевка, и тут оставили без всякого присмотра и без всякой помощи.

Страшно было подумать об этом беспомощном создании, борющемся со смертью. У нас было немного анодина и мятных капель, взятых в Тобольске. Мы дали больному по несколько капель на кусочке сахара и это принесло ему хотя бы минутное облегчение – он поблагодарил нас слабым пожатием холодной как лед руки.

Когда пришло время запирать камеры, больного вытащили в сени, где обычно стоят две деревянные кадки, одна для известных нужд, другая – с водой для питья. Лежа на полу, больной стонал. Мы думали, что хоть кто-нибудь из его друзей, из его компании разбойников и грабителей выйдет к нему – но нет! Мы поили беднягу горячим чаем, он едва пил.

В полночь он закончил свой земной путь.

Остаток ночи мы провели около трупа умершего от холеры.

Когда камеру отперли, толпа бандитов бросилась к дверям в неопишущем страхе.

Должны признаться, что такой близкий контакт с умершим от эпидемии был и для нас весьма страшен и опасен.⁵⁹

После месячного похода мы прибыли в уездный город Тобольской губернии, в Тару. Сколько же братьев наших обитали здесь много лет и вышли нам навстречу! О нашем прибытии узнали от поляков, живущих в Тобольске, и сами тоже послали известие о нас в Томск.

Карол Богдашевский, Адам Клосовский, Констанций Дороткевич, Скивский, Хомницкий пришли нас приветствовать и хоть что-нибудь узнать о родной стране. Другие не вышли к нам,

поскольку, вступив в брак с местными россиянками, сами воздвигли меж нами преграду навсегда.

В Таре братья встретили нас тепло, гостеприимно, истинно по братски и, кроме всего прочего, оказали всяческую помощь ново-прибывшим. Кто бы от такой обязанности отказался – да воздастся ему по делам его.⁶⁰

Но вот мы уже минули Каинск, Колывань, уже близилась зима, а до Томска ещё далеко. Мы ожидали, что когда переедем через Обь – эту королеву западно-сибирских рек, мы ожидали, что зима не настигнет нас в пути.

Но всё получилось иначе.

В Болотном, отдалённом от Томска всего четырьмя ходками, нам пришлось ожидать, пока не замёрзнет река Томь.

Такие задержки партии происходят два раза в год: весной – из-за половодья, и это называется «весновка» и осенью перед замерзанием реки – называется «осиновка».

Итак, мы должны задержаться в Болотном. Это была для нас страшная весть. Исчерпывались наши запасы. Нам грозила нужда. Решили ограничить расходы и чем-нибудь запастись в дорогу. Прежде всего, нужна была мука, чтобы самим печь хлеб, – готовый был слишком для нас дорог.

Проживающий в Болотном штабс-капитан Фёдоров оказался неплохим человеком. Хорошо разбирался в людях, познакомившись с нами, был очень любезен, позволил нам поехать за мукой в Сизину за десять верст от главного тракта.

Вместе со старостой и солдатом в Сизину поехал Рациборский. Выехали вечером. На следующее же утро началось изготовление хлеба.

Пекли его молдавانه, которые тоже входили в эту партию.

Хлеб вышел отличный и наполовину дешевле, нежели покупной.

С каждым днём Фёдоров нам, полякам, нравился всё больше. Он даже позволял нам без стражи ходить на охоту и одалживал своё ружьё. В этих краях водится множество белых, как снег, зайцев. Если бы охотники были искусней, можно было бы есть дичь всю неделю – только ходи на охоту ежедневно.

Неплохо жили мы в Болотном, но вдруг пришёл приказ отправить партию в дорогу. У нас оставалось ещё два пуда муки,

оставлять жалко – надо использовать. Молдаване уже израсходовали свою часть. Посоветовавшись, решили сами печь хлеб собственными силами. Нужен был «главный мастер» – тянули жребий «на узелках».

Узелок достался мне.⁶¹

– Виват! – крикнули братья. – Пусть Шимек и будет *хлебопёком*.

– Ладно, – сказал я, и тут же взялся за дело. Когда тесто было готово, мы поставили кадушку на печь, но признаков ферментации не наблюдалось. Всякий раз мы заглядывали и нам постоянно казалось, что «тесто немножко сдвинулось». Вечером, однако, после долгих совещаний «за и против», единогласно решили, что надо поместить тесто в квашню и – в печь. Каждый из нас помогал делу, один рубил дрова, другой подносил, кто-то зажигал печь, а я всё колдовал над тестом.

Уже одиннадцать часов! Я формирую буханки, Кириак садит их в печь на лопате, посыпанной мукой. Наконец, мы закончили. Захватывающий момент – мы всё время заглядываем, что там происходит с нашим хлебом. И вот он, пышный, румяный «как малина», братья хвалят пекаря, я – в ожидании, как будто мне удалось открыть новый континент. Гжегожевский говорит: «Я знаю, что перед тем, как вынуть хлеб из печи, надо буханку вытащить, окропить холодной водой и переместить с места на место». Мы прислушались к его совету, Кириак неосторожно подцепил буханку лопатой, верхняя корка отпала, а изнутри обильной струей выплывает нечто землистого цвета... Хлеб совсем не удался. А моя пекарская слава угахла навсегда. Неудачу с хлебом сгладили весёлые шутки над моей несчастливой попыткой.

По дороге из Болотной в Проскоково встретили солдат, провожавших поляков в Иркутск. Один из них, Саковский, проговорил со мной целую ночь, поскольку офицер, который нас принял, благодаря хорошей рекомендации Федорова, не велел запирать нас в отдельной камере, а позволил ночевать с солдатами.

В *Варюхине*, где назначен был день отдыха, мы нашли избу, приготовленную, чтобы нас принять.

Вечером офицер Лисаков пригласил нас и сам проводил к себе домой, где представил жене.

Евгения Петровна имела склонность ко многому: к музыке, пению, всемирной литературе. Твердила, что всегда принадлежала и принадлежит к высшему свету, поскольку её отец – полковник в отставке. Утверждала также, что такого изящного обхождения, как у неё, от Петербурга до Камчатки нигде не найти, и никто, конечно, ей не возражал. Наконец, она так раскуражилась, что вовсе несла всякую чепуху.

Но притом гостеприимна Евгения Петровна была на диво!

Пока мы сидели за столом, она сама разливала чай и подавала его нам собственными ручками, и на тарелки собственными пальчиками накладывала разные вкусности, беспрестанно приговаривая:⁶²

– Ешьте и пейте, пожалуйста, прошу вас, не бойтесь, хватит на всех, у меня в кладовой много вкусных вещей, о, слава богу, много всего!

После чая и ужина Евгения Петровна засела за фортепьяно.

Она пела. Но – что? Никто из нас не понял даже, на каком языке была эта песня.

Конечно, мы очень хвалили пение, Евгения Петровна кланялась и сказала, что это французская песенка и попросила нас, чтобы мы тоже спели какую-нибудь польскую песню. Кириак сел у фортепиано и под его аккомпанемент мы спели:⁶³

Еще Польша не сгинела! (Еще Польша не погибла!).

Евгения Петровна нашла, что песня эта прекрасна и просила, чтобы мы спели ещё, желательно что-нибудь религиозное.

И мы спели:

*Господи пресвятый! Пресвятый и всемогущий,
Пресвятой и вездесущий,
Смилуйся над несчастной Польшей!...*

Из глубины наших изболевших сердец хор звучал, наверное, проникновенно, Евгения Петровна расплакалась и сказала:

– Какие у вас, поляков, красивые религиозные песни!...

Звучало ли ещё когда-нибудь в Варюхине, в этой далекой сибирской волости, эхо народных польских песен? Эхо мольбы звучало ли там ещё когда-нибудь...

Лисаков, который ни разу не участвовал в беседе, а только попивал чай с ромом, а, вернее, ром с чаем, вглядывался в свою жену с удивлением, а потом проводил нас в избу для ночлега, причём выяснилось, что именно жена настояла на этом – никогда до того она поляков не видела. Он нас очень благодарил, что нашими стараниями Евгения Петровна так прекрасно провела время, чего в Варюхине не случалось ни разу.

– Вот тебе на! – подумал я. – «Мы правим миром, а нами – женщины». – Так или иначе, благодаря человечности, пылкости и благородству дочери «полковника в отставке», в течение нескольких часов с нами обходились как с интеллигентными и уважаемыми людьми.

Утром Евгения Петровна специально пришла нас проводить. За ней – *денщик* тащил узлы разных припасов из её особой кладовки.⁶⁴

Где ты сейчас, Евгения Петровна! Мы шлём тебе привет и благодарность за твое рукопожатие и искреннюю сердечность к нам!

От Томска нас отделяли пятьдесят вёрст – ещё два этапа. С последнего этапа, Калтай, мы вышли сразу же после полуночи или в самую полночь.

Мороз стоял сильный, ночь тёмная. Не такая, какие здесь бывают зимой, когда мириады мерцающих звезд указывают дорогу путникам. Небо было облачно, как будто покрыто оловянной плёнкой, сильный морозный полночный ветер взметал сухой снег. Это затруднило нам поход, тем более, что, дабы сократить путь, мы отошли от главного тракта и повернули направо, вдоль реки Томи, вода которой, оставшаяся от весеннего половодья, замёрзла и берег был покрыт скользкой пеленой льда, так что мы постоянно падали. Представьте себе это зрелище: идут люди, плохо и странно одетые, которые пытаются бежать. Падают, мечтают хоть немного согреть замёрзшие ноги, бряцают кандалами и притом беспрестанно ругаются и проклинают, а в промежутках кто-нибудь начинает рассказывать историю. Как после грабежа или убийства, порой, при ещё более лютот морозе, и сильнейшем ветре, спасался, сбежал... а погоня за ним... за ним... вот, кажется, его схватят, поймут. Он бросается в заросли, закапывается в снег и – спасается от погони. «*Сукины-сыны*» солдаты мчатся все дальше и

дальше – а он, беглец и бродяга, смеётся им вслед: «чёрта сожрёте, а меня не найдёте!».

Все это – пока «*сукины-сыны*» всё-таки его не поймут...

Рассказу вторят дикие выкрики, скабрёзные шутки, демонический хохот.

Наш поход из Калтая в Томск был истинным походом в ад разъярённых демонов.

Восход солнца показал нам три огненных столба, а когда солнце уже взошло, мы, казалось, приближались к городу. Но это был оптический обман, до Томска было ещё далеко. Наше убежище находилось на вершине двухэтажного здания – это была тюрьма.

Как только мы остановились перед тюрьмой, к нам сразу же подбежали солдаты, выкрикивая: «Куда вы подевались? Мы уже давно вас ожидаем!». По самому приветствию мы почувствовали, что случай нас свёл с солдатами совсем другого толка, Поляками, с которыми мы ладили истинно по-братски.

Через два дня после нашего прибытия в Томск трёх наших братьев Александра Гжегожевского, Ипполита Рациборского и Карола Рудницкого погнали в Восточную Сибирь. Остальных, девять человек, через три недели пребывания в Томске отправили с партией в Усть-Каменогорск.

В Томске мы имели возможность иногда читать газеты, из которых могли узнать, какие происходят перемены, что делается за пределами Сибири, да и вообще на свете.

5 декабря под конвоем пяти инвалидов, обратной дорогой через Калтай и Варюхино⁶⁵, мы добрались до Проскокова, где повернули налево. Наши стражи, надо признать, не были так уж суровы к «*политическим преступникам*», понемногу освоились с нами, поняли разницу между нами и бандитами и потому оказали нам огромную милость: позволили снять кандалы.⁶⁶

Один из наших стражников, солдат инвалид Жигалин, достоин особого рассказа.

Уроженец далёкого севера, на берегу Лены, за двести верст от Якутска, судя по чертам лица, был монгольских кровей – лицо плоское и широкое, приплюснутый нос, глаза узкие и раскосые, редкие усы. Низкий и коренастый – таким был Жигалин.

Из Томска он выехал с партией, пьяный до бесчувствия. Но в каждой деревне прежде всего бегал в кабаки, у него всегда должен был быть полный штоф в кармане. Во время второго ночлега Жигалин лежал, растянувшись на полу, иногда поднимался, глотал водку, вытаскивал откуда-то несколько мелких медных монет, странным красным шнурком связывал их, так что образовывалось два колечка. Одному из сибирских паренёв, что были тут же, протягивал палец: «Выбирай любое!».⁶⁷

Началась игра. Жигалин проиграл все деньги, снял свой бараний кожух и продолжал играть... вскоре отыграл все свои ставки и всех компаньонов обыграл до нитки.

Стоя рядом, мы только удивлялись его везению, ведь за полчаса ему удалось выиграть более тридцати рублей.

Через пару дней похода мы прибыли в Лигостаево. Жигалина здесь знали все. Недавно он слыл в этих местах лекарем! Попа, больного водяжкой, он лечил смесью из мыла, мёда и тёртого жжённого кирпича. Жигалин готовил лекарство, а дочь попа Серафима давала мнимому лекарю водку, закуску, подарки. Старый поп стонал, но пил мыльную воду с тертым кирпичом. Жигалин тоже потягивал водку из фляги, подарки сметал в карманы, закуски поедал, а, увидев, что больной едва дышит, собрал свои пожитки и сбежал в Томск. Но на третьем ночлеге встретил ехавших с товарами парней, которые в Лигостаево видели погребение попа и громко рыдающую осиротевшую Серафиму. Вблизи от Барнаула в селе, название которого не помню, расправив одеревеневшие от холода суставы, мы пошли к коллегам, которые устроились в других квартирах. Ночь была прекрасной, новый месяц сиял каким-то зеленоватым светом, мороз был такой сильный, что даже ресницы у меня затвердели, как кость. Едва я прошёл несколько шагов, как увидел нечто, как бы ползущее на четвереньках. Приблизившись, нагнулся, и в этом «нечто» узнал нашего стражника Жигалина; его плоское лицо было уже белым, как гипс, руки – тоже, встать на ноги он не мог, ещё мгновение, и был бы труп. Я вернулся в свою квартиру, разбудил спящего на печи солдата. Едва уговорил его, чтобы вместе с хозяином квартиры бежали спасать Жигалина. Пьяница молчал, едва живой, так что уже не мог нас сопровождать,

но тем не менее вернулся в Томск и в экспедиции получил увольнение по причине болезни.

По пути в Усть-Каменогорск есть только два города. Барнаул, на реке Оби, небольшой, но красиво застроенный. В нём имеется зоологический кабинет с коллекцией разных сибирских птиц и кабинет минералогический – с сибирскими минералами. Будь мы в ином положении, постарались бы посмотреть эти единственные тогда в Сибири научные коллекции, но для каторжников они были недоступны. В Барнауле стоят также огромные печи, в которых растапливают добытые золото и серебро, которые складывают в слитки и отвозят в Петербург.

Два раза в пути мы встречали такие обозы.⁶⁸

Второй город – Змеиногорск, выстроенный в гряде алтайских гор (Малый Алтай). Сильные морозы не позволили нам осмотреть эти дикие и великолепные места. Я видел часть наших Карпат, но такого грозно-прекрасного, такого величественного зрелища я не представлял и нигде ещё не встречал. В этих горах есть нечто, что человека влечёт и просто-таки привораживает. Эти высоты, обвалы, пирамиды, высокие, нагие, разных форм и диковинного вида, то наклонная колонна, так что кажется, вот-вот упадёт и своими обломками покроет всё, что её окружает, далее нечто вроде сахарной головы с остроконечным верхом, а ещё нечто вроде таза, из которого можно бы накормить досыта тысячи людей. А ещё дальше – скалы, пропасти, всё это голое, серое, только местами – карликовые сосенки блеснут зеленью.

Глядя на горы, невольно возникает мысль: всемогуща та рука, что взгромодила всё это в подобном безлюдном месте и, тем не менее, в такой удивительной гармонии.

На одну из таких высот, что задумчиво глядела на селения, разбросанные вдали, мы хотели забраться.

Увидели камень, на котором многие вырезали свои инициалы и имена. Нам сказали, что недавно здесь проходила партия, видно, «из ваших», потому что по-русски не понимали. Тем более мы заинтересовались. Но необычный даже для тех краёв мороз и снега не позволили нам подняться даже на эту, одну из самых низких высоток в гряде Малого Алтая. В окрестностях Барнаула и Змеиногорска живут селяне, которых называют поляками. Это староверы,

которых ещё можно встретить в Польше, в Августовском. Они так зовутся оттого, что их предки бежали из России из-за гонений – как отступников от православия в первой половине восемнадцатого века. Они спрятались в Августовской, в этой части нашей страны, которая после первого раздела Польши попала под власть России. И всех таких староверов Екатерина Вторая переселила на берег Оби. Обычно староверы подчинялись горному начальству, они доставляют на фабрику железную руду, уголь, и т.п., и называются «подзаводскими»; занимаются они и земледелием, пчеловодством, и имеется много признаков того, что эти люди на самом деле близко связаны с Польшей. Хлеб пекут также, как у нас, солонину готовят таким же способом. В их одежде тоже есть нечто близкое нашему краю. Хотя молодое поколение, из-за суровости климата и тяжелых условий жизни в Сибири, а также в постоянном контакте с сибиряками, уже полностью перешли к сибирской одежде и обычаям.⁶⁹

Сперва эти «поляки» по названию принимали нас очень неохотно, считая людьми «нечистыми». «Нечистыми», или погаными, раскольники считают всех, кто не принадлежит к их секте, к которой они очень привязаны, у них много запретов: например, курение трубки, по их местным понятиям, это тяжелейший грех, верный способ погубить душу. Местные женщины, если почувствуют запах курева, обороняются оригинальным способом: подражают рычанию кабана, мяуканью кошки, крику петуха, кудахтанью курицы, словом, подражают разным животным и всё это со смехом, плачем, и злобой вперемежку. Тому, кто осмелится закурить при них, может грозить нож, или топор, а место, где сидел такой «поганый», моют, скребут, в избе курят ладаном, которым пользуются во время молитвы. Я считаю, что такие обычаи у раскольников – не болезнь, а закоренелый обычай, ибо мало кто побывал в этой части Сибири и не слышал о «порченных женщинах»! Кто их не видел, пусть уж лучше их и не ищет.

У самого входа в дом старовера прибывшего спрашивают: «Не пьешь ли, батюшка, табаку» (то есть, не куришь ли табак?), а потом остерегают, что в этом доме опасно – имеется «порченная женщина». Думаю, не худо бы искоренить эти обычаи и названную «болезнь», если бы за это взялся кто-нибудь разумный. Могу

рассказать случай, что приключился со мной в селе Сикисовке близ Усть-Каменогорска.⁷⁰

Когда партия *ссылных* остановилась перед вечером на отдых и ночлег в этом большом селе, мне отвели квартиру в доме раскольника. Я начал втаскивать свои вещи, как вдруг хозяин спрашивает:

– Куришь табак?

– Курю трубку.

– Выметайся отсюда и вообще из наших мест, – крикнул он и хотел меня выставить, – у меня жена «порченная», иди прочь!

– Так я твою жену вылечу, – пошутил я, наскоком входя в избу. Уселся я в угол под образами, напротив меня – его «порченная жена» и такая же дочка семи или восьми лет. Обе навзрыд плакали. Это считалось первым признаком «порченности». Хозяин выбежал звать офицера, чтобы меня выдворили в другую избу. Нас было трое, а солдат – четверо.

Хозяйка и девочка сидят, рыдают и рыдают. И тут мне пришла охота пошутить с этой бабой.⁷¹

– Скажи, матушка, а чего ты так горько плачешь? Ты, наверное, болеешь?

Она долго молчала, потом, заикаясь, ответила:

– Как же мне не плакать, если меня, может быть, ждёт несчастье. Вы курите табак, я – «порченная», могу кого-нибудь из вас даже убить.

– Если бы ты меня, матушка, убила, я бы тебе ответил: «*Спаси тебя Бог*». А знаешь ли ты, что такое убийство? И что бы после этого с тобою стало? – не дав ей время поразмыслить, я представил этой бабе, как она сперва попадет в тюрьму, затем ее станут пороть кнутом, она должна будет оставить мужа, дом, дочку, и долгие годы провести на тяжелой каторжной работе в Нерчинске.

Этот рассказ, видно, ее впечатлил, она встала с лавки, вытерла глаза фартуком.

В это время явился хозяин с каким-то приятелем. Оба принялись нас злобно ругать и требовали, чтобы мы немедленно убрались.

Я спокойно ответил, что мы останемся и убедил его, что мы не из тех людей, что платят злом за добро, что я никому и никогда не

причинял кривды и несправедливости, даже тем, кто обходился со мною дурно.

Наши слова, видно, подействовали на старовера, он немного подумал и спросил, чем нас привечать и угощать?⁷²

– Ничего, хозяин, мы не возьмём от тебя даром, а за всё хорошо заплатим. Дай нам только самовар, чтобы мы могли попить чаю, больше нам от тебя ничего не нужно.

По мнению староверов, шесть раз проклят тот, кто пьёт чай, потому что эта трава растёт на землях «нехристей», а кран самовара похож на змею, потому иметь в доме самовар – великое преступление души. Так что самовар хозяин пошёл одолжить к соседям. Понемногу, однако, хозяин смягчался, хозяйка перестала плакать, а маленькая девочка приглядывалась к нам.

Об убийстве речи уже не было, трубки мы выкурили вне дома, и когда утром подошли к печи, чтобы взять огня и разжечь трубку, хозяйка сама нам подала уголёк щипцами, без всяких спазмов, рыданий и прочих мяуканий. При отъезде хозяева нас проводили приязненно, хотя в искренность такой их сердечности верится с трудом.⁷³

В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ

Вот уже и месяц минул, как мы были в походе, когда 5 января 1849 года, в день кануна праздника Рождества Господня, мы увидели места, где нам предстояло провести лучшие годы нашей жизни.

Крепость Усть-Каменогорск, названная городом, расположена между Малым Алтаем около устья реки Ульбы, что впадает в Иртыш. Вид города был несказанно уютным. Взглядом мы искали тюрьму. Её едва было видно издали, потому что от других зданий её отгораживал частокол. Нас провезли мимо и мы попали в крепость, совсем непохожую на другие крепости. Здесь нет ни ворот, ни подъёмных мостов, ни оборонных фортов, ни бастионов, словом, – ничего, что составляет суть крепости. Это просто пара строений, которые некогда были окружены рвом, вырытая земля образует вал. Выходить и выезжать можно с каждой стороны крепости, на валах не имеется никакой стражи.

Один батальон линейных войск составляет всё укрепление Усть-Каменогорска. Командир батальона, он же и комендант⁷⁴, кроме того – несколько сот солдат, два офицера фортификационной артиллерии, которые называли себя инженерами, один младший офицер⁷⁵ и майор⁷⁶ – вот и всё укрепление фортеции.⁷⁷

Комендант принял нас с большим удивлением. Наверняка он ожидал увидеть совсем других людей, поскольку молва нас давно опередила и весь город говорил, что «везут больших преступников». Потому Гусев смотрел на нас с изумлением, давал какие-то наказания, говорил строго и велел разместить по трое в камере.

Когда мы вошли в эту камеру, мне просто стало дурно. Представьте себе избу, довольно длинную, с тремя зарешеченными окнами, грязную, зловонную избу, где по стенам струйками сочится вода, полная разных испарений, потому что в печи пекут хлеб и готовят, и всё, что выкипает из чугунков, разливается по дну печи и образует толстый слой. Представьте себе избу, в которой весь верх завешан кухонной утварью, а пол засыпан сеном, затоптанным, смешанным с грязью, так что превратился в навоз.

Представьте себе такую избу, к тому же заселённую бандитами, и самому сильному мужчине станет мутно. При виде всех этих ужасов, мы утратили охоту шутить и смеяться, «опустили носы на квинту», потому что такого страха я ещё никогда в своей жизни не видел. Один только Доминик подошёл к этому стоически, поглаживал усы и с вымученной усмешкой спрашивал:⁷⁸

– А что? Как вам всё это нравится? Красиво! Слов нет!

Такое спокойствие и равнодушие при виде этого ужасного окружения подействовало на нас укрепляюще и каждый подумал про себя, что должен точно так, как это удалось Доминику, сохранять мужество и противостоять обстоятельствам.

Все праздники Рождества Христова разбойники бесчинствовали и выпивали. Их страшно удивило, что мы не участвуем ни в их беседах, ни в пьянках. Мы же, собравшись в самом удалённом уголке, вспоминали, как провели прошлый сочельник.

В тот день, приметный для каждого христианина, мы задержались в походе. Когда на небе блеснула первая звезда, мы все вместе запели колядку:

Ангел сказал пастухам...

В эту минуту разбойники начали бряцать кандалами и изо всех сил выкрикивать: «Ху! Ха! Ху! Ха!»

Мы умолкли. И так брели в эту священную ночь вдали от праздника, который отмечало всё наше цивилизованное Отечество, лишённые религиозного удовлетворения, и только в душе пожелали нашим таким далёким любимым счастливого Рождества и счастливого года.

Утром нам выдали зимнюю казённую одежду – старые кожанки, без меха, и старые двцветные суконные шапки.

Всё такое заношенное и грязное, что даже прикасаться к этим лохмотьям было противно, причём преследовала мысль, что эту одежду недавно носил человек, который пополнял толпу сброда, руки коего не раз обгадряла людская кровь.

В России имеется обычай, что в семье одежды старшего сына переходят к младшему. На уровне тюрьмы, наиболее ветхие вещи, – притом, что каждая часть униформы имеет определенный срок использования, – такие вещи отдаются новоприбывшим. Подобные достались и нам.

Когда партию послали на работы, разбойники получили приказ очистить валы от снега. Нам, полякам, велено было отмести снег от дома майора Гусева – он хотел за наш счет потешить свою семью и гостей, и чтобы дорога к дому была чистой.

Когда мы с лопатами стали перед домом, там уже стояли, укутанные в меха и яркие платки, множество старых баб и молодых девчат, а за ними – старик и молодые мужчины.

Обметать снег лопатами мы принялись живо, и должен сказать, так ловко, словно каждый из нас никогда иным делом и не занимался.⁷⁹

Стражник, какой-то захудалый солдатик, беспрестанно командовал:

– Скорее! Ребята! Скорее!

После каждой команды зрители на крыльце тоже откликались, обращаясь не то к нам, не то к солдатику.

– Какая *прелесть* вывозить снег тачками! – слышался женский голос.

Реплика осталась без ответа.

– *Папаша! Папаша!* – кричала, видно, одна из дочек Гусева. – Скажи, что, – поляки глухие, как пни?

Вся компания разразилась развесёлым хамским смехом.

– Может, *господа* съедят по кусочку святочного пирога? Или покурят трубочку? – спросила нас какая-то девица.

Но когда мы и это предложение приняли в полном молчании, нахальная дочка Гусева начала кричать:

– *Папаша*, а, может, это вовсе не люди, а обезьяны, одетые как каторжники?

Снова взрыв смеха весёлого общества... а мы так и работали под градом издевательств, насмешек и оскорблений. Тут на санях подъехал комендант Маценко и вместе с ним вся компания проследовала в дом.

Весь день мы корячились на этой работе, и, несмотря на то, что день был зимний и короткий, мы чувствовали себя совершенно разбитыми.

Это был наш первый опыт на каторге.

30 января 1849 года в Усть-Каменогорск приехал ксёндз Юргелевич для отправления службы в присутствии затерянных тут католиков.

Мы навели порядок в камере, обмели стены, вымыли пол, в углах избы поставили сосёнки, а также около стола, который должен был служить алтарём, а пол посыпали сосновыми иголками.

Ксёндз Юргелевич привёл с собою служку: мальчика из поселенцев, но во время мессы служили Юзик Богуславский и профессор Жоховский.

Только тот, кто давно был лишён религиозных обрядов, притом в пору горчайших невзгод, только тот поймет, с каким чувством и с каким подъёмом духа мы молились, причащались и пели: «Пресвятая богородица», «В мольбе взываем», старопольскую «Песнь о господнем попечительстве». Ксёндз Юргелевич благословил нас на все предстоящие испытания за наш лозунг «Вера и Отчизна»; он обратился к нам с горячими словами поддержки и надежды, что мучения наши не будут тщетными...

Мороз сотворил из оконных створок непроницаемые щитки, двери мы закрыли железным засовом, чтобы разбойники не могли

вторгнуться в нашу импровизированную молельню, так что ничто не нарушило покой, возвышенность и торжественность незабвенного 30 января 1849 года. На следующий день ксендз Юргелевич благословил нас, справил ещё одну мессу и уехал.⁸⁰

Между тем, нас, Поляков, пригласили на обед к офицеру артиллерии Базанову, женатому на польке. На этом обеде, кроме нас, каторжников, была и жена урядника таможи, офицера инженерных войск Якублевича, немка.

По воскресеньям и праздникам Якублевичи часто приглашали нас на обед и даже на целый день. Комендант охотно позволял нам принимать такие приглашения и в этих гостиных, в приличных домах, мы могли хоть мимолётно забыть о каторге. Между собой мы шутили, что идём на маскарад, потому что разве не выделял нас особо наш каторжный наряд среди красивых дам и блистательных офицерских мундиров!

У Якублевичей мы узнали Елизавету Ефремовну, которую после более близкого знакомства называли «*Звезда Сибири*» и «*Полночный цветок*».

Сестра полковника сибирских казаков Иванова, Елизавета Ефремовна была вдовой поляка, майора Бартошевича. Рождённая в глубокой Сибири, ненавидела русских и называла Россию «страной кнута». Елизавета была одной из благороднейших женщин, каких я встречал в своей жизни. Оставалось гадать, откуда такая subtilность, такая возвышенность чувств, такое отчуждение от всего низкого и подлого, откуда такое умение любоваться красивыми вещами в сердце этой женщины! Не раз мы говорили об этом и никому не удалось разгадать этой тайны. Поистине, божественный дух селится там, где его предопределение...

С помощью Маценко Елизавета получила разрешение, чтобы по окончании работы вечерами мы приходили к ней. У неё была отменная библиотека, она получала новые польские и французские книги, из польских газет мы читали у неё «Варшавскую газету». С какой радостью мы её читали, она несла нам вести из нашей страны, да и из всего мира!

Ежедневно мы выходили на работы, вернее, на «разминки», потому что, по сравнению с тем, что потом было в Омске, работу в Усть-Каменогорске иначе не назовёшь.

При каждом разливе Иртыша срывает все дамбы и ограждения. Что составляет источник больших доходов для инженеров, поскольку на ремонт отпускаются значительные суммы, на самом же деле эти мероприятия ничего не стоят. Прорванные места заделываются навозом, посыпаются сверху мелким гравием и получается дамба, которую первый же разлив снова рушит. И опять огромные суммы пополняют карманы господ инженеров.

Кроме ремонта дамб и плотин, каторжане изготавливали кирпичи, гасили известь, ремонтировали разные здания. Всё это делалось абы как, лишь бы быстрее, по известной русской поговорке «*лишь бы с рук*».

А тем временем наша группа увеличилась. Первыми прибыли Юзеф Богуславский с Бенедиктом Косевичем, а потом ещё четыре человека из Варшавы: Ян Маршанд, Казимир Барильский, Констанций Калиновский и Феликс Фиалковский.⁸¹

Мы провели в Усть-Каменогорске полгода более или менее спокойно, не предвидя грозы, что уже нависла над нами.

Было это в конце мая. Когда мы вернулись с послеобеденной работы, в нашу камеру явился какой-то незнакомый полковник вместе с комендантом Маценко и майором Гусевым. С ними были ещё несколько офицеров и стражи. Они обыскали наши вещи, а нас рассадили по одиночке и запретили общаться между собой. Сперва мы очень встревожились, особенно присутствием нового полковника, но потом узнали, что обыски были и у Елизаветы, и у Якублевичей. Притом, ничего, кроме двух пустяковых писем, привезённых нам из Томска, больше не нашли.

Мы сидели вместе с Адольфом Грушецким. В маленькой избенке было нас двенадцать человек (десять солдат под судом). Мы могли только лежать – ходить места не было. Четверо всегда спали под нарами. В этой избе грязища была ужасающая, ни секунды мы не могли спокойно лежать на месте – белые, чёрные и коричневые насекомые вились вокруг нас, как муравьи в муравейнике. Это была настоящая пытка.

Среди других подсудных оказался казак без ноги, который убил свою жену. Он всё время молился по молитвенникам, но постоянно со всеми задирался. Укладываясь спать, несколько раз крестил свою постель и после каждого раза повторял:⁸²

«Господи, Иисус Христос! Прости меня, грешного, что я обругал этого собаку вахтера».

Такова была его обычная вечерняя молитва.

Вахтёром он называл охранника продуктового магазина, который также, как и казак, был под судом.

С виду этот безобидный казак, погруженный в свои молитвенники, выглядел, как порядочный человек. Однако, поближе узнав «набожника», оказалось, что это истинное чудовище, – особый экземпляр даже между каторжниками.

У нас обнаружили письма на польском языке, адресованные в Омск, для перевода на русский, из-за чего, собственно, и началось следствие. Нам пришлось при ведении протокола защищаться от недоказуемых обвинений Гусева. Этот глупец и негодяй оклеветал нас перед генерал-губернатором Сибири князем Горчаковым, будто бы через посредство Якублевича мы держали связь не только с Польшей, но даже с Парижем и Лондоном, якобы намеривались вооружить 60 тысяч киргизов и захватить фортецию (было бы что захватывать!!). Недокананный никакими аргументами и ничем более не подкреплённый донос был принят следствием, причём повод к доносу выяснился только во время его ведения. Целая история была придумана на том основании, что Якублевич не хотел подписать счета, представленные Гусевым, поскольку майор собирался присвоить уж слишком большие суммы, истраченные якобы на ремонты дамб и плотин, да и вообще всей крепости.

Полковник⁸³, присланный на следствие, убедился в нашей непричастности к клевете Гусева, вернулся в Омск, а мы – в наши камеры, такие же грязные, как арестантская изба, но более просторные, и 15 июня 1849 года наша жизнь вошла в обычную колею.

До нас дошли выводы следствия, сделанные в Омске: майор Гусев должен оплатить три четверти дорожных расходов полковнику Кривоногову, что составляло 75 рублей, кроме того, он получил месяц ареста на гауптвахте и полную отставку. Бедному Якублевичу тоже пришлось заплатить 25 рублей расходов полковника и предстояла неделя ареста в Омске, так что и клеветник, и доносчик, равно и оклеветанный оказались наказанными.

В июле 17 дня после недолгой болезни умер Феликс Фиалковский. Мы одели его и уложили в убогий деревянный гроб. Все мы постоянно носили на груди в мешочках землю нашей любимой Польши. И теперь каждый из счастливых обладателей этого сокровища выделил по несколько щепоток земли, которую положили умершему на сердце. Мы сами вырыли могилу и сами вынесли его на носилках. Справили панихиду, спели «*Слава тебе, Владычица*».

О, нищая, одинокая могила! Сейчас, когда я пишу эти строки, от тебя уже, наверное, и следа не осталось, бешеные ветры смели тебя с поверхности земли, а кости того, кто упокоился под твоей защитой, разнесли по сибирским пустошам.

Но дух Феликса мог смело предстать перед судом Всевышнего и сказать:

– Вот я, Господи, верно исполнивший свой долг перед Отчизной.⁸⁴

И тут мы получили известие, что несколько наших братьев стремятся в Усть-Каменогорск, а в сентябре дошли слухи из Омска, что меня, Южка, и Жоховского, вместо них отправляют в Омск. Почему? Никто ничего не знал. Нам велели готовиться к дороге.

Добрые люди, что так гостеприимно принимали нас у себя, проводили нас по-братски. К Елизавете Бартошевич мы пошли проститься, чтобы ещё раз пожать те руки, что были к нам так добры и милосердны.

Прощание было скорбное.

Она плакала и благословляла нас, обещала проведать в Омске, как только выздоровеет. Бедная Елизавета! Она не смогла выполнить обещание: в начале 1850 года умерла. О! *Звезда Сибири!* Всю жизнь мы будем хранить память о тебе.⁸⁵

В ПУТИ К ОМСКОЙ КАТОРГЕ



20 сентября 1849 года мы двинулись в путь.

Велено было заковать нас в кандалы.

Юзек был очень болен, он не мог даже держаться на ногах. Мы просили унтер-офицера, чтобы позволил уложить его на воз, в котором сложены наши пожитки.

Он отказал.

Тогда мы взяли его на руки и понесли⁸⁶. Я действительно был молодым и сильным, и очень привязан к Южке, притом под свежим ещё впечатлением гибели Фиалковского, что придавало мне силы. Юзек обнимал меня плечом за шею и пылающим от жара лицом прислонялся к моему.⁸⁷

– Добрый Шимек! Добрый, дорогой! – шептал он, как дитя. – Чем я отплачу тебе?

– Тем, что быстро выздоровеешь, – отвечал я.

У него была перемежающаяся горячка и страшное ослабление, но, к счастью, болезнь оказалась не длительной.

Первый ночлег мы провели в *станции Уваровой*. Прибыли поздно вечером и поместили нас в *сборной*. Это маленькая *избушка*, в которой казаки собираются при объявлении царских указов или распоряжений своей Рады. В каждой станции имеется подобная *сборная*. Поскольку в ней никто не живёт, то обогревают её, только если кто-то в ней ночует. Вся мебелировка – несколько очень широких деревянных скамеек.

Как только мы разместились, а я, застелив скамью чем только смог, уложил на ней больного Юзека, появился неожиданный гость.⁸⁸

– Я узнал, что ведут Поляков, и тут же побежал поприветствовать братьев.

Мы очень удивились и обрадовались, тем более, что услышали польскую речь.

Гость представился нам: Карпович, и рассказал о себе.

Уроженец Познаньского предместья, воевал под знаменами Наполеона, в 1812 году попал в плен и пригнали его аж сюда. После Венского Конгресса, когда всем пленным разрешили вернуться домой, Карпович отправился в свои края.

Но в Киеве, узнав, что Познань попала под Пруссию, решил вернуться в Сибирь – всё же лучше, чем быть под немцами. Осел в станции Уваровой, женился на сибирячке, растит двух сынов-казачков. И здесь, в таком окружении, в течение стольких лет, оторванный от родной земли, не забыл все-таки польский язык, владел им бегло и просил, чтобы ему рассказали о Польше, которую он всегда так любил. Во время нашего рассказа о судьбе покоренной Отчизны, лицо его бледнело, хмурилось, а в глаза набегали слёзы.⁸⁹

Усталый Жоховский лежал на скамье, а я всю ночь провёл в разговорах с Карповичем.

Во время рассказа о своей судьбе он поведал, что горячо любил красивую и работящую женщину, которая, тем не менее, немало докучала ему в те годы, когда была «порченной».

Я спросил его, что это за болезнь такая, сибирская, «порча». Карпович объяснил мне, что если совершенно здоровая женщина чувствует запах табака, она этого запаха не может вынести и «порча» настигает её, выражаясь в том, что плод, который она зачала, превращается в упругую чёрную массу, что остаётся в ней до самой смерти. И такие больные – несчастнейшие на свете создания.⁹⁰

– Я, – рассказал Карпович, – вылечил свою жену корнем зелья, намного горше хинина. Я истолок корень в порошок, смешивал с водой и эту смесь жена пила трижды в день. В начале лечения у неё были страшные боли, она кричала, извивалась на полу, а я удваивал и утраивал дозы порошка и, наконец, лекарство подействовало – больная выдала из себя эту отвердевшую массу. Я её полностью вылечил. Запах табака ей больше не вредит, она стала милой, прекрасной хозяйкой и матерью нескольких здоровых и дородных детей.

Карпович с такой убежденностью рассказывал о болезни и выздоровлении своей жены, что я не стал ему перечить, смеясь про себя над наивностью бедолаги, а результат его лечения объяснял тем, что «порченной» бабе просто надоело пить горькое лекарство и она перестала разыгрывать комедии.

Вспоминая разные признаки «порчи», думаю, что это – попросту истерия.

В другой станции, Красноярской, предстоял целый день отдыха.

Мы задержались в *сборной*. Казаки не очень пеклись о нас, стражу не ставили, мы были совершенно свободны. Я вышел на улицу и встретил казака, который продавал свежую говядину. Я купил несколько фунтов и решил приготовить гусарское жаркое. На следующее утро принялся кашеварить. Во всей Сибири печи топят только раз в день очень рано, остатки еды, приготовленные на обед, идут на ужин.

Посуду для приготовления и всё нужное я нашёл в соседнем доме. Этот случай показал мне воочию, на каком странном моральном

уровне находится здесь население. В доме я застал двух женщин и двоих детей. Один ребенок ползал по избе, другой спал в люльке, подвешенной к потолку. Обе женщины молодые. Одна из них мыла пол, другая, около печи, возилась с *ухватом*.

Я, новоиспечённый повар, обратился сперва к кухарке, и когда спросил, где сейчас её муж, – в киргизской степи или на службе, она обиженно ответила:⁹¹

– Я незамужняя. Я – девица!

Я смутился, попросил извинения за ошибку и был прощён.

Жаркое получилось превосходное, подкрепило моего Юзка, что меня очень обрадовало. Под вечер я вышел на улицу и уселся на лежащую там деревянную колоду, машинально наблюдая за играми казацких детей. Посмотрел в сторону, откуда доносился плач маленького ребенка. И как же я удивился, когда на пороге того самого дома, где готовил жаркое, увидел женщину, что назвалась девицей, с младенцем на руках, – она его кормила грудью. Я рассказал всё это своим товарищам и нас сильно рассмешило такое явное доказательство «девичества».

С годами я убедился, что в Сибири это обычное явление. «*Девица*» может быть матерью нескольких детей, и даже если воспитывает целый выводок потомства, всё равно называется «девицей», пока не найдёт себе мужа, – хоть до самой смерти. Впоследствии я убедился, что распущенность нравов в Сибири такая, какую, пожалуй, больше нигде не встретишь. И не только среди простого народа, но и в высшем обществе, среди просвещённых людей. Другое дело, что богатые имеют возможность скрывать свои обстоятельства, следствия своих поступков, которые не менее, – хотя что я говорю? – а ещё более омерзительны и достойны порицания.⁹²

В Семипалатинске в ту пору жило много поляков. Нас очень тянуло туда поехать. Юзеф Хиршфельд, бывший солдат, в Семипалатинске был между поляками, – как бы выразиться? – известнейшей личностью. Он жил в доме купца Попова, у которого был управляющим.

От него военные власти узнали о нашем прибытии и мы зашли к Хиршфельду. Ему очень хотелось оставить нас у себя, но не удалось, несмотря на все его старания и попытки.

Однако, при заступничестве Хиршфельда, офицер высшего ранга Тарасов позволил нам занять небольшой уголок в офицерской квартире. Тут нас провели многие земляки. Так мы узнали Ордынского, сосланного ещё в 1825 году на тяжёлые работы, он обычно служил в интендантстве. Был здесь и клирик из духовной академии в Варшаве, обыкновенный солдат, Ян Май, был Рокицкий, тоже солдат⁹³, и Зелинский, урядник таможни. Тарасов оказался для нас очень полезен. В начале своей военной карьеры он служил юнкером в Польском Королевстве, узнал поляков, ценил их и глубоко уважал.

Утром при смене дежурства он попросил, чтобы сменивший его офицер⁹⁴ всячески нам помогал и даже заверил коллегу, что часы дежурства в нашем обществе ему самому были очень приятны. Гилёв попытался исполнить просьбу, но, узнав, что мы лишены всех прав и осуждены на каторгу, счёл неуместным наше пребывание в офицерской квартире. Прежде всего он побежал к начальнику батальона Белихову, рассказал ему всю историю и предложил, чтобы нас выселили и перевели в обычную арестантскую камеру. Дежурного офицера и Тарасова Белихов велел отправить на гауптвахту.

Собрав наш скарб, с тяжёлым сердцем, мы снова оказались среди бандитов.

Были в этой камере и солдаты под судом, воры и злодеи, одни в тяжёлых, другие в лёгких кандалах, словом, сборище сброда всякого рода. Если бы Хиршфельд оказался на месте, с нами такой катастрофы, конечно же, не случилось, но он на несколько часов отлучился в сад купца Попова. Узнав о подобном повороте дела и о негодяйском поступке Гилёва, тут же побежал к начальнику батальона. Какими аргументами склонил Хиршфельд майора Белихова придти в камеру, где мы сидели, я не знаю, – но пришли к нам несколько офицеров. Либо они ожидали от нас, также как и Белихов, что мы будем просить о перемещении, но не дождавшись никаких просьб, Белихов прежде всего велел отпустить осуждённых на гауптвахту офицеров, а нас перевести в избу, где сидели несколько казаков из станицы Семиярской.

Эти казаки помогали староверам⁹⁵, тем самым, которых называли здесь почему-то поляками, чтобы они могли справлять свадьбы

по своему обычаю. Попа из Семиарска подкупали, и он выдавал свидетельства, что бракосочетание проходило по православному обряду. Когда всё это всплыло, попу повезли в Бийск, где судили как преступника, а казаков привезли в Семипалатинск и отдали под военный суд.

Переночевав с казаками, мы тут же хотели идти дальше, но они нас не пустили.⁹⁶

– Нечего вам спешить; Омск ещё успеет вам опротиветь с этим плац-майором Кривцовым, лучше бы вам никогда его не знать!

Мы остались и случилось так неудачно, что нам пришлось быть свидетелями страшной экзекуции унтер-офицера, писаря батальона.

Этот писарь возвращался вечером в сильном подпитии и на улице встретил своего сверстника, офицера, исполняющего обязанности батальонного кассира. Тот был страшный пьяница, который часто валялся в грязи, или ночевал под мостом. Когда на улице встретились писарь и кассир, последний начал «штрафовать» первого за пьянство.⁹⁷

– *Что вы, ваше благородие, куражитесь, вы сами недавно с похмелья*⁹⁸, – отвечал пьяный писарь нетрезвому кассиру, который от таких слов впал в страшный гнев и сильно оскорбился. На следующий день чуть свет прибежал, чтобы писаря за оскорбление покарали.

И приговорили писаря к порке.

Больше часа лежал писарь на земле под градом розог. Казаки вели счет и рассказали потом, что писарю досталось «ладно» – он получил 750 розог «с пересыткой», то есть с одной стороны его били более тонким, а с другой стороны – более толстым концом розги.

И мы должны были видеть это! Видеть человека, лицо которого почернело, как уголь, человека, залитого кровью от лопаток до колен, принесённого в жертву негодяю, который для куража, должно быть, опять выпил хорошую порцию водки, язык у него заплетался, а ноги не держали его. Беднягу наверняка бы забили насмерть. К счастью, прибыл фельдшер, которому удалось убедить офицера, что писарь перестал кричать, значит, сейчас скончается.

«Преступника» подняли с земли, положили на плацу, а когда кусочки поломанных розог начали извлекать из избитого тела, слышно было, что он едва стонет. Отнесли его в лазарет. Вечером он умер в муках.

После двухдневного пребывания в Семипалатинске мы двинулись дальше.

В пригороде все наши знакомые ожидали нас, чтобы проститься. Ожидал и Тарасов. Когда мы просили извинения за неприятности, которым он подвергся из-за нас, он после небольшого раздумья сказал:⁹⁹

– Я горжусь этими неприятностями, я сделал для вас, что мог, и убежден, что должен был поступить именно так.

После завтрака Хиршфельд и Май проводили нас до сада Попова. Там всё уже пожелтело, листья с деревьев облетели.¹⁰⁰ В саду была довольно просторная и красивая оранжерея, летний домик, несколько прудов, довольно много деревьев и кустов. Из деревьев – только яблони. Фруктов мы не видели нигде.

Мы обошли весь сад, но надо было прощаться, поскольку конвойные казаки уже начали нас торопить.

В дальнейшем походе на этапах они обходились с нами по-разному: иногда по-людски, но чаще самым худшим образом. Если бы нам всегда было хорошо, конечно же, в памяти у нас не отпечаталось название ни одной станицы, так, как мы запомнили Песчаную.

Когда мы туда прибыли, казачество собралось в канцелярии и слушало манифест по поводу взятия Гёргея и захвата Венгрии. Удручающе прозвучала для нас эта новость.

Старшина казаков обходился с нами довольно прилично. Мы давно уже ходили без кандалов и никто не обращал на это внимания. Возможно, мы бы так и дошли до самого Омска, но в Песчаной какой-то старый седой казак это заметил и упёрся, чтобы нам одели кандалы. Никто не смел противиться старому Никите, который, видно, был в станице выдающейся личностью.

В кандалах идти было трудно. Пришлось просить казаков, чтобы за мзду сняли их с нас. Мзда была, конечно, пустяковой, за полрубля принесли топоры, несколько ударов – и оковы упали с наших ног.

До Омска нам осталось только несколько дней дороги. Чем ближе – тем строже обходились с нами. Еще в Семипалатинске за 700 верст до Омска у всех на устах было имя майора Кривцова. О нём рассказывали всякие ужасы, в которые трудно было поверить. Его называли негодной тварью, недостойной названия человека. Когда Кривцов выходит на улицу – говорили – люди прячутся в домах, а собаки в будках. На нас смотрели с сочувствием, а в ушах у нас постоянно звенело зловещее имя:¹⁰¹

– Кривцов! Кривцов!

Нам казалось, что это имя мы слышим в шелестах леса, что повторяют его вихри среди пустыни, что вороны и сороки над нашими головами кричат: «Кривцов! Кривцов!».

Если честно, то я даже хотел, наконец, увидеть этого демона в людском облике, посмотреть ему глаза в глаза.

В глубине души у меня тлела искорка надежды, что люди уж очень в чёрных красках описывают этого Кривцова и что «не так страшен чёрт, как его малюют».

В таком невеселом настроении мы прибыли в станицу перед Очаиром.

Там жил казачий офицер, к которому отправился Юзек просить о квартире, поскольку общее помещение казалось совсем непригодным. На нашу просьбу мы получили отказ, причем офицер представил нам очень своеобразную «спальню».

Это была *каталажка* – нечто вроде сундука, не более двух аршинов в квадрате, без окна, без единой хотя бы самой малой щели, через которую мог бы пробиться свет. В этот сундук вели очень низкие двери. Только сгибаясь пополам, едва удалось мне вползти в середину.

На дне сундука лежало немного сгнившей, стёртой соломы – гнезда целого роя паразитов. Когда я попал в эту яму – взорвался смехом, в этой «спальне» трагизм соседствовал с комизмом. Я вспомнил Львов, Люблин, Модлин, в которых в более или менее подобных условиях мы маялись «досыта».

Когда мы из каталажки выползли, близки были к обмороку, настолько там не хватало воздуха.

Вечером мы прибыли в Очаир. Здесь жил один из старших наших братьев Карол Кжижановский, родом с Подола. В 1831 году

его арестовали и прислали на службу в сибирский батальон, а через четыре года он дослужился до унтер-офицера.

Жена Кжижановского, Наталия Криванка была россиянкой, дочерью полковника. Молодая и красивая девушка полубила Кжижановского, который тоже отплатил ей любовью и, несмотря на отчаянное сопротивление родителей, – полубила унтер-офицера, поляка, да еще католика, – в браке они хорошо ладили и были счастливы. Две их дочери Анна и Ольга немного говорили по-польски.¹⁰²

Несмотря на то, что во время нашей бытности в Очаире Кжижановский болел, оба супруга приняли нас очень радушно.

В Очаире у госпожи Кжижановской мы оставили всю нашу кассу. Мы хотели также оставить и свой багаж, но конвойный офицер решительно воспротивился и теперь нам надо было тащить его до самого Омска.¹⁰³

ПРИБЫТИЕ В ОМСК. ВАСЬКА



2 ноября 1849г. перед вечером за семь вёрст предстал перед нами Омск.

Между собой мы вели такие разговоры: «Пусть бы Омск был адом, а Кривцов воплощением Люцифера, и всё-таки лучше попасть в ад и встретиться с Сатаной, лишь бы отдохнуть по-человечески!».

Сопровождающие казаки всячески нас допекали, не меньше измотал и пятидневный поход, причем почти всё время мы шли в кандалах.

С прибытия в Омск начинается самый тяжкий и самый преисполненный впечатлениями период моей жизни.

Комендант крепости, к которому нас сперва привели, осмотрел только наши документы и велел сейчас же направить к плац-майору, которого звали Василий Григорьевич Кривцов. Но все называли его Васька. И в дальнейшем я также буду его так величать.

В Ордонацгаузе представился нам писарь Дягилев. Вежливый до слащавости, тем не менее, он сразу предупредил, что все наши вещи отберут. Очевидно, хотел получить деньжат и посоветовал,

чтобы мы сразу облачились в каторжную форму, потому что плац-майор так требует, а он очень строгий. И тут же проводил нас к нему.

Тот момент, когда я впервые увидел Кривцова, никогда не изгладится из моей памяти.

Жуковский в Брюловском замке грозил батогами, Стороженко в следственной комиссии – виселицей, Лейхте, Сянов, Жуковский, Блюменфельд, Квиечинский – вымыслами, самыми бесстыдными, однако все они, весьма почтенные и опытные люди, могли у Васьки лишь поучиться.

Перед домом, где он обитал, встали в очередь, Дягилев пошёл доложить ему, что мы прибыли, перед этим ещё раз напомнив нам, что нужно снять шапки.

Вскоре из дома вышел мужчина довольно высокого роста, тучный, седоватый. Его небольшие усики срастались с густыми бакенбардами, которые верёвочкой проходили посреди одутловатых набрякших щёк, таких же красных, как и его глаза, что свидетельствовало о пьянстве. И на самом деле, Васька был-таки заядлым пьяницей.

Плац-майор Василий Григорьевич Кривцов, владыка нашей жизни и смерти, впервые предстал перед нами в очках и шлафроке.¹⁰⁴

– Это что? – крикнул. – Что это, я спрашиваю? Это крепостные арестанты? Каторжники в гражданской одежде, небритые, с бородами, с усами¹⁰⁵? Это что за обличье? Я кому говорю? Это почему? Смею спросить, на кого эти люди похожи?

Стоя перед Васькой, мы все чувствовали опасение, какое испытываешь при виде бешеной собаки, и то, что происходило в моей душе, даже не берусь описать.

Поскольку мы молчали, наверное, криками всё бы и обошлось, если бы Васька, указывая на Жоховского, не рыкнул:¹⁰⁶

– А этот? Это кто? Настоящий бродяга¹⁰⁷!

Жоховский, оскорбленный такими эпитетами, подал голос и крикнул:

– Я – политический заключённый.

Последовавшие выкрики Васьки и выражения, допущенные в отношении профессора, повторить не берусь – чересчур они были оскорбительны и похабны... А когда ему уже не хватало слов,

чтобы нас достаточно унижить, он велел писарю записать, что на следующий день Жоховский получит триста розог.

– Я вас научу! Я вам покажу, что такое служба, – пенился Васька от злобы. И, наконец, последовал приказ:

– Выбрить, как следует, одеть в «форменную» одежду, закопать, как положено, в кандалы, и привести ко мне на *смотр*.

– Ваше Высокоблагородие, как прикажете поступить с их собственными вещами? – спросил Дягилев.

– Всё отобрать, описать, и передать на публичные торги, отобранные деньги использовать на улучшение содержания каторжан.

Вот, оказывается, каким филантропом выказал себя Васька! Он радел об улучшении положения каторжан!

Затем ещё раз обратился к нам с всяческими оскорблениями и изрёк:

– *Пошли вон!*

В Ордананцгаузе мы находились ровно столько, чтобы у нас успели отобрать и опечатать вещи и выдать на смену каторжные, после чего мы удалились на ночлег.

Было уже темно.

На улице, перед самой гауптвахтой, нас встретил Ян Вожняковский. На каторгу в Омск его сослали лет на двадцать. Однако через четыре-пять лет в награду за какую-то научную работу в области математики, на которую обратили внимание в Петербурге, – его освободили от работ и направили в военную команду, и то всего лишь унтер-офицером!

Ночь мы провели примерно так, как это было перед Очаиром.

На утро нас вызвали в кордегардию. Там нас поджидал цирюльник, который и должен был преобразить нас в каторжников.

Первым пошёл «под обстрел» Юзик.

Признаюсь, – мне не хватало духа.

Когда он показался в дверях без бородки и усов, с обритой половиной головы, мы невольно зажмурились. Слово чести, – ни мать, ни отец, и никто из родичей, даже самых близких, не узнал бы его, так нас всех здорово приукрасили!

После этой операции мы предстали перед Васькиным домом. Было ещё рано.

Васька собирался ехать с докладом к коменданту; потому был трезв, глаза и щёки были уж не такими налитыми, как вчера, он даже не кричал так громко, как можно было ожидать, напротив, старался придать голосу примирительные и спокойные нотки с налётом сочувствия и даже вежливости! Попытался убедить нас, что всё, что нас ожидало, мы заслужили, что мы подвергаемся справедливой и заслуженной каре. Слова «царь» и «закон» мелькали чуть не через каждое слово, в подтверждение приведённых Васькой аргументов.

В заключение он сказал, что своим повинением мы должны стараться всячески ему понравиться и надеяться на его милость.¹⁰⁸

После Васькиных наставлений и предостережений нас повели в кузню, где заковали в тяжёлые грубые кандалы.

Потом в ордонанцгаузе составили список вещей. Отобрали у нас всё. Васька оставил нам только по паре сорочек, и то, по особой щедрости. Всё остальное было распродано.

Как? Где? Когда? Кто все это купил, – осталось для нас тайной. Знаю только, что много позже, работая в Васькином доме, я видел на его постели наши сафьяновые подушки, а одежда Александра Мирецкого, из оленьего меха, защищала Ваську от мороза.

Александр Мирецкий прибыл в Омск ещё в 1846 году. До нашего прибытия он был единственным поляком и политическим заключённым среди толпы бандитов. Васька его постоянно притеснял. Бедный наш Олесь! Не было ему ни минуты покоя, – Васька ежедневно навещался в казематы по несколько раз.

Это были первые дни правления плац-майора. Он многое изменил в распорядке, всё переделал по своему и арестантов доводил до того, что его хотели убить. Это случилось ещё до нашего прибытия на каторгу. Один из каторжан, некий Власов, как-то раз ринулся на Ваську, за что был осуждён за одни сутки и погреб под батогами. Две тысячи ударов принял ещё живым, а тысяча досталась уже мертвому. Обычно, при подобных экзекуциях присутствовали все заключённые.

Так возник план убить Ваську. В другой раз, когда все бандиты собрались вместе в одном каземате, а Васька шёл, окружённый солдатами с оружием, каторга подняла страшный крик. Одни подстрекали других к убийству.¹⁰⁹

– Что там на него глядеть, – кричали одни, – *встряхнём* его! – кричали другие, – трусы! Трусы! – кричали некоторые. – Тысячи вам не были страшными, а этого одного боитесь?!

Однако они остановились! Как звери, которых долго притесняли, они побоялись выступить против своего преследователя и мучителя. Боязнь наказания, боязнь смерти оказались сильнее жажды мести и убийства.

Но и Васька тоже струсил, говоря по правде. Потешно было видеть, как нам рассказали, как этот наглый, всемогущий плац-майор, этот грозный владыка тюрьмы, стал тихим, как барашек, и испуганным голосом вскрикнул:¹¹⁰

– Дети! С этой минуты я буду отцом вашим! Я вас кашей буду кормить.

Выпустили его без всяких. Ох! И круто же мстил Васька. Не было дня, не было часа, чтобы кого-нибудь не вели из каземат в кордегардию, где по велению Васьки его пороли.

Обычная порция, предназначенная для осуждённого, была триста розог, а иногда добавляли ещё одну сотню, или две, это уже зависело от настроения Васьки и от количества выпитой им водки. Не раз Васька бандитов велел бить несильно, правда, по большей части вообще без причины. Чтобы получить палки, достаточно было спать на правом боку. Вот именно, это не шутки! – это чистая правда. Васька пару раз за ночь вваливался в казематы, и если кто на свою беду спал на правом боку, то на следующий день подвергался наказанию. Васька мотивировал это наказание тем, что Христос спал всегда на левом боку, поэтому все обязаны следовать его примеру.

Чтобы быть поротым, достаточно было пройти около Васькиного дома и снять или надеть шапку не по предписанной форме и порядку. Поэтому каждый обходил дом плац-майора, как дом, заражённый моровой заразой.

Умный, злой, мстительный, притворщик, человек наихудшего поведения, распутник, картёжник и пьяница, – одним словом, олицетворением зла, таким был Васька.

И такому-то человеку была дана неограниченная власть над частью общества, заражённого гангреной преступности. Его обязанностью было влиять на исправление нравственности и обычаев

этих людей, которые никогда ни о чём другом не мыслили, кроме как об удовлетворении своих звериных инстинктов.

Но разве Васька был не такой же самый, как они? Поистине, каждый, кто его знал, считал его человеком одного нравственного уровня с каторжниками.

Рассказывая о плац-майоре, чтобы создать общую картину, следует также подробнее вспомнить об иных чиновниках, которые имели опосредованную или непосредственную власть над нами.¹¹¹

Военным губернатором Западной Сибири был во время нашего пребывания Пётр Дмитриевич Г., князь, аристократ, старый распутник, который открыто сожительствовал с женой генерала Шрамма – он был директором кадетского корпуса Сибири. Эта Шраммиха, не хотелось бы слишком грубо выразиться, была *как бы* женой князя Г. и матерью троих его дочерей и сына.

Она единолично и всевластно управляла Сибирью, всем было известно, если нужно было добиться чего-нибудь, следует сперва поклониться пани генеральше и любыми способами заслужить её расположения. И если генеральша выказывала сочувствие и была ласкова, проситель мог смело обратиться к князю, в уверенности, что его просьба будет уважена. Генеральшиным протеже князь раздавал наивысшие посты, а уж для своих зятьев тем более не жалел наивыгоднейших мест, наград и чинов.

Балы, прогулки на лодке и в карете, – князь Г. ни в чём не отказывал своей возлюбленной. Военный оркестр гремел над Иртышем, а на берегах сверкала иллюминация на радость генеральше и приглашённых ею гостей. А генерал Шрамм ходил следом за князем и женой, – своей, *настоящей*, – причём следовал за ними молча, но зато получал кресты, звёзды и чины за покладистость.

Кто не хотел поддерживать отношения с генеральшей, кто не старался выказать ей уважения, попадал в немилость к князю, подвергался притеснениям и случалось не раз, что под каким-нибудь придуманным предлогом даже попадал под суд, лишившись служебного положения.

Так, князь незаслуженно преследовал Алексея Фёдоровича де Граве, полковника и коменданта крепости, очевидно, потомка французских предков, которых революция загнала в эти края.

Алексей Фёдорович де Граве был славным человеком, и если не делал добра – то просто потому, что не умел, а если не делал зла – то потому что не хотел. Служа в армии, в юности своей пребывал в Литве, где, благодаря своему происхождению и французской фамилии получил доступ в лучшие дома, в которых был ласково принят. Он и сам неоднократно вспоминал эту пору, которую так приятно провёл в Литве, и жалел, что она минула безвозвратно.

Страстный охотник, стрелял превосходно, любил всяческие развлечения и прогулки, постоянно прославлял польское гостеприимство и был также чрезвычайно гостеприимен, принимая гостей в своём доме.

Наибольшую радость доставлял ему тот, кто говорил: «Де Граве принимает гостей по-польски».

Он был знатоком греческих классиков, но французским языком не владел вовсе.

Жена Алексея де Граве, россиянка, Анна, дочь Андрея Романова, была весьма привлекательной женщиной, воспринимала жизнь с точки зрения важнейшего долга: вызволять людей из материальной нужды или моральной подавленности, словом, – охотно помогала каждому, кто нуждался в её поддержке.

Стараниями Анны Андреевны в Омске был учрежден «Дом Опек» для сирот, обездоленных девочек, где она сама была и учительницей – истинное доказательство её филантропической склонности, также как и организация театральных любительских представлений, в которых она сама и участвовала, как режиссёр и как актриса.

Во всё время моего пребывания в Омске ни разу не слышал, чтобы кто-либо дурно отзывался о госпоже де Граве. Я сам и другие поляки в тяжких и опасных обстоятельствах удостоивались её помощи и покровительства. Когда люди, имеющие власть над нами, преступали границы этой власти – достаточно было рассказать Анне Андреевне, как незаслуженно нас преследуют, и преследование тут же прекращалось.

И мужа этой замечательной женщины, Алексея де Граве, человека учтивого и благородного, князь Г. преследовал за то, что Анна Андреевна избегала того, к чему стремились другие, она не

хотела знаться с генеральшей Шрамм и бывать на балах у генерал-губернатора.¹¹²

Но – возвращаюсь к основному сюжету моего рассказа.

Итак, привели нас к воротам той адской обители, что поглотила семь лет моей жизни, где минула моя цветущая молодость, где осталась моя мужская сила, моё здоровье, где мне приходилось переносить страдания сверх человеческих сил, так что вполне мог вскричать вслед за поэтом: «Как Данте я прошёл сквозь ад ещё при жизни».

Открылись двери каземата.

В дверях стоял Олесь Мирецкий, который до того совершенно нас не знал, а теперь с радушной улыбкой бросился нам в объятия. Вместе с ним нас приветствовало множество каторжан, которые в течение семи лет должны были стать нам товарищами. Господи, какими же ужасными показались они нам!

И эти люди, последние из последних, приближались и протягивали нам руки, те руки, которые столько раз обагрялись кровью и были причастны к тяжким преступлениям. И этим людям, хотя с брезгливостью и испугом, мы всё-таки были вынуждены тоже протянуть руку. Я отёрнул свою ладонь и, оттолкнув всех, вошёл в каземат с гордо поднятой головой.

С моей стороны это был весьма недипломатичный поступок. Все преступники и бандиты на меня обиделись, называли меня чертом и дьяволом, все ненавидели меня, а кому только была охота, всячески унижали меня, каждый по своему.

Бывали такие недели, когда я не мог спокойно пройти по площади, отовсюду летели мне вслед, точно град, проклятья и оскорбления. Бывали моменты, когда я желал, чтоб земля разверзлась под моими ногами, чтобы мне провалиться в любую пропасть, – вдруг там ждёт меня что-нибудь лучшее, чем то, что меня окружало. А скрыться было негде, негде... Хотя бы на мгновение остаться в одиночестве, но вокруг – сплошной гнойник безнравственности, повсюду они... они... они..., бродяги и бандиты...

Отчаяние овладело мною.

Однажды я выбежал на площадь с тяжёлым сердцем, теснило грудь, голова полна дичайших мыслей. Большими шагами мерил я плац, который составлял теперь весь мой мир.

Мне было так больно и боль свою я считал настолько безнадежной, что решил покончить с собой...

– У меня хватит сил, – думал я. – Если с разбегу ударюсь лбом о частокол, раз, два, изо всей силы... Наконец, наступит предел всему...

Наверное, я исполнил бы своё намерение, потому что самоубийство казалось мне единственным выходом из страданий, обид и преследований.

От греха, от гибели моей бессмертной души спас меня любимый мой профессор Жоховский.

Это случилось в предвечерний час, когда бандиты ещё не вернулись с работы, а мы, закончив назначенную нам «порцию», уже были в каземате. Жоховский вышел, чтобы помолиться. Этот старец, так жестоко «обласканный»¹¹³ Васькой, этот старец, живущий в том же окружении, что и я, оставался таким умиротворённым!... Он не винил свою долю, не проклинал её, а на всё и на всех взирал со спокойствием мудреца – с всепониманием истинного христианина.

Я почувствовал себя таким ничтожным по сравнению с ним, таким грешным, что припал к его ногам, охваченным кандалами, и изболевшей своей головой прижался к его коленям и, заливаясь слезами, шептал:¹¹⁴

– Помолитесь вместе, отче! Помолитесь, а потом ты молись за меня, ох, молись за меня каждодневно!

Позднее, всякий раз, как вспоминал эти минуты небожеского раздвоя души, щёки мои рдели от стыда.

В эту безбожную минуту я запомнил, что Бог одарил меня *Волей*. Она велела мне терпеть за Отчизну, терпеть спокойно, без вспышек гнева и отчаяния, терпеть молча...

Выше я уже упоминал об Александре Мирецком. Прибыл он в 1846 году. Вскоре после этого Васька стал плац-майором. Бедный Олесь терпел всяческие притеснения. Васька отобрал у него всё, что тот имел, посылал его на самые тяжёлые работы и зорко следил, чтоб все его приказы, касающиеся Олесья, неукоснительно соблюдались.

Он приходил в каземат по несколько раз в день, и даже вечером, как бешеный пёс рычал на Олесья, а однажды велел ему дать сто розог.

За что?... Ни Олесь, и никто, не мог этого понять, да и сам Васька вряд ли знал, за что. Счастье, что дежурный офицер Купленников, один из самых порядочных, спас Мирецкого от розог, строго наказав солдатам держать всё в тайне.

Причина такого отношения к Мирецкому так и осталась неразгаданной. Ваське нравилось постоянно повторять:¹¹⁵

– Ты *мужик*, тебя бить можно!

Когда мы прибыли в Омск, Мирецкий выполнял самую грязную и унижительную работу, он был «*парашиником*». Очищение отхожих мест обычно происходило ночью. Начиналось в десять вечера и длилось за полночь.

Несчастному Олесю приходилось многократно спускаться на верёвке в самую глубину, на дно отхожих мест.

В результате такой «работы» он полностью утратил обоняние, которое больше никогда к нему не вернулось. До нашего прибытия он был «парашиником» уже два месяца, и после небольшого перерыва выполнял другие работы, не лучше этой.

Толчки, обидный хохот, проклятья разбудили нас ранним утром после первой ночи в омском каземате.

По Васькиному приказу нас разместили по одиночке в каждом каземате, среди истинных разбойников.

Вскоре они разошлись на работу, а Жоховский, Юзик и я встретились на крепостном плацу.

Поздоровались, пожали друг другу руки; профессор Жоховский своим приятным голосом поприветствовал нас:¹¹⁶

– День добрый!

Это пожелание не исполнилось никогда. Ни один из тех 2555 дней, прожитых в омской Геенне, нельзя было назвать «*добрым днем*»!

Территория крепости являла собой огромную площадь, напоминающую фантастическую геометрическую фигуру, похожую на шестиугольник. Не было здесь обычных стен, как в европейских крепостях. Вместо стены – частокол из толстых высоких *брёвен*, тесно сомкнутых друг с другом, остроконечных вверху, глубоко вбитых в землю.

Вокруг частокола – вал, на котором днем и ночью несли вахту солдаты крепостной команды. У ворот, ещё более укрепленных частоколом, стояла стража.

Двустворчатые ворота отворялись два раза в день: когда каторжане под конвоем шли на работу и с тем же конвоем возвращались.

Тюремная площадь шириной была примерно пару сот шагов. Здесь, также в ограде из частокола, стояли три невысокие удлиненные постройки: две *казармы*, то есть казематы, были обиталищем разбойников и политических заключенных, в третьем, самом маленьком строении находились кухня, погреб и кузня.

Казармы размещались в узких и длинных избах. Дневной свет проникал в них через зарешеченные окна.

Вечером казармы освещались тонкими сальными свечами, которые в Польше называют «субботники», потому что в бедняцких еврейских домах их зажигают по субботам.

На нарах мы спали все вместе. Каждый имел в своём распоряжении всего три доски.

Из досок было сколочено и небольшое возвышение, которое заменяло подушку, пока сам каторжник не ухитрился раздобыть себе настоящую из соломы, песка и разных тряпок, которые подбирал, где придётся. Наволочки бывали из перкаля, и чем ярче, тем больше ценились и составляли предмет зависти каторжан.

В каждом каземате обитало двадцать-тридцать человек, в любую погоду воздух был просто отравлен дыханием жильцов, обитателей, копотью и дымом лампад, водочным перегаром и запахом табака. Хотя каторжникам запрещалось и курить, и пить, – тем не менее, пьянство и курение махорки в казематах широко практиковалось.¹¹⁷

С наступлением сумерек казематы запирались на ключ и тогда начиналась полная разнузданность: «*гуляй душа*» – был девиз разбойников, и «гуляние» начиналось, как только стихали шаги офицера, запиравшего каземат.

Тут и воцарялись необузданная гульба и пьянство, поскольку арестанты ухитрялись добывать себе водку из города. Как? – остается лишь гадать.

Однако, некий каторжанин, в знак особого расположения, решил однажды поведать мне, с какой опасностью сопряжена была подобная контрабанда, какие хитроумные способы нужно было придумывать, чтобы обмануть или подкупить стражу из солдат.

Контрабандист, доставляющий водку из «кабака» в крепость, по понятиям каторги, был настоящим «героем».

Но поскольку водку я не пил никогда, а представления о героизме у нас были совершенно разные, я, отговорившись занятостью, сердечно поблагодарил за рассказ и обещал никому больше не сообщать, как доставляется водка.

Разбойники также играли в карты, причем играли как отъявленные шулеры. Чаще всего весело начатая игра кончалась печально. Проигравший тому, кому посчастливилось, оставлял «намятки», бил кулаками, пинал ногами, и даже калечил ножом.

Держать при себе острые предметы на каторге было строго запрещено, и всё же счастливый игрок, даже тяжело раненый, скрывал увечье, под страхом вовсе погибнуть.

Обычно ставкой в игре было имущество игроков, уцелевшее с великими трудностями, – смешное за пределами каземата, – но внутри его целое богатство!

Так счастливый игрок разживался штофом водки или парой «николашек»¹¹⁸, – что с лихвой сопровождалось кулачными ударами и пинками.

Одежда омских каторжников была двуцветная, из тяжёлого сукна, чёрного и тёмно-синего, или серого и чёрного, причём одна половина куртки и одна штанина были синими, а вторая – чёрными, кожаные ремни были «украшены» цветными латами на плечах.

Обривали нам голову по-разному, в зависимости от пожелания каторжников. Некоторые, желавшие выглядеть франтами, просили обрить их поперёк головы – другие, без всяких претензий на моду, и не надеявшиеся кому-нибудь понравиться, были обриты вдоль головы, в том числе и мы, поляки. По указу его «благородия» Васьки, брили нас каждую неделю, причём не только голову, но и усы, так что еженедельно у нас оставался только один ус. *Казённый* цирюльник был неумехой и бритва у него, тупая как дерево, царапала по голове и щекам так, что по телу пробегали мурашки до самых пят. Каторжане сыпали угрозами и проклятиями, а мы, поляки, старались сносить это спокойно, не скажу, чтобы терпеливо, но сохраняя достоинство, поскольку поклялись соблюдать его на каторге всегда, особенно в присутствии разбойников.

Рабочий день начинался в остроге таким образом:

На рассвете в соседней казарме били в барабан. Вскоре появлялся офицер вместе со стражей, один за другим отпирали казематы. Значит, пора вставать. И не раз нам было так тяжело, очень тяжело, извлечь свои натруженные вчерашней работой кости из неудобного «ложа», особенно после ночи, либо бессонной, либо проведённой в горячечных кошмарах и видениях, но потягиваться не приходилось!

Толпа заспанных каторжан бежала к вёдрам. Из них ковшом зачерпывали воду, понемногу набирали её в рот, а потом выплёскивали на ладони и умывались этой смесью воды и слюны. С причёсыванием, при половине волос, и второй половине головы, обритой наголо, не проблема одеть форму – всё просто, так что мы мигом были готовы.

Перед казармами становились в два ряда, нас окружали солдаты с заряженным оружием. Являлся офицер инженерных войск и дозорные.

Потом нас делили на партии. Каждая партия под конвоем вооружённых солдат и с дозорным во главе отправлялась в город на работу, к которой была приставлена.

Вечером заключённых оглядывали и проверяли строже, не достаёт ли кого-нибудь. Затем начинался счёт. Столько-то и столько-то людей в той или другой партии, и считали: *один, два, три...* А если попадался дозорный, не сильный в арифметике, то считал и пересчитывал по десять раз и, наконец, начинал выкликать каждого поимённо и по *отчеству*, а названный должен был ответить «есть»!

Однажды случилось, что одному из разбойников захотелось пошутить и при выклике, вместо «Есть!» он ответил: «*Нет налицо!*».

К несчастью, в казармах находился невидимый для всех плацмайор, который тут же приказал вывести шутника! Сто розог получил бедняга за эту шутку, в сущности, совершенно безвинную.

Выходя на работы, мы брали с собой кусок хлеба. Хлеб был всегда хорошо выпечен, вкусный, и походил на тот, что у нас в Польше называют *подситковий*. Этот кусок хлеба и составлял наш завтрак.

Обед получали на кухне, не все сразу, а по несколько человек. Садилась мы за стол и *кухарь*¹¹⁹ черпал половником из котлов и наливал в глиняные миски похлёбку с крупой, в которой плавали кусочки говяжьих голов и ног. Из мисок мы ели по двое и по трое, в зависимости от величины плошки.

Огромные миски с кусками нарезанного хлеба стояли на столах. Хлеба можно было есть, сколько хочешь. Давали нам попеременно похлёбку и кислые щи, а в праздничные дни и по воскресеньям – по куску говядины.

Тем не менее, должен сказать, в похлёбке и щах часто обнаруживались неожиданные приправы: плавающие тараканы. Для разбойников это был повод для шуток, они вылавливали их и доедали свою порцию, ничуть не утратив аппетит. У нас, конечно, это вызывало отвращение и тошноту. Часто после таких «находок» мы по несколько дней не могли поднести еду ко рту.

Вскоре после нашего прибытия на каторгу, из Очаира привезли большого Кароля Кжижановского, который долго хворал и умер в госпитале.

Его вдова с двумя маленькими дочками осталась в Омске. Эта добрая женщина была предана нам всем сердцем. Часто заглядывала в острог и нередко навещала нас, когда мы работали за городом.

Я уже упоминал, что у Кжижановского в Очаире оставалась большая часть наших вещей. Так что с приездом Анны быт наш намного улучшился.

Она сделала нам подушки, набитые мягкой шерстью, складные матрацы; нижнее бельё шила нам собственноручно, а также соорудила очень приличные одеяла. Но именно оттого, что они получились такие красивые, пришлось их «упестрить» кусками старого сукна и придать им вид никчёмных тряпок, чтобы они не взбудоражили Ваську, который, где бы в казематах ни увидел какую-нибудь вещь, представляющую интерес для него, тут же порешал её изъять и пустить на распродажу в собственную пользу или просто конфисковал для себя.

Васька позволял арестантам питаться за свой счет. Это было ему выгодно, потому что он экономил в свою пользу на их содержании.

Получив свои деньги от Анны, мы сговорились с «кухарем», и он выдавал нам каждый день на обед печёную или жареную говядину. Для нас это составляло очень небольшой расход. Потому что в Омске зимой фунт мяса стоил один грош, а летом – три гроша. Теперь у нас имелся собственный маленький самовар, ибрик для варки кофе, стаканы, тарелки и ложки¹²⁰, имелись и тазы, и всё это наше хозяйство мы должны были прятать в сундучках, надёжно укреплённых и с крепкими замками, поскольку кражи здесь были делом обычным, и каторжане не считали это проступком, а просто способом улучшить своё существование.

Пострадавший не мог ни разыскать украденное, ни даже пожаловаться, что его обокрали. Его бы только высмеяли и посчитали бы дураком, коли не сумел хорошенько упрятать своё добро.

Доносительство разбойники тоже нередко практиковали.

Среди нас также был один шпик, но этот уж считался, что называется, шпиком высокого класса, такой, который «ел хлеб не из одной пекарни», сумел одурачить петербургских графов и князей, но, в конце концов, сплоховал и попал-таки в омскую крепость.

Но этому «умельцу» стоит посвятить отдельный рассказ – о чем ниже.¹²¹

Для себя я решил, что надо обучиться какому-нибудь ремеслу, и пошёл учеником в инженерскую слесарную мастерскую. После трёх месяцев усердной работы я уже не худо орудовал молотком, и даже мог неплохо выковать всякие мелочи. Васька впал в ярость.

Когда видел меня, неистовствовал:¹²²

– Убирайся отсюда! – кричал, грозя кулаками. – Ты, *казённое быдло*, ты казённый инвентарь, тебе не дозволено учиться, тебя не для учёбы сюда послали, а чтобы работал для *казны*.

С разбойниками отношения, поначалу враждебные, особенно со мной, понемногу налаживались, мы держали их, как говорится, «на благородной дистанции», они нас называли *боярами*, каждого из нас, новоприбывших, наделяли кличками.

Жоховского называли «*святой*», и это потому, что, как я уже писал, на следующее утро после нашего прибытия в Омск Жоховский получил триста розог по Васькиному приказу – и после этого, с лицом, бледным, как алебастр, и с каплями крови на губах, ушёл

в каземат, не возмущаясь, никого не кляня, не стонал, не всхлипывал, а, как и подобает настоящему мученику, прилёг и молился. Бедный старик молился каждый день и подолгу, всегда тихий, спокойный, учтивый – он даже в этих оголтелых и диких людях вызывал сочувствие и уважение. Юзефа Богуславского называли «*больной*», так как он, на самом деле, часто недомогал, вид у него был болезненный. Меня окрестили «*храбрый*», потому что, хотя никому я не перебежал дорогу, и был со всеми исключительно уступчивым, – что-то такое внушал разбойникам, что они держались от меня подальше, но с оглядкой, опасаясь моих достаточно сильных кулаков.¹²³

«*Не тронь его*» – этот «завет» пробежал по всем казематам, а легенду о моей якобы геркулесовой силе разбойники придумали оттого, что один из солдат, что конвоировал нас из Усть-Каменогорска, рассказал, как я нёс на руках больного Юзика от этапа до этапа и, с малыми перерывами, выдержал семьсот верст.

Иногда разбойники расспрашивали о том, о сём.

А иногда между нами завязывались даже беседы.¹²⁴

ФЕДЬКА

Был на каторге мужичок лет двадцати. Высокий, стройный блондин с небесно-голубыми глазами, с постоянным выражением задумчивости. Был он приговорён на двадцать лет тяжёлых работ, обвинённый в убийстве. Этот «мужичок» почему-то вызывал во мне симпатию, признаюсь! Может быть, оттого, что я сознавал: через двадцать лет каторги выйдет он зрелым человеком, но степенным ли? Нет, выйдет, конечно, отъявленным бандитом и бродягой.

Любопытно, при каких обстоятельствах он совершил убийство, и что толкнуло его на преступление... Он сам рассказал мне свою историю. Какое-то время мы вместе ходили на работу на кирпичный завод. Однажды я прилёг в перерыв на траву, чтобы отдохнуть, солнце припекало, а с Иртыша веял приятный освежающий холодок. Федька присел около меня и шепнул:¹²⁵

– Барин!

– Что тебе, браток? – спросил я. – Только прошу, не называй меня «паном», а просто Шимон Себастьянович.

– Ну ладно, – сказал Федька. – Скажите мне, Шимон Себастьянович, неужели на всём белом свете так строго карают за убийство человека, как в Омске?

– В других странах карают куда строже, чем в России. Кое-где убийцу суд даже приговаривает к смерти. Отрубают ему голову или вздёргивают на виселицу выше, чем наш острог.

Федька двумя руками схватился за голову и простонал:

– Значит, у нас лучше! Лучше! Если человеку снимут голову или повесят – конец всему! А каторга когда-нибудь да закончится, пере-терпишь, а потом человек из острога опять выйдет на белый свет.

«Бедняга, – подумал я, – когда ты ещё оттерпишь свою каторгу, и что тебе тот “белый свет” даст?».

Мне очень хотелось узнать про Федькино прошлое: кого он убил, когда, как, где?

– Убил я *помещика, батюшка*, – так он сказал.

Из невразумительных слов парня я понял, что его отец, тоже Федька, служил лесником у богатого хозяина, владельца обширных земель в Тверской губернии. Хозяин продал лес и с полученными от покупателей деньгами возвращался домой. Старый Федька решил одним махом разбогатеть: убить хозяина, украсть деньги и сбежать куда подальше.

Итак, старик затаился возле лесной сторожки, где должен был проехать помещик, и вручил своему единственному шестнадцатилетнему сыну ружьё, наказав ему:¹²⁶

– Целься хорошо, сынок, и стреляй прямо в лоб, сперва хозяину, а потом вознице.

Федька-младший, получив родительский наказ, ничего не понял – зачем всё это понадобилось.

Показалась коляска... Он хорошо целился, выстрелил в лоб метко...

Испуганные выстрелом рысак понесли, мчались, как вихрь, ко двору кучер привёз помещика мёртвым и уже холодным. Федька-отец помчался в бор, нисколько не беспокоясь о своём единственном сыне. На рассвете началась облава. Лесничий знал все потайные закоулки бора и так надёжно спрятался, что его не нашли. Зато парня с ружьём схватили сразу. При допросе он тотчас же признался, и в своё оправдание твердил:¹²⁷

– Батюшка сказал палить «помещику в лоб», я и выстрелил, и убил. Так ведь батюшка так наказал!

В Твери Федька-сын отбыл два года ареста, и был осуждён на двадцать лет тяжёлых работ, а в Омск его прислали, чтобы «отслужить каторгу», так именно выражались каторжане.

Но каков отец, толкнувший своего единственного сына на преступление, – этот отец, отпустивший своё дитя на произвол судьбы, и толкнувший его под меч палача – вот кто был страшным созданием, не достойным зваться человеком!

Несколько дней я ходил под впечатлением разговора с Федькой, к которому почувствовал такое горячее расположение и сострадание, что даже вынужден был это скрывать.

Федька же поспешил поделиться с прочими полученными от меня новостями о смертной казни в других странах, и слух этот распространился по всей каторге. При встрече на площадке острога, в кухне, разбойники всякий раз заговаривали со мной и спрашивали, правда ли, что «кое-где», «в далёких странах», если «братку» случится кого-нибудь убить, то ему либо голову снесут, либо на высокой виселице повесят...¹²⁸

И мне приходилось многократно повторять, что так и есть «в далёких краях». Всякий раз, слушая меня, разбойники кивали головами:

– Ну, чёрт бы их побрал, в нашей России всё-таки лучше!

Во время моего длительного общения с преступниками я убедился, какую тревогу они испытывают при одной мысли о «смертной казни».

Преступник усмехается при слове «кнут», куда больше боится батога, а перед смертной казнью дрожит, как всякое ничтожное и бесчестное создание. Он знает, что если заплатит несколько рублей экзекутору¹²⁹, кнут вообще не страшен, ведь экзекутор свой брат, и сам не раз был бит. Батоги для каторжника страшнее, поскольку за экзекуцией наблюдает офицер. Впрочем, и офицеру можно «дать на лапу» несколько рублей, и тогда он, прохаживаясь между рядами солдат, станет приговаривать: «Легче, ребята, легче!».¹³⁰

Каждый преступник, однако, всё время не забывает о смерти. Я не раз в том убеждался, разговаривая с теми, что «ездили на

кобыле» (то есть были биты кнутом)¹³¹ и «орали на унтер-офицеров» (были биты батогами)¹³² – так выражаются каторжники. Когда я рассказывал им, где и как отправляется смертная казнь за убийство, они отвечали:

– Тем хуже нашему брату. На что мне деньги, что мне от них за выгода, если я кого-нибудь убью и меня тоже убьют, и даже отпеть не позволят¹³³. У нас всё-таки лучше, – считают они, – хотя потом тяжело и страшно терпеть, но, если перетерпишь каторгу, есть надежда, что выйдешь и когда-нибудь опять «погуляешь»!

РАСКОЛЬНИК



С большой симпатией и сочувствием мы относились к одному шестидесятилетнему раскольник, седому, как старый голубь.

Попал он на каторгу за сожжение православной церкви, которую поставили около раскольниковых скитов. Каторгу он переносил со спокойствием и смирением истинного мученика. Он никогда не жаловался, горячо молился и говорил, что судьба жены и детей его не заботит, ибо о них печётся «Наивысшая Сила», гораздо лучше и мудрее, чем он сам мог бы сделать.

Глядя на сухонькое и благообразное лицо этого раскольника, отмеченное страданиями, у нас не раз навёртывались слёзы на глаза, то есть у меня и у Юзика Богуславского. Очень мы умилялись этому старичку. О своих религиозных убеждениях он не говорил ни с кем, а начальству, что укукло его на каторгу, тоже не жаловался, но нет-нет, а скажет:¹³⁴

– Если надо встать на защиту *веры*, я всегда готов! И терпеть готов, но и церкви жечь – тоже! – добавлял шёпотом, и его голубые кроткие глаза пылали, а тщедушная фигурка, я сказал бы – удивительно вырастала и наливалась силой.

Кроме черкесов, которые со временем стали самыми близкими нашими товарищами и о которых я ещё расскажу, с остальными каторжанами, кроме Федьки и старенького раскольника, мы не поддерживали никаких отношений.¹³⁵

*... Учись скрывать и гнев, и радость.
В молчанье погрузись, будь мыслями недосыаем.
И тих будь словом, как туман.
Будь скромн статью, как ненужный брошенный возок...*

Таковыми мы, поляки, и были на каторге в омской крепости.

ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ

В январе 1850г. из Петербурга привезли двух русских заключённых.

Сергей, сын Фёдора Дурова, и Фёдор, сын Михаила Достоевского, оба чрезвычайно слабые, нервные, пропитанные йодом и ртутью, как аптечные склянки, осуждены были на четыре года тяжёлых работ, а потом на воинскую службу.

Сергей Фёдорович Дуров, сразу же после первого знакомства с нами, поведал, что его мать по прямой линии происходит от Богдана Хмельницкого, а дядя где-то был губернатором.

Всё это он повторял много раз, при каждом удобном случае, и даже без всякой надобности, как будто бы своё родословное древо хотел вбить в наши головы на веки вечные. Дуров довольно спокойно сживался с каторгой, притом, что претендовал на учёного и светского человека, и любил рассказывать разные случаи из своей жизни и его знакомых в Петербурге. Места, где происходили рассказанные Дуровым сцены, чаще всего были либо кофейни, либо трактиры.

Иногда, будучи в особом настроении, рассказывал разные случаи из жизни многих чиновников из высшего общества, из чего мы сделали вывод, что в свободное от службы время в какой-нибудь конторе Дуров любил собирать всякие городские сплетни и новости.

Он надоедал нам бесконечным повторением одних и тех же фактов, случаев или сцен, в которых он выступал как главное действующее лицо. Мы прозвали Дурова «политурованным», и вот по какой причине.¹³⁶

– Был я как-то на балу, – рассказывал он. – Как вы сами видите, я парень что надо, а притом мои шёлковые носки и мой

парижский фрак обращали на меня всеобщее внимание. Дамы просто-таки пожирали меня глазами, особенно одна: Анна Дмитриевна, тут уж прошу мне верить на слово, только на меня одного глядит, только со мной одним разговаривает и танцует. Можете верить мне, – и тут он сказал по-русски: «слово чести даю!» – заиграла музыка, как сейчас помню, паркет был скользкий, как замёрзшее озеро, я направляюсь к Анне Дмитриевне, вот! так! (Дуров делает несколько скользких шагов). К ней же направляется Андрей Николаевич. Я кланяюсь ей, вот! так! (Дуров делает перед нами пируэт). Кланяется и Андрей Николаевич, я протягиваю руку к Анне Дмитриевне, и он делает то же самое. Ага, думаю: не тебе, слабак, Андрей Николаевич, тянуть руку к генеральской дочке!

Нам рассказ надоел, и мы прервали его вопросом:

– И что же Вы тогда сделали?

– Съездил по морде Андрея Николаевича! – вскрикнул Дуров, оглядывая нас победоносным взглядом, как будто бы за такой поступок ожидал особой похвалы.

Понятно, что такой эпизод на балу никак не мог понравиться нам, полякам. С той поры мы называли Дурова «политурованным», что по-русски означало бы особо вежливым, но только поверхностно, поскольку его приятельский тон, его эlegantность были всего лишь внешним лоском, под которым скрывались татарская дикость и коварство.

Невзирая на то, что Дуров был чаще всего и нудным, и смешным, иногда можно было с ним поболтать не без приятности, – конечно, не очень вдаваясь в смысл разговора.¹³⁷

Что касается второго, Фёдора, сына Михаила Достоевского, то нам показалось сразу же, что этот известный сочинитель, автор «Бедных людей», этот светоч северной столицы, как бы не дорос до своей собственной славы. Притом, что талантом сочинительства действительно обладал.

Но речь идет не столь о повести Достоевского, сколь о его характере.

Как, каким образом этот человек заделался конспиратором... Каким образом принимал участие в демократическом движении, он, гордец из гордцев, притом гордящийся по той причине, что

принадлежит к привилегированной касте? Каким образом этот человек мог жаждать свободы людей, он, который признавал только одну касту и только за одной кастой, а именно аристократией, признавал право руководить народом во всём и всегда?¹³⁸

«Аристократизм», «дворянство», «я дворянин», «мы, дворяне» – повторял он постоянно, как скворец, который только одно это умеет и любит повторять.

Иногда, повернувшись к нам, полякам, повторял «мы, аристократия», но мы прерывали его постоянно:¹³⁹

– Извините, – говорил я, – но мне думается, что в этом остроге нет никакой аристократии и никакого дворянства, здесь только люди, лишённые всяких прав, только каторжники.

И он тотчас же просто вспенивался от злости.

– А Вы, наверное, и рады, что каторжник, – кричал он, злобно иронизируя.

– Да, я каторжник, я таков, я рад, что я есть то, что есть, – отвечал я ему спокойно.

Однако же, в самом деле, каким чудом Достоевский заделался конспиратором?... Наверное, он невольно поддался минутному увлечению, также, как невольно пришлось примириться со злосчастьем, которое случайно через конспирацию занесло его аж до омской каторги.

Достоевский ненавидел поляков, поскольку ему не нравились ни их внешность, ни их имена, увы! Ему претило польское происхождение, он говорил, что если бы узнал, что в его жилах течёт хотя бы одна капля польской крови, он тотчас бы велел её выпустить.

Досадно и больно было слышать, как этот писатель, этот радетель за свободу и прогресс, признавал, что лишь тогда почувствовал бы себя счастливым, если бы всё человечество оказалось бы под властью России.

Он никогда не говорил, что Украина, Волынь, Подолье, Литва, да и вся Польша в целом являются оккупированными странами, а лишь утверждал, что эти оккупированные земли всегда принадлежали России, что рука Божьей справедливости привела эти провинции и эти края под чужую власть оттого, что они не могли существовать самостоятельно и, не попав под власть России, ещё долго оставались бы в невежестве, нужде и дикости.

Прибалтийские провинции, по мнению Достоевского, это исконная Россия; Сибирь и Кавказ – то же самое.

Слушая эти доводы, мы убеждались, что Фёдор Михайлович Достоевский по некоторым вопросам просто страдает умственными маниями.

Все эти абсурды он часто, убеждённо и с наслаждением повторял. Он даже утверждал, что Константинополь давно должен был бы принадлежать России, точно также, как хотя бы европейская часть Турции, и тогда в скорости российская империя достигнет полного расцвета.

Как-то Достоевский зачитал нам своё произведение: оду на случай будущего вторжения победоносной российской армии в Константинополь. Ода была довольно красивая, но никто из нас не спешил её хвалить, а я спросил его:¹⁴⁰

– А на случай отступления Вы оду не написали?

Он просто зажгётся гневом. Он чуть не прыгал мне в глаза, называл неучем и дикарём, кричал так страшно, что по всему острогу среди преступников пошел слух:

– Политические дерутся!

Чтобы прервать эту гротесковую сцену, мы все вышли из каземата на площадь.

По мнению Достоевского, на свете существовал только один великий народ, предназначенный для общего владычества, а именно русский народ.

Французы, твердил он, ещё немножко похожи на людей, но англичане, немцы, испанцы – это просто карикатуры, а литература иных народов по сравнению с русской литературой – просто литературная пародия.

Помню, когда я рассказал ему, что у нас в 1844 году была объявлена подписка на перевод «Скитания вечного Жида», сперва он не хотел верить, а потом просто забросал меня всякими грубостями. Даже Дуров вмешался в этот разговор и заверил его в правдивости моих слов. И всё-таки он ещё не доверял, поскольку (он так выразился) в его крови заложено, чтобы каждый народ, уж не говоря о ненавистных поляках, не мог присвоить у других народов всё, что есть великого, красивого и благородного. Он, Достоевский, хотел бы всё уничтожить, затереть и сгладить, чтобы

парадоксально доказать величие россиян над прочими народами всего мира.

Притом, Достоевский был часто просто невыносим во время споров.

Самоуверенный и грубый, он принуждал нас к диспутам, после чего мы с ним не только разговаривать, но и знаться не хотели.

И тогда нужно было:¹⁴¹

... Скрывать и гнев, и радость.

И в мыслях быть недосыаем, как туман...

Возможно, такая неровность характера, такой вспыльчивый темперамент Достоевского были признаком болезни, поскольку, как мы уже говорили, казалось, что петербургские господа были чрезвычайно взвинчены и болезненны...

Каким же образом Фёдор Михайлович Достоевский, воспитанник кадетского корпуса, попал на каторгу в положении заключённого?

Судя по его рассказам, он неимоверно много читал. Безусловно, многие образы великой французской революции воспламенили его воображение, но это был соломенный огонь; несомненно, в поступках великих мыслителей содержались важнейшие идеи, которые оседали у него в мозгу и впечатляли сердце.

И он дал себя увлечь на путь, с которого впоследствии жаждал скорее вернуться.

Когда эти два человека, о которых я рассказал, прибыли в Омск и оказались под одной крышей со мной, мне казалось, что я увидел двух светлячков, которые заблестели на хмуром северном небе.

Но скоро наступило разочарование. Я уже сказал выше, что с Достоевским мы все отношения порвали.

После освобождения с каторги Достоевский, высланный на военную службу, оказался в батальоне, размещённом в Семипалатинске. Там, по поводу крымской войны, написал стихи, в которых превознес царя Николая, чуть ли не над всеми олимпийскими богами, и хотел, чтобы эти стихи были опубликованы в газетах¹⁴². Может быть, подбострастием рассчитывал добиться

сокращения срока наказания, а, может быть, даже за свой дифирамб – получить осязательную награду.

Справедливости ради, надо сказать, что все мы, поляки, пребывавшие на омской каторге с Достоевским, видели в нем человека со слабым и изменчивым характером. Что он ненавидел поляков, ещё можно было ему простить – мы много чего перенесли и чаще всего ненависть прощали, а благосклонность господина Федора Достоевского никак не силились снискать, поскольку «прирученный волк не может быть приятелем».¹⁴³

Когда слушалось и решалось то дело, в котором участвовал Достоевский, я уже был в заключении, по пути на каторгу, то есть за пределами цивилизованного мира, там, где меняются убеждения, взгляды, поведение, и где, в конце концов, невозможно из самих фактов извлечь ясные выводы.

Я не знаю, каковы были остальные участники «дела Достоевского». Но я точно знаю, что среди небольшого числа учтивых и образованных россиян, с которыми довелось встречаться в Сибири, это дело не вызывало ни симпатии, ни даже заинтересованности.¹⁴⁴

Совсем другое – декабристы...

.....

РАБОТЫ



Работы на омской каторге действительно были очень тяжёлыми.

Каждое утро на арестантской площади офицер инженерных войск делил арестантов на партии и под конвоем солдат с заряженным оружием дозорный каждой партии вёл их до места работы, намеченной инженерами.

Олеся Мирецкого и меня через три дня после прибытия в крепость приставили к кирпичному заводу, за пять верст от крепости.

Из каземат мы выходили натошак, с куском сухого хлеба в кармане.

Несколько недель потребовалось, чтобы очистить от снега сарай и печь. Ветер нанёс горы снега и мне приходилось несколько раз залезать в печь, чтобы выгрести снег, золу, и прочий мусор.

Когда, бывало, выйду из печи, с чёрным от сажи лицом, головой и руками, – то, хоть зеркала у меня не было, – я чувствовал, что похожу на чудовище, а не на человека. И, порой, громко смеялся сам над собой. Тем не менее, очистка печей была работой полегче, чем изготовление кирпичей, и назначение на очистку каждый арестант почитал за милость начальства.

Изготовление кирпичей было работой куда более тяжёлой.

Сперва приходилось накопать глину, тачками сvezти её в сарай, обработать или выгоптать ногами, закованными в кандалы! А ещё нужно было доставлять воду на взгорье, высотой не менее ста локтей, и из этой выгоптанной глины налепить по пятьсот кирпичей в день.

Это был «урок» на трёх человек. Честно говоря, хоть я и был молодым и сильным, эта работа сильно меня изнуряла. Я надеялся, что привыкну и что она закалит мои силы.¹⁴⁵

Но – не довелось!...

Было это, если не ошибаюсь, в 1850 году.

Мирецкого и меня назначили вывозить кирпичи, готовые и обожженные. Заметим, что на обед мы не возвращались в острог, потому что восемь верст в два конца заняли бы слишком много времени, и мы бы не выполнили нормы, так что вся наша еда за день – кусок сухого хлеба.

Однажды я пришёл на завод, как обычно, на рассвете, энергично взялся за работу, чтобы хотя бы половину нормы сделать до перерыва, а потом, когда сибирское солнце начнёт припекать, немного передохнуть.

Я вывез едва двести штук кирпичей, когда вдруг почувствовал себя совсем худо. Пытался расслабиться, попил холодной воды – ничего не помогло. Сел на тачку, груженную кирпичами – а что стало со мной потом, не помню.

Когда я вновь пришёл в сознание, меня трясла лихорадка, белая летняя куртка¹⁴⁶ оказалась измазанной кровью.

Встревоженный Олесь Мирецкий хлопотал около меня.¹⁴⁷

– Скажи, Олесь, – спросил я. – Откуда кровь на куртке? Не побывал ли здесь Васька и не избил ли меня?

– Ошибаешься. Васьки здесь не было и никто тебя не бил. Ты упал лбом и лицом вниз и сильно ушибся, – ответил Олесь, который упросил дозорного доставить меня в крепость.

В каземате я попил горячего чая, мне стало легче, тут я нашёл также заготовленные бумаги, которые нужно было заполнить, чтобы меня уложили в госпиталь.

Здесь я отоспался, отдохнул, доктора меня заботливо лечили от лихорадки, обходились со мной хорошо, и после нескольких дней отдыха, в котором я нуждался больше, чем в любом лекарстве, пришлось вернуться в каземат, к работе.

Дозорные постановили дать мне работу полегче.

Ходил я на тот же кирпичный завод вплоть до зимы, но не на производство и вывоз кирпичей, теперь я работал со строителями, подавал им известьку, кирпичи, воду.

Можно подумать, что эта работа была намного легче!!

На кирпичный завод все мы ходили работать до самой зимы.¹⁴⁸

Вообще, год 1850-й был для меня наиболее тяжёлым за все время каторги.

В самый мой день рождения, 17 июля, в Омск опять привели четырех поляков: Яна Мусьяловича, Людвиг Корчинского, Кароля Бэма и Юзефа Анчиковского.

Первые двое осуждены были на четыре года, а Анчиковский на два года каторги.

С ними Васька вёл себя более пристойно, совсем не так, как с нами. Может, мучили его угрызения совести за незаслуженные издевательства над Жоховским, может, причиной было то, что в тот день он просто был не так пьян, или, может быть, совсем не пил, но в тот день вещей у них не забрали, им было велено только спрятать их на складе до освобождения.

Надели на них униформу и обрили по правилам, но и за это Васька как бы извинился перед ними:¹⁴⁹

– Если бы мой родной отец попал на каторгу, я бы заплакал вместе с ним и сказал бы: «Что поделаешь, батюшка, голову обрить надо, и в колодки надо заковать, потому что – все *по указу*...».

Из четырёх новоприбывших только Бэм обладал профессией: он был художником по росписи интерьеров.

Его зачислили в ремесленники, остальных троих, также как и всех нас, поляков, отнесли к категории *чернорабочих*, то есть к тем, кто пригоден только для грубых и тяжёлых работ.

Владея каким-нибудь ремеслом, человек нигде не пропадёт, ему повезёт везде. Даже на каторге судьба ремесленника гораздо легче, чем у человека без профессии.

По моему разумению, каждый отец-поляк должен учить своих сыновей, наравне с прочими науками, также и ремёслам, к которым у них выявится способность.¹⁵⁰

*И пусть учатся скрывать горе и радость,
И быть неуловимыми, как туман, в мыслях своих...*

А из всех сокровищ знания пусть черпают полной пригоршней всё, что может быть полезно для Польши, но притом пусть научатся искусно владеть шилом, или молотом, или кистью, – таковы, по моему разумению, правила, которым должен следовать родитель-поляк, воспитывая своих сыновей.

Как только по Омску разошлась весть, что новый польский каторжник – художник, тотчас омская элита вознамерилась использовать умение Бэма, чтобы приукрасить свои жилища. Васька первым приставил Бэма к росписи комнат в своём доме.

Юзик Богуславский сопровождал его, как помощник. И это оказалось первой возможностью, которая помогла Ваське начать получше узнавать поляков и заставило его полностью сменить мнение о польских «бунтовщиках».¹⁵¹

А мы вели себя с ним всегда очень осторожно, чтобы ненароком не раздражить.

НАШ КАЗЕМАТ



В ноябре нам удалось убедить Ваську, чтобы он всех нас поместил в один каземат, и чтобы мы, поляки, выбрали себе самый спокойный антураж.

Мы попросились к черкесам и кабардинцам, которых было с десяток. Между ними и нами всегда чувствовалась приязнь!

Черкесы очень плохо, или вообще вовсе не говорят по-русски, но, даже не говоря с нами, они чувствовали, что такие же при-теснённые, как и мы. Они помогали нам на работе и обладали большой физической силой. Бывало, закончится назначенная им

норма на кирпичном заводе, а заканчивали они всегда раньше нас, – подходят и жёсткими предлагают нам отдохнуть, а сами, тоже измученные, кончают нашу норму.

Черкесов русские называли «дичью». За что – право, не возьму в толк?

Те, которых я знал, были чрезвычайно обходительны в обращении. Всегда готовые услужить, они безгранично нам импонировали. Казалось, если бы кто-то из нас, указав на кого-нибудь, сказал: «Убей!», черкес сделал бы это. Теперь никто из разбойников не смел поляков обидеть, ни словом, ни делом. Черкесы были наши приятели и наши защитники.

Привожу имена выбранных нами товарищей:¹⁵²

Али-Бек, Али Ферды Оглы.

Вели Исмахан Оглы.

Али Исмахан Оглы.

Мамед Хан, Мухамед Хан Оглы.

Нурра-Шахнурра Оглы.

Керпит Нияз Оглы.

Реджебай Канбалай, Хассан-Гусейн Оглы.

Мамед Мустафа Оглы.

Абдул-Арсанбек.

Мулла-Хадзи Мухамед Хассан Гусейн Оглы.

В наш каземат мы хотели ещё взять и Федьку, но бандиты не пожелали отпустить парня.

Когда после многих наших упрашиваний Васька соизволил разрешить нам соединиться с Кабардой, началось переселение при общем крике и возмущении разбойников. Теперь жизнь наша стала вдвое спокойнее, чем прежде.

В нашем каземате царили мир и тишина, каких нигде не было. Только что в пятницу вечером единственный сын Израиля в остроге, некий Исая Бумштейн прерывал тишину, громко выкрикивая:¹⁵³

– Бурых агу! Адыной аллахаймы... Баскулу...

Потешная личность был этот еврей! Маленький, худой, как скелет, на диво рябой лицом, всегда грязный, кроме субботы;

табак потреблял до тошноты. Осуждён был за убийство и, хотя получил срок на долгие годы каторги, не терял уверенности, что переживёт своё наказание, получит свободу, и станет прежде всего богатым господином и купцом, хотя был дважды клеймён на лбу и на щеках.

Такие клеймённые бывшие каторжники-евреи во множестве встречаются в Сибири – они богачи и пользуются уважением в известных кругах, готовых чтить золотого тельца в любой его ипостаси.

Бумштейн был весьма искусным ювелиром и, по еврейским понятиям, слыл очень учёным человеком.

Мы приняли Бумштейна в наше польско-кабардинское содружество, как личность необычную, а больше из жалости, чтобы защитить от притеснений и злобных выходов прочих каторжан. Он всем нам был за это благодарен, предупредителен и постоянно уверял в своей признательности. Таким было наше содружество из двенадцати человек, живущих в каземате за зарешеченным окном.

Около двери стояла огромная печь, по бокам её – лавки, рядом два деревянных ведра с водой и железный *ковш*.

Посреди каземата стояли двойные нары, так что лежащие на них спали, повернув головы друг к другу. На других нарах, вдоль стен, размещались мы, поляки.

Когда в сумерки тюрьма закрывалась, в нашем каземате начиналась тихая «семейственная» жизнь.

У нас был деревянный светильник собственного изготовления, были и собственные свечи, которые вместе с казёнными, «субботними», довольно прилично освещали наше помещение.

Во время долгих зимних вечеров каждый занимался какой-нибудь работой. Бумштейн копался с ювелиркой, выполняя множество городских заказов. Черкесы мастерили кушаки и всякие изящные мелочи, которые пользовались спросом в городе, мы приводили в порядок и латали свою одежду: кожаную, бельё, и во время работы вели приятные разговоры с черкесами, которые понемногу перенимали у нас русский язык.

Из наших приятелей, черкесов, хотя и клеймённых, ни один не был настоящим преступником.

Один из них убил офицера, который своими ухаживаниями досаждал его любимой девушке.

Кто бы его за это мог винить?...¹⁵⁴

А преступление других было лишь в том, что, когда их край завоевала и оккупировала Россия, они объединились с непокорёнными кавказскими горцами и совершали совместные набеги на русские крепости, посты и укрепления. Непокорённым горцам запрещалось носить оружие и пойманного с оружием в руках расстреливали на месте. А черкеса, который считался подданным России, клеймили и на долгие годы отправляли на каторгу, как настоящего разбойника.

Среди наших черкесских друзей был один сказитель, которого не побоюсь назвать феноменом.¹⁵⁵

Обычно, обращаясь к нам, он начинал рассказывать по-русски какую-нибудь народную легенду, но по ходу рассказа впадал как бы в транс, и продолжал говорить на языке своей отчизны с изумительным пафосом и живой жестикующей, так что рассказ звучал трагично.

С помощью жестов, за нехваткой русских слов, мы понимали, тем не менее, что сюжет таких легенд всегда бывала борьба юных горцев за освобождение отечества, и боролись они, пока война не кончалась либо победой, либо смертью юного героя.

Во время таких рассказов черкесы прекращали работу, глаза их, вперенные в рассказчика, загорались пламенным блеском, их тонкие ноздри трепетали, как у арабского скакуна, уста попеременно красила улыбка и кривила боль... Наверно, в своих аулах, на вольной степи, под тёмно-синим, сверкающим звёздами, небом, сотни раз звучали те же легенды, но с не меньшим волнением слушали их сейчас несчастные каторжники, тут, в Омске, в этом душном каземате, при свете сальных свечей.¹⁵⁶

ОТНОШЕНИЯ ПОЛЯКОВ С ЖИТЕЛЯМИ ОМСКА



нас, у поляков, были книги, которые приходилось прятать, как ценнейшее богатство.

В казематах проводили частые обыски.

Офицеры и солдаты с заряженным оружием, во главе с Васькой, среди ночи вваливались в тюрьму. Будили арестантов,

перетряхивали сундучки, одежду, топчаны, на которых они спали. Если находили карты, водку, табак – карали строго. А уж наличие газеты, книжки, да и вообще печатного слова Васька считал непростительным нарушением.

Поскольку нас считали людьми работающими и тихими, а за нашими черкесскими товарищами не числилось никаких погрешностей, равно как и за Исайей Бумштейном, а при ревизии у нас не находили ни карт, ни водки, ни табака, Васька во время своих ночных визитов приходил в ярость, переворачивал вверх дном наш каземат, – и всё-таки ничего не находил. Из соседних слышались проклятья и угрозы, так что обыск нас неизменно будил и перебивал нам сон до самого утра.

Книжками снабжала нас госпожа Анна Андреевна де Граве.

Знакомством с семейством де Граве мы были обязаны вдове Кароля Кжижановского, которая после смерти мужа осталась в Омске с весьма скудными финансовыми средствами, так что её две дочки воспитывались в «Доме Опеки», основанном госпожой де Граве.

Обычно, каторжников, возвращавшихся с работы, стражники-инвалиды обыскивали особенно тщательно. Наталья Карпович сумела как-то, наверняка не без взятки, склонить «кухаря», чтобы нам доставляли из города в корзинках с провизией книжки и газеты. Из кухни, с опаской, прижимая к груди под одеждой, мы приносили всё это в каземат, где до вечера прятали в печи и под нарами в разных уголках. Слава Богу! Васька эту контрабанду так никогда и не обнаружил, и ни один доносчик о ней никому не сообщил.

Я уже говорил, что три месяца работал в инженерных мастерских, где обучался слесарному ремеслу. Конечно, не ахти какой слесарь из меня получился после такого короткого обучения, и потому я несказанно удивился, когда однажды после обеда, дозорный сказал, что мне надлежит пойти чинить замки и засовы в комендантском доме, куда меня вызвали на работу.

Под конвоем из двух солдат с заряженным оружием в руках, меня повели сперва в мастерские за инструментом, причём я долго не мог сообразить, что мне именно потребуется.

С тревогой в душе переступил я порог комендантского дома, считая, не без основания, что я скорее испорчу, чем починю, замки и засовы, и за это – самое малое, что получу, так это *выговор*.

На крыльце с какой-то работой сидела госпожа де Граве.¹⁵⁷

– Пойдемте, слесарь, проходите! А вы останьтесь здесь, – сказала солдатам и провела меня за собой в глубь дома.

В комнату, куда меня провела госпожа де Граве, я вошёл несмело, и слегка встревоженный, причём застал там двух хорошеньких молоденьких барышень, а также Наталью Карпович.¹⁵⁸

– Приветствую Шимона Себастьяновича! – воскликнула она, подошла ко мне, взяла обе мои руки меж своих ладоней и сердечно пожалала. – Привет! Это Анна Андреевна и её сестрёнки придумали, как извлечь Вас, хотя бы на пару часов, из ада, где Вы пребываете. Вот: Анна Андреевна, а эти голубки – Вера и Надежда Максимилиановны, её сестрички и воспитанницы де Граве. Поздоровайтесь-ка с ними.

– Ей-богу, Наталья Петровна, – ответил я. – Не знаю, как же я, каторжник, могу здороваться с женой главного коменданта в Омске и как приветствовать её сестёр!

– Ах, полноте, Шимон Себастьянович, – прервала меня госпожа де Граве. – Разве можно Вас считать каторжником? Никто, слышите, никто в нашем доме таким Вас не считает. Но не будем тратить время попусту!

– Анна Андреевна! – вскрикнул я в смущении. – Я так недолго работал в слесарне, я ведь замков чинить не умею!

Дамы расхохотались.

– Так Вы же их и не будете чинить, – сказала госпожа де Граве. – Это наши голубки, Вера и Надежда, придумали такой фортель, чтобы Вас затащить к нам на разговоры и на закуску.

Закуска была отменной, что и говорить; Вера и Надежда разливали чай, потчевали меня усердно, приглашая угощаться, но, чтобы не вызвать подозрения у стражи, от времени до времени одна из сестёр стучала молотком по двери, в доказательство того, что починка замков продвигается со знанием дела и прилежностью.

При своих художественных работах Бэм брал в помощники Юзика и меня. Так мы набили себе руку в росписи апартаментов, особенно я.

В Щербезинской школе я делал успехи в рисовании, и без ложной скромности, теперь я мог выполнять задания, которые мне

поручал Бэм, причем он говорил, что «ученик превзошел учителя».¹⁵⁹

И в самом деле, Юзика и меня вызывали на художественные работы чуть не каждый день. Вера и Надежда признались, что нарочно портили росписи на стенах, и выкручивали шурупы из замков, чтобы был предлог вызывать нас почаще.

А если случалось, что в доме де Граве действительно требовалось что-либо мастерить, мы проводили там полдня, а иной раз и дольше.

Во время обеда барышни, – во избежание подозрения слуг, – подавали нам обед в другой комнате за отдельным столом, причём разные блюда приносили нам сами собственноручно.

При первых таких обедах смеху и веселью не было конца, когда мы с Юзиком признались, что разучились есть мясо при помощи вилки и ножа, потому что в тюрьме ножи запрещены, и арестанты понемногу отвыкают от привычек цивилизованных людей.

Знал ли сам комендант де Граве, что его жена привечает и угощает польских каторжан?... *Де факто*, он, конечно, всё понимал, но *де юре* должен был делать вид, что ничего о том не знает, и я уверен, что супруги де Граве никогда этот вопрос не обсуждали между собой.

Во время нашего пребывания в их доме комендант всегда отсутствовал, либо охотился далеко за городом, либо принимал посетителей в служебном кабинете, словом: мы не видели его даже издали. Мы соблюдали крайнюю осторожность – в этом мы немало поднаторели...

Вызывали нас для росписи комнат в дома богатых купцов, которые, кроме положенной оплаты, гостеприимно нас угощали.

Невозможно было отговориться от таких приглашений, настолько искренних и сердечных.

Сажали нас за общий стол в семейном кругу хозяев, обходились с нами, как со свободными жителями города и как с приятными гостями. Расспрашивали нас про Польшу, про наши привычки, о нашей религии, обо всём общественном устройстве и о наших обычаях.

А для нас было просто счастьем вслух говорить о нашей Отчизне, такой дорогой и такой далёкой, – причем мы могли

говорить совершенно свободно, поскольку наши «амфитрионы» полностью «брали нас на свою ответственность», то есть ручались, что мы не сбежим, так что конвой сопровождал нас, только пока приводил из крепости или отводил обратно.

Конечно, сперва трудно было приноровиться к этим подозрительным и хитрющим торговцам-миллионерам; конечно, их жёны, дочери и сёстры казались нам смешными с их претензиями на красоту, элегантность и изысканность, с их кокетливыми ужимками; но в обиходе с нами они были искренне добры и радушны – это бесспорно.

Общение с ними разнообразило и смягчало наше пребывание на каторге, добавляло нам спокойствия и укрепляло уверенность в себе, усердие, аккуратность в работе, а особенно веру в самих себя – ведь мы не были людьми высоко образованными, но среди этих жителей Омска, таких отдалённых от отблесков цивилизации, мы слыли мудрецами.

Часто они спрашивали у нас совета в разных этических вопросах, а иногда даже просили, чтобы мы рассудили их семейные раздоры. Таким образом, среди населения, сперва столь враждебно к нам настроенного, мы постепенно снискали совсем другое мнение о себе, как о людях достойных и учтивых, мнение, надо признать, – вполне заслуженное. «Быть безупречным и избегать суетности» – это каждый из нас во время пребывания на омской каторге пытался считать своим девизом. И это было наше единственное утешение в отвратительном окружении, тесноте, среди бесчинств, от которых почти невозможно было отгородиться.

Мы, политические каторжане, в Омске, Тобольске, Нерчинске, Усолье и иных рудниках и крепостях Сибири, мы, поляки, смело можем утверждать, что в этих полярных краях были первыми сеятелями цивилизации и этических понятий. Мы нигде и никому не выказывали ненависти и чувства мести, а лишь пытались выказать милость и прощение. Мы братски пожимали руки, протянутые к нам с приязнью, но только честные и ничем не запятнанные руки, а к нашей чистой и наичестнейшей Отчизне мы сумели вызвать восхищение и горячее сочувствие.

В таких тонах написана большая статья в иркутской газете «Сибирь», где подчеркивается, что после амнистии, по случаю

коронации Александра III, мы, осужденные в 1863 и 1864 годах, массово вернулись к себе на Родину.¹⁶⁰

Однажды в острог прибыл приказ, чтобы художники – так нас теперь называли – немедленно прибыли со всеми своими принадлежностями во «дворец» генерал-губернатора.

Бэм и Анчиковский уже были заняты на работе в городе, а потому отрядили Юзика Богуславского и меня.

Ординарец постоянно торопил нас: «*Скорее, скорее!*» и, наконец, привёл в большой пустой зал, несколько дней тому назад изрядно приукрашенный бэмовой и моей кистью. Вооружённый конвой стал по обе стороны входной двери, мы жались к стенам, раздумывая, что здесь надо ещё добавить или исправить... Перед нами открылась длинная анфилада роскошно убранных комнат.

Мы входим в неё с волнением и любопытством, ожидая чего-то невиданного, и переглядываемся: зачем нас сюда вызвали?...

Наконец, в самом конце анфилады вырисовывается женская фигура... Когда она к нам приблизилась, мы узнали генеральшу Шрамм, которую встречали иногда, когда она ездила в коляске по берегу Иртыша.

Это была уже пожилая женщина, но ещё красивая и величественная. На седоватых, но искусно уложенных волосах высился кокошник, густо расшитый драгоценными камнями, платье из шелестящего алого шёлка, на плечах такого же цвета длинная бархатная накидка, обшитая соболями, со шлейфом, не меньше двух локтей, что волочился по полу.

Такое богатое и колоритное убранство придавало женщине царственный вид.

Не будучи знатоком дамских уборов, я не видел, однако, женщин, каждодневно одетых так, как генеральша у себя дома, в полдень, и это показалось мне странным.¹⁶¹

– Вот ненормальная! – сказал себе я.

Между тем, она подошла к нам, не спеша, словно, чтобы дать нам возможность её разглядеть.

Правила велели каторжникам в присутствии особ высокого ранга стоять на вытяжку, «*руки по швам*», пока особа не обратится к тебе.

В эту минуту у меня блеснула крамольная мысль.¹⁶²

– Юзик! – тихонько шепнул я, не поворачиваясь к нему. – Юзик! Раз эта баба так триумфально вплыла в избу, давай, вместо «руки по швам» поклонимся ей «по-европейски».

– Велит нас выгнать, – тоже шёпотом ответил Юзик, – и раз навсегда выбей у себя из головы «европейские» привычки.

– Юзик! Ей-богу, я не выдержу. Поклонюсь, как человек цивилизованный.

– Я, конечно, – с тобой! Только мне жаль своей и твоей шкуры, которая у тебя, наверное, свербит.

Как только Шраммиха вошла, мы отвесили ей глубокий элегантный поклон, насколько, конечно, позволяли наши спутанные кандалами ноги...

Поместье моего отца было в Любельской земле в очень лесистой местности. Мальчишкой я любил забираться в бор и дружил с лесником.

Лесник, старый Вавжон, был неисчерпаем по части рассказов о своих приключениях и встречах с разной лесной чудью – так он называл всякую дичь и волков.¹⁶³

– Не раз, особенно летней порой, – рассказывал Вавжон, – волчок идёт себе, как бы задумчивый, и вдруг натывается на человека, который тоже идёт, думая свою думку, притом нет у него ружья при себе. И что остается? Надо хлопнуть громко в ладони, волчок и остановится, а потом повернётся, подожмёт хвост и убежит, как будто целая свора гончих несётся следом, потому что хлопок ладони был для него неожиданный и напугал.

Точно так этот наш «европейский поклон» был для госпожи Шрамм, как хлопок в ладони.

Она остановилась, удивленно на нас глянула, явно смущённая нашей смелостью, но не растерялась...

Через мгновение повелительным тоном заявила, что потолок в этой комнате ей не нравится, и она желает, чтобы его переписали.

Я ответил, что, если бы у нас были бумага и карандаши, мы могли бы набросать несколько эскизов и нарисовать предполагаемый декор.

Г-жа Шрам приняла сказанное к сведению и молча удалилась.

Тут же внесли стол, кресла, бумагу и карандаши, и какая-то женщина, посланница генеральши, сообщила приказ: немедленно

приступить к работе, через час «Превосходительство» придёт обозреть нашу работу.

Через час! Чтоб набросать и составить композицию из узоров в совершенно пустой комнате, в которой абсолютно ничего нет, чтобы подсказать какую-нибудь идею! Вот это была задача!...

Несмотря ни на что, мы принялись за работу, Юзик понемногу подкидывал мне концепции, а я был исполнителем его и своих замыслов. Пара готовых эскизов уже ждала, когда «превосходительство» появилось в сопровождении личной свиты...

Свита состояла из восьми собак, начиная от лохматого великана, неизвестной породы, до болоночки, которую «превосходительство» прижимало к животу.

Маленькие собачки заливисто лаяли, царапали нам штаны, великан грозно тряс лохмами и скалил зубы, что сильно будоражило болезненного Юзика, а Шраммиха явно получала удовольствие – сжимала толстые красные губы, чтобы не рассмеяться вслух.

«Свита», наконец, умолкла, наши композиции *Превосходительство* одобрило, и мы взялись за роспись.¹⁶⁴

– Собачья атака – это ответ нам за наш «европейский поклон», – смеялся Юзик по дороге обратно на каторгу.

– Ничего, мы атаку выдержали с честью.

– Не хотел бы я повторить этот «подвиг», вот бы розги заработали, если бы Превосходительство было в худшем настроении, а может, нас и простили бы, потому что Шраммиха хочет, чтобы фриззы на потолках были готовы к Рождеству.

ДРАКА ЧЕРКЕСОВ С РАЗБОЙНИКАМИ



Бандиты были сильно уязвлены тем, что с тех пор, как мы жили вместе с черкесами, наш каземат выделялся из всех порядком, чистой, стал примером для всей тюрьмы. Особенно они досадовали оттого, что тюремное начальство похваливало нас всегда и повсюду. Они решили нам отомстить, причём главным зачинщиком был некий Павел Петрович Аристов, дворянин, высланный сюда из Петербурга, – о нём я расскажу особо. Близились Рождество по новому календарю. Мы с Юзиком

переписали полностью верхние фриззы в покоях князя Г., который выехал в Петербург. Бэм и Анчиковский «художествовали» у Васьки, который был очень доволен их работой. Бэм напомнил Ваське о предстоящем Рождестве и сказал, что нам не хотелось бы работать в праздничные дни.

Плац-майор распорядился, чтобы всех поляков освободили от работ в эти дни, к тому же велел купить полпуда рыбы, мяса, масла, каши. Другие продукты мы закупили из наших скудных средств, чтобы сочельник отметить по польским обычаям.

Бэм с Юзиком и Васькиным поваром в плац-майорской кухне все приготовили, и вечером, с помощью Васькиных слуг, принесли в острог. А мы тем временем приспособили стол из досок, выдернутых из топчанов, и уложили их на трёх козлах, которые смастерили заранее. Блюдо, тарелки, ложки, все предметы сервировки были взяты из Васькиного дома без его ведома.

Бандиты давно решили, что свою месть они осуществят именно в сочельник.

Аристов подсказал им самый подходящий момент.

Так решено было, что когда мы сядем за стол, они подошлют к нам несколько заводил, которые опрокинут столы, переколотят Васькину посуду, скинут на пол и перетопчут всю нашу еду, а потом вызовут нас на *кулачный бой*.

План был составлен продуманно. Вскоре на небе зажглись первые звезды, и мы, позвав к себе всех тюремных католиков, сели за стол и принялись за вечерю.

Вдруг в дверях показался Кузьма Громов. Трудно сказать, был ли он пьян, или разыгрывал пьяного, но он зашёл в каземат, приблизился к старому черкесу Али-Беку, Али Ферды Оглы, что-то сказал ему и сильно ударил.

Али-Бек, хотя седой и старый, одарен был необыкновенной силой, и, не мешкая, охватил Громова железными объятьями, стукнул его об дверь, которая отворилась и... Кузьма мигом вылетел в сени, где растянулся на полу во весь рост.

Как будто по данному сигналу к нам ворвались те, что стояли за дверьми.

С нечеловеческой злобой втиснулась к нам чуть не вся тюрьма. Черкесы, ни на мгновение не теряя самообладания, оставили

в каземате только двух бандитов. Двое черкесов стали в дверях, сдерживая остальных...

Двери и стены трещали, но, помимо тех четырёх или пяти, которые к нам проникли, никто больше в каземат не прошёл.

Тут набежали вооружённые солдаты во главе с офицером – но и они не смогли разогнать бандитов и заняли наблюдательную позицию на крыльце.

А что в это время происходило у нас в каземате, даже описать невозможно!

Черкесы поскидали с себя рубахи и полуголые, прекрасно сложенные, как гладиаторы на римской арене, стали в грозную позицию, готовые к драке... Их крепкие кулаки, как молоты, вздымались вверх и со всей силы падали на головы бандитов, причём они перекидывали их друг к другу из рук в руки, как мячи...

Крик, гам, ругательства, – трудно себе представить, что это было!

Вся каторга ревела от унижения... Собирала последние силы... Но тщётны были все усилия: два черкеса подпирали двери, как две гранитные кариатиды, и стояли невозмутимо и неподвижно...

А что происходило в это время с евреем?

Ага! Еврей – неглупый человек. Он знает, что в таком столпотворении, в такой заварухе, на его долю достанется немало пинков и тычков...

Исай Бумштейн с самого начала стычки, с зажжённой свечой в руке, забрался на печь, и, высовывая оттуда голову и руку со свечой, приговаривал: «Ой, ой!», дивясь ражу черкесов, удары которых градом сыпались на таких ещё минуту назад грозных, а теперь валявшихся на полу, бандитов-заводил.

Усмирённых налетчиков, одного за другим, выкидывали за дверь, бой кончился. В каземате воцарилась тишина, как будто ничто и не произошло.

Побеждённые бандиты кинулись бежать, бросая поврежденных на месте боя, и разбрелись по своим логовам. Офицер велел страже запереть все казематы, кроме нашего.

Теперь мы спокойно сели за остывший ужин, и тут наш еврей слезает с печи, подходит к нам и самодовольно говорит:¹⁶⁵

– А что, каковы наши-то?

И слова эти он сказал так торжественно, как будто сам участвовал в драке.

БОЛЕЗНЬ

Зимой для очистки улиц и государственных зданий использовали каторжных. Снег мы сгребали лопатами, скидывали на повозки, которые вывозили его на берег Иртыша. Работа была не тяжёлой, но неприятной из-за собиравшихся обычно возле нас ротозеев.

В течение многих лет жители Омска каждую зиму любовались на это зрелище. И всё же оно им не надоедало. Полроты вооружённых солдат окружало арестантов, дозорные указывали нам улицы, которые следовало очистить.

В российской глубинке и в Сибири к бездомным и каторжникам жители питают большое сочувствие, и одаривают их, что те принимают охотно.

– *Несчастный!* – так российский люд зовёт каторжан и, всунув им в руки пшённую булку или копейку, а то и полкопейки, говорит:¹⁶⁶

– Примите моё подаяние и да хранит вас Христос, несчастные вы!

Мне такое напутствие показалось истинно православным...

Но, может быть, лучше было бы, если бы общественный строй стал иным и на бродягу смотрели бы, как на равного человека, да и вообще жалели бы всякого, достигнутого злой долей.

Тем не менее, когда ко мне кто-то подошёл с подаянием, я крикнул ещё издалека:¹⁶⁷

– Спасибо, – никакой я не *«несчастный»*, а *политический преступник*.

Я повторял это неоднократно все семь лет и мне кажется, что, в конце концов, жители Омска научились различать бродяг и разбойников от арестантов совсем другого рода.

Сильным раздражителем для нас были постоянные окрики стражи: *«Скорее! Скорее!»*, а что эти же понукания повторяли ротозои, что собирались около нас, было уж вовсе невыносимо.

По-моему, эти окрики подобны ударам кнута, которым работник подгоняет ленивый скот во время работы, и я старался не обращать на них внимания.

Иногда, особенно после бессонной ночи, когда воспалённое воображение уносило меня в родные края, в отцовский дом, среди родичей, а взбудораженное воспоминаниями сердце стискивало ещё сильнее, чем обычно, – эти бессмысленные окрики стражников всё-таки приводили меня в ярость!

Обычно я работал с чрезмерной силой, с горячечной энергией, что и довело меня однажды до болезни. Я возвращался из города вспотевший, разгорячённый чрезмерными усилиями при погрузке снега в повозки, и скинул с себя кожух; вскоре меня охватила дрожь, я почувствовал горячку, головокружение и, направляясь по площади к кухне, упал.

И тут Васька, в порядочном подпитье, отправился как раз на свой обычный обход и, дойдя до крепости, увидев на снегу арестанта, закричал:¹⁶⁸

– Что это? Он что, пьяный?... Вот это здорово! Пьяный, я кому говорю? Пьяному арестанту всыпьте розог! Розги! Розги, розоги ему! – рычит плац-майор и тычет мне сапогом в голову.

А у меня нет сил ни подняться, ни даже двинуться.

Но тут, зная Ваську и его бешенный нрав, из каземат повыходили на площадь арестанты.

Вышел также один из черкесов – Нурра Шахмурла Оглы.

Он узнал меня.

Увидел, что Васька сейчас меня стукнет, наклонился, обнял, поднял и понес с криком: «*Аллах! Аллах!*».

Услышав крик, из нашего каземата выбежали черкесы и поляки, и даже трусливый Исай Бумштейн, то есть выбежали все, и кинулись ко мне.

Юзик рыдал как дитя, и целовал мне руки и ноги. Черкесы непрестанно твердили: «*Аллах! Аллах!*».

Вызванные госпитальные служители унесли меня в госпиталь.

Оказалось, у меня опасное воспаление лёгких, при горячке и истощении.

Я не помню, конечно, ни того, как проходила моя болезнь, вообще ничего не помню, осталось у меня лишь ощущение, что за мною очень ласково ухаживали.

Молодой, учтивый врач, заместитель госпитального лекаря, который был тогда в отпуске, – часто проводывал меня, сам поил

лекарствами, сам менял компрессы, у меня даже осталось в памяти, что он вроде бы сидел на краю моей постели и клал свою холодную ладонь мне на лоб, а когда я начал выздоравливать, из дому приносил мне отличное вино и питательную еду.

Я чувствовал, что выздоравливаю, что с каждым днём силы у меня прибавляются, и он, под разными предлогами удалив прочих персонал, сказал мне почти шёпотом:¹⁶⁹

– Вам, сударь мой, нужно ещё остаться в госпитале, нечего Вам спешить в острог!

Мне и самому не очень-то хотелось в каземат, тем более, что Юзик и другие братья мои, по особому разрешению навещали меня и передавали привет от черкесов.

Я роскошествовал на удобной постели, наслаждался свежим воздухом, не отравленным оскорблениями и угрозами; меня охватила удивительная благодать, какое-то предчувствие будущей свободы.

Я роскошествовал уже потому, что меня не будил барабан, я не слышал выкриков дозорных и ругательств каторжников, словом, время выздоровления в госпитале было для меня единственным настоящим отдыхом за семь лет омской каторги.

Единственно только бряцание кандалов, сопровождающее каждое моё движение, не позволяло забыть, что я в арестантском госпитале. Цепи не положено было снимать даже с самых тяжёлых больных. Расковывают кандалы только перед смертью или тем, у кого вышел срок наказания и кого выпускают на свободу.

Очень сожалеею, что запомнил только имя того молодого доктора, который так заботливо меня лечил и пестовал. А звали его Борис.

От Анны де Граве я узнал позднее, что отец Бориса некогда жил в Петербурге и входил в список декабристов.

Очевидно, этим объясняется симпатия молодого человека к политическому преступнику.¹⁷⁰

Пока я лежал в госпитале, совершенно беспомощный, профессор Жоховский в том же госпитале вручил Господу Богу свою чистую непорочную душу (1851 год).

И вновь в этом далёком и студёном краю ещё одно пылкое польское сердце станет покоиться в ожидании Воскрешения.¹⁷¹

ОТСТАВКА

Плац-майор Василий Григорьевич Кривцов под судом! Эта весть молниеносно облетела весь город и дошла до нашей тюрьмы.

Плац-майору Василию Григорьевичу Кривцову была предложена отставка! Эта весть пришла к нам через несколько дней после первой.

Нет нужды повторять, с каким восторгом приняли эту новость арестанты.

Мы ходили просто-таки в упоении от радости:¹⁷²

– Ваську отправили в отставку!

За что? Нам не очень и хотелось вникать в это дело.

А было так, что он вроде бы повздорил с каким-то своим сослуживцем, так возникло следствие, и обнаружились какие-то давние грешки, какие-то взятки, мошенничества, и, как гром с ясного неба, кара настигла Ваську, когда в расписанных нашими кистями покоях снились ему розовые узы Гименея.

Хотя он утратил работу, чин и привычный быт, Васька всё-таки остался в Омске. Бродил по городу и за городом, чаще всего пьяный, в «цивильной» одежде.

И такой стал кроткий, что он, этот сатрап с неограниченной властью над нами – он, Васька, встречая нас, когда мы возвращались с работы, не раз останавливался и по-военному приветствовал нас и говорил:¹⁷³

– *Здравствуйте!*

Теперь он уже не вызывал страха, а лишь удивление, таким он выглядел смиренным, этот пьяница в неряшливой одежде...

ПРАЗДНИКИ НА КАТОРГЕ

Весна и лето на каторге были несравненно тяжелее, чем зима. Обычно мы работали за городом на кирпичном заводе при возведении новых построек и обновлении ветхих казённых строений. Мы также копали рвы, выравнивали дороги, рисовали дорожные знаки.

Эти работы были тем неприятнее, что проходили за городом и ходьба на обед в крепость за пять-шесть вёрст отнимала так много времени, что мы за целый день питались в полдень принесённым сухим хлебом, который запивали водой из Иртыша.¹⁷⁴

Но дело, конечно, не в еде.

Во время отдыха в полдень я ложился обычно на траву, передо мной – пустыня, сливающаяся с далёким горизонтом. И мысль моя плавно забегала за этот горизонт и стремилась к Отчизне, к родным и родичам...

На ясной погожей небесной синеве светило солнце, то же самое солнце, что слало свои лучи моей родной стране... И, порой, грусть овладевала мной, гнездилась у самого сердца, и обжигала его, обжигала!...

После возвращения с работы, в летние вечера, можно было проводить свободное время на площади крепости, овеваемой прохладным воздухом, но летние ночи бывали невыносимы!

Когда в десятом часу каземат запирали, несмотря на открытые окна, воздуха не хватало. Трудно было заснуть, а когда, наконец, горячечный сон овладевал нами, в пятом часу утра гудел барабан, уже надо было вставать и быстро-быстро напяливать на себя униформу и спешить на работу.

Одежду арестантам выдавали раз в год, а кожухи раз в три года. Изношенную одежду бандюги продавали, но – не мы, поляки!

В Омске, как и везде, по улицам мыкались, также, как и за городом, множество нищих, и наиболее пристойным из них мы раздавали нашу изношенную «казенную» одежду, и среди нищих мы слыли «боярами со щедрой рукой».

В воскресенье и по праздникам арестантам можно было снимать униформу и ходить в собственной одежде.

Между разбойниками было несколько щёголей. На заработанные деньги, или добытые совсем иными путями, правом кулака, они покупали себе красные рубахи и кушаки с латунными накладками.

Когда такие франты, бряцая кандалами, разряженные, как павлины, проходили по площади – вот это был видок!

В течение семи лет я ни разу не снимал своей казённой одежды. Одежда свободного человека и кандалы никак не вязались друг с другом.

На праздники Рождества и Пасхи каторжане получали лучшее питание. К тому же из города присылали угощения – яйца, мясные блюда.

При дележке этой снеди часто возникали споры, иногда и драки, и сыпались взаимные оскорбления.¹⁷⁵

– Ах, ты, собачье мясо! Не получишь это лакомство! Ах, ты, дурак, это яйцо слишком красивое для такого недотёпы!

Надо было затыкать себе уши и закрываться в самых глухих углах тюрьмы, чтобы всего этого не слышать.

Каторжникам разрешено было праздновать, согласно их вере. Магометане и Бумштейн соблюдали свои посты и праздники с завидной набожностью.

И нам, полякам, но, однако, не сразу, позволено было соблюдать праздники по новому стилю.

Госпожи Кжижановская и де Граве присылали нам в наши праздники мясные блюда и всякую стряпню в красивой корзиночке, и какой-нибудь цветочек или цветущую веточку, спрятанные среди продуктов, что означало: «Желаем вам счастливых праздников!».¹⁷⁶

ОСИП ГАВРИЛОВ. АРИСТОВ

Во время моей бытности в омской тюрьме там находилось примерно двести арестантов, осуждённых на длительные и краткие сроки каторги. После окончания срока их высылали в разные сибирские области на *поселение*. Нередко такой поселенец возвращался на каторгу как рецидивист. Рецидивисты являли собой контингент, который назывался «*всегдашние*». Различные криминальные преступления отмечались клеймением на лице. Государственных преступников не клеймили. Обычное нарушение закона и политические дела должны бы рассматриваться примерно в одной категории. Но здесь всё было по другому – государственных преступников, людей высшего круга общества и, по большей части, более высокого морального и умственного уровня, равно как и дворянство, обычно подвергали более строгому режиму, чем остальных.

Нас, поляков, горше всех мытарил Васька, нам давали самые тяжёлые работы, хотя, как уже сказано, со временем мы удостоились уважения и бандитов, и начальства, притом без всяких наших

усилий, – уважение возникло само собой. Даже конвойные солдаты предоставляли нам, полякам, больше свободы во время работ за городом.

Нам позволяли отдаляться от всей толпы, прохаживаться по берегу Иртыша, ходить в лес.¹⁷⁷

Это было для нас особой милостью – мы могли вдыхать хоть ненадолго чистый, ароматный, напоенный хвоей воздух.

Прозвища почти всех каторжан были нам известны.

Но «*варнак*»¹⁷⁸ в трезвом виде чаще всего был осторожен, подозрителен; только пьяный любил откровенничать. Однако, слыша разговоры варнаков между собой во время работы, можно было понять, за что тот или иной был осужден.

Убийство ради грабежа, изготовление фальшивых монет и прочие мошенничества, в основном, приводили варнаков на каторгу.

Их преступления для интеллигентных людей были неинтересны и не казались чрезвычайными, они не вызывали ни возмущения, ни сочувствия.

Об одном из преступников хотелось бы рассказать, в связи с мотивами, толкнувшими его на убийство.¹⁷⁹

Был это сибирский парень из ближних окрестностей Омска, этакий великан с лицом, хоть и клеймённым, но приятным, интеллигентным, а, порою, хмурым и как бы окаменевшим от великой тоски. Помимо лишь самых необходимых обиходных слов, – не разговаривал нигде и ни с кем, назначенную работу выполнял усердно и аккуратно, не играл в карты, не напивался, спал немного, ел мало, в споры не ввязывался, сосредоточенно молился, в воскресенье и праздники читал Библию, а летом кружил на площади вокруг тюрьмы, погруженный в свои думы, не выдавая даже громким вздохом грусть, которая гнездилась в его душе.

Звали его Осип Гаврилов. О своих печальных обстоятельствах рассказал мне сам.

Молодой и богатый Осип полюбил привлекательную девицу, которая навестила всю его родню даже в далёких окрестностях. Осип на ней женился, хотя родственники и соседи отсоветовали брать в жёны гулёну и кокетку. Но он, ослепленный пылкой любовью, добрым советам не внимал. Год прожили они счастливо, и у них родилась дочка.

На кокетство своей жены он глядел снисходительно. Однако, вернувшись однажды из леса, застал жену «на месте преступления» с собственным батраком. Охваченный яростью, сам не понимая, что делает, схватил топор. Размахнулся, и – на полу лежал труп батрака. Обнимающую его колена истинную виновницу убийства – свою жену – оттолкнул, и сам пошёл сдаваться в волю – остальное известно.

Человек на каторге считается вообще по цивилильным законам как бы мертвым. Все связи, которые сдерживали его, когда он был на свободе, порушились.

Для мира Осип был мёртв и стал заживо погребённым в крепости.

Как-то летней порой, в воскресенье, усатый дежурный унтер-офицер, стоявший у ворот, вызвал Осипа Гаврилова и сказал, что какая-то женщина с маленькой девочкой хочет его видеть, и добавил, – «красивая».¹⁸⁰

Осип колебался, обтирал вспотевший лоб, как бы споря с самим собой: идти или не идти?...

Потом всё-таки решился и пошёл за унтером в избу при кордегардии для тех, кто посещал каторжан. Пошёл, и вскоре вернулся. Вернулся взбудораженный, и в самом укромном уголке прижался лицом к брёвнам частокола, и заплакал. Плакал тихо, только тихие рыдания так сотрясали его мощную фигуру, что я невольно почувствовал жалость к нему, подошёл и положил руку на его плечо.¹⁸¹

– Иосиф Гаврилов! Да утешит Вас Господь Бог!

Он схватил мои руки и стиснул их до боли. Я не спросил его о причине его слёз – через несколько дней он сам мне всё рассказал.

А случилось то, что красавица-жена Гаврилова приехала его проведать, поскольку считала себя совершенно свободной от прежнего брака, и вознамерилась выйти замуж за богатого соседа, привезла маленькую дочку, чтобы показать отцу. Дочка была похожа на свою родительницу поразительно. Гаврилов слушал все эти новости и, когда жена совала ему деньги в руку, он оттолкнул её, ударил, плюнул в лицо и убежал.

– Я убежал, – сказал он, – потому что готов был стукнуть поганку кулаком промеж глаз, и тогда был бы ещё один труп! Даже свою девочку я не посмел взять на руки и поцеловать, так мне

было противно! – с тех пор к Осипу Гаврилову я относился сочувственно, с приязнью, которую он, несомненно, заслуживал. В нашем каземате, когда мы разговаривали, он часто спрашивал меня, бывают ли польки тоже плохими жёнами и гулёнами?

Я ответил, что, обычно, польки – верные жены, а невесты нередко годами ожидают возвращения своих возлюбленных, – однако, и в Польше, как и везде в мире, встречаются женщины злые и легкомысленные.

Гаврилов был грамотный, иной раз у меня в каземате читал выдержки из книг, которые его интересовали. Для бандитов он всегда оставался неприступным. Бывало, к нему обращается с какой-нибудь шуткой варнак. Он только скалил зубы, как волк, и сжимал свои мощные кулаки, так что у шутника пропадала охота шутить. А в остальном, Гаврилов был работающий, молчаливый и степенный.

Во время моего пребывания в омской тюрьме, среди бандитов высокий процент был грамотным. Я не смог, конечно, составить статистику, но смело могу утверждать, что неграмотных было меньше половины.

Это обстоятельство подало повод тюремному начальству отправить в Петербург рапорт, что, якобы, попутно с грамотностью среди арестантов растёт также и процент преступности...¹⁸²

Вспоминается мне ещё и некий аферист – шпик большого размаха – Аристов.

Аристов был девятнадцатилетним юношей с бледным, тонким лицом, отмеченным лихорадочностью, совершенно лысый, в казённой одежде, заношенной донельзя. Из Петербурга прибыл в Омск за десять дней до нас. Олесь Мирецкий спросил его, почему на нём такая драная одежда. Он ответил, что в Тобольске его прикрепили к партии злодеев, а он, не имея нужного опыта, доверился им. Они же обыскали его и обокрали.

Он не хотел признаться, за что попал на каторгу, но намекал, что страдает из-за своих политических убеждений. Часто упоминал какую-то графиню Завадовскую, окутывал себя тайнами, играл роль преследуемого важного политического деятеля.

Распрекрасный Олесь, обуянный жалостью, поделился с Аристовым скудным своим «состоянием», поскольку тот пожаловался,

что лишился одежды, в которую зашито было немного денег, он отдал её солдатам, чтобы его защитили от плац-майора. Так солдаты и остатки его одежды присвоили себе.

Вся эта история впечатлительному Олесю показалась вполне правдоподобной.

Когда мы прибыли, он даже предложил, чтобы Аристов тоже допустили в наш круг, и чтобы он жил рядом с нами бок о бок, по-братски. Если бы не Юзик, который внимательно взгляделся в нашего проходимца и воспротивился предложению Олеса, Аристов – этакая змея, влез бы в нашу среду, нам на горе.¹⁸³

– Не будем его сторониться, – сказал Юзик, – но я не хочу знать-ся с таким непрозрачным человеком. Бог знает, что он такое есть?

Притом, мы к Аристову относились лучше, чем к другим каторжанам, но не допускали его слишком близко, и ему не доверяли.

Когда прибыли Дуров и Достоевский, мы сразу заметили, что между этой троицей что-то скрывается и существует непонятная связь. И узнали же мы любопытные дела про этого Аристова!

Родом из губернии Тамбовской, дворянин, он вступил в войска юнкером, но за всякие выходки из войска его выгнали.¹⁸⁴

Потом пребывал в Петербурге и расхлябанный образ жизни не изменил. Отец Аристова уже умер, мать от сына отреклась и, предоставленный самому себе, девятнадцатилетний юноша, без всяких средств, пустился в авантюры...

Он обратился к князю Орлову и к Дубельту, заверив их, что знает о политическом заговоре, цель которого – государственный переворот; он рассказал, что некоторые участники ему знакомы и делятся с ним сведениями (а дело было в 1848 году), и что главаря он мог бы узнать в Москве.

Князь Орлов, ошарашенный тем, что ему удалось получить в свои руки нити конспирации, велел Аристову отправиться в Москву и выделил значительную сумму на дорогу и пребывание в «белокаменной».

Царя Николая I уведомили обо всех обстоятельствах.

Аристов с *казёнными* рублями выехал в Москву и весело проводил время, пока не растратил все выданные ему средства. И тут он, с пустым карманом, возвращается в Петербург, снова идёт к князю Орлову и тысячью путанных выдумок и измышлений снова

выуживает у него значительную сумму, и опять растрчивает её попусту.

Таким образом он пробавлялся целый год. А тут подоспел карнавал. Князь Орлов встречает Аристова в театре, и велит доставить к себе. Спрашивает: «Что тебе удалось узнать о конспирации?».

Вместо ответа Аристов вновь просит денег.¹⁸⁵

– Ты же пьян! – орёт Орлов.

– Так точно! – спокойно отвечает Аристов. – У меня с заговорщиками самые тесные связи. Они пьют – и я вынужден пить с ними.

Князь Орлов посчитал аргумент убедительным.

И Аристов третий раз получает триста рублей, причём обещает через несколько дней предоставить полный список заговорщиков.

Обещать легко – труднее выполнить. Но у Аристова хватает фантазии... Он направляется в самую посещаемую и элитную петербургскую кофейню, садится за стол, заказывает кофе с ликером, и пристально вглядывается в сидящих вокруг, среди которых во множестве гвардейские офицеры и чиновники высших рангов из разных департаментов.

Эти совершенно аполитичные господа преимущественно заняты тем, чтобы развлечься, хорошо выпить и вкусно закусить.

Аристов записывает их фамилии и передаёт князю Орлову составленный список заговорщиков.

Страшная весть разнеслась по Петербургу: гвардионцы, потомки знатнейших дворянских фамилий, высокие чиновники, царедворцы, пламенные почитатели монарха, попали в Петропавловскую крепость! Заседает комиссия, военный суд – ищет, выслеживает, агенты тайной полиции выбиваются из сил, переворачивая вверх дном небо и землю – и ничего! В конце концов оказывается, что все арестанты ни в чем не повинны, и на самом деле, как их всегда и считали, верные слуги царя и трона.

Жестоко скомпрометированный князь Орлов сыплет проклятиями, засаживает лживого доносчика в тюрьму, велит Аристова судить и сурово наказать, а все напрасно обвинённые «политические преступники» приглашены к царю, их утешают самыми ласковыми словами, они получают награды, чины, деньги, а некоторых допускают даже к целованию монаршей руки, и все они, как один, твердят:¹⁸⁶

– *Вот так чудеса!* – как это их, их самих, посадили за антимо-нархический заговор.

Аристов отдадут под суд, по самоличному царскому приказу, он получает порцию розог и попадает в Сибирь на десять лет каторги.

До того, высланный из Петербурга, Аристов прибыл в Нижний Новгород. Там его призывает жандармский полковник, а потом и начальник дивизии, и Аристов плетёт им несусветные бредни о своих связях и конспирациях.

Полковник доносит о том князю Орлову, как шефу жандармов, и получает от князя в подарок наган за свою благоверность, а до Омска, ещё перед прибытием Аристова, доходит приказ, чтобы не верили никаким росказням этого афериста, и за каждый поклёп карать его наисуровейшим образом.

Любой другой, в столь несчастных обстоятельствах, навсегда забыл бы о мошенничестве. Но Аристов и не думает выходить из игры.

На омской каторге его прозвали *Крапо*.

Освоившись в своём новом статусе, Крапо начал искать сферу действия для своих делишек и махинаций.

Сперва-наперво представился плац-майору как художник-портретист, считая, что таким образом найдёт применение своим «талантам». И в самом деле, Васька, не долго думая, вызывает Аристова и заказывает написать с себя портрет. Вооружённый кистями и красками, Крапо, продолжая выдавать себя за художника, усердно работает, а попутно лебезит и угождает изо всех сил, пытаясь разведать отношение плац-майора к окружающим, что ему удаётся без труда.

Став любимчиком Васьки, Крапо получает возможность использовать свои навыки шпики. Доносит плац-майору обо всём, что происходит в тюрьме, рассказывает и о том, что никогда не было, не щадя никого. Бедный Олесь, который поделился с Аристовым остатками того, что у него оставалось, в результате наветов шпики сразу же становится излюбленным объектом преследований Васьки за вымышленные Аристовым проступки, так что днём и ночью Мирецкому приходилось быть начеку. Нас тоже Аристов не «забыл», за что мы решительно его от себя оттолкнули.

Кто картёжничал, кто доставлял водку в тюрьму, – Васька узнает обо всём. Не знает он только того, что сам Крапо тоже

промышляет водкой, выискивая её всякими способами, что он крадёт у арестантов их вещи, табак, деньги. К тому же Крапо восстановил против нас всю каторгу, подстрекая тем, что поляки, де, доносчики и злодеи. Именно он придумал нападение на наш каземат в сочельник; он состыковался против нас с самыми ретивыми бандитами, которые добивались его милости, поскольку Аристов каждый день бывает у Васьки и проводит целый день в плац-майорском доме, забавляя Ваську рассказами о Петербурге и, в перерывах между анекдотами, яро работает над хозяйским портретом. Мы же потешались, что рукою шпики запечатлён будет образ пьяницы и гнобителя безвинных людей.

Но вот случилось так, что именно портрет разрушил благополучие Аристова. Почти целый год Васька позировал ему ежедневно, а Крапо энергично размахивал кистями, но из-под кисти художника-самозванца «вылупился» бесформенный уродец, какая-то ни на что не похожая пачкотня разноцветных красок.

Васька впал в бешенство, что позволил так себя провести, повалил псевдо-художника на пол, пинал его ногами, избил и велел конвойным солдатам отправить в тюрьму и использовать на самых тяжёлых работах.

Сравнивая роспись на стенах своего дома, сделанную Бэмом и Богуславским, с пачкотней Крапо, Васька составил себе наилучшее мнение о поляках и, будучи равно норовистым в ненависти и приязни, вбежал в тюрьму и на тюремном плацу велел созвать всю каторгу и сообщил во всеуслышание, что Аристов склочник и шпики, а поляки – наилучшие люди на свете, и если кто осмелится их обидеть словом или делом, получит пятьсот розог и никак не меньше.

Вскоре после этого за стычку с Бэмом Аристов попал на гауптвахту.

Злодей и махинатор Аристов омерзел всем каторжанам, и всё-таки изменить своё поведение даже не думал. Он подделывает паспорта, фабрикует фальшивые деньги и с несколькими подобными себе дружками вырабатывает план побега из тюрьмы.

Жил в Омске генерал-майор Воробьёв, приказной атаман сибирских казаков. Кучер Воробьева, бывший бродяга, выезжает за город и останавливается в условленном месте. Крапо, один из

цыган, каторжник Александр Кулешов и конвойные солдаты должны вскочить в карету генерала и таким образом вырваться на свободу.

Всё было подготовлено и оговорено, кто какую роль должен сыграть, – но в это время Воробьёв как-то узнал о плане побега и уведомил коменданта.

В том месте, куда Крапо ходил на работу, провели ревизию, и нашли несколько готовых печатей, формы для их изготовления, а также формы для подделки денег, равно и бумаги с печатями для изготовления паспортов.

Крапо попал под военный трибунал.

Следствие тянулось несколько месяцев, ему присудили триста розог. Но на самом деле он получил только семьдесят ударов, потому что у узколобых экзекуторов никак не укладывалось в голову, как можно розгами «ласкать» дворянскую шкуру.

Умеренно строгий суд и ещё более умеренное наказание вдохновили Аристова на новые «подвиги». Он осмелел, тем более, в тюрьме он завязал знакомства, которые могли ему пригодиться в будущем. Один из сокаторжников Крапо, некий Котлар – поляк! – отбывал наказание и уже получил пятьсот батогов, за то, что изпод его конвоя сбежали трое убийц, щедро ему за то заплатив. С этим Котларом Аристов завязал близкие отношения, и они постоянно поддерживали контакты. В 1853 году уже отбывший наказание Котлар, вместе с каким-то новобранцем, конвоировали Крапо и уже упомянутых Александра Кулешова и Кузьму Громова.

Все трое с места работы скрылись.

Оказывается, Крапо заблаговременно заготовил паспорта и им нужно было только найти какое-нибудь укромное место, где можно бы переждать, пока отрастут волосы и усы.¹⁸⁷

Где они укрывались, неизвестно. Но через семнадцать дней всех троих поймали и отдали под суд.

Кулешов получил пятьсот батогов, Крапо тысячу, Котлар две тысячи, и всех их заслали в Усть-Каменогорск на десять лет каторжных тяжёлых работ.

Что стало в каземате после побега этих аферистов, трудно описать! Провели ревизию, однако что искали – так никто и не понял. Во время ревизии пропало всё убогое имущество арестантов.

Считалось, что такая ревизия предотвратит новые побеги.

Комендант де Граве с женой отсутствовали шесть недель, поехав на воды, на китайской границе, за полторы тысячи вёрст от Омска, где заложена была новая крепость.

Обязанности коменданта вместо де Граве исполнял его приятель, подполковник Шульгин.

Когда толпа, которая проводила ревизию, появилась в нашем каземате, мы подошли к подполковнику и сообщили ему, что всё, что нам принадлежит, – с позволения Алексея Фёдоровича.¹⁸⁸

Шульгин был очень любезен, ревизия прошла мягче, чем в других местах, что пошло на пользу не только нам, но и всем прочим.¹⁸⁹

НА ПОСЕЛЕНИЕ



Поздравляю с амнистией, Семён Севастьянович! – такие слова слышал я, когда, выйдя из тюрьмы после семи лет каторги, проходил по улицам Омска, уже как свободный человек.

Свободный? Нет! Свобода, которую получил я, никак не была той свободой моей Отчизны, о которой я мечтал, и за которую всё претерпел.

Я был свободен лишь оттого, что на ногах уже не было кандалов и я мог идти, куда сам хотел, и оставаться, где мне угодно, сколько хотел, общаясь с кем мне самому было приятно. Словом, – я был свободным жителем огромной Империи, вольным жителем – под надзором полиции... У меня уже отросли солидные усы и густая чуприна по всей голове, но я всё ещё носил двухцветное каторжное одеяние.

Такую одежду мог носить каждый, кто выходил на волю, ещё в течение недели, после чего надлежало её возвратить на склад. Естественно – дело служебное! «Казна» не обязана была одевать тех, кого перестала опекать.

Таким образом, я был в большой заботе, бродил по улицам города, раздумывая, где раздобыть денег, чтобы купить одежду свободного человека, и все эти «*поздравляю с амнистией*» повергали меня в уныние.

Первое поздравление я услышал от Михаила Михайловича Попова, известного во всем Омске богача, владельца рынка всяких товаров, в доме которого я, как каторжник, расписывал стены апартаментов, и часто бывал приглашён со всяческой приязнью и гостеприимством.

И сейчас Попов стоял на пороге своего магазина, любезно улыбаясь и радушным жестом приглашал войти в магазин.

Я вошёл, а он, увидев, что я ещё в каторжной одежде, сам предложил мне отпустить сукна в кредит и сказал, что охотно оплатит и портного тоже.¹⁹⁰

– И Вы хотите кредитовать меня, малознакомого Вам каторжника?

– Предоставлю Вам кредит и, уверяю Вас, Шимон Себастьянович, – сказал Попов, широко улыбаясь, – что я Вас хорошо знаю. Видите ли, когда занимаешься торговлей, надо обладать таким чутьём, чтоб за шесть вёрст человека чувствовать!

Я принял так любезно предложенную мне помощь. Бельё нашлось в самом магазине, портной поспешил сшить мне полный комплект одежды, если не сверхэлегантный, то весьма пристойный, так что вместе с Юзиком Богуславским мы сразу же пошли навестить Анну Кжижановскую, а потом и коменданта крепости.

С какой радостью встретила нас милая госпожа де Граве! Выбежала нам навстречу, сердечно пожала руки, а также её сестрёнки Вера и Надежда Максимилиановны.

Сам комендант пришёл, чтобы поздравить с амнистией, всячески выказывая нам своё сочувствие и любезность.

Нелегко было поляку найти в Омске какую-нибудь прибыльную работу. Так что я пребывал в хлопотах, раздумывая, как жить дальше, когда издержу невеликие сбережения, которые собрал в крепости из заработанных денег.

Как-то раз я снова побывал на рынке Попова.¹⁹¹

– Михал Михалыч! – сказал я ему смущённо. – Боюсь, что не скоро смогу вернуть одолженные средства на одежду, Вы знаете – денег у меня нет, а заработок мне найти не удаётся.

– И не думайте о долге! – ответил Попов. – Глупости всё это! А заработок для Вас всегда найдётся, но такой заработок, что подходит для человека простого. Однако Вы, Шимон Себастьянович,

Вы – дворянин, человек умный, учёный, Вы бы на такой заработок не согласились.

– Я – не учёный, Михал Михалыч, а согласился бы на любой заработок, лишь бы он был честный.

Оказалось, что в предместье Малый Участок за сто вёрст от Омска, освобождается место надзирателя, который бы наблюдал за батраком, что привозил из винокуренного завода с Большого Участка сивуху, и всякий раз напивался до потери человеческого облика, так что лошади привозили его домой в бессознательном состоянии. Поскольку я не испытывал никаких сомнений и колебаний, такая должность была для меня неплохой рекомендацией на будущее, а похвалы купца Попова было достаточно, чтобы господин Лейзер Вайнштейн охотно согласился на мою кандидатуру.

Так я стал надзирателем с окладом в четыре рубля ежемесячно, помимо жилья и содержания.

Малый Участок – местечко приятное и хорошо застроенное, а мой начальник был купцом разносторонним и торговал всем, чем только можно торговать. Посредничал при продаже свежей и сушёной рыбы, и при продаже мехов, которые приобретал за бесценок, за пару копеек, немного продуктов, а нередко и за пару бутылок горилки, и продавал с большой прибылью.

Госпожа Лейзер искусно превращала спирт в ликёр, который своим вкусом славился на пару миль в окрестностях, и тоже приносил огромную прибыль. Мне ещё полагалось чистить проезды до винокуренного завода, особенно зимой, когда снег заваливал всякие следы к человеческому жилью, что было очень опасно, – один лишь инстинкт лошадей мог спасти заблудившихся и довести до жилья.

У меня не было чётко определённых обязанностей по службе, но я был завален работой. Хозяин использовал меня на самых разных поприщах, а хозяйка – тем более. Мою новую одежду, которая была слишком хороша для работы, я сложил в сундук, а сам надевал сермягу, и вообще полностью одевался, как сибирский мужик, что вполне совпадало с моими склонностями.¹⁹²

Отвратно, ох как отвратно было мое житьё в Малом Участке, в окружении алчных торгашей и лихих мужиков, где все пребывали в вечных спорах друг с другом, и постоянно торговались с четой Вайнштейнов. Целыми днями в заведении стоял шум и гам,

как на мельнице, а мне не с кем было даже обменяться словом и мыслью:

*... Скрывай и гнев, и радость,
И да будет неуловимой твоя мысль, как туман...*

Чтобы не ошалеть, нужно было постоянно повторять сентенцию, некогда начертанную в камере №53: «В одиночестве человек говорит с Богом», а я и был совершенно одинок в этой колготне.

Но претензии покупателей и жалобы купцов утихали, как только закрывалось заведение и запирался окружённый частоколом хозяйский жилой участок, тогда в моей скромной избушке я садился за чтение.¹⁹³

Вырваться в Омск у меня не было времени, но господа де Граве часто присылали мне с оказией книги и газеты.

Так, запираясь в своей избе, я просто-таки поглощал духовную и умственную пищу, благословляя сам факт существования печати, редакторов и литераторов, которые в этой пустынной стороне связывали меня с цивилизованным миром.

Однажды, когда я приехал за спиртом, владелец винокуренного завода спросил меня, кто подписывает счета господина Лейзера Вайнштейна таким красивым почерком и с таким знанием дела?

Я ответил, что писарем и счетоводом я сам и являюсь.¹⁹⁴

– Как? Шимон Себастьянович, – воскликнул владелец завода, человек довольно интеллигентный, – Вы ходите в мужицкой одежде и помогаете кучеру выносить ящики из подвала, Вы – человек грамотный и, очевидно, образованный?

– Образованный, и притом дворянин, – добавил один из конторщиков, который много обо мне слышал от Попова.

– А ещё – бывший каторжник! – рассмеялся я.

– Он поляк! Поляк! Поляк! – заохали все.

И я понял, что быть поляком в Сибири значило вызывать доверие и уважение.¹⁹⁵

Владелец завода тут же хотел оформить меня заведующим конторой, но я поблагодарил и отказался, поскольку был связан договором с Лейзером Вайнштейном.

Каким образом уладилось дело, не знаю, только мой прежний работодатель отступился от договора со мной и от каких-либо

претензий, и меня сразу же назначили заведующим конторой винокуренного завода с окладом в сто рублей в месяц, помимо красиво меблированной квартиры и более чем достаточного содержания.

Подвал (склад) и контора закрывались сразу же в сумерки, и у меня хватало времени на чтение, переписку, размышления...¹⁹⁶

Однажды госпожа де Граве прислала мне уйму писчей бумаги, и я задумался, куда мне её применить, и как использовать, блеснула мысль: записывать воспоминания последних лет, что я и выполнил.

Если бы не тоска по Отчизне, тоска, которая горячей волной накатывала на меня и иногда становилась просто невыносимой, – если бы не эта тоска, время моего пребывания на Большом Участке и моя доля там были вполне сносны. Я погрешил бы против истины, если бы пожаловался на то время...

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ



ромкий стук в дверь моей комнаты...

Срываюсь с места, пытаюсь понять:

– Что это, – думаю, – нападение бандитов?

Смотрю в окно, и вижу лишь хмурое небо.

Стучат всё сильнее.¹⁹⁷

– Кто там? – спрашиваю.

Ответ:

– Письмо от Её Превосходительства госпожи де Граве.

Встаю с постели, отодвигаю засов, и входит солдат, который, приветствуя, вручает мне большой конверт.

У меня ёкает сердце. Читаю:

«Поздравляем с амнистией!

Анна Андреевна де Граве, Вера и

Надежда Максимилиановны».

Значит, амнистия состоялась!

Значит, я на самом деле свободен!...

Владелец винокуренного завода тут же обещал мне удвоить месячный оклад, если я останусь работать.

– Господи, Боже! Чтобы я остался в Сибири из-за денег! Чтобы я из-за денег не вернулся в свое Отечество, к своим родным! Я останусь на Большом Участке ровно столько, сколько потребуется для передачи счетов и учётных книг...

В Омске с искренним сожалением и грустью я попрощался с моими братьями по несчастью, и со всеми, кто в меру своих возможностей скрасили мою каторжную долю.

Пожимая мне руки, Попов сказал:¹⁹⁸

– *Бог с Вами, Шимон Себастьянович!* Да будет его всемогущая рука над Вами, и приведёт Вас на Родину, но у Вас так горят глаза, что я боюсь, не попали бы Вы снова сюда! Боже сохрани! Боже, смилуйся!

Не сбылось! Доброе пожелание Михаила Михайловича не сохранило меня.

В 1864 году, осужденный на каторжные работы в Александровск-на-Амуре, с партией таких же, как я, осужденных, довелось снова проходить через Омск. Точно так, как когда-то, в 1849 году, нас опередила весть: «*везут больших политических преступников!*», и Попов из любопытства вышел поглядеть на арестантов.

Хотя я и был в арестантской одежде, – он сразу меня узнал. Всего семь лет прошло, как мы расстались...¹⁹⁹

– Шимон Себастьянович! Зачем Вам это понадобилось! *Вот чудеса!* Как же эти поляки дорожат свободой своего Отечества! – крикнул он, закрывая ладонями глаза, из которых струились слезы.

В те пару дней, что у нас была передышка в Омске, сочувствующий мне купец каждодневно меня навещал. Приходил всегда, нагруженный гостинцами, и подарил мне складной дорожный нож. Этот нож путешествовал со мной по всей Сибири, и был в Сретенске, в Александровске-на-Амуре, во множестве других мест, и вместе со мной вернулся на Родину, надёжно спрятанный, как одна из самых дорогих мне памяток.

Я сбегал также в тюрьму проведать черкесов и Федыку. Вручил двадцатикопеечную монету ефрейтору у ворот острога, тот побежал к дежурному офицеру, и меня тут же впустили.

Это было в воскресенье после полудня, и вся каторга высыпала на площадь, разглядывая бывшего сотоварища, которому ведь полагось быть свободным человеком!

Стряпки, то есть кухари, пригласили меня на жаркое с житным хлебом.

Жаркое я припас для черкесов и Федыки, и мы все ели из одной миски в крепостной кухне. Потом направились к нашему прежнему каземату, и все вместе обошли площадь.

Когда настало время прощаться, черкесы, эти неукротимые люди, которые ни штыка, ни пули не боятся, эти атлеты по своей силе, разразились громкими рыданиями, прощаясь со мной.

Федька плакал и всхлипывал, как ребенок.

Я обнял его и, прижав к себе голову юнца, шепнул:²⁰⁰

– Федька, Федька, поклянись мне, что никогда больше не убьёшь человека!...

И он, всхлипывая, ответил:

– Не убью, не убью, это тогда, веришь ли, браток, – батюшка так приказал... А они всегда так говорили, что кто не слушает батюшку, тот послушается кнута и сапога...

«Проклят, сто раз проклят будь этот твой батюшка!», – подумал я.

Вложил я Федьке в сумку сколько-то денег и шепнул ему на ухо:²⁰¹

– Спрячь их, браток, закрой в подстилке в сапоге, спрячь хорошенько, а то украдут. Амнистия твой срок уже сократила, будет и вторая, и третья, и снова твой срок сократится, оттерпишь каторгу, и скоро выйдешь на свободу, и будет у тебя «за что руки зацепить» – немножко денег, чтобы стать приличным человеком.

О! Федька, стал ли ты приличным человеком?... Сколько раз я думал о тебе даже на своей родине, даже среди своих родных...

Когда я уходил с площадки, кто-то из бандитов крикнул:²⁰²

– *До свидания!*

– *До свидания, до свидания*, – кричала мне вслед вся каторга, и эти голоса бандитов преследовали меня как хор проклятий на вечные муки. Это был для меня дурной знак... Через семь лет мне вновь пришлось жить с каторжанами.

Я выбежал из тюрьмы. На мосту какой-то нищий попросил у меня милостыню.²⁰³

Останавливаясь, вынимаю кошелек... Приглядываюсь к нищему, и... глазам своим не верю... О, диво! Ведь этот нищий – это Васька... Да, этим нищим был плац-майор омской крепости! Василий Григорьевич Кривцов!

Первый мой импульс был отвернуться от этой гадины, и уйти. Но тут же вспыхнула мысль: неужели я хочу мстить, и кому? И я подал ему рубль.

Он поднял мутные и бездумные глаза и узнал меня. Снял шапку.²⁰⁴

– Что с Вами случилось, Василий Григорьевич? – спросил я.

– Бог наказал меня за светлой памяти Жоховского, за вас всех, простите!

Он хотел поцеловать мне руку. Я не позволил, и любезно заверил его, – что до нас, поляков, – мы стёрли из памяти все обиды и все несправедливости...

* * *

Отправили меня в ветреный край на завод.

В Москве, по пути, меня встретила овациями группа университетских студентов-поляков. Среди них был и Тадеуш Корзон, теперь знаменитый польский историк и один из наиболее выдающихся людей, каких я когда-либо встречал.²⁰⁵

* * *

Эти воспоминания о моей первой каторге я написал на Большом Участке близ Омска. По возвращении из второго девятнадцатилетнего каторжного срока (я вернулся 15 сентября 1883 года), я дополнил эти воспоминания деталями, которые припомнились сейчас.

Чего желал для своей Отчизны – желаю и теперь с не меньшей силой и не меньшим пылом сердца.

Что желаю себе самому, отражено в словах мазовецкого лирика, которые мне удалось отыскать:

*Ничего не нужно, что может дать мне свет,
Спокойно розовеют последние мои зори,
И пусть конец унесёт меня, как легкий сон,
И ты, Матерь Богородица, предстань передо мной...*

Конец воспоминаний о первом моём заключении и первой моей каторге, *Шимон Токаржевский*.²⁰⁶

Шимон Токаржевский **КАТОРЖНИКИ** **Сибирские зарисовки** **Варшава, 1912¹**



ПРЕДИСЛОВИЕ

Можно смело сказать, что в период с 1831 года вплоть до манифеста по поводу коронации Александра II, на польских землях в российском секторе, в каждом владении шляхтича-помещика, в каждом шляхетском доме долгие печальные разговоры всегда начинались со слова: «Сибирь», «В Сибирь», «Из Сибири»...

Ибо поистине трудно было найти шляхетскую семью, где, если не несколько, то хотя бы кто-то один уже не находился в Сибири или, по крайней мере, был на пути к ней.

Кроме того, Сибирь, этот огромный далёкий край, в ту эпоху ещё малозаселённый, польская общественность не могла даже себе представить, хотя бы в самых общих чертах.

От нас, каторжан и поселенцев, вести из этого края приходили очень редко.

Наши письма, конечно, следовало писать очень осторожно, они и были написаны с большой оглядкой и, обычно, ограничивались короткими и пустыми сообщениями о здоровье «корреспондента» и столь же пустыми вопросами о здоровье родных и приятелей.

И – ничего больше...

Во время двукратного моего изгнания, признаюсь, прости меня Господь! или, вернее, прости мне полное отсутствие литературного дара – признаюсь, не раз жалел я, что среди нас, Поляков-каторжан и *поселенцев* не нашёлся какой-нибудь поэт, какой-нибудь писатель или драматург, одарённый выдающимся талантом.

Конечно, в Сибири идилий было не написать, но буколик – сколько угодно! Ибо в Забайкальском и Надамурском крае полно живописнейших местностей, и перед этими чудными видами, этой девственной, плодородной природы, при виде сказочно буйной растительности, ослепительно ярких дурманяще душистых цветов, перед этой игрой света, как бы сотканного из радуг, мы невольно восклицали:

...Кто же сумел сотворить такое великолепие!

Для занимательнейших повестей, мрачных драм, кровавых трагедий в Сибири не нужно было долго и старательно выискивать

Источник:

Tokarzewsky Szymon. Katorznicy. Obrazki syberyjskie. – Warszawa, {1912}. [Токаргежеский Ш. Каторжники: сибирские зарисовки. – Варшава, {1912}. – На польском языке].

темы, на таком фоне складывались такие сценарии, какие не удалось бы придумать самой смелой фантазии цивилизованного человека. Мы, Поляки, невольно и даже без особого сопротивления, нередко оказывались втянутыми в действенное участие в акциях мрачных, страшных, пронизывающих ужасом... Долгое пребывание вдали от очагов, да что там! – даже от следов какой-либо культуры, должно было склонить нас к наблюдениям, созерцанию и одновременно возбудить желание поделиться испытанными впечатлениями.

Трудно было записывать всё «по горячему». Но события, участниками или свидетелями коих мы были, оказывались столь необычными, впечатления столь сильными, что то и другое, как будто безжалостным резцом, запечатлелось в нашей памяти, сердцах, в воображении; и эти глубокие рытвины, в течение долгого ряда лет оставались неизменно яркими, ничем не затенённые и нисколько не стирались.

Допускаю также, что многие из братьев-изгнанников записывали свои «мемуары». Полагаю, что рано или поздно оковы цензуры в нашем крае когда-нибудь ослабнут, и тогда подобные воспоминания появятся на свет божий из старосветских замковых закровов, где были спрятаны среди самых ценных семейных реликвий, и, напечатанные, переплетённые, составят особый отдел в польской литературе... И тогда тот слой польской общественности, который сейчас «опрокидывает горы и степи», пороча годы, последовавшие за 1830-м, и годы после 1863-го, которые вызывают сейчас лишь брюзгливую насмешку, а иногда и клевету, лучше и ближе узнав ту эпоху, изменят свой взгляд и на неё, и на нас, «загубленных».

Не теряю надежды – позволю себе сохранить её нетронутой – что всё это именно так и случится и горячо на то уповаю.

* * *

После измены Яница мы, эмиссары-участники митинга по всей Крайне, создали военный совет, который постановил: духом не падать, веру в победу нашего дела не терять, потому что, коль скоро возлюбленный наш народ не арестован, нельзя считать дело окончательно проигранным. Значит, нам надо рассыпаться на

стрелковые группы; пусть каждый из нас тихонько притаится в каком-нибудь укрытии, ожидая призыва, чтобы вновь начать действовать.

Сразу же после совета мы разошлись в разные стороны. Я не мог вернуться ни в отчий дом, ни в родные края; потому что в околицах Киельца, Опатова, Сандомира каждая пядь земли, каждая тропка и каждая дорожка были мне знакомы и знали меня, поскольку по этим лесным местам, куда ещё Болеслав Храбрый приезжал на охоту, я проходил к горам Швиентокжыским, в монастыре на Лысой Горе я не раз останавливался во время моих странствий и теперь я надеялся найти там приют и надёжное укрытие. Как я и рассчитывал, ксёндз, Ходельский народ и мои добрые знакомые приняли меня с дорогой душой и распростёртыми объятьями.

Время, когда я пользовался их сердечным гостеприимством, это одно из самых моих дорогих воспоминаний.

После дня, проведённого при свете восковых свечей в малюсеньком, душном без окон тайнике, между ризницей и алтарём, я выходил, обычно, на балкон колокольни.

Там уж я мог полной грудью надышаться воздухом; отсюда открывался такой прекрасный вид; и Старый Город Кракова, и Вавель, взгляд упирается аж в заснеженные вершины Татрских гор.

Когда глубины бора уже скрывались в тени, верхушки его ещё алели закатным пурпуром, а за его краями солнце, скрывающееся за горизонтом, посылало свои фиолетово-золотые отблески на тесные людские селения и на просторы у подножья Лысой Горы.

Ветер колыхал деревья и они склонялись, понемногу роняя увядшие листья и иголки, которые с лёгким шелестом падали на землю, на мягкий настил пушистого мха.

В шестом часу костельные колокола звали на Ангелус², – и малые, и большие, и один вовсе огромный.

В печальный аккорд сливались голоса этих колоколов, помнящих лучшие времена, они соболезновали нам, взбадривали людей слабой воли и трусливого нрава, в омрачённых сердцах пробуждали и усиливали горячую любовь, в изболевшихся душах будили светлые надежды.

Обуянный разными видениями, полными скорби и надежд, на балконе колокольни я проводил погожие, освещённые блеском месяца, долгие осенние вечера. А дни своей вынужденной бездельности и затворничества заполнял чтением, правда, без всякого плана, потому что книги из некогда великолепной библиотеки Бенедиктинцев приносил мне ризник Матеуш. Он хватал первый попавший под руку красивый том и в выборе чтива для меня руководился, главным образом, нарядностью переплёта. Как-то он мне принёс книгу, одетую в чёрную кожу, с золочёными накладками и бронзовыми нарядно прочеканенными застёжками.

Это были проповеди известных французских проповедников. В одной из великолепных проповедей иезуита Людовика Бурдалу, в проповеди «Об Аде», внимание моё привлекло такое высказывание:

«Трепещите, – так при дворе Людовика XIV сказал этот король проповедников и проповедник королей, – в адских пещерах стоят огромные часы.

На их циферблате нет цифр, обозначающих часы, квадранты, минуты, секунды. Вместо всего этого посередине циферблата начертано:

Вечность.

На этом слове стоит недвижимая стрелка. А вместо минут и квадрантов, эти адские часы попеременно вызывают только два времени:

*Всегда – Никогда –
Никогда – Всегда.*

И когда какой-нибудь из грешников спрашивает:
– Который час? – изнутри часов мрачный голос отвечает:
– *Вечность!*
А если грешник спрашивает:
– Как долго буду я терпеть такие муки? – этот же голос отвечает:
– *Всегда!*
И грешник кричит в отчаянии:

– Неужели эти муки никогда не кончатся?
– *Никогда!* – отвечает голос. А стрелка на циферблате постоянно показывает: *Вечность...* Маятник постоянно качается, тяжело и равномерно, а звон часов попеременно оповещает:

*Всегда – Никогда –
Никогда – Всегда».*

Это высказывание из проповеди Отца Людовика Бурдалу произвело на меня впечатление огромной силы, особенно в этой непривычной обстановке.

Жёлтый свет восковых свечей, при ярком окрасе стен, свода и пола из красного кирпича – всё это создавало в моём воображении какую-то сверхъестественную атмосферу, какое-то яркое просветление; здесь за стеной однообразно тикали часы; эхо тяжёлых шагов Матеуша, убирающего в ризнице, его постоянное побрякивание огромными ключами, скрежет отворяемых замков и засовов, – всё это производило такое оптическое и акустическое впечатление, что временами я попросту дрожал от тревоги, как будто на самом деле находился в преддверии ада.

И эти слова из проповеди о. Людовика Бурдалу вспоминались мне во время моего второго изгнания, когда после манифеста 1874г., я по своей воле и без всякого принуждения выехал из Иркутска в Галич Костромской губернии.

После различных манифестов братья-поселенцы возвращались в родные места, меня же эти манифесты обходили. На просьбы о возвращении в Варшаву, или хотя бы только о получении эмигрантского паспорта, Петербург отвечал уклончиво, а о Варшаве – отрицательно.

И поскольку мои попытки и стремления возвратиться на Родину не прекращались, потому во время моего пребывания в Галиче, каждый утренний рассвет будил в моём сердце надежду вернуться в Отчизну, а каждый вечер эти мои надежды затухали, и меня обуревала тревога, что дни моего изгнания будут длиться всегда... что не кончатся никогда... а тоска будет терзать моё сердце вечно, до последнего часа моей жизни.

Итак, в годы моего вынужденного бездействия и смертельной, обессиливающей душу тоски – я написал эти страницы.

Погружаясь в воспоминания былого, я немного отвлекался от своих мыслей и это позволяло мне хотя бы мимолётно забывать о теперешних невзгодах и тревогах.

ОДИН... ПЯТЬ...

Он был благодушный, весёлый, как птица, которая порхает весной над цветистыми лугами, и горлышко её неустанно моделирует песнь во славу жизни, солнца и свободы.

Его юмор, забавные короткие рассказы на этапах, позволяли нам забывать иногда о том, что мы в смертельно изнурительном походе.

Неудобоваримую пищу, которую мы собственноручно себе готовили, он, «солью аттической» заправлял так круто, что не раз она казалась нам вкуснее, чем изысканные блюда на, порой, столь скучных сборищах «по этикету».

К тому же он был молод, высокий, гибкий, сильный, красивый, правдивый, искренний и щедрый.

Но в моих глазах главная его заслуга была в том, что когда другие братья-каторжане ступали лишь по земле пустынных сибирских просторов и вспоминали былые дни и акции, в которых действительно участвовали, грустно глядя на запад, он – всегда глядел только на солнце, для всех одинаково доброжелательное, яркое и живительное, и сквозь глухие пустоши славшее к *Ней*³, в живую, многолюдную страну победный и полный надежды призыв: «Аллилуйя!».

Звали его Роман. Мы его называли ласкательно Ромек, или Ромечек.

– Чёрную участь надо принимать, сохраняя светлое чело, – так он говорил, – и его красивое юное лицо всегда сохраняло ясное выражение, глаза блестели, как два карбункула, малинового цвета губы под тёмными шелковистыми усиками улыбались всегда и несмотря ни на что...

В Красноярске, расставаясь, мы попрощались со словами: «До свидания!», честно говоря, никак не надеясь, что это пожелание

исполнится вскоре, и что вообще оно станет когда-нибудь возможным в этом мире.

Но в Галиче в семидесятых годах я получил обстоятельные и точные вести об участии Ромека от братьев-изгнанников, а также и от него самого.

Манифест 1874г. освободил Ромека с каторги на Нерчинских заводах, но всё же задержал в Сибири, запрещая жить в городах.

Нуждаясь в работе, чтоб заработать на хлеб, он охотно принял место *приказчика*, то есть помощника купца, а именно у лавочника Тимофея Чухонова из деревни Ямки. Она растянулась на несколько вёрст, была в ней церковь и волостное управление и, несмотря на то, что деревня находилась далеко от почтового тракта и от всяких селений, она была многолюдной и богатой. Потому лавка Тимофея Чухонова пользовалась большим уважением.

Притом, обязанности продавца в этой лавке вовсе не были синекурой, тем более, что сибирский крестьянин удивительно лукав и проницателен, а потому считает, что если его разыскивают за долги, то это признак недалёковидности и глупости, а вот увести кого-нибудь в поле и обокрасть – доказательство истинно практического ума.

Бедный Ромек, который на Нерчинских заводах ещё недостаточно изучил характер сибирских крестьян, в первое время своих купеческих обязанностей несколько раз нешуточно поплатился за оплошности, но, поскольку был проницательным наблюдателем и прекрасным счетоводом, к тому же приятным и вызывающим симпатию паренёком, которому удавалось «добраться» до сердца каждого клиента неистощимым терпением при торгах и честностью при исполнении условий, он вскоре прослыл весьма способным *приказчиком*.

– Настоящий *голубчик*! – восхищались им женщины.

– *Ничего! Ничего!* – поддакивали ямские мужики.

Начальник Ромека, Тимофей Чухонов, бывший каторжник, был в Ямках всеми уважаем, как очень богатый человек.

Каков был источник того богатства?... И что постоянно его приумножало? Никто не задавался такими вопросами, никого не тревожило, что богатство вообще у Чухонова было.

Временами, то чаще, то реже, Тимофей Чухонов, то надолго, то на короткое время, отлучался и пока отсутствовал, поручал управление домом и лавкой своей единственной дочери Наниле, поскольку госпожа Чухонова, опекаемая дочерью и мужем, занималась только домашним хозяйством и не вмешивалась в личные дела Нанилы, а ещё того менее в торговые интересы мужа.

Приказчик должен был также присматривать за четвёркой тучных рысаков, за *тарантасом* и санями Чухонова. Это вызывало постоянные стычки между Ромеком и пьяным *кучером*, который рад был выменивать овёс и сено на горилку в *кабаке*.

Словом, бедолага Ромек тащил на своих плечах целый воз тяжёлых и разнородных обязанностей, из коих самой неприятной было, пожалуй, участие в воскресных приёмах у Чухонова. С раннего утра отворяли *горницу*, запертую всю неделю, и окуривали её амброй.

После молебна в церкви в дом лавочника сходились: поп, дьяк, *голова* волости, *акцизный надзиратель*, отставной *прапорщик*, глава водочной монополии, словом, все, кто поважнее, с жёнами и детьми.

Почётное место на диване занимали поп и попадья. Перед диваном, у большого круглого стола рассаживались кто постарше, а молодёжь обоёго пола размещалась по углам, кто где смог. Женщины, смешно разодетые, в ярких канаусовых, необыкновенно широких платьях, натянутых на гигантские кринолины. Замужние надевали кокошники, расшитые разноцветными бусами и вышитые золотой нитью, светловолосые девицы, чтобы утолстить свои косы, вплетали в них пеньку, шатенкам и брюнеткам для этого служил конский волос.

Две служанки вносят чай, сладости и *сайки*, и ставят всё это на круглом столе перед диваном. Каждый гость берёт чашку чая и большой кусок сахара из деревянной миски, раскрашенной золотыми цветами по красному.

Попив чая, *голова* заводит разговор о недавно произошедших в волости кражах и о сложностях раскрытия виновных. Писарь, вздыхая, поддакивает *голове* и к его трудностям добавляет свои весьма веские соображения. Акцизник высказывает подозрение, что в его департаменте происходят злоупотребления, но он надеется скоро их разоблачить, он уже нашупал след...

При этих словах он искоса поглядывает на представителя водочной монополии, который опускает глаза и громко кашляет, чтобы придать себе уверенность.

Беседа, начатая с таких опасных тем, течёт с ленцой, прерывается, течёт дальше... Около главного стола слышно только похивание трубок... Из углов *горницы* долетают шёпотки и приглушённый хохот молодёжи.

После распития положенных сибирским этикетом трёх чашек чая, каждый гость ставит свою чашку дном кверху и кладёт на дно остаток недогрызенного куса сахара; служанки забирают чайные принадлежности, сметают крошки съеденных сладостей и саек, после чего вносят огромные блюда рыбы и мяса, бутылки и рюмки, которые хозяин наполняет по своему усмотрению.

Гости сперва маленькими глоточками попивают любимый напиток, расхваливая его необычайные достоинства.

– Я в Петербурге в *гвардейском* клубе не пил водки с таким вкусом и ароматом, как у вас, Тимофей Григорьевич Чухонов. Я, *российский* человек, я вам говорю, как есть, – настойчиво твердит отставной *прапорщик*. После чего вызывающим взглядом обводит всё общество и ждёт, не осмелится ли кто перечить. Но все соглашаются с ним, кивая головой. Хозяин гордится, как индюк, и постоянно приглашает:

– Пейте! Пейте! *Господа!*

Гости сразу же опорожняют рюмки. Бутылки пустеют... *Надзиратель* и *прапорщик* берут музыкальные инструменты: балалайку и гитару, и вторят песне, которую затянул дьяк:

*Кто живёт,
Тот пьёт,
И – йе, у – йе...
Тот пьёт,
Кто живёт...*

И так всё время: *da capo al fine* и *al comincio*.⁴

Сейчас всё общество притопывает и поёт довольно стройным хором. Тем не менее, выделяются и отстают отдельные голоса... В общем, каждый покривляет по-своему.

Григорьевич Трошин, богач, щёголь, ямской ловелас, гоняет бегающую по *горнице* девицу, пытаясь загнать её в угол и там, заставив креслами, хлопает в ладони, и кричит:

– Тега! Тега! Тега-а-а!⁵

Убегающая девица верещит, как будто с неё сдирают кожу... Поминутно оборачивается к Григорьевичу Трошину, показывает *фиги* и подражает мычанию коровы:

– Му! Му-у! Му-у-у-у!...

Среди этого гулящего и простецкого сборища выделяется Нанила Чухонова, деликатной красотой и одеждой, подобранной со вкусом. Она одета в голубое платье из китайской ткани, щедро украшенная мехом белой *летяги*⁶. На руках и на шее – бирюза, светлые волосы заплетены в две толстые косы, но без всяких искусственных дополнений. В этом наряде она действительно очень хороша. Не пьёт, не участвует в побегушках девчат, не отвечает на пылкие и щекотливые комплименты Григорьевича Трошина, а всё время оборачивается к Ромеку, погруженному в печальную думу:

– Не едите, не пьёте?!... Роман Карлович.

– Спасибо, я не голоден, напитков по наказу лекаря не употребляю, – отвечает Ромек. – А до развлечений я, изгнанник, неохоч. Не удивляйтесь...

– Я не удивляюсь, – шепчет девушка, – только мне вас жаль, Роман Карлович.

Тем временем веселье доходит до кульминации. Уже никто не пьёт, никто не разговаривает, все стараются перекричать друг друга.

Прапорщик всё время рассказывает о *гвардейском клубе в Петербурге*, но слушателя не находит; акцизный бренчит на балайке и притопывает. Крики «Тева! Тева! – Му! Му-у!» тонут во взрывах бессмысленного пьяного смеха.

– Ах, как хорошо! славное веселье! – вздыхает попадьа и, хотя в левой руке держит большой, украшенный кружевами платок, пальцами правой утирает нос, а ладонями – слёзы, что катятся по толстым щекам.

Около своей убогатворённой половины, поп храпит на диване, дьяк и *голова* дремлют на креслах. Хозяин, «руки в боки», гладит бороду, снял бархатную шапочку, которую всегда носит

надвинутой на самые брови, чтобы скрыть клеймо каторжника на лбу, еле держась на ногах, ходит по *горнице* и, как эхо, вторит попадье:

– Хорошее веселье! Хорошее!

Тут возникает Емельяшка, шустрый дедок, наушник Чухонова и его резидент. Он входит в *горницу* только когда все гости пьяны «до умопомрачения».

Ступает тихой кошачьей походкой, бьёт поклоны перед лавочником и бормочет нищенскую присказку:

– Батюшки! Матушки! Сотворите святую милость!

Чухонов считает это верхом остроумия. Взрывается хохотом, похожим на ржание старого жеребца:

– На вот и тебе! Прими и ты! – и вручает деду бутылку горилки.

Емельяшка хватает ценный подарок.

– Низко кланяюсь! Благодарствую, *Ваше Превосходительство*, – бормочет дед, любовно прижимая бутылку к груди, и исчезает.

К утру девки-служанки поднимают с пола погружённых в глубокий сон сановников, укладывают их на воз, который должен запрягать и везти бедный Ромек, поскольку *кучер* по примеру своих кормильцев спит себе и добудиться его невозможно.

Только самые младшие девчата трезвы и прощаются с Нанилой, ибо Чухоновы тоже уже храпят в своей спальне, причём, согласно сибирскому этикету, гостям положено благодарить, перечисляя все блюда и напитки, поданные гостям, и даже все приправы, что были на столе. Они и говорят:

– Спасибо вам, Меланья Игнатьевна, и вам, Тимофей Васильевич, и вам, Нанила Тимофеевна, спасибо за чай, сахар и арак, за сладости и сайки, за пирожки, за рыбу, мясо и водку, за кедровые орешки, покорно благодарим и низко кланяемся.

Наступает время отбивать поклоны.

Нанила тоже кланяется уходящим и приглашает:

– Покорно просим, приходите в воскресенье в наш дом.

Измученный бессонницей, а более всего сценами, свидетелями коих он был, Ромек точно на рассвете должен отворить лавку и встать за прилавок.

* * *

Нанила влюбилась в *приказчика*.

Девушка неустанно «штурмовала» его сердце и мысли, чем возбуждала неприязнь, а не ответную любовь у человека воспитанного, деликатного и чувствительного, каким был Ромек.

Исчерпав все способы пробудить желанную любовь, она сама призналась ему, что его любит и предлагает пожениться.

Ромек за любовь и доверие благодарит, но сразу же отказывается очень тактично, но решительно:

– Ну где бы, – говорит Ромек, – такой богач, как Тимофей Васильевич, отдал свою единственную дочь бедному *приказчику*?...

– Еть! – с издёвкой смеётся Нанила, показывает белые зубки. – Кто бы ещё обращал внимание на старого медведя! Тоже ещё! убежим, и баста! Поедем в Париж и поженимся в Па-ри-же! – называя столицу над Сенной, выговаривает по слогам, внимательно следя, какое впечатление производит это новое предложение на её возлюбленного.

– Ты хочешь поехать в Париж, Нанила Тимофеевна? – удивляется Ромек. – А где деньги на дорогу?

– Ох! С деньгами хлопот всего меньше! – легкомысленно пожимает плечами девушка.

Через несколько дней после этого разговора Нанила предлагает, чтобы Ромек понёс за ней угощение, которое мать испекла для пощады.

– Вот Прасковья, всегда ей что-нибудь глупое втемяшится в голову! – бурчит лавочник. – *Приказчик* должен распаковывать ящики с товаром. Для него в лавке работы хватает, не для того он здесь, чтоб за тобой угощения носить.

Нанила нахмурилась, кажется, она сейчас заплачет, опускает глаза и вкрадчиво говорит:

– Прасковья шьёт мне юбку на воскресенье... У меня и так юбок не хватает... Корзины с угощениями понесу сама, надорвусь и заболую...

– Тихо! Тихо! *Миленькая!* Сколько тебе надо юбок? Две... три... десять... Ну! Говори, будь хорошенькой, сколько захочешь. Только о болезни не поминай, чтоб на недобрый час не пришлось! –

кричит лавочник, снимает шапку, крестится, бьёт поклоны перед иконами, причём сплёвывает, чтобы отогнать «недобрый час» и, наконец, говорит:

– Роман Карлович! Берите угощение и идите с Богом! Долго не валандайтесь!

Пошли. Отдали попадье угощение. Нанила не приняла приглашение, а приказала Ромеку, чтобы шёл за ней, но с дороги свернула в лес.

Какое-то время он шёл послушно, но потом робко упомянул, что Тимофей Васильевич велел возвращаться побыстрее.

– Не отцу моему, а мне будешь ты служить отныне, Роман Карлович! Говорю вам, идите за мной! – крикнула Нанила.

Она была необычайно возбуждена и очень хороша в таком возбуждении. Заинтригованный, немного встревоженный, Роман шёл за ней и, впрочем, что ему оставалось делать?

В тёмном бору Нанила провела его на светлую полянку, позолоченную солнцем. Бежала быстро, топчя белые звездочки ромашки, лиловые душистые ирисы, пурпурные жарки, кустики голубых незабудок и пушистую зелёную траву...

И снова свернули они в густой бор, где не было ни дороги, ни тропок, никаких людских следов.

С трудом пробрались через чащобу.

Она отгребала колючие ветки и шла, не оглядываясь на него, а только приказывая:

– Иди за мной!

И он шёл... Со склона плавного холма спустились в тенистую долину... По скалистому дну шумливо текла речушка...

Шли вдоль её берега.

Он – за ней...

Она зажгла фонарь... При мигающем свете он увидел грот, полный огромных камней и небольших обломков гранита... Вдруг девушка исчезла в какой-то пропасти. Через некоторое время, которое Роману показалось очень долгим, она вновь появилась, держа в руках железную шкатулку... Открыла её ключиком, который носила на шее, вынула из неё другую деревянную, а из этой – кожаный мешочек... Развязав его, изумлённому Ромеку показала толстую пачку банкнот...

– Вот на что я повезу тебя в Париж, Роман Карлович, вот! Здесь хватит, чтобы днём есть и пить, а по ночам гулять...

Закрыла шкатулку... Стократное эхо повторило этот звук. Видимо, в скале была целая цепь пещер... Велела ему вытащить один из валунов, повернуть его... Рычагом уверенно приподняла квадрат, так искусно и потайно спаянный с глыбой гранита, что самый внимательный, зоркий, но не предупреждённый взор не смог бы его заметить. Из глубокого отверстия гранитной глыбы достала железную коробочку...

– И это мы тоже возьмём, – в деньгах у нас никогда недостатка не будет... Смотри, что тут есть...

В коробочке были краски, тоненькие кисточки, немного металлических букв, некоторые из коих были сложены в слова.

ОДИН РУБЛЬ...
ПЯТЬ РУБЛЕЙ.

Из других букв можно было сложить слова, обычные для печатных банкнот...

Роман тут же сообразил: так называемый лавочник, Тимофей Васильевич Чухонов, был фальшивомонетчиком, который во время своих отлучек в далёкие околицы покупал меха, сушёную рыбу и всяческие товары для своей лавки.

– Всполошится старый Тимофей Васильевич, когда мы скроемся, и он своих сокровищ и машины для их выработки не найдёт!... Конечно, перво-наперво сюда побежит, как только обнаружится наш побег. Думал, что навсегда у него останусь, – старая скотина! *Сволочь!*...

Нанила торопила с побегом, на который Роман притворно согласился. А в первую же ночь, бурную и тёмную, убежал сам. Взял с собой несколько рублей, заработанных кровной работой, взял несколько кусков хлеба, которые откладывал из выделенных ему порций, и отправился в неизвестность в безмерные пустынные просторы. Потерял ключик от часов, потерял счёт времени, не раз засыпал в какой-нибудь яме, в сухой листве, в которую зарывался, не зная, как долго проспал. Может, сутки?... Может, двое... трое?... Закончился и запас хлеба, износилась

обувь, потерял шапку, одежда висела на нём лохмотьями, он бежал далее... Вдруг начали меркнуть отвага, надежда и уверенность...

Пришёл он в себя вблизи от Байкала, в *постоялом доме*⁷ волости Куртук⁸.

То, что показалось Роману пробуждением, на самом деле было выздоровлением после тяжёлой опасной болезни.

Кто и где его обнаружил, – не знал. Он обрёл физическое здоровье, но умственные способности бедняги притупились... Он казался здоровым, сильным, но вдруг впадал в обморочное состояние, потом в буйство... Срывался с места, хотел спрятаться, бежать, с криком:

– Один! Пять!

Братья-поселенцы взяли над ним опеку и выправили медицинское свидетельство, что он *сумасшедший*. Отвезли Ромека в Беларусь и передали матери.

Помрачения разума были преходящи. При хорошем лечении и материнской заботе его умственные способности восстановились полностью, только весёлость покинула его навсегда...

В Галиче я получил от него невероятно печальное письмо, а после смерти матери – просто безнадежное. Он очень печалился, что некому оставить состояние.

«... – Женись, Ромек! Наши женщины такие добрые, такие верные подруги жизни, – советовал я ему в одном письме. – Женись!...

.....

... – В красоте панны Гелены, в её обществе я нуждаюсь всё больше! Нечего больше сказать!... Братья! Я в Геленку влюбился по уши!... Каждый день, хотя бы на пару минут, заглядываю к О. ...

... Вчера признания и просьбы моего встревоженного сердца срывались с моих уст... Я уже протянул, было, руки к ней, чтобы просить: пойдём со мной! Тернистым жизненным путём, пойдём со мной, дорогая!... Вдруг в мозгу у меня промелькнуло страшное воспоминание: я вспомнил о моём безумии. То было минутное помутнение, это правда! Но что будет, если повторится? Если от моей любимой жены вдруг сбегу и страшным голосом безумного начну выть...

– Один! Пять!... Один! Пять!...

Что тогда?

Нет, такой несчастный, как я, не имеет права связывать с собой любимую женщину... Не имеет права создавать семью... Бог сохранил меня и её... Под каким-то пустяковым предлогом я попрощался с Геленой и, положив руку на изображение Распятого, поклялся, что ноги моей больше не будет в О.

Плохой совет дали вы мне, братья... Такой несчастный, как я, не имеет права жениться.

Роман».

«И ВСЁ ЖЕ...»

Одного из побеждённых в 1863 году, Ольгерда Малькевича, судьба загнала в местечко Колымка в Сибири. Не сочувствующий польским поселенцам *старшина* (сельский староста) поместил его в тёмном предбаннике так называемой «чёрной бани», то есть бани, предназначенной для прокажённых.

В этом «убежище» Ольгерд не мог, конечно, поселиться навсегда. Он собственноручно выкопал глубокий дол, над ним насыпал холмик и переселился в эту яму. Куском войлока закрыл входное отверстие; гладкие пластины льда, вставленные в отверстие, заменяли окна. Питался он рыбами, которых сам ловил удочкой в Иртыше, и дичью, которая попадала в его силки, поскольку ему строго-настрого запрещалось иметь оружие.

А когда морозы сковали льдом Иртыш, когда метель надула снежные насыпи высотой в несколько локтей, Ольгерд жил лишь одним чаем и лепёшками, которые сам себе выпекал. Сам приносил себе дрова из леса и воду из ближайшего колодца, долгие зимние вечера проводил при свете лучины, а когда она угасала, сидел в темноте.

Хотя каждый его шаг зорко стерегли, Ольгерду удалось снискать сочувствие соседей, причём он не прилагал к тому никаких усилий.

При покупке чая и соломы для постели с него спрашивали цену, в десять раз выше обычной, и он, не торгуясь, платил. На грубые придирки не обращал внимания, если спрашивал, вежливо

раскланивался и отвечал на том народном диалекте, которому обучился в омском батальоне. В конце концов, жители Колымки начали говорить о нём:

– Чёрт его знает, может быть, он ничего себе человек? Чёрт его знает!

Как-то в *землянку* Ольгерда явился *старшина*.

– Вот я пришёл к тебе в гости, – говорит, – представь себе, какая честь для тебя... Я, наивысший урядник в Колымке, зашёл к тебе, который сидит тут, как самый последний червяк.

– Я не последний червяк, – с достоинством ответил Ольгерд. – Господь Бог дал мне и вам одинаковые бессмертные души, и потому мы с вами равны, Митрий Степаныч.

– Как это равны! – крикнул оскорблённый *старшина*. – Я урядник, а ты – *поселенец*.

– Сегодняшний поселенец может завтра занять самую высокую должность.

Мужик «остыл», снял меховую шапку и скромно сказал:

– Правда ваша! Батюшка-царь всё может, что милостиво пожелает. Но не будем спорить, я к вам, Ольгерд Степанович, пришёл с добром, пригласить, чтобы вы пришли с вашей поющей коробкой в мой дом в воскресенье на *девичник*.⁹

Малькевич был известным скрипачом. В те тяжёлые дни, что он провёл в Колымке, музыка была для него единственной утехой, единым развлечением. Играл он громко и не ведал, что около его *землянки* собирались, обычно, многочисленные слушатели.

* * *

Когда в означенный день Ольгерд со своим «поющим ящиком» зашёл в дом *старшины*, он уже застал там всех участников *девичника*. Из *горницы* унесена была мебель, на полу красные ковры, стены увешены образами святых чудотворцев и покровителей, в окладах из посеребренной или позолоченной латуни, усеянных сибирскими самоцветами. Перед каждым образом с потолка свисали на цепочках пылающие серебряные лампы, в больших серебряных канделябрах горели тонкие восковые свечки.

Женщины одеты были в шёлковые платья кричащих цветов. Мужчины – в длинных кафтанах, обшитых полосками чёрного

плюща, вышитыми разноцветными цветами и узорами. Волосные начальники, *старшина* и волостной писарь держали в руках грубые меховые перчатки, как знак особого достоинства.

Посреди комнаты стоял стол, накрытый скатертью. За ним, на лавках, накрытых коврами, сидели так называемые «распорядители свадьбы»: *тысячный*, *бояре*, старшие и младшие, «свадебные родичи» в окружении подруг и приятельниц невесты. В конце стола под образом Николая Чудотворца, укрытое ковром возвышение, а на нём – кресло также с ковровым покрытием. Свадебные обряды начались с шуток.

Дружки спрятали жениха в самый тёмный угол *горницы*, а невеста, Наташа Митревна, сидела на возвышении.

Сначала первая подруга, расплетая Наташину косу, завела песню, которую однообразно и уныло подхватили хором все девчата:

*Не будешь больше с нами плясать,
Наташа, не будешь,
Ни играть в разлуки¹⁰
Не будешь,
Ни венки в Иртыш кидать
Не станешь,
Ни за девичьем столом
Не сядешь.*

Наташа подхватила, запела «в нос», *parlando*¹¹:

*Не стану я с вами плясать,
Не стану,
Ни играть в разлуки
Не буду,
Ни венки в Иртыш бросать
Не стану
И за девичьим столом
Не сяду.*

Подруги вновь запели:

*Снимут с тебя, несчастной, венок,
Головку платком повяжут.
И веночка твоего не воротят.
Если спал с головы, так на все времена.*

Наташа отвечала:

Снимут с моей головы венок... и т.д.

Такое пение длилось очень долго. Тем временем свадебные гости утешались горилкой.

Когда Наташа Митревна так горевала, что ей предстоит утратить «девичий венок», двери соседней комнаты с грохотом отворились, и в *горницу* влетел румяный шестилетний бутуз, который непринуждённо подошёл к возвышению.

Жених и его дружки пытаются задержать бутуза:

– Куда лезешь, Егорка? *Пошёл вон!*
– Не троньте, – энергично обороняется малец и кричит:
– *Мамаша! Мамаша!* Иди быстро покорми Татьянку, а то верещит, будто с неё шкуру сдирают.

Мамаша, то есть Наталья Митревна, сходит с возвышения и, не спеша, стуча высокими каблучками лакированных ботинок, забирает с собой Егорку и скрывается за дверью.

– *Вот красавица!* Как ступит, так аж пол трещит! *Вот красавица!* – чмокают мужчины, жадными взглядами провожая уходящую.

– И сколько же пудов весит ваша доченька, Митрий Степаныч? – спрашивает кто-то.

Старшина усмехается, светясь от отеческой гордости:

– Шесть пудов, – отвечает.
– А то и больше, – подсказывают друзья, – а то и больше.
– Да и пяти пудов не весит Наташа Митревна, – кричит какой-то «оппонент».

Начинается спор, разгорается, уже мелькают стиснутые кулаки... вот... вот... начнётся драка... к счастью, возвращается героиня спора... садится на возвышение, и снова начинается

ление, расплетание косы, и звучат скорбные слова по поводу утраты «девичьего венка».

Следует добавить, что девица может не однажды стать матерью, причём всякий раз от какой-нибудь мимолётной связи, но несмотря на это не утрачивает положения и наименования девицы, пока не вступит в освящённый церковью брак.

После угощения и обильных возлияний начинается беседа, в которой в роли хозяев выступают *бояре, тысячный* и «свадебные родичи». Во время беседы девушки воспевают под предводительством старшей подруги похвальные гимны в честь самых богатых гостей, которым положено отблагодарить певуний за дифирамбы щедрым воздаянием деньгами. Собранная сумма делится между невестой и подругами.

Девичник кончается *бычком*. Это любимый танец сибирских крестьян. Все становятся парами и, стоя на месте, сильно притопывают под треньканье балалайки. Потом пары расходятся по комнате.

Ольгерд не играл во время девичьей вечеринки.

Но на свадебный обряд его опять пригласили.

Он пошёл.

Перед свадьбой у сибирских крестьян принято благословение. Наречённые падают на пол *горницы*. Лежащим кладут на плечи образы чудотворцев, ставят зажжённые свечи, «свадебные родичи» произносят над ними благословение и молитвы, после чего все отправляются в церковь. Интересно отметить, что благословляют не настоящие родители, а «свадебные», люди совершенно посторонние, чаще всего самые состоятельные соседи.

Во время шествия в церковь Ольгерд Малькевич сопровождал кортеж и играл свадебный марш Мендельсона – Бартольди, который вызвал истинный восторг.

Трое суток длились свадебные торжества и закончились тем, что участники праздника бегали и ездили по улицам деревни, распевая непристойные кабацкие песни, сопровождая их выстрелами.

* * *

После этого праздника, на котором Ольгерд познакомился со всеми жителями Колымки, и снискал их расположение, участь поселенца намного улучшилась.

Старишина дал ему хатку, правда, весьма повреждённую, без пола, окон и двери, но при неустанной работе и при помощи небольших денег Ольгерд устроил себе в ней такую избу, которая после его *землянки* казалась ему роскошными апартаментами. Необходимую утварь он обтесал и вырезал собственноручно.

Хата, названная *пустынькой*, стояла за деревней, вдали от криков, проклятий, от беспрестанной шумной мельтешни, обычной при сборищах сибирских крестьян. Сперва к Малькевичу заглядывали местные красавицы. Но, убедившись, что их настойчивый приступ наталкивается на его ледяную вежливость, перестали забегать.

Зато часто заходил к Ольгерду *старишина*. Просил у него совета в разных делах, просил помочь в составлении служебных рапортов. В благодарность за любезность, с которой поселенец выполнял все его просьбы, Митрий Степаныч одалживал ему своё личное ружьё, всякий раз, когда тот хотел поохотиться. А поскольку Ольгерд был страстным охотником и прекрасным стрелком, это стало для него излюбленным развлечением, особенно после того, как он подстрелил несколько лосей.

Кроме *старишины*, чаще всего навещался к Ольгерду некий Андрюшка, бывший солдат, крепкий, сухощавый, сильный старик. Он любил хвалиться, что много раз вдоль и поперёк прошёл через всю Сибирь, что знает такие гостиницы, куда приезжают генералы в роскошных поездах, и такие тропы, по которым в недоступных тайгах пробираются к лежбищам и водопою только дикие звери.

В долгие зимние вечера Андрюшка являлся часто без приглашения, наливал себе чай, не спросившись, жадно поедал Ольгердовы запасы, и, глядя на огонь... размышлял... размышлял... размышлял.

Как-то, неожиданно спросил Ольгерда:

– За сколько *дён* ты дошёл бы до своей земли?

– Сколько *дён*, – спросил, дед, за сколько месяцев и даже за сколько лет?...

Дед кивал головой, жмурился, словно размышлял о чём-то, думал, взвешивал, и вдруг, наклонившись к Малькевичу, шепнул:

– Убегай в свою землю, Ольгерд Стефанович! Я столько уж несчастных вывел с каторги... Я тебя тоже провожу до Европы, или в монгольские степи, или к тёплому Чёрному морю... А отсюда до Цареграда уже сам доберёшься, а мне скажешь: «Вот тебе половина серебром, старый гриб!».

– Не носи околесицу, дед, – ответил Малькевич с притворным гневом, потому что предложение побега всколыхнуло его до глубины души.

Дед поднялся, опираясь на свой посох, поглядел на Ольгерда вроде бы с укором, и вышел из хаты, слова не вымолвив.

Потом не показывался несколько дней, после чего вновь стал заходить ежедневно. Искра, заронённая в сердце Ольгерда, тлела... Андрюшка умело её разжигал... Обещаниями лёгкого побега искушал молодого человека, искушал, так что в конце концов склонил его к своим планам...

Когда весна отправила на землю золотистые и тёплые проблески, живительные запахи, когда Иртыш освободился от льдов, когда деревья покрылись листьями, зазеленела трава, а тайга зацвела буйно зарослью, они двинулись...

Кроме денег, Ольгерд оставил в хате всё своё имущество. По совету Андрюшки написал старшине письмо, что, решив покончить счёты с жизнью, ищет покоя на дне Иртыша. Это письмо он положил на самое видное место, на столе, прижав камнем, хату запер, ключ бросил в избу через разбитое стекло, – и пошли...

Андрюшка вёл юношу тропами, по которым от сотворения мира, наверное, не ступала нога человека.

На вопрос, куда идём, Андрюшка, таинственно усмехаясь, отвечал:

– Увидишь!

Питались запасами, предусмотрительно взятыми из Колымки. Воду для чая находили в чистейших ручейках, текущих среди душистых ирисов и голубых незабудок... Когда Ольгерд жаловался на слишком долгие постои, дед его урезонивал:

– Ох ты и шустрый, Ольгерд Стефанович, хочешь идти без отдыха? Хочешь за пару дён копыта откинуть?

Ольгерд вынужден был признать правоту деда, готовясь к долгому пути, надо было беречь силы. Ночи проводили под сенью

тонких, голубоватых ветвей, на подстилке из мягкого мха и благоухающих цветов, около костра, который должен был отпугнуть от них диких зверей. И чем больше удалялись от Колымки, тем веселее становились оба. У Ольгерда как бы крылья вырастали на плечах...

Как-то поздно, уже ночью, Ольгерд проснулся... Душистый ветерок легко касался его лица... Лучи молодого месяца серебрили нежные кружева ветвей, огонь пылал жарко, было так хорошо, так удобно. Прикрыв глаза, он предался мечтам...

Мечтал о встрече с семьёй, о свободе, о возможности закончить обучение, начатое в Центральной Школе в Париже, мечтал в полусне, полуяви...

Вдруг услышал, что Андрюшка, который храпел минутой назад, проснулся и ползёт к нему, наклоняется, всматривается в него, а потом, понемножку, осторожно, пытается ощупывать его бока и грудь, пока костистые пальцы деда не коснулись места, где были зашиты деньги, и так и впились в них... Андрюшка начал громко и тяжело сопеть. Ольгерд сразу же будто проснулся и рывком встал на ноги.

– Что случилось? – крикнул, как бы ещё не придя в себя, протирая глаза. – Что случилось, дед?

– Ать! – махнул рукой Андрюшка. – Что-то рыкнуло, как лось, я и проснулся. Думал, это дикие звери, или душат призраки, и поспешил к тебе на помощь.

– Спасибо вам, дед, спите спокойно, я уже проснулся, – сказал Ольгерд, подшевелил костёр, сел около него, и просидел так до утра.

Страшное подозрение обуревало его... В тайге их было только двое. Андрюшка знал все её тайники, а Ольгерд – нет. Дед за голенищем сапога носил длинный и острый нож, у Ольгерда – никакого оружия. Но в жилете у него были зашиты двести рублей, которые дед и хотел у него отнять.

«Прежде всего, – решил Ольгерд, – надо удостовериться в своих подозрениях...».

Но – как?

*In vino veritas*¹², – пришла на ум старая поговорка. Вина у него не было, но имелась большая фляга горилки, которую он до сих пор от Андрюшки скрывал.

Следующим вечером он вытянул её из узелка.

– *Давай!* – крикнул дед, и дрожащими от нетерпения руками тянулся к фляге, которую опорожнил одним духом.

– А вот тебе! Теперь ты лакай! – смеялся он, кинув пустую фляжку в заросли.

Ольгерд очень осторожно начал разговор на заданную тему. Разморённый горилкой, Андриюшка разоткровенничался. И во всех подробностях рассказал, сколько уж *несчастных* с каторги или с поселения вывел в тайгу, где их *улюлюкал*, «пока не уснули на веки вечные».

– А почему ты так делал, дед? – спросил Ольгерд. – Или у этих *несчастных* деньги были?

– Ни чёрта у них не было! – презрительно сплюнул Андриюшка. – Иногда горстка медных копеек.

– Так зачем ты их *улюлюкал*, дед?

– Зачем?... Так ведь у каждого были обутики, а ещё какая-никакая одёжка на грешном теле. *Обутики*, видишь ли, вещь лакомая и дорогая, а за них от *жида паршивого* пять копеек получишь... Потому что, знаешь, молокосос, такой порядок на том свете: господь Бог одним дал *денег* в дорогу, а другим – разум и сильный кулак... Может, схватимся «на кулаки»? А? Что? Панночек? *Шляхтичек, собачья кость, политический преступник?*

– Завтра, дед, завтра, дед, померяемся силой, а сейчас попей ещё водки.

– Твоя правда, *шляхтичек*, давай!

Сделал большой глоток, забормотал что-то невразумительное и с бутылкой, нежно прижатой к груди, медленно соскользнул на землю.

Ольгерд тотчас же вытащил у него нож из голенища, загасил огонь и – сбежал!

После нескольких дней форсированных маршей, без особых происшествий, Малькевич к несказанной своей радости увидел степь.

Гостеприимно принятый в киргизских юртах, он постепенно добрался-таки до Омска.

А там просто пошёл к коменданту батальона, с которым недавно служил. Рассказал ему всю правду, слегка завуалированную,

поскольку за попытку побега из Сибири грозит каторга. А потом, стараниями семьи, Малькевич получил эмигрантский паспорт.

В 1885 году мы встретились в чешских Теплицах. Рассказав своё приключение, Малькевич подвёл итог:

– Плохо нам, Полякам, на каторге, плохо в войсках, не лучше на поселении, и всё же... никому бы не посоветовал бежать из Сибири... Такая игра идёт по самой высокой ставке: на жизнь...

СУАНГО

Работа с *алебастром* считалась одной из лучших и самой лёгких из тех, на которой в омском остроге¹³ использовали нас, каторжан, так называемых *чернорабочих*, то есть не обученных никакому ремеслу.

Алебастр состоял в ведении инженерного отдела. А инженеры, как люди более или менее образованные и культурные, были доброжелательны к политическим преступникам, особенно к шляхте. Поэтому нас, Поляков, и писателя Фёдора Достоевского, постоянно использовали на работах с *алебастром*.

На самом берегу Иртыша, в помещении, построенном для этой цели, мы обжигали и толкли алебастр под надзором опытного в этом деле работника, Андрея Алмазова.

При разжигании огня, загрузке печи и выгрузке из неё обожжённого алебастра было достаточно мороки и каждый из нас заданную работу выполнял молча. Как только обожжённый алебастр пересыпали в ящики, каждый хватал свой ящик и молот и тут уже при разбивании алебастровых глыб начинались разговоры.

Между нами и Федором Достоевским разговоры всегда носили политический характер. Начинали спокойно с обмена мнений по вопросам более или менее безразличным для нас и для него, но очень скоро переходили к острой политике не на шутку, потом и к страстным спорам. Слова, быстрые, как пули, летели под аккомпанемент молодецких ударов молотов, из-под которых неслась пыль и реяла в воздухе, наполняя всё помещение будто миллиардами белых, блестящих крылатых насекомых.

При подобных запальчивых схватках, при бурлении крови и возбуждённых нервов, мы лупили молотами с таким размахом,

что наш инструктор и дозорный Андрей Алмазов, неплохой человек, кричал:

– Легче! *Ребята!* Легче!

И часто предлагал нам отдых раньше положенного времени. Мы тотчас же бросали молоты, прерывали споры и, зимой и летом, выходили перед сараем.

Ибо в любой поре там и воздух был чистый, и полная тишина, которая при всегдашних суматохе и шуме, царящих в нашем остроге, действовали на нас успокаивающе.

На другом берегу Иртыша, на протяжении 1500 вёрст, пролегла степь, пестревшая только редкими юртами кочующих киргизов.

С каким восторгом глаза наши, утомлённые однообразием и теснотой тюрьмы, свободно блуждали по этим просторам, зимой ослепляющим белизной, но унылым, а летом вызолоченным солнечными лучами.

К воле, свободе, движению, к жизни стремились наши сердца, туда, где глаза улавливали высоко парящих *карагашей*¹⁴.

– Пора на обед! Время! – из чудного края мечтаний на безрадостную землю изгнания и казней вырвал нас голос Алмазова, который, хотя и простак, но чувства наши, очевидно, угадывал, поскольку, глядя на нас, кивал головой и одновременно насмешливо и сочувственно шептал:

– На воле вы жить не умели, а теперь вам мучительно! Ой, вы, пань... безумцы!...

Иногда на каком-нибудь перекрёстке дороги мы встречались с другой партией, возвращающихся с работы каторжников, которые приветствовали нас насмешливым окриком:

– Как работалось, *алебастровые?*

И так, бряцая кандалами, более ста человек тесной ватагой, под конвоем солдат с заряжённым оружием, возвращались в Омск.

Мы же, *алебастровые*, чаще всего возвращались только с Алмазовым и одним конвойным солдатом.

Как-то в слякотный и холодный осенний день в наш сарай вошёл пёс. Несмело остановился у ворот и, поскуливая, сообщил о своём присутствии, которое мы, увлечённые каким-то политическим спором, заметили только когда Алмазов из-за печи, около которой грелся, потревоженный страшными ударами молотов, сказал своё обычное:

– Легче! *Ребята!* Легче!

Федор Достоевский, который очень любил животных, ещё опечаленный трагичной участью своего воспитанника и любимца Кульятки, первым увидел гостя и ласково его подозвал.

Пёс приблизился к нам.

Он был страшно худой, под мокрой, взлохмаченной шерстью неопределённого цвета торчали кости. Видимо, он очень ослаб. С трудом передвигал ноги, скорее полз, чем шёл. Когда Достоевский его приласкал, он прижался к его коленам и взвизгнул от радости.

Обычно мы брали с собой запас хлеба, потому что при коротких днях не возвращались на обед в острог. Так что было чем накормить четверолапого гостя. Достоевский напоил его из какого-то черепка, причём совершенно освоившийся пёс зарылся в охапку соломы, брошенной в конце сарая, и там и заночевал. И с молчаливого согласия Андрея Алмазова, пока мы работали на алебастре, собака оставалась жить в сарае.

Мы питались за свой счёт (фунт мяса в Омске в наше время стоил зимой один грош, а летом три гроша, причём *кашевары* за 30 копеек в месяц готовили нам очень неплохую еду), так что приبلудной собаке мяса хватало. Кормили мы её сытно, «сколько влезет», и шерсть у пса стала пушистой, мягкой, шелковистой, блестящей, цвета, похожего на лисий мех, – пёс был на диво красивым и на диво умным. Мы все его любили, особенно я, поскольку статью, мастью и разумностью необычайно напоминал мне Загряя из моего родительского дома.

Не раз пёс сидел на земле, я – рядом, обнимая его за шею и, крепко прильнув губами к его мохнатой шерсти, скрывал таким образом рыдания, чтоб они не вырвались у меня в голос.

Я уверен, что приبلудный пёс отличал меня особо среди других, потому что, когда я нарочно прятался, он обеспокоено бегал и искал меня среди моих товарищей. Навстречу ко мне выбегал, радостно повизгивая, поднимался и опирался передними лапами в грудь, и готов был облизывать мне лицо. Но я ему не позволял и тихонько отодвигал, тогда он принимался языком тереть мою сермягу с явным увлечением, умильно глядя мне в глаза и помахивая хвостом от удовольствия.

Нашего безымянного приبلудного приятеля мы прозвали Суанго, потому что, если Алмазов на него прикрикнет, он всегда прятался в закутке под углом сарая. Угол, уголок, *ангул*, под углом, – от такой сильно притянутой этимологии Суанго и получил своё имя.

Но что делать с Суанго, когда нас переведут на другие работы и сарай с алебастром закроют...

Этот вопрос был предметом наших оживлённых и даже бурных обсуждений. Свидетелем и слушателем этих совещаний бывал Фёдор Достоевский, ибо уважая его присутствие, мы всегда говорили по-русски. Алмазов раз за разом сыпал табак из рога, пыхтел короткой трубкой и, кивая головой и усмехаясь, то ли насмешливо, то ли сочувственно, и глядя на нас, вполголоса заговорил:

– Ой, паны, паны! – и шёпотом договаривал:

– Дурни вы, паны, глупые, глупые!

Наконец, мы сошлись на том, что Суанго ввести в крепость нельзя, потому что там он недолго мог погибнуть мучительной смертью.

Каторжник Неустроев, по профессии сапожник, всегда получал заказы на месте. Чтобы производство обходилось возможно дешевле, он придумал способ добывать исходное сырьё для изделий, заказанных неприхотливыми клиентами: ловил собак, вешал, обдирал шкуру, которую дубил, а трупы выбрасывал в огромную яму, что находилась в углу, под остроколом нашего острога. Эту яму очень редко опорожняли, и поскольку в неё сбрасывали всякие отходы и нечистоты, то летом из этого «накопителя» исходила невыносимая вонь.

Часто владельцы пропавших собак, особенно породистых, обращались к дежурному офицеру с жалобами на «собаколова» Неустроева.

Тот сразу же становился в позу невиновного и незаслуженно оскорблённого.

– Я шкурки купил у Саломонки, *жида паршивого*, – отвечал, – пусть подтвердят: братан Матфея, Гаврилка, братан Арефьев, – и перечислял сто *братанов*, готовых в любое время при каждом обвинении свидетельствовать в пользу Неустроева. А Саломонка, в самом деле, занимался торговлей краденым, причём он был в постоянных разъездах, так что призвать его на очную ставку с

обвиняемым было почти невозможно и Неустроеву всегда удавалось оправдаться от всех предъявленных обвинений.

От рук Неустроева погиб также Кульпяк Фёдора Достоевского, который тоже настойчиво возражал против «внедрения» Суанго в крепость. Вслед за ним мы постановили, что до участи нашего четвероногого приятеля, то в крепость мы его не приведём.

А тем временем, как это часто встречается в Омске, расшалился *буран*, который трое суток подряд сносил крепкие каменные постройки, как карточные домики, повырывал с корнем деревья, истребил сады, улицы закидал горами снега, так что дома буквально были засыпаны.

Город выглядел, как вымерший, снесённый с поверхности земли. У кого в кладовых не было запасов, должен был сидеть голодом. Как только снежная буря перетихла и показался первый погожий день, целая ватага каторжников из острога отправилась в город.

Вооружённые лопатами, совками и кайлами, мы должны были исправлять повреждения, нанесённые разгулявшимся *бураном*.

Сперва кирками разбивали ледяные горы и смёрзшиеся насыпи снега, расчищая дорогу саням, а потом совками грузили лёд и глыбы на эти сани, после чего откапывали дома, покрытые белым снежным саваном.

Это была кровавая работа, тем более, что дозорные постоянно выкрикивали:

– Скорее, ребята! Скорее, – и чтобы заставить нас поспешать, размахивали нагайками над нашими головами.

Поистине, можно было ошалеть от этого крика дозорных при посвисте нагаек и проклятиях доведённых до предела каторжников...

Уже в сумерки мы вернулись в острог после этой работы, превышающей всякие человеческие силы. Когда я вошёл в кухню, за столом уже расселись каторжане, в шапках и коротких кожаных. Некоторые из деревянных кубков пили квас, заедая хлебом. Озябшие, голодные, после целодневного поста, все думали лишь о горячей еде, кричали и бранили неторопливых кухарей.

Меня точно сбили с ног горячий пар, противный запах квашеной капусты и жира... В глазах у меня вдруг потемнело. Силы покинули меня и, потеряв сознание, я рухнул на пол.

После тяжёлого и долгого воспаления лёгких, я медленно приходил в себя в больнице омского острога в палате для выздоравливающих.

Из 2557 дней, пережитых в омском остроге, те, что я провёл в больнице, были единственно спокойными, и по сравнению с другими, – хорошими днями. Я роскошествовал, вдыхая чистый воздух большой и опрятно содержащейся комнаты, я наслаждался относительной свободой. Вскоре после короткого зимнего дня, в сумерки в больнице не слышно было никакого движения. Сибирь, Омск, всё исчезло перед моими сонными глазами, и вдруг показалось, что я отдыхаю среди своих под крышей родного дома.

Стократ благословенно будь такое заблуждение!

Но вдруг из какого-то угла избы долетает вздох... стон... кто-то двинулся на топчане... бряцают кандалы... прекрасное заблуждение рассеялось... с возвращением осознания действительности, в душе поднимается бурный протест, бунт против искорёженной моей судьбы.

«Христос, укрепи меня!... Христос, не оставляй меня!... Христос, благослови мою землю, мой дом и всех справедливых людей!...»

Это старичок, старовер, человек удивительно благожелательный и учтивый, которому мы все искренне благоволили, молится так горячо.

– ... Христос, укрепи меня!... Христос, благослови мою землю... – повторяю и я за ним, повторяю бесчётно и, наконец, успокоенный и смирившийся, погружаюсь в глубокий, крепкий сон...

Скоро утро, мы ожидаем посещения врача.

Молодой доктор Борис (не могу простить себе, что фамилия его стёрлась в моей памяти) вообще всех политических преступников и особенно меня тщательно осматривал. Он принёс мне то крепкое вино, то какую-нибудь вкусную и питательную еду. Чтобы не вызывать зависть у других выздоравливающих, говорил:

– Не худой заработок получил пан за расписывание комнат!... Вот как щедро платят за талант! Могу доказать: из этих денег, что лежат для вас в канцелярии плац-майора, писарь Дягилев выдаёт мне субсидии на еду и напитки для Шимона Себастьяновича!

Потому что вам, пан, нужно окрепнуть и скорей браться за работу. Казна много тратит на каждую пару рабочих рук!

Импровизируя таким образом, доктор Борис заговорщически усмехается и пожимает мне руку.

Но куда больше чем подарки ценил я беседы с Борисом.

Мы разговаривали по-французски.

Он спрашивал меня об участии Поляков в заговоре декабристов, о движении, за которое я оказался осуждён. Бывал он также желанным посланцем от братьев-изгнанников и как-то, посмеиваясь, сообщил мне, что безопасность для Суанго обеспечена, так как Достоевский провёл переговоры с Неустроевым, и тот, получив два рубля, словом каторжника поклялся никогда не посягать на жизнь нашего четвероногого любимца.

Как-то в необычной спешке, закутанный в мех, забежал в нашу комнату Борис.

– На секунду заскочил к вам, – обратился ко мне, – из канцелярии губернатора сообщили, что в казачьей станице появилась какая-то очень заразная болезнь, и губернатор Его *Светлость* князь Горчаков, велел мне сейчас же отправиться туда. Уезжаю на всю ночь... Вернусь, наверное, завтра, а, может, и через три-четыре дня... Сто сорок вёрст, дорога скользкая, мерзкая, а больных, похоже, целая толпа...

– Но, но, что это я! – продолжил Борис. – Я был также в канцелярии плац-майора и писарь Дягилев поручил мне передать вам вот это... – и подал запечатанный конверт. – Антоныч услужит и купит, что вам понадобится... В общем, в моём отсутствии постарайтесь держаться. Ну! Будьте здоровы! До свиданья, ребятишки!

– Низко кланяемся Вашему Высокоблагородию. Счастливого пути! – кричали выздоравливающие.

Около меня лежал уже выздоравливающий каторжник Ломов. Силач, заводила, огромный детина, о котором в остроге говорили, что он в любую минуту готов убить человека, если бы ценою такого убийства мог купить себе водки.

Когда доктор Борис уже вышел, я распечатал конверт. В нём было три рубля! Я вновь вложил их в конверт и спрятал его под подушку.

Пока я этим занимался, заметил в глазах Ломова какой-то опасный блеск... который тут же погас, но каторжник внимательно

следил за каждым моим движением, и вдруг спросил меня о здоровье. Вежливо, но коротко я ответил ему, чрезвычайно удивлённый, что Ломов продолжает попытку продлить разговор со мной, и по моему разумению, не мог найти для того объяснения. Каторжники-бродяги к политическим преступникам, а особенно к нам, Полякам, обращались очень редко, а если и обращались, то с издёвкой, что мы, шляхта, теперь лишены дворянства и «приравнены к мужикам». Но притом заигрывания Ломова я пытался объяснить тем, что, увидев у меня какие-то деньги, он надеется выудить сколько-нибудь на выпивку, или одолжить, разумеется, безвозвратно.

Для себя я решил, что откуплюсь тем или другим, или же и угощением, и «одолжением», если он спросит.

С таким решением и уснул.

Среди ночи будит меня крик... И одновременно впечатление, что около моего лица, углублённого в мягкую подушку, просунулась тяжёлая косматая звериная лапа...

Я протёр глаза, сел на постели и при слабом свете подвешенной к потолку лампы увидел старика-старовера, стоящего посреди комнаты.

– Пятая заповедь Божья: «Не убий!».

– Седьмая заповедь Божья: «Не кради!» – кричал старик, и голос его, обычно тихий, с мягкой, напевной интонацией, теперь гремел сурово и даже грозно.

Ломов же лежал на своём топчане, вытянувшись. Огромное его тело вырисовывалось под лёгким одеялом. Мускулистые руки он подложил под мохнатую голову, косматая грудь дышала быстро... Он притворялся, что спит, и не дрогнул, хотя старовер от середины комнаты подошёл к нему, и около его изголовья повторял: «Не убий!», «Не укради!».

Удивительно, что Ломов вообще не прогнал слабого старичка, может, от того, что другие выздоравливающие, тоже пробудившись, начали двигаться на своих постелях и с подозрением и любопытством вглядывались в нашу сторону.

После этой сцены я уже не мог заснуть, о чём, впрочем, на следующий день не поминал вслух. Но по комнате кружили тихие шёпотки, глухие бурчания, и недоброжелательные взгляды направлены были на меня.

Антоныч, бывший каторжник, всё время около меня крутился, предлагал разные услуги и «пойти за покупками».

Я за всё благодарил. Прошлая ночь в высшей степени расстроила мои нервы, а притом ещё поступило известие, что в казачьей *станции* сильно распространилась болезнь, и что доктор Борис вернётся не скоро.

Начальство велело заменить отсутствующего лекаря в тюремной больнице фельдшером. Назначенный плац-майором, фельдшер вступил с большим апломбом, шумом и торжественностью, красный и надутый, как индюк, он, бывший каторжник, клеймённый по обеим щекам, разыгрывал из себя лекаря.

Криминальные преступники вообще считали острог чем-то вроде клуба, а каторжников – товарищами, всегда готовыми к «драке и выпивке», а также к содействию в побеге, лишь бы сил хватило. Бывших и нынешних каторжников связывала некая симпатия, а также соучастие в преступлениях. Клички *братан*, *наш брат*, которыми они именовали себя, не были, на самом деле, пустыми словами.

И так между фельдшером, Ломовым и служкой Антонычем сразу же возникло взаимопонимание.

Когда фельдшер вместе с Антонычем обошёл все кровати, с комичной важностью предписывая больным их обычные лекарства, мой сосед Ломов поднялся со своего топчана. И эти трое, достойные друг друга товарищи, удалились в глубокую фрамугу, в самом конце комнаты, заслонённую огромной печью. Там они долго шептались, спорили, временами посмеиваясь и, наконец, ударили по рукам, как купцы, закончившие торг или взаимовыгодный договор.

Расстались они в весёлом расположении духа, приговаривая:

– В равных долях! В равных долях!

Тяжёлая, угнетающая атмосфера повисла в комнате выздоравливающих.

Старовер тихо молился, но всякий раз грозно повторял:

– Не убий!... Не укради!

Как бы в ответ на это, Ломов сплюнул сквозь зубы в сторону старовера и, намекая на маленький рост старичка, кинул: «*Собачий огрызок!*» – чем рассмешил всю комнату.

На ужин из кухни прислали овсяную кашу. Мне же Антоныч особо принёс молока.

Когда я брал от него мисочку, то заметил, что хмурый Ломов вперил меня пронзительный взгляд. Я приписал это его желанию, чтобы я поделился с ним молоком.

– А вот и нет! Нет! – думал я. – Всё до последней капельки съём сам.

В эту минуту скрипнула дверь... Я услышал лёгкое и быстрое топотание по полу... Потом радостное взвизгивание... Это Суанго, пренебрегая запретами, проскользнул через приоткрытую дверь в комнату, вскочил на мою постель, выбив у меня из рук мисочку... Фонтан белых капель обрызгал меня и всё моё ложе... А Суанго, которого я обнимал и целовал, радостно поскуливал, лизал моё лицо, шею и руки, слизывал молоко и лакал... А Ломов смотрел на эту сцену, нахмутив брови, со скрежетом зубовым, всё более мрачнее и беспокоясь.

Вошёл Антоныч. Увидев лежащие на полу осколки мисочки, крикнул, одной рукой схватил Суанго за шкурку, кулаком другой ударил красивую, умную голову собаки, вынес его, швырнул на землю и немилосердно бил... У выхода из сеней на территории больницы лежал Суанго, жалобно воя...

Я хотел выбежать на помощь своему любимцу, но силы покинули меня и я упал без сознания.

– Бедный Суанго! Бедный, дорогой Суанго!

Меня охватила дрожь и горячка...

Старовер всю ночь клал мне мокрые лоскуты на горячую голову.

Около меня Ломов храпел как вол, а я непрерывно стонал и звал:

– Суанго! Суанго! Суанго!

Когда Борис возвратился, он спросил меня, что могло так подействовать на ухудшение моего здоровья и вызвать такое страшное расстройство нервов. Я ответил:

– Суанго!

– Ах! – вздохнул Борис. – Кто же пану рассказал?

– Что, Неустроев? – обеспокоено спросил я.

– Где там! Неустроев сдержал слово...

– Тогда что?

– Суанго после моего выезда... перестал жить, – уважительно сказал Борис, не желая из деликатности и учитывая мою сильнейшую привязанность к Суанго, просто сказать: сдох. Старичок-старовер вышел из своего уголка и по-прежнему мелодичным голосом сказал мне и Борису:

– Видите, молодые люди? Часто Наивысшая Сила при желании отворотить смерть человека справедливого всегда спасёт.

Ломов поднялся на постели, опираясь на локти, и показал свои тяжёлые стиснутые кулаки, как бы готовясь к драке...

В эту минуту подбитые гвоздями чеботы тяжело застучали по полу.

Вошёл служка Антоныч.

Увидев, что доктор Борис, старовер и я доверительно разговариваем, обернулся и исчез...

Исчез из больницы, исчез из города, из окрестностей Омска; никто и нигде не слышал больше об обслуживающем больницу Антоныче.

Но по городу и в остроге среди каторжан поплыли и долго не утихали слухи, что Антоныч в стоворе с фельдшером и Ломовым решили меня отравить, чтобы присвоить себе те три рубля, которые Ломов, благодаря чуткости старовера, не успел у меня украсть ночью из-под подушки.

Фельдшер достал им яд...

За отсутствием лекаря он написал бы свидетельство о моей естественной смерти. А Суанго помешал этим бандитским планам.

ВИДЕНИЕ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ?

Ещё не было случая, чтобы кому-нибудь удавалось закончить какую-нибудь торговую сделку с китайцем Чим-Ханем, богатым Минусинским купцом. Уже со всех сторон были оговорены обоюдные интересы, уже зафиксированы двумя писарями, русским и китайцем, все пункты договорённости, уже не хватало всего лишь печати и подписи... Купец совершенно спокойно выходит... Проходит полчаса, проходит больше часа – китайца не видать...

Вдруг влетает взволнованный, с горящими глазами, и выразительными жестами, и на ломаном российском языке кричит:

– Мой высокоуважаемый гость и очень добрый друг, чужеземец-Поляк, ничего не знает? Ничего?... А вот пришло известие, что Тай-Пинги¹⁵ уничтожили чайные плантации... О! уничтожили плантации во всей Поднебесной Империи. И все деньги Чим-Ханя убежали из его рук, как вода утекает сквозь пальцы... Чим-Хань теперь нищий... Должен жить в лодке, что плавает по Янцзы-Киангу... А чай вздорожал! Я уже не могу продать его по той цене, на которой остановились вчера!

Начинаются новые торги. После парочки дней споров, бесплодных разговоров и стонов Чим-Ханя составляется новый договор, возникают новые возражения, и слышатся вскрики:

– Уважаемый чужеземец! Мой приятель-Поляк! Знаешь?... Гонец специально привёз свежую новость: ваш пресветлейший царь договорился с нашим Богдыханом... Конечно, как водится между королями... Их дело! Но наш Богдыхан ни одного каравана в Россию не пустит... Чай намного, очень намного подорожал... Я уже не могу его продать по такой цене...

Наконец, после долгих выражей, заверен Чим-Ханем контракт о доставке чая, достаточно выгодный для моего хозяина Светилкина, и в конце декабря мы выезжаем из Минусинска.

Тройка прекрасных, резвых коней легко и быстро уносит наши обледеневшие сани. При сильном морозе, моей дороге сопутствовала великолепная погода. Чистый, ослепительно-белый снег. Широкая объезженная дорога блестела как полированное серебро. На придорожьях, на мягких снегах, читались, словно причудливые арабески, тропы крупного зверя и лёгких птичьих лапок. Солнечные закаты и ранние зори зажигали на бледно-голубом небе отблески сверкающих, золотистых изменчивых красок.

В деревнях, нередких и богатых, при часто используемой дороге, кормёжка и ночлеги были очень дешёвы. Далёкая дорога быстро и благополучно подходила к концу.

Как-то, когда, согласно намеченному маршруту, мы собирались на ночлег, солнце закатилось, и сразу же, освещённые лучами облака погасли. С севера набегали густые завалы тяжёлых клубящихся туч, оловянного света, что затянули горизонт со всех

сторон. Потом из них начали сыпаться пушистые пласты снега, которые сразу сотворили на дороге высокие рвы и крутые склоны. Тихий шёпот ветра сменил резкий свист вихря. Нас охватила темень, сотканная из густой мглы и снегопада. Кони летели, как стрелы, снег, взвихренный их копытами, больно сыпал нам в лицо, и одновременно хлестали нас тяжёлыми заледенелыми комьями.

Возница тунгус повернулся ко мне и сказал:

– Мы сбились с пути! Не понимаю, когда и как это случилось?... Я хорошо знаю эти околицы, здесь при главной дороге нигде нет бора, а мы уже долго едем через бор. Заблудились мы, на веки веков, аминь!... И что теперь делать, господин?

– Ехать дальше, парень! Доверимся инстинкту коней. Всё равно они выведут нас до какого-нибудь людского жилья.

– А если понесут наугад, в тайгу, к глубоким рвам, к быстрым рекам, к тундре?

– Что пугаться раньше времени, дорогой мой Тагиж? Тундры и реки сейчас отвердели от льда крепче железа.

– Овраги и пропасти, хоть снегом и засыпаны, а всё равно глубокие.

– На то Воля Божья!

– Во веки веков, аминь!... Только... Ой! Господин, вижу я, худо нам!

– Перекрестись, мой Тагиж, и – вперёд!

Тунгус набожно перекрестился, чмокнул по-сибирски, закричал на коней: «Гу-гу! У! идите! Летите!», но весь этот переполох не помог, кони всё более замедляли бег, закручивая хвосты и гривы невообразимыми узлами и, как бы упираясь лбом в невидимый пень.

Впрочем, из бора нам всё-таки удалось выбраться в степь.

Буря распалась всё грознее. Вихрь поднимал груды снега, которые вертелись в воздухе, как морские волны, а спадая внезапно, засыпали нас снежными завалами, что тут же превращались в твёрдую и тяжёлую скорлупу. Отважные кони грудью пробивались через этот снежный океан и постоянно на ощупь, то погружались в волны снега, то выскакивали из снежных намётов. Сани двигались всё медленнее, всё тяжелее... Вдруг дышло застряло в какой-то твёрдой преграде, которая притом сразу же отодвинулась...

Рысаки рванули, что есть силы... Сани проскользили по чему-то твёрдому и остановились, как вкопанные. Кони начали брыкаться, радостно ржать, бряцать упряжью, топтать копытами во что-то твёрдое.

Снег перестал засыпать нас. Очевидно, мы напали на какое-то строение, крыша и стены которого буря заледенила.

Когда мы с большим трудом сумели стрясти с себя ледяной покров, выбраться из саней и зажечь восковую свечку в фонаре, оказалось, что мы в *балагане*, который во время летнего сенокоса служил людям и коням. В этом большом сарае мы нашли большую печь, *нарты*, а также ясли; рядом – вёдра из берёзовой коры и поленница мелко порубленного дерева.

Мы принялись хозяйничать, кони встали около ясель, полных овса и сена, которые мы выгрузили из саней вместе с запасами еды. В печи ярко горел и весело потрескивал огонь. В медном котелке и таком же ибрике таял чистейший снег для чая. При сильном огне и накрепко закрытых воротах, в сарае царила тёплая, уютная домашняя атмосфера.

– Видишь, Тагир, – весело напомнил я вознице, который дремал в уголке около печи, – видишь, Всевышний спас нас от гибели.

– Во веки веков, аминь! У меня сердце подскочило к горлу! – стонал тунгус.

– Что это ты, парень, зябнешь? Подожди! Сейчас заварим чай, напьёшься сладенького чая и с *огнём*¹⁶. А чай закусим жареной олениной и *сайкой*.

Но мысль о любимых яствах никакого впечатления на парня не произвела. Он стонал и постоянно, то шёпотом, то в голос, повторял:

– Сердце выскочило у меня до горла, во веки веков, аминь!

Вдруг он вскочил, вытянулся, как струна и испуганно крикнул:

– Идёт! Уже идёт по миру!

– Кто идёт? – удивлённо спросил я.

– *Бабуля*¹⁷ в красной русской рубахе идёт. *Буран* ведёт её за руку... Господин! Запирай ворота, запирай, во веки веков, аминь!

Он рухнул на пол, разбрасывая руки и ноги, словно обороняясь от чьего-то нападения.

Бедолага! Видно, из-за недавно пережитых тяжёлых впечатлений, какие на нас свалились, он впал в нервное расстройство.

Я снял с него промокшую одежду, одел сухой *азям*¹⁸ и *торбасы*¹⁹. Уложил на подстеленные олени шкуры. Отогретый и напоенный чаем с *огнём*, парень уснул крепким, бодрящим сном, но всё-таки бормоча молитвы, бессмысленно переплетающие заветы христианства, ярим почитателем которого он был, и легенды шаманизма, которому недавно поклонялся.

Тем временем ураган утих, снегопад прекратился, тучи уплыли далеко, на голубовато-серебристом небе местами, мигая, мелькали звёздочки. Запас дров у нас полностью закончился, последние щепки тлели на поленьях.

Тревога охватила меня, что с нами станет дальше? А особенно если Тагир расхворается всерьёз, как я сам управлюсь в этой пуще? Тагиров инстинкт кочевников привёл бы нас к людскому жилью. Ну! Что делать! Сам пойду в разведку.

Своё намерение я решил исполнить во что бы то ни стало.

Одел медвежью *кухлянку*²⁰, огромную медвежью шапку, такие же рукавицы, за пояс засунул пистолет, в руки взял железный прут; компас, кресало, губку, фонарь, немножко рому во флаконе. Связал коням ноги, чтоб не убежали, если что-то их напугает, потеплее укрыл мехом Тагира и, накрепко заперев ворота, отправился в путь.

* * *

Над околицей повисла прозрачная мгла аметистового цвета... При бледном свете нового месяца и звёзд вдали маячили чёрные силуэты строений, округлых у основания и с заострёнными верхушками.

– Наверное, юрты киргизов или татар, – подумал я, а по опыту мне было известно гостеприимство этих кочевников, так что, обрадованный, я живо подался к мнимым *юртам*, которые оказались – стогами сена...

Я был чуть ли не в отчаянии, такое это оказалось разочарование.

Старательно огороженные стоги сена говорили о близости людского селения.

– Кураж, сибирский Робинзон! – рассмеялся я и вполголоса замурлыкал какую-то песенку, веря в предположенный мной объект моих поисков, пошёл далее.

В степи царит тишина, прерываемая только хрустом снега под моими шагами.

Иду вперёд прямо перед собой довольно долго и, наконец, во мгле замечаю нечто, вроде мраморной колонны, усеянной рубинами и золотом. Колонна, широкая у основания, кверху делается всё легче и легче, так что её верхушка развевается в виде множества пёрышек...

Долго и внимательно вглядываюсь в эту колонну. И...

– Дым! Дым! – кричу, счастливый, не задумываясь, что этот сноп дыма может идти от печи какой-нибудь крестьянской *заулки*, или костра, разожжённого *бродягами*. Радость придаёт мне сил... Иду дальше...

Вдруг поднялся ветер. Как театральную декорацию, рассеял мглу передо мной и открыл пригорок с двумя строениями.

На втором плане дом... Из окон виден лунный свет... На первом плане – длинное высокое четырёхугольное помещение без окон со стенами из неотёсанных бревён. Большие ворота распахнуты настежь. Внутри в печи толстые поленья то вспыхивают, то гаснут, образуя фантастическое освещение, то ослепительно яркое, то погружающееся во мрак...

Я встал перед воротами, пытаюсь сообразить, куда я попал. Куда и к кому привела меня добрая или злая участь?... Тихонько подвинулся в тень... Напрягаю зрение и вижу... Перед открытыми воротами на досках, поставленных на козлы, лежит нагая... ну, совершенно нагая женщина... молодая, высокая, свежая, с чудной фигурой, которую скульптор великолепно отобразил бы в мраморе. Светлые волосы длинными прядями спускаются до пола; женщину прикрывала, тесно облекая нагое тело, серебряная сетка, усеянная множеством мелких и крупных бриллиантов, которые искрились и переливались всеми цветами радуги. И в волосах женщины тоже блестели и играли бриллианты, когда в печи вдруг вспыхивало яркое пламя.

Что это?... Что это?...

Слышу тяжёлую поступь нескольких человек в обуви, подбитой грубыми гвоздями... Слышу гром и треск, будто кто-то бросил на каменный пол огромную глыбу льда... Слышу хриплый простонародный говор:

– Вот же тебе, чёрт *поганый!*

Другой голос:

– В тёплой избе на мягких коврах отлёживаются, сукины сыны, а ты, человек, сиди в ледниковом сарае и нюхай вонь!

Голос третий кого-то передразнивает:

– Две тrefы... Три черви! *Господа! Неверный счёт!*

Голос четвёртый:

– За картами чай с *огнём* лакают. Вино сглотнули, а для нашего брата и горилки не найдётся.

Несколько голосов затягивают:

*На вахту солдат стал,
Бедняге водки никто не дал...*

Песня затихает, прерванная чавканьем «певцов».

... Что это?... Куда я попал?... Повсюду – угроза... Но эта угроза как бы источает необычайную силу, что меня приковала к воротам, и не позволяет отойти, оторвать взор, и велит смотреть... смотреть... смотреть... Несколько мужиков в кожных шапках подходят к огню. Один из них отходит от остальных, приближается к лежащей на досках женщине, косматой лапой хватает её за нежное плечо... трясёт...

– Прошу ко мне, сердце!

Эти слова, смех и похотливые шутки, что вырываются из горла...

– Мерзость! Мерзость!... – всей силой заставляю себя не закричать... Убегаю...

* * *

Как, каким образом я попал в наш сарай, я никак не мог бы объяснить.

– Ой, господин! Во веки веков, аминь! Как же я волновался, чтобы *буран* не унёс господина... И не знал, что делать, где господина искать. Я так испугался, что сердце у меня выскочило в горло, – радостно приветствовал меня Тагир, уже совершенно здоровый и весёлый, как всегда. В печи вода кипела в котелке, кони накормлены и сани готовы в дорогу. День задался очень удачно.

Парень снова спросил:

– И где господин был? Откуда вернулся?

– Кабы я сам знал, – отвечал, – где был и откуда вернулся.

– Во веки веков, аминь! – кричит Тагир и удивлённо на меня смотрит.

Тут же понимаю, что, очевидно, по неизвестным мне причинам, передо мной возникло какое-то адское виденье, о котором я не мог рассказать суеверному Тагиру... Так что всё, что сказал, обратил в шутку.

Двинулись в путь. До Омска оставалось 150 вёрст, которые мы проехали без всяких происшествий.

С этой ночи воспоминание того, что было либо адским видением, либо действительностью, не покидало меня ни на минуту. Я никому ничего не говорил, боясь, что меня посчитают сумасшедшим. Я утратил юмор, аппетит, сон. Стал молчаливым, апатичным, раздражительным. Мой начальник Светилкин настаивал, чтобы я показался лекарю в Омске, что я, в конце концов, и сделал.

– Дорогой мой пан, – обратился я к милому мне доктору Борису, – я пришёл к вам за врачебным советом. Но обстоятельства, что вызвали мою болезнь, так необычны, что вы должны выслушать длинный рассказ!

– Я весь внимание и любопытство!

– А нас никто не подслушает?

Борис выпроводил прислужника в город, запер двери на ключ, усадил меня в удобное кресло, сам сел напротив меня и сказал:

– Слушаю, дорогой пан.

– Скажи мне, доктор, – начал я, – может ли привидение или какое-нибудь другое явление подобного рода, какая-нибудь галлюцинация так глубоко врезаться в душу человека, что он примет её за действительность?

– Это именно и случается в минуты большого возбуждения, сильного напряжения нервов.

Поскольку уже известно, что я увидел в этом таинственном строении в степи, и что так глубоко осело в моей памяти, я очень подробно всё рассказал и закончил вопросом:

– Итак, это было на самом деле видение?

– Это была сама действительность, – спокойно ответил Борис. – Позвольте сигару, пан? Пожалуйста. Сейчас я всё вам объясню. Да будет вам известно, что в наших краях случаются побеги, а часто и убийства. Потому невозможно на каждую весть об убийстве посылать следователя и лекаря, чтоб они ехали за сотни вёрст к месту преступления. Им не хватило бы ни сил, ни времени. Но, поскольку следствие и вскрытие должны быть проведены, а протокол написан, останки убитых и умерших не своей смертью складывают в специальные для того отведённые помещения. Чобы трупы не разложились, их держат в ледниках. Когда набирается много останков, тогда съезжаются: следователь, врач и фельдшер. Перед вскрытием нанимают мужиков, чтобы вынести трупы из ледников, – им надо сперва отмерзнуть в тёплой избе. Очевидно, вы оказались свидетелем именно этого момента оттаивания перед вскрытием. Могу вам даже рассказать, кто была эта женщина. Она была убита за пределами Омска при загадочных обстоятельствах – некая известная местная красотка... Но, если я не ошибаюсь, пана красивые женщины ведь не интересуют?

– Местные – нет!

– Согласен! Но – к делу! Та серебряная сетка на останках Наташи – просто иней. Бриллианты – кристаллы льда. В том соседнем освещённом доме врач и фельдшер, которые коротали время перед вскрытием. В самом деле, очень мерзко! Итак, знай, мой уважаемый пан и дорогой приятель, что увиденное тобой в степи никакая не галлюцинация, а действительность, обычная у нас. Не исключено, что ещё кто-нибудь столкнётся с ней в своих странствиях...

ДРУГ ИЗГНАННИКОВ («ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» В СИБИРИ)



то-то очень сильно тянет кольцо звонка у входных дверей. Старый звонок отзывается хриплым звоном так тревожно, что наша служанка Параскева роняет из рук тарелку, которую собиралась поставить в шкаф, топчется на месте, и, вереща, убегает на кухню.

Михаил Грушецкий и я бежим взглянуть, кто так бурно рвётся к нам. Отворяем.

В мой дом, на улице Большой в Иркутске, поспешным шагом вбегают иркутский пробст, ксёндз Кшиштоф Шверницкий, и, очень рассерженный, говорит:

– Ничего нет на почте... Я сейчас прямо оттуда. А вы – получили письма и газеты?

– Откуда же, добродетель вы наш, если их нет на почте?...

– И то правда!... Но ведь сейчас костёльный праздник, завтра воскресенье, а послезавтра концерт. По этой причине, видите ли, дорогие мои, почтальоны будут гулять где-нибудь по дорогам, пока во вторник не доберутся до Иркутска, и тысячей бредней станут оправдывать своё опоздание. Так считает почтмейстер.

– Так всё и будет, – соглашаемся мы, до глубины души огорчённые, что нас подводит надежда получить сегодня письма и нетерпеливо ожидаемые польские газеты.

Чем они были для нас, изгнанников, поймёт лишь тот, чьи мысли постоянно были прикованы к Отчизне, а судьба завела за тысячи миль от родной земли. Для меня, однако, и для многочисленной группы братьев-Поляков, самым близким по духу и убеждениям и самым желанным был *Иллюстрированный Еженедельник*.

Почему? Потому, что, несмотря на острую правку цензуры, *Иллюстрированный Еженедельник* в каждом номере рассказывал о Польше, притом таким образом, чтобы всё понятно было не только интеллигенции, но и любому простаку: он говорил гравюрами.

Во время моего повторного изгнания некий отброс от нашей общности измыслил всяческую клевету на наше прошлое, и на самое близкое, и на то далёкое, которое уже принадлежит истории... Грязью и издёвкой осквернил его... Орлиным белым крылом, но покрытым кровью, глумился и выставлял на общее посмешище тех, кто был на перепутье и отпугивал их от нужного пути.

Поэтому *Иллюстрированный Еженедельник* на своих страницах помещал образы наших героев, наших родственников, известных во всём мире. Помещал гравюры, представляющие исторические эпизоды из той эпохи, когда Она²¹ ещё носила корону, горностаи, и была одета в пурпур и золото... Таким образом, *Иллюстрированный Еженедельник* полемизировал без всяких слов с так называемой «молодёжью», то есть с теми, кто в те времена были ещё младенцами...

Итак, поскольку вместе с нами этот журнал читал народные святые, шёл с нами в ногу, приближал к нам Отчизну, дом, ежедневные происшествия, он стал для нас милым и дорогим изданием... И вслед за политическими каторжанами-Поляками он путешествовал от Урала до Камчатки, в течение ряда лет, от одного края Сибири до другого. Те, кого освобождали из мест наказания, оставляли его своим последователям, а те в свою очередь оставляли следующим за ними, и так продолжалась непрерывная цепочка...

– Михаил, – говорю Грушецкому после ухода ксёндза, – ты, случайно, не желаешь выехать за город?²²

– Допустим, что есть у меня такое желание, – ответил Грушецкий, – ну и что?

– Так ведь, дорогой мой, когда гора не идёт к Магомету, надо, чтобы Магомет пошёл к горе...

– Выражайся яснее, я не мастер разгадывать загадки...

– Это не загадка, а попросту я предлагаю выехать навстречу почтальонам.

– Согласен! Согласен! – с обычной своей живостью и решительностью вскрикнул Грушецкий.

– А ведь эти мародёры везут весь первый квартал *Иллюстрированного Еженедельника*, – вставила заинтригованная жена Грушецкого...

Наш выезд последовал так же быстро, как возник проект и решение.

Не назначаем точное время выезда. Гаврилко, знакомый *извозчик*, владелец хорошей лошади и удобной дрожки, шутовливо заверяет, что хоть до *матушки Москвы* довезёт нас *за три мига* и в столь же короткий срок вернёт обратно. Галопом минуем немощёные, от летней жары затвердевшие улицы столицы Восточной Сибири, одноэтажные дома из кедрового дерева, скудные огороды, сад для гуляния, громко названный *губернаторским*. И вот весь Иркутск исчезает из виду, вроде серой декорации, заслонённой пыльным туманом, поднятым копытами коня и колёсами дрожки. Едем по берегу Ангары.

Великолепная река течёт величественно. В её кристально прозрачных водах отражаются облачки, позолоченные и подкрашенные

пурпуром заходящего солнца. Отражаются также здания, царящие над Иркутском и околицей: белые монастыри, вершины колоколни и купола *Красной церкви* и с красными стенами и зелёным обрамлением окон, и другие церкви, украшенные столь же гармонично...

Вольные просторы, бескрайние горизонты в нас, изгнанниках, всегда будили мысли и настроения печальные и тоскливые, воспоминания прошлого, неисполнимые мечты о далёком завтра...

И наш *кучер*, всё время поворачивающий к нам конопатую голову и лицо, широко смеясь, пытается «зацепить» нас своими шутками, не чувствует ответного желанья поговорить и умолк, как и мы.

В это время на Ангару ниспадают золотистые и пурпурные полосы в фантастическом расположении, всё бледнее и легче, всё прозрачнее...

Пылающее небо потихоньку гаснет. Ветер легко будоражит воды реки своим дыханием, поднимая искристые волны. Солнечный шар западает за Иркутск и Ангару. Это пора, когда опускаются сероватые сумерки и уступают дорогу безлунной чёрной ночи...

И, как это часто бывает после жаркого дня, небеса разверзлись ливнем, при вспышках молний и канонаде грома.

Гаврилко непрестанно крестился, причём спрашивал:

– Куда едем?

– Поворачивай в город! – командует Грушецкий.

Возница безмолвно исполняет приказ. Взмахивает кнутом. Рысак прытко срывается с места.

Слышим треск, проклятье, вперемежку с воззваниями ко всем святым чудотворцам... Потом Гаврилко оборачивается к нам и объявляет:

– Дышло *совсем* сдохло!

Очевидно, мы не двинемся дальше ни на шаг.

Невесёлый ночлег предстоит нам в чистом поле под громом и ливнем, да ещё в окрестностях Иркутска, хотя и без лесов, но всё же далеко не безопасных.

В столице Восточной Сибири при 30 тысячах населения имеется более трёхсот *кабаков* и свободных торговцев, продающих горячительные напитки, пользуясь общим уважением. Почтовым

трактом, где нас захватила гроза, ночами по направлению к Европе движутся бродяги, беглые с каторги на Каре, из Нерчинска, из Усола и иных мест наказания. Встреча с ними сулит путникам весьма вероятную смерть...

Похоже на то, что нам может случиться именно такая встреча.

Сбоку, вдали от дороги, видно что-то вроде копен, из которых вспыхивает огонь. При свете кровавого зарева маячат какие-то фигуры, снуют непонятные тени... О! да их много, этих фигур и теней. Но на ярком фоне среди густой мглы тёмные силуэты вырисовываются слабо, так что невозможно узнать, кто они.

– Бродяги! *Козья мать их!* Я не трус, я под *Севастополем* был, я в *перестрелках* участвовал, в *англичан* стрелял, и не боялся. Но бродяги – это куда хуже! Я человек мыслящий... Иногда мне приходят на ум дельные мысли, – тихо причитает Гаврилко, и констатирует:

– Но сейчас я не знаю, что делать!

Мы, однако, уже сейчас представляем, что он сделал бы при встрече с бродягами. Сел бы на своего рысака и умчался бы в Иркутск. А в это время ливень превратился в мелкий дождик, а, вернее, в водяную пыль, которая всю ночь немилосердно нас хлещет.

От Иркутска и Ангары повеяло холодом, что предвещало приближение утра. Оно наступает лениво, но сразу же стряхивает с себя густую мглу, и дождевые тучи, рассеивает темноту, проясняет мрачные полутона, так что на земле и на реке наступает просветление.

О! как радостно мы встречаем это утро.

Огни в зарослях раkitника погасли... Издалека долетают какие-то шорохи, хлопанье воды, размеренный топот. Гаврилко уже схватился за гриву рысака, готовый на него вскочить. До нас доносится хоровое пение:

*На Кавказе храбро горца бил,
Меня, юнца, полевой суд судил,
Строго меня судили,
Но из армии не погнали,
Суд меня простил,
Милостивый суд!*

С такой песней, мелодия которой всё же лучше, чем гром при ливне, по дороге марширует солдатский отряд. За ним тащится почтовая *повозка*. Один из почтальонов кричит:

– Гаврилко, обормот! Славный же из тебя кучер! У коляски дышло сломал, на дороге, гладкой, как стол.

– Ты собственный нос береги, не тыкай в чужой! – огрызается Гаврилко.

Офицер, который возвращается с какой-то карательной экспедиции, рассказывает, что ночью со *своими людьми* встал на бивуак среди кустарников. Приглашает нас в свою кибитку и благополучно довозит до Иркутска.

Застаём жену Грушецкого в слезах и в волнении. Увидев, что мы без изъянов в добром здравии и весёлом настроении, выпутались из этого приключения, успокаивается, хотя она, отчасти, сама тоже нас подтолкнула на это путешествие, всё же сочла нужным нас отчитать:

– Поистине! Стыдно, что приличные люди с головами, припорошенными сединами, так легкомысленно рискуют своим здоровьем и жизнью, ради того, чтобы несколькими часами раньше прочитать газеты и журналы. Это непростительно!

– Но ведь пани, однако же, нас прощает, – говорю со всей покорностью.

– Должна простить! – смеётся пани Грушецкая, и через минутку робко спрашивает:

– А *Иллюстрированный Еженедельник* получили?

– А как же! За весь квартал!

Добавляю: вместе со всеми теми, кто не могли вернуться на родину и этот журнал получали в Сибири.

Через десять лет после описанного происшествия пишу эти строки в Иркутске.

В моём воображении, как в калейдоскопе, мелькают гравюры, которые вошли в этот комплект, добытый с таким трудом.²³ Был там портрет Коперника, был Ян Собиеский, сажаящий деревья в Вильно, был рисунок гениального Матейки, был Стефан Баторий со своим историографом Гейденштейном...

Вспоминая всё это, мне кажется, что я как бы слышу шум гусарских крыльев... Летят гусары, мчатся в атаку на Вену.

Мне кажется, будто я вижу блестящие драгоценные плюмажи на боярских шапках...

Служение! Служение! Служение!...

Всё минуло!

Действительностью были лишь следы слёз изгнанника на бумаге...

*Галич, в Костромской губернии,
дня 1 июля 1881г.*

НО КОГДА?... КОГДА?...



озволит?

– Не позволит?

– Позволит?

Этот вопрос каждый день многократно задавали друг другу каторжане омского острога весь ноябрь 1851г.

– Плац-майор Василий Григорьевич Кривцов, эта чёрная душа, нас, арестантов, не терпит. Чем может и сколько может, рад притеснить нас и испортить нам жизнь. Не позволит! – говорит каторжник Нецветаев.

Но никто его не слушал, все на него закричали:

– Не каркай, ты, гриф чёрный, не накликай беды!

– Смотри-ка на него! Какой пророк *окаянный* нашёлся!

– Чума Бендерская! Думаешь, ты с турецкой саблей имеешь дело!

– Чадило!

Град оскорблений посыпался на голову Нецветаева, который, видно, оказался плохим пророком, ибо, в конце концов, по острогу грянула весть:

– Плац-майор позволил!

По всем закоулкам слышались радостные крики:

– Позволил! Позволил театр!

И тогда в казематах зажужжало, как в улее. Начались перемигивания, крутня, суматоха, словом, начались приготовления к представлению, которое должно было состояться в омском остроге в день Нового года. Комедию и пантомиму для спектакля каторжники выбрали себе сами.

Писателя Федора Достоевского импровизированные актёры попросили, чтобы, когда надо, давал указания, как говорить *театрально*. Бэм, варшавянин, художник по росписи интерьеров, Юзик Богуславский и я взялись написать декорации, и как только арестанты сшили достаточное количество полотна, охотно схватились за кисточки и краски.

Костюмы для актёров выпросили в городе. Жена коменданта крепости, госпожа де Граве, предложила старый полковничий мундир и множество золотистых шнуров и аксельбантов.

Адъютант генерала Абросимова пожертвовал свою поношенную шапку. Наряды, нужные для женских ролей, арестанты собирали в городе.

Пятнадцать самых интеллигентных и приличных заключённых составили актёрский коллектив, дельный, воодушевлённый искренним вдохновением и наилучшими намерениями.

На куртине цветным лаком мы изобразили деревья, ручеёк, солнечный закат. Всё это – под куполом голубовато-пурпурных небес выглядело очень эффектно.

Экс-канцелярист, нынешний каторжник Баклушин, приготовил пару афиш.

На большом листе бумаги, оклеенном изящной, серебристой каёмкой, среди таинственных разводов и выкрутас, стояла такая надпись:

АФИША
ДЛЯ
ИХ СВЕТЛОСТИ ГОСПОД
КАРАУЛЬНЫХ ОФИЦЕРОВ
А ТАКЖЕ ДЛЯ
ИХ СВЕТЛОСТИ ГОСПОД
ДЕЖУРНЫХ ОФИЦЕРОВ
РАВНО ДЛЯ
ИХ СВЕТЛОСТИ ГОСПОД
ОФИЦЕРОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
И ДЛЯ
ОСОБ
ВЫСОКОБЛАГОРОДНОГО И ДВОРЯНСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Далее следовали названия маленьких комедий и *пантомим с музыкой* и имена выступающих в них заключённых.

В этом месте не могу не подчеркнуть, что никак не могли добиться от Баклушина объяснения, кого именно имел он ввиду, когда писал последние строки афиши.

– Хотим знать, кто благородный и кто высокого происхождения...

– Так ведь тот, кто благородный, тот и есть высокого происхождения. И баста! – отвечал он, и мы всякий раз смеялись.

– Вот, что называется, документальное пояснение непонятной проблемы.

Наконец, наступил нетерпеливо ожидаемый и желанный день Нового года.

Сразу же после возвращения с молебна в церкви заключённые, что взяли на себя обязанность машинистов и помощников режиссёра, быстро собрались в помещении *театра* в самом большом каземате, освобождённом от всех находившихся в нём предметов.

Меньшая часть комнаты с дверями, выходящими в сени и в соседний каземат, была предназначена для сцены, а остальная часть составляла квадратный зрительный зал.

В первом ряду поставили принесённые из кухни лавки и кресла из офицерской канцелярии, предоставленные ефрейтором. Это было место для офицеров и «особ высокого происхождения», так, словно последние должны были своим присутствием узаконить *театр* в нашем остроге.

Просцениум заняли музыканты.

Было их девять: две скрипки и два гитариста; один играл на контрабасе, другой на барабане, а трое должны были подыгрывать на балалайках.

Зрительный зал, освещённый сальными свечами, тесно заполнил разноплеменной люд крепости: много было малороссов, черкесов, грузин, лезгинов, осетинов, сибиряков.

Первым появился единственный на омской каторге представитель Израиля, ювелир, осуждённый за деятельность фальшивомонетчика, клеймённый по лбу и щекам Исай Бумштейн. Не хватало только черниговского старовера. Этот старик на спектакле не появился вообще.

Здесь за лавками, предназначенными для сановников, было отведено место Федору Достоевскому и нам, полякам. Так нас хотели отблагодарить за то, что мы, люди образованные и принадлежавшие к высшим кругам, охотно помогали при подготовке представления.

В комнате было душно, тесно, как в селёдной бочке, хотя каждый старался занять наименьшее место пространства. Наиболее буйные, дикие заключённые вели себя тихо, прислушиваясь к шелестам и шевелениям, долетавшим со сцены, притом, поглядывая на дверь, не идут ли знатные гости.

Наконец, они появились.

Пришёл караульный и дежурные офицеры, и адъютант генерала Абросимова (тот, что дал свою шапку). Пришло несколько военных инженеров и несколько урядников из канцелярий плацмайора и коменданта.

Их появление вызвало среди зрителей огромную сенсацию.

Заняли лавки и кресла.

Каторжник Почейкин, выполняющий функции капельмейстера, подаёт знак. Оркестр начинает.

Начинает с какой-то увертюры, которая не произвела никакого впечатления. Затем, после короткой паузы, народные песни и мотивы народных танцев играют с блеском и увлечённостью, которые передаются слушателям, захватывают аудиторию, вызывают восхищение и одобрение всех. Ибо для разноплеменных зрителей, которые не понимали русских слов комедии, понятны были мелодии, полные бравуры и озорства.

Тот, другой, переспрашивает, тот, другой, в такт кивает головой, и из убоготорённых сердец, вторя музыке, доносится подпевание чистым голосом. Пылают лица, улыбаются уста, глаза блестят, и не только у народа, но и у чиновников тоже.

– Ай да молодцы! Так, так, славно! Ещё раз! Ещё, ещё ра-а-аз, – кричат офицеры, а по их примеру и каторжники, не стесняясь никакими соображениями уважительности и субординации в присутствии *начальства*.

А когда усталые музыканты, наконец, перестали играть, весь острог от фундамента до верхушки крыши сотряснулся от рукоплесканий и окриков:

– Так! *Молодцы!* Так! Так! Та-а-ак! *Славно!*

Учитывая полную готовность зрителей, поднялся занавес.

Представление начиналось комедией под названием: «Фирлатка и Мирошка», в которой роль добродетельного обывателя играл Баклушин. Он играл хорошо, правдиво! Как настоящий актёр. Никаких претензий ни к движениям, ни к дикции. Такой своей игрой он импонирует нам, интеллигентам, а остальным зрителям – своим костюмом и полковничьим мундиром со множеством золотистых шнуров и аксельбантов, адъютантской шапкой, к которой для пуши важности сбоку прикололи жёлтый атласный бант, а из кармана его мундира выглядывает красный шёлковый платок. Добропорядочная обывательница, жена Баклушина, любимец Поляков, Федька, который по вине своего отца, истинного преступника, невинно мается на каторге.

Свежий, красивый юнец, в парике из чёрного конского волоса, убранном по-женски, выглядит очень смешно.

Но ничего! Он всем нравится, получает аплодисменты:

– Федька! *Помещица*, так! Так! Здорово!

Федька одет в белое муслиновое платье с воланами, в белый чепец, завязанный под подбородком, и в большой меховой воротник. В руке держит зонтик, на который опирается, постукивая им по полу; держит также букет бумажных цветов и веер, которым временами обмахивается, раскрывает и закрывает его, наверное, чтобы придать себе больше уверенности.

И актёры получают рукоплескания и одобрительные окрики полной мерой.

После «Фирлатки и Мирошки» следует фарс под названием «Кедрил обжора».

За опущенным занавесом, который тоже встречен аплодисментами, меняется обстановка на сцене. В это время Федор Достоевский рассказал нам, что «Кедрил обжора» – сюжет, не взятый из «литературы печатной», а что заключённые получили его в рукописи от ефрейтора в отставке, который сам некогда выступал в этом фарсе на какой-то солдатской сцене; что давнишние вельможи и богатые помещики содержали в своих имениях и дворцах в городе театры и труппы, состоящие из их крепостных. Не раз, и не один из таких доморощенных актёров сам сочинял театральные пьесы,

которые в многочисленных переписанных экземплярах кружат по сей день в городах и деревнях, в крепостях и обозах, в самых далёких концах Российской империи. Он сказал, что такие произведения – весьма интересные образцы народного творчества на поле драматической русской литературы.

Наш разговор прервала барабанная дробь – знак к началу представления. «Кедрил обжора» произведение, которое очень занимает зрителей. Некий вельможа, попав в тяжёлое положение, призвал на помощь адские силы, в задуманном виде и форме, и эту помощь получил в обмен на заклад своей души, отданной Люциферу в вечное владение.

И срок выполнения заклада захватил вельможу в пути, в корчме, за едой. Является депутация от Люцифера и отрывает должника от стола, заставленного бутылками горилки и всякими яствами, связывает ему руки, причём он верещит и упирается ногами, но его силой выносят со сцены. Слуга вельможи, Кедрил, который дремал при появлении дьяволов, как только они исчезают, вылезает из своего укрытия... Осторожно оглядывает всё вокруг, видит, что он – один, садится к столу, на место, которое прежде занимал вельможа, и, запихивая в рот кусок курицы, издевательски смеётся, повернувшись к публике:

– Вот, теперь я сам себе хозяин!

– Так! Так! – из зрительного зала актёрам вторит множество голов, и когда они утихли, Кедрил снова обращается к публике, и насмешливо, победно, кричит:

– А вот! И хозяина черти побрали!

При этих словах радостное возбуждение зрителей вырывается, как поток, рушащий плотины и дамбы. Общее удовлетворение выражается топаньем, бряцанием кандалов, неудержимым смехом и громовыми рукоплесканиями. Такие взрывы, такое буйство, такое восхищение объясняются тем, что каждый из присутствующих в этой комнате, каждый без исключения, имел над собой какого-нибудь хозяина, которому очень хотел бы досадить, и сто раз пожелать: «Чтоб тебя черти побрали!». И радость вспыхнула оттого, что хотя бы на сцене такое общее желание исполнилось.

После «Кедрила обжоры» показывают пантомиму «Брамин волокита». Музыканты начинают играть *камаринского*.

Балалайки в оркестре главенствуют. Скрипки отзываются очень скромно, *pianissimo*²⁴, как бы мимоходом. Любимая мелодия гремит в каземате. А потом... двери, ведущие в сени, открываются, как будто в них ударило мощное копыто, ледяной порыв воздуха обдувает сцену и вместе с ним появляется плац-майор Василий Григорьевич Кривцов...

Общее смятение. Оркестр умолкает. Актёры разбежались. Музыканты прячут за спину свои инструменты. Офицеры вскочили со своих мест и спешат навстречу к плац-майору...

Он, в расхристанном мундире, без плаща, без рукавиц, без шапки, пьянёхонький, рычит, как разгневанный буйвол:

– Что тут делается? Я вас спрашиваю!... Крепостные каторжники в казарме устраивают театральное представление, как «штатские»!

– С вашего позволения, Ваше Высокоблагородие, – говорит дежурный офицер.

– Лжешь! Я вас спрашиваю! Не давал я никакого позволения. Я вам всем покажу позволение! Ефрейтор! Солдаты! Эй! Розог! Скорее! Ро-о-о-зог!

Удушливый мрак будто охватил заключённых, струсившихся в кучу.

Морщатся лбы, глаза мечут молнии, стиснутые кулаки готовы к драке. Кажется, взрыв неминуем... Кажется, что в следующий миг случится что-то страшное... Что заключённые кинутся на плац-майора и разорвут его на куски, но всё это здесь невозможно... нет! Нет! Все чувствуют, что они никакого наказания не заслужили. Тем временем выступает адъютант генерала Абросимова:

– Не нужно розог, не нужно. Арестанты с позволения плац-майора развлекались пристойно и прилично, причём под наблюдением начальства, в нашем присутствии. И не за что их наказывать. Нельзя. Понимаете, Василий Григорьевич Кривцов?

Плац-майор растерянно вытаращил глаза, что-то бессвязно бормочет. Его уже обюяла пьяная ярость, притом, что этого адъютанта он хорошо знает.

Этот молодой человек – из великосветской семьи, изящный и элегантный, к нему весьма расположен губернатор, князь Горчаков.

Уверенный в своих связях, он обращается с плац-майором свысока. Он хватает его за плечи и легонько толкает к выходу.

Пьяница послушно уходит. Вдруг спотыкается о порог и падает на пол, как колода.

Адъютант сквозь стиснутые зубы громко произносит:

– Мерзавец!... Скотина!

И тут же приказывает ефрейтору:

– Поднимите *это*, уложите на санки и отвезите на квартиру.

– Слушаюсь, Ваше Превосходительство, – салютует ефрейтор.

Адъютант поворачивается к заключённым. Приветливо махнул рукой и любезно крикнул:

– Будьте здоровы, ребята!

Заключённые так ошеломлены происшествием с плац-майором, что не отвечают, как обязаны были бы ответить:

– Благодарствуем, Ваше Превосходительство.

Адъютант не обиделся и ещё раз повторил:

– Будьте здоровы! – и выходит с инженерами.

Некоторое время ещё царит полное недоумение. Наконец, входит ефрейтор и кричит:

– Убирать! Убирать!

Поскольку всё, без исключения, мы убрали и вынесли со всех уголков острога и снесли топчаны, кофры, разные мелочи, составляющие убогую обстановку тюрем и казематов, но могло пригодиться для *театра*.

Мы надеялись, что представление повторится ещё раз на праздник Троицы. Теперь всё это ожидала другая участь. Когда мы снимали и сворачивали декорации, слёзы заволокли глаза этих закалённых и бесстрашных людей, которые не раз за свою жизнь, безропотно, с пренебрежительной усмешкой сносили удары, голод, всяческие невзгоды.

– Чтоб тебя, чтоб тебя сибирская зараза задавила!

– Чтоб тебя медведь разодрал! – так то и дело кто-нибудь из заключённых слал проклятья, конечно, в адрес плац-майора Кривцова.

Наконец, возбуждение улеглось. Умолкли ругань и проклятья. Целительный сон, конечно, успокоит оскорблённых заключённых, позволит им забыть об их трагичной доле, о суровости их повседневной жизни... Короткое забытье... Ибо ещё до рассвета зимнего

утра стражник разбудит их, призывая на тяжкие работы. Тишина охватила острог. Заперли казематы. Усилили стражу у ворот и остроколов. Только нам, Полякам, и Фёдору Достоевскому, дежурный офицер позволил недолго постоять на территории.

Мороз успокаивает наши взбудораженные нервы, говорим о том, что с момента, когда заключённые получили позволение на устройство *театра*, в остроге царил небывалый порядок. Среди каторжан не было споров, ссор, драк, ни одного убийства не наблюдалось. Шулеры не играли в карты и даже *спиртонос*²⁵ Газин утихомирился и в эти несколько недель горилку не продавал. Никому в остроге она не требовалась.

Мы говорили, как хорошо было бы, если бы законодатели и стражи справедливости и права, также, как надзиратели в тюрьмах, были бы способны к большему пониманию и сочувствию к бродяге, чтобы этим падшим людям иногда позволено было отвлечься, также, как людям, не скованным никаким преступлением, людям свободным, счастливым. Если бы... Такой поворот в отношении к преступникам должен всё-таки наступить. Всё так! Но когда?

.....

Звёзды искрятся на небе... На бледно-зеленоватом фоне небосвода Млечный Путь тянется в бесконечность... Бесконечность... Бесконечность...

ЭТО УЖЕ ТРЕТИЙ!

*Quoi! ne point aimer, suivre une morne carriere
Sans un songe en avant, sans un deuil en arriere!
Quoi! marcher devant soi sans savoir ou l'on va!
Rire de Jupiter sans croire a Jehova!
Regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme,
Toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'ame!
Pour de vains resultats faire de vains efforts!
N'attendre rien d'en haut! ciel! oublier les morts!*

.....

Oh non, je ne suis point de ceux-la!

.....

Je les fuis, et je crains leurs sentiers detestes...²⁶

После этих строк декламирующий умолкает. Тут же послышались длительные громкие аплодисменты.

– Вы, пан, отлично декламируете!

– *Mademoiselle!*

– Чудесно!

– Сообразуюсь с окружением!

– О! Вы, пан, ведь находитесь за пределами цивилизованного мира!

– Предел цивилизованного мира? Это так. Я нахожусь в какой-то чудодейственной стране и преклоняюсь перед её владычицей.

– *Flatteur!*²⁷

Таковыми комплиментами обменивалась молодая пара: красивая, элегантная барышня и удивительно привлекательный молодой человек.

К его необычайной красоте очень подходит и непривычная одежда.

На нём синий фрак, белая атласная сорочка, вышитая зелёными листиками и розочками, застёгнутая бриллиантовыми пуговками. В батистовом жабо с густыми сборками поблескивают великолепные, тоже бриллиантовые, запонки.

Одежда придаёт молодому человеку некоторую экзотичность. Среди тяжёлых, с грузной осанкой, многочисленных мужчин, преимущественно военных, поразительно отличается также стройная, лёгкая, ловкая фигура этого блондина с тонкими деликатными чертами, тёмно-синими глазами, пурпурными устами, выглядывающими из-под светлых шелковистых усов.

Кажется, что каждое движение, доброжелательная улыбка молодого человека среди окружающих, говорит: «*Oh! non! non, je ne suis point de ceux-là*»²⁸ ...

Одного взгляда достаточно, чтобы убедиться, что этот молодой человек и есть средоточие, в котором отразились убеждения целого сословия, убеждения, полные восторга, смешанного с каким-то обиженным изумлением.

И в честь этого молодого человека губернатор Западной Сибири, живущий в Омске, князь Петр Дмитриевич Горчаков, и даёт этот щедрый пир. На берегу Иртыша сооружён огромный павильон, или,

вернее, гигантское помещение с полотняными куполами и такими же стенами, украшенными венками из зелени и бантиками из красных лент.

Группа гостей состояла из омских штатских и военных сановников с их жёнами, сёстрами и дочерьми. Хозяйкой приёма является *приятельница* князя Горчакова, генеральша Шрамм, некогда, похоже, очень красивая, а во время этого рассказа, сохранившая лишь величественную осанку и только весьма скудные остатки былой красоты.

Довольно привлекательна и элегантна незамужняя дочь генеральши, именно та, к которой обращался молодой человек, декламируя стихи Виктора Гюго. Он постоянно её сопровождает, всё время с ней разговаривает, к общей зависти присутствующих дам.

Князь – хозяин приёма, не очень внимателен к приглашённым гостям, но это в его обычае, генеральша-хозяйка тоже, как обычно, обращается со всеми свысока, не исключая собственного мужа.

Только двое из присутствующих пользуются вниманием и сердечной гостеприимностью *Его Светлости* и *Её Превосходительства*: тот, кто читал стихи Виктора Гюго, и другой, немолодой мужчина, несколько не похожий на упомянутого молодого человека и, тем не менее, являющийся его отцом.

Седой, бодрый, румяный, со старательно выбритым лицом, с блестящими щеками, обросшими жирком, и обвислыми бровями. Его владения простираются от самой Тамбовской губернии аж до Крыма. Во всяком случае, сколько десятин леса, земли, и сколько душ ему принадлежат, он и сам точно не знает и, очевидно, не узнает до конца жизни. Разве что его единственный сын, Сергей, может, когда-нибудь владения измерит, а души пересчитает.

– Так, раз вы не знаете, сколько чего вам принадлежит, Владимир Андреевич, то крадут у вас, наверное, нещадно, – обронил кто-то, прислушивающийся к признаниям земского помещика.

Тот погладил напомаженной рукой пахнущую помадой же шевелюру, небрежно махнул рукой и, насмешливо усмехаясь, сказал:

– Похоже, похоже на то, что там и сям меня «пощипывают», а иногда и порядочно «царапнут». Но что делать? Ведь и *вору* жить надобно, ведь и *вор* тварь Божья.

Такое сочувствие к *ворам* вызывает шёпот удивления и умиления у присутствующих.

– Необыкновенный человек! Необыкновенный!

Затем «необыкновенный человек» с князем и генеральшей уселись в уединённом уголке, и он доверительно, приглушённым голосом, поверяет им свои заботы, причиной коих является его единственный любимый сын Сергей.

– Ибо должен я вам сказать, милейшие хозяева и приятели, ведь настоящая беда получилась оттого, что в Бозе упокоившаяся бабка Сергея, а моя светлой памяти мать, была француженкой.

Спросите, как это случилось, что русский дворянин из Тамбовской губернии женился на родовитой француженке? Отвечаю: мой, светлой памяти, родитель с войсками *коалиции* вступил в Париж (в ранге майора, полученном на поле брани).

В Париже познакомился с обедневшей барышней из высокопоставленной семьи, притом дивной красоты. И эту барышню мой родитель полюбил и женился на ней, и сразу же с жёнушкой вернулся в Россию, в тамбовскую деревню, подал в отставку, поскольку тяжкая рана, полученная в сражении, никак не успокаивалась. Французская маркиграфиня привяла в имении российского вельможи, хотя ей разве что только птичьего молока не хватало, хотя муж пылинки сдувал с её малюсеньких ножек, на руках носил, припевая: «*Ах, милая, ненаглядная, ты мой целый мир!*». Но всё это ничего для неё не значило. Она тосковала и тосковала, и выплакала свои чудные глазки. Недолго погостила она на прекрасной российской земле: подарив мне жизнь, умерла. Я точь-в-точь похож на отца, который тоже осиротил меня в детстве.

Я женился молодым и вскоре потерял любимую жену (верным её памяти останусь до гроба), и решил я единственного сына воспитать настоящим русским человеком и верным слугой трона.

А тут – глянь-ка! – представьте себе, мои милейшие хозяева и приятели: дух в бозе почившей бабки-француженки возродился во внуке Сергее. Он о России и не думает! Он только Францию и признаёт своей родиной! В Париже и учился. Хоть бы он не сумел применить в жизни все те науки, которые ему там вбили в голову, науки пустые, и, по моему пониманию, вовсе ненужные. В Париже Сергей и живёт постоянно. Ни о каком занятии или чине в России и слышать не хочет, а на свою родную землю и в родной дом заглядывает ненадолго только летом. И что он привозит в

нашу старую, благопристойную Россию из этого нового Вавилона! Страх!

Мои благосклонные хозяева и наимилейшие приятели (скажу вам по секрету). Страх, что за *новинки о вольности, о равенстве, о каких-то правах человека, о республике!* У меня уши вянут и волосы на голове – дыбом, когда Сергей эти *новинки* пересказывает. И распространяет между *мужиками*... Они мне ещё двор спалют и разграбят... А Сергей хоженым трактором просто-таки набивается в Петропавловскую крепость или в Шлиссельбург, что, по моему мнению, было бы поделом. Он уже хотел и меня заманить в Париж. Так я привёз его в Сибирь, в надежде, что его соблазнит охота на медведя и понравятся края, якобы, совершенно неведомые в Европе. И, поскольку под вашим управлением, Пётр Дмитриевич, как я вижу, в Сибири весело и приятно, то, может, даст Бог, Сергей тут приживётся и подольше побудет.

Владимир Андреевич отёр пот со лба, устав от долгого монолога, зевнул и вздохнул. Генеральша Шрамм пододвинула ему серебряную чарку с ликёром и сказала:

– Женишь бы его следовало.

– Ага! И я уже о том думал. У нас в России красивых и благопристойных барышень хватает. Я уж рассчитывал на княжну Т., или княжну В. Ведь мой парень – из старого боярского рода и красотой, землями и серебряными рублями Бог его не обделил, так что жену мог бы себе искать очень высоко.

Эти проекты генеральше не понравились, ибо в её материнском сердце зрели совсем другие намерения. Так что, укрывая недовольство усмешкой, обратилась к князю:

– Молодёжь рада бы потанцевать. А?

– Конечно, рада бы, – ответил князь.

Военный оркестр, разместившийся в углу павильона, сыграл кадрили. Сергей Владимирович пригласил генеральшу, подал ей руку, и за ними закружились пары. Потом он со своей дамой вышел из зала *pour prendre l'air*²⁹.

Стоял погожий июльский день. Солнце уже доходило до конца второй половины своего пути. Небо пылало, посылая светлые блёстки на Иртыш, который плыл величественно, только иногда всплёскивал, как будто всхлипывал...

Молодой человек смотрел на окрестности, хвалил их необжитость и меланхолическую красоту. На другом берегу Иртыша, со стороны киргизских степей, далеко, далеко, видны были какие-то чёрные подвижные точки.

– Что это? – спросил Сергей стоящего вблизи плац-майора, указывая рукой на движущиеся точки.

Василий Григорьевич Кривцов, одетый в парадный тесный мундир, напомаженный, красный, как бурак, сопя, как кузнечный мех, подтянулся и ответил:

– Это крепостные каторжане на работе, *Ваше Превосходительство*.

– Крепостные каторжане! – как эхо повторил Сергей Владимирович.

– Да, *Ваше Превосходительство*. У нас их 376 в *остроге*, – самодовольно подняв голову, добавил он.

– Триста семьдесят шесть! *Merci!*

Василий Григорьевич Кривцов низко склонился.

Пары остановились. Начали танцевать кадрили с огромным увлечением, энергично притопывая.

* * *

Весна выдалась хмурая и дождливая.

Иртыш вышел из берегов, и там, где берега были плоские, широко разлился по степи и покрыл дельту. Солнце и гулявшие по степи ветры «выпили» воду из дельты, оставив только болотистые лужи.

Инженеры велели прокопать рвы, засыпать ямы, чтобы помешать дальнейшему разливу. Для этих работ использовали нас, каторжан.

Мы выходили из острога ранним утром и без отдыха работали до заката солнца, не возвращаясь в крепость на обед, поскольку это заняло бы много времени – мы работали далеко от крепости, и, кроме того, чтобы добраться до залитой водой части степи, нужно было бы переправляться на лодках через Иртыш. Кусок *чистяка*³⁰ и вода составляли наш обед.

Кроме тяжёлой работы и голода, пребывание на открытом, бескрайнем для взора просторе, на чистом, свежем, живительном

воздухе, позволяло всем нам держаться бодро и даже не терять юмора. Даже Чеченцы и дагестанские Татары, обычно молчаливые, погружённые в унылую думу, в этой зелёной степи, в этой позолоченной солнечными лучами степи, повеселели, на ломаном российском отвечали на обращённые к ним шутки. Все болтали, не слушая друг друга, и притом бранились, бранились, бранились. Проклятья и взаимные оскорбления были излюбленным спортом каторжан, полным находчивости и фантазии.

В моё время в омском остроге находился молодой шляхтич В., осуждённый на 20 лет тяжёлых работ за убийство отца³¹. Он был уверен, что как только будет доказана его невиновность, ему вернут шляхетство, права, состояние, и в ожидании такого счастливого оборота дел безмятежно переносил свою мрачную участь, сотоварищам по каторге помогал коротать время, рассказывая «правдивые происшествия», как он говорил, в основном, – фантастические рассказы о княгинях и о предках, о генералах и попадьях, о солдатах и земских помещиках, о влюблённых парах из высшего света.

Эти рассказы, полные фривольных, циничных сцен, излагались притом очень искусно, хотя и вполне понятно и доступно для тех, кто составлял большую часть слушателей. Если бы не заключение и каторга, я уверен, что В. стал бы знаменитым писателем.

Во время работ с участием В., последний, обрадованный видом степи, который напоминал ему родные края, резвился, как жеребёнок и впадал в очередной приступ импровизации. Вначале слушатели просто лучились от удовольствия, все, не исключая дозорных, падали со смеху, выражая своё восхищение окриками в адрес рассказчика:

– Ой! *Ты чернокнижник!*

– Ой! *Ты помесь жабы и ежа!*

– Ох, и силён он на язык, братья!

– Братья! – протестовал былой кантонист, один из поклонников В. – Что он тебе за брат? Ты с ним и штофа водки не выпил вместе!

– Кому брат, – прервал свой рассказ В., – а кому *Высокоблагородие*.

– Гляди-ка! *Высокоблагородие!* В кандалах, в арестантской юбке, с бритым лбом! – язвительно шутил *спиртонос* Газин. Смотри-ка, какой боярин!

– Молчи, рыбий хвост, уже набралось довольно всего, чтобы я разбил твой безмозглый лоб на куски! – грозил поклонник рассказчика, бывший кантонист, авантюрист геркулесовой силы.

В. застывает:

– Не грызитесь между собой, мои милые волчата, а то подавитесь собственными мослами, и до этого не долго, если будете грызть друг друга. На этом нашем земном шаре, знаете ли, это как в картах; каждый из вас не раз тасовал колоду карт. Так вот, нас, людей, судьба тасует точно также. Тот, кто вчера был на самом дне, завтра может взлететь на самый верх, а тому, кто наверху сидел, судьба может заявить: «Падай, дурак, на самый низ!». Так всё на свете и происходит. Поняли, дружки? Например, слушай, ты, Газин, если бы судьба захотела, я мог бы на этом самом рве, который собственноручно выкопал, я мог бы сесть в золочёную карету и на свой бритый лоб надеть боярский колпак, а тебе, Газин, выдать сто штофов горилки и три миски *пельменей*. А то, что я сказал, слышишь, ты, Газин, заруби себе на носу, чтобы запомнил на всю жизнь. А вы, дружки, поняли?

Нравственный смысл этой квази-философской речи наверняка для «дружков» был недоступен. Но выслушали её с явным удовольствием. Импонировать каторжникам было нелегко. В. это удавалось. Впрочем, все уже привыкли к его разговорам, и он не упустил возможности вести их к удовлетворению слушателей и прежде всего, ради собственной потехи.

Когда с лопатами на плечах мы собирались повернуть к острогу, со середины реки долетела команда:

– Стать!

И тут же подплыл в лодочке ефрейтор, а с ним солдат с заряжённым оружием.

Ефрейтор сообщил, что плац-майор наказал, чтобы только часть арестованных отправить в острог, а остальных оставить для устройства иллюминации на берегу Иртыша.

Часть арестантов тотчас отослали с надзорным и конвоем. Над Иртышем остался ефрейтор, вооружённый солдат, мы, Поляки,

политические преступники, рассказчик В. и каторжник Сиротко, принадлежащий к категории так называемых *каторжников всегдашних*, то есть осуждённых на пожизненную каторгу, притом не за какое-либо преступление, а за постоянное странничество.

В омском остроге в моё время, и вообще в Сибири, я встречал много таких «странников»³². Обычно это были неплохие люди, никогда и ни с кем не затевали споров, уступчивые, молчаливые, задумчивые.

Многие из них имели свою землю, дом, любимую и любящую родню; многие были работающие, умелые земледельцы или ремесленники; на первый взгляд, подобный «странник» ничем не отличался от всех, от всего его окружения, но вдруг, без всякой логически объяснимой причины исчезал из виду всей деревни, города и родни, исчезал на месяцы, иногда на годы. На какое-то время появлялся дома, потом вновь уходил и, наконец, исчезал навсегда.

Такой странник ни на кого не нападал, не убивал, не крал, не причинял окружающим никакого зла. Укрывался в лесах, как первобытные люди. Скальные обрывы, опустевшие норы диких зверей служили ему укрытием. Он углублялся в пушу, брёл без всякого плана, без определённой цели.

Он обходил людские селения, приближался к ним только ночью, и то, только когда уже невтерпёж было от голода. Забирал лепёшки, которые сибирские крестьяне кладут летом перед окнами именно для таких странников, и тут же убегал в лес.

Пойманные впервые, подобные странники попадали в заключение, и из тюрьмы этапом доставлялись в *волость*. Но рецидивистов уже приговаривали к каторге.

А кто из странников попадался многократно, бывал осуждён на пожизненную каторгу.

Что гнало в бескрайние пуши, в глушь непроходимой тайги, безоглядное одиночество таких добровольных странников?...

Инстинкт первобытных людей? Неизбывный поиск чего-то неведомого? Или особая индивидуальность, которая не могла прижиться в обычных, повседневных условиях жизни и окружения? То ли неутолимая жажда познания невиданных городов и околиц, та же жажда, что зовёт во льды и морозы путешественников и первопроходцев?

Кто ж отгадает?

Мы не могли этого понять, хотя Сиротко, наш товарищ по омской каторге, и был таким типичным странником. Он также имел неплохое хозяйство и многочисленную родню, но его никто не проводывал, никто о нём не спрашивал. Сам о себе он молчал, как могила. И вообще не был охоч до разговоров, ничего его не беспокоило, он был равнодушен ко злу, что его окружало, но пожизненное наказание выставляло его на постоянное общее обозрение, с которым он должен был, но, наверное, не мог примириться.

При первом ударе барабана каждое утро Сиротко вскакивал с *нар*; одевался очень быстро, своё нехитрое ложе и убогое «имущество» складывал аккуратно, а потом молился, и бил поклоны перед образами святых чудотворцев, развешенными в каземате.

Ел он быстро и мало, водки никогда не пил, хотя за это его донимали насмешники; к сотоварищам он относился благожелательно, то есть был из наименее неприятнейших личностей в остроге и мы, Поляки, питали к нему искреннее сочувствие и симпатию.

Походное оборудование иллюминации пошло быстро, ибо всё это происходило далеко не впервые: князь-губернатор, галантный почитатель, часто затевал иллюминации над Иртышем, для развлечения генеральши Шрамм. Сегодня он развлекал особого гостя и иллюминация должна была быть особой.

Перед павильоном горели разноцветные лампочки и китайские фонарики, далее пылали походные факелы, которые выстроились в длинный ряд.

От реки веял холодный ветер. Мы очень устали, озябли и были голодны. Мы завидовали *байгуи*³³, который расстелил на земле кусок коровьей шкуры и ночевал в этой переносной юрте, подкрепившись какой-то едой, и грелся у огонька, который перед юртой развёл из сухих трав и степных будылей.

От павильона долетали звуки танцевальной музыки, разговоры и громкие тосты.

Вдруг ефрейтор, прогуливаясь вдоль берега Иртыша, наткнулся на что-то, лежащее на земле, и это *что-то* поднял. Это оказались кандалы...

– Каторжник убежал! Вы, там, каторжники, становись во фронт! – пронзительно крикнул он, подошёл и принялся считать:
– Мирецкий, Богуславский, Бэм – есть! Анчиковский, Токарежевский – есть! Поляки все на месте! *Слава Богу!* Отцеубийца есть, и так, кто же, к чертям собачьим... Ага! Сиротко убежал, сукин сын! А!

Обернулся к конвойному солдату, который до сих пор стоял, опираясь о карабин:

– Стреляй! – скомандовал ефрейтор.

Стражник выстрелил. Из-за реки, от павильона, ему ответили второй, третий, четвёртый выстрелы. Потом две лодки с солдатами выплыли на Иртыш и гребли к нам, что есть мочи.

– Каторжник сбежал! Каторжник сбежал! – кричал ефрейтор.

Одна лодка повернула со середины реки к павильону, вторая быстро подплыла к нам.

Выстрелы встревожили князя-хозяина приёма и его собеседников. Начался общий переполох, будто стотысячная неприятельская армия стояла тут, прямо за порогом.

– Каторжник сбежал, *eh bien!*³⁴ Надо его найти, поймать и отправить в крепость! – смеялся Сергей Владимирович. – И это сделаю я.

– Ради Бога! – закричала генеральская дочь. – Что вы задумали?

– То, что я сказал, *mademoiselle*: найти беглеца, поймать его и отправить в крепость, – господин поручик, не мог бы я попросить у вас лодку?

– Сейчас найду! – ответил тот.

– Весьма благодарен, господин поручик, и заранее спасибо.

Не помогли стенания женщин, увещевания отца и князя Горчакова, Сергей Владимирович стоял на своём.

С несравненной любезностью кланялся дамам, прижимая ладони к сердцу, благодарил за оказанные ему приязнь и беспокойство.

– Пожалуйста, уважаемые и милые господа и дамы, за меня можете быть спокойны, – говорил он, усмехаясь, – грести я умею прекрасно, а плаваю как Левиафан. На всех пловецких и лодочных состязаниях в Оксфорде всегда получал первые призы. При этом, Иртыш сейчас такой спокойненький!

– Да! В эту минуту, но он изменчив, и, когда ему вздумается, он очень умеет брыкаться. Он бывает капризным и ему нельзя доверять, – как женщине, – сказал кто-то.

– Ну, с Иртышем я справлюсь и... со всем остальным, – рассмеялся Сергей Владимирович.

Несколько офицеров вызвались его сопровождать.

Он упрямо отказался.

– Поеду сам, прощайте, дорогие господа и дамы, а, вернее, до скорой встречи. С вашими добрыми пожеланиями ничего дурного со мной случиться не может. Я уверен.

Ушёл.

Его сопровождали взоры увлажнённых глаз отца, который, возбуждённый щедрыми возлияниями, с трудом сдержал громкое всхлипывание.

Женщины и мужчины славили *храбреца*. Он отдалялся, стройный и элегантный, в своей необычной одежде, в белых шёлковых носках и французских башмаках, высокие каблуки которых раскидывали камешки с побережья.

Ему подали две лодки, карабин, пистолеты и охотничий нож. Несколькими взмахами вёсел Сергей отогнал лодку на середину реки. И уже по движению рук было видно, что этот красивый юноша обладает стальными мускулами, а, значит, и недюжинной силой.

На корме лодки, на высоком шесте, висел фонарь, и лодка плыла по Иртышу, как птица с огненным клювом.

Ночь была безлунная и беззвёздная. Над околицей и рекой носились белые, волнистые испарения. Над степью царила торжественная тишина. Слышалось только шипение факелов, а из глубин Иртыша временами – как бы всхлип или стон...

И на другой стороне реки, в ярко освещённом павильоне, угрюмое молчание сменило шум весёлых разговоров, танцев и громкую музыку.

Всем казалось, что какая-то грозная катастрофа зависла над этим кружком, минутой ранее таким весёлым и беззаботным.

Местами шептались:

– Надо было его задержать силой! Нельзя было его отпускать!

Участник этого приёма, лекарь Борис, который после моего увольнения с каторги рассказал мне всё то, что тем вечером происходило в павильоне, думал:

– И зачем только этот паренёк набивался на такую очевидную опасность? Или, действительно обуреваемый французскими *новинками*, он отправился не ловить беглеца, а помочь ему, и, считая, что тот – политический преступник, облегчить и в дальнейшем его участь? Может быть, может быть и так! Ведь он с таким сочувствием, с таким пылом, с таким порывом декламировал: «О! Я не такой, как те!»...

Не получив от нас никаких вестей, встревоженный ответственностью за побег Сиротко, ефрейтор задержал нас над Иртышем, под стражей прибывших из павильона солдат.

Наши мысли и добрые пожелания, конечно, сопутствовали Сиротко, но никто из нас не смел поделиться своими чувствами с товарищами и никто не позволил себе вымолвить ни звука.

И в тишине слышна была только размеренная поступь стражников и голос ефрейтора, который временами командовал:

– Чтoб все налицо! – и ежеминутно пересчитывал заключённых, стоящих чередой:

– Мирецкий, Богуславский – есть! Бэм, Анчиковский, Токарежковский – есть! Отцеубийца есть! Все здесь! *Слава Богу!*

С противоположного берега лодка привезла нескольких сановников.

– Помилуйте! – выговаривали они ефрейтору. – С тех пор, как существует омский острог, никогда ещё каторжников не оставляли ночью на работе. Чтo за новая дурость, новая мода!

– Плац-майор велел сколько-то их поставить на иллюминацию, чтoб следили за факелами, – оправдывался ефрейтор.

– Надо было около факелов поставить солдат.

– Плац-майор сказал поставить каторжников.

– Ать! Плац-майор! Плац-майор! Он *пьян*, он же Божьего света не видит... А всё свалит на вас. И как вы теперь доставите их в острог?

– Наверное, на лодках.

– А, вот подошла большая лодка. *До свидания*, Прокоп Афинкиевич!

– До свидания, господи!

Урядники отплыли.

От павильона доносился лёгкий шум. На нашем берегу залегла тишь.

Вдруг грохнул выстрел. Эхо донесло его издалека, потом ещё пару раз – и снова угрюмая тишина, оповещающая, что началось решительное действие и что близится развязка трагедии.

Вскоре после выстрела, на середине Иртыша плеснули вёсла...

Рожок нового месяца как раз показался из-за облаков и осветил лодку и гребца...

Это был Сергей Владимирович.

Он сидел на скамейке, ритмичными взмахами сильных рук загребал вёслами. Красные отблески остеклённый фонарь посылал на гладкое чело молодого человека, и они походили на кровавые полосы. И вся фигура Сергея Владимировича в этих красных отсветах казалась овеянной кровавым туманом...

Лодка посреди реки неслась быстро, как птица. Около неё, притороченный тросом, плыл труп, с обритой до половины головой и раскинутыми руками. Лежал навзничь, в порванной рубахе, с насквозь простреленной грудью, где кровенила глубокая рана.

Течение несло труп, слегка его колыхая... Мы узнали нашего товарища по каторге... Это был Сиротко.

Рожок месяца скрылся за тёмной пеленой туч... Лодка быстро плыла дальше, её несли волны. Красный фонарь освещал ей дорогу.

Сергей Владимирович удерживал труп в равновесии, то притягивая его, то отталкивая веслом от лодки.

Возвратившегося Сергея Владимировича встретили неопишываемые восторги. Все поздравляли победителя.

Оркестр играл радостные мелодии и победные гимны. Гости толпой вышли на берег поглядеть на осязаемое свидетельство подвига Сергея Владимировича: на останки несчастного странника Сиротко.

– И как же вы поймали этого *мерзавца*? Расскажите, Сергей Владимирович, просим!

– Как поймал? О, без всякого труда. Плыву, гляжу вокруг себя. Среди надбрежных зарослей заметил что-то белое³⁵. Что это?

Крикнул. Стоит недвижимый. Глядит в облако, недвижимый, как палка. Кричу. Ничего! Подплываю к нему... Приглядываюсь: обритая до половины голова, двухцветная одежда каторжника... Конечно же, сбежал из острога. После нескольких моих окриков он устал стоять, повернулся и хотел бежать. И тут я – паф! И... всё. Так что получайте. *Le voila!*³⁶

– *Heros! Герои!* – неустанно выкрикивала толпа.

Эхо доносилось до нас, через Иртыш несло по степи.

Отец богатыря-победителя, Владимир Андреевич, плакал, так он был растроган и доволен.

– Это уже третий! – повторил он, потирая руки. – Это уже третий!

– Как это третий?

– А вот так! Сбежал у нас конюх и мы не могли его найти и поймать. Конюх был мой слуга и крепостной. Приехал на его беду мой Сергей из Парижа. Конюха выследил и управился с ним, как с этим вот, что лежит на берегу. Второй раз повезло моему Сергею в нашем имении в Черниговской губернии. А это уже третий.

И помещик Тамбовской губернии, Владимир Андреевич, сиял от радости и гордости, и всё повторял:

– Это уже третий!

Князь-хозяин вечера иронично прищурил глаза и усмехался под усами, слушая этот рассказ. Губернатор Западной Сибири, Петр Дмитриевич, князь Горчаков, был вольтерьянец, циник, и распутник, но одновременно человек разумный и опытный. Он подошёл к помещику из Тамбовской губернии и, положив ему руки на плечи, сказал:

– Не огорчайтесь, дорогой приятель, Владимир Андреевич: хоть ваш единственный сын и обучался в Париже, хоть он и любит *новинки*, но ни «хоженный тракт», ни Петропавловская крепость, ни Шлиссельбург ему не грозят. Он не будет также придумывать новые законы, ни новые политические догмы. Отгуляет в Париже, в этом новом Вавилоне, как называют столицу Франции, и вернётся в нашу прекрасную отчизну. Полюбит образ жизни русского человека, похлопочет о чине и орденах – и получит их...

В ПЕРЕЛЁТЕ

Вообще-то могло быть хуже, гораздо хуже, – рассказывал Гервазий Гзовский³⁷, – не смейтесь, дорогие мои, ведь не один из вас, попробовав того хлеба, хорошо знает, на каком яде и полыни он был замешен, так что повторяю: всё могло быть гораздо хуже.

Мы рассмеялись, ибо среди нас – сплошь оптимисты. Но Гервазий Гзовский был, пожалуй, самым неисправимым. В любой беде он искал положительную сторону. На каждого из нас находило настроение, когда обуревала мысль: «Надежды тщетны! Всё ни к чему! Всё пропало!».

У него таких минут не бывало. Он закалил свою душу таким панцирем оптимизма, что отчаяние в неё пробраться не могло никогда.

Дважды каторжник и дважды поселенец, уже в преклонном возрасте, а всё ещё полон был надежд, что вот-вот настанет минута, когда в Отчизне минут последние годы исковерканной жизни и он поселится в тихом доме и станет рассказывать молодёжи о том, что пережил в прошлом, в далёких азиатских пустошах.

По его мнению, всё это должно исполниться, а пока он рассказывал нам, своим товарищам-изгнанникам, многие свои приключения.

После освобождения с каторги в Нерчинске, Гервазий устроился на службу к Глебу Евдокиевичу.

Тот был владельцем многих десятин урожайной, поистине девственной земли, значительного оборудования, многочисленных стад скота и конских табунов, зажиточного хорошо обставленного дома, так что среди мужиков Глеб Евдокиевич был истинным богачом.

Но, несмотря на это, обуяла его *febra aurea*³⁸, – болезнь, что водится и в сибирских пустошах, так что он и сам работал без усталости, и своему работнику продыха не давал.

После целого рабочего дня, летней порой, Гервазий должен был проведать пасущихся на лугах коров и коней.

Если повсюду «король полишинелей и мотыльков» очень часто круто обходится с животными, то дети сибирских мужиков в своей

жестокости превосходят ровесников на всём земном шаре. Трудно было бы интеллигентному европейцу представить изощрённые мучения, которые маленькие сибиряки изобретают для беззащитных животных, которые ещё не могут и не умеют защищаться.

Однажды Гервазий спас из рук таких юных палачей щенка, выходил его, выкормил, отдавал большую половину еды, которую получал сам, и назвал его *Приятель*. Щенок вырос в огромного пса, который в доме и в поле неотступно следовал за Гервазием и был ему очень полезен, загоняя коней и рогатый скот, когда они разбредались слишком далеко от пастбища.

Когда пригнанный скот ложился на покрытый росой луг, пережёвывая, и кони со связанными передними ногами продолжали щипать траву, которая была им по вкусу, Приятель быстрым взглядом окидывал своих подопечных и принимался их сторожить.

А Гервазий в это время раскладывал подстилку под деревом, ложился и спокойно засыпал, уверенный, что под охраной верного пса со стадом ничего не приключится, что оно не разбредётся по соседним лугам.

Этот сон на мягком ложе из трав, под тёмно-синим небесным балдахином, овеванный живительным благоухающим воздухом, при свете молодого месяца и звёзд, казался необыкновенной роскошью по сравнению с ночлегом в кухне на *полотях*³⁹ в духоте, проникнутой запахами жира, квашеной капусты и потом спящих рядом сотоварищей.

И, конечно, в известной мере Гервазий был прав, когда говорил:

– Я мог бы получить службу гораздо хуже, чем у Глеба Евдокиевича.

Когда Гервазий засыпал крепким сном усталого человека, Приятель бдил, вполголоса ворчал, если кто-то из стада вёл себя непривычно, а то иногда и на месяц, если по его собачьему разумению месяц светил ему слишком сильно в глаза.

Как-то Приятель так заворчал, так настороженно поскуливал, что проснувшийся Гервазий поднялся и встревоженно оглядел всё вокруг.

Первое подозрение было: конокрад. Мог ведь бродячий любитель чужой собственности распутать ноги какому-нибудь коню и на нём же ускакать... И тогда – лови ветер в поле!

Гервазий обошёл луга в долине, окружённой скалами, с одной стороны речка и лес, а с другой скалистая стена – нигде живой души не встретишь.

Беспрестанное ворчание и настороженность Приятеля показали Гервазию странными. Возможно, просто необъяснимым собачьим настроением, но уснуть он уже не смог. Сам же испытывал какую-то тяжесть, которую ничем не мог объяснить, какое-то смутное предчувствие, будто душу его сжимали тиски. Тогда он сел и принялся петь молитву о помиловании Божьем.

Гервазий Гзовский обладал голосом, именуемым в музыке: *basso profundo*⁴⁰. Хоть голос был необработанный, но на диво приятный и мягкий.

И там, за пределами цивилизованного мира, среди тайги и сибирской пущи, где не ступала нога цивилизованного человека, зазвучал мощный хорал:

*Святой Боже, Святой Всевластный,
Святой Вечный и Бессмертный,
Смилуйся над нами!*

Это пение парило над скалами, над лугами, посеребрёнными жемчужной росой. Тысячи раз повторяло его эхо... Тысячи раз:

*Боже Святой!
Смилуйся над нами...*

Когда Гервазий поднялся к скале и перестал петь, он уже успокоился и был готов стать лицом к лицу с любой опасностью, которая, – как ему казалось, – таилась за скалистыми стенами, грозя: иду!... иду, чтобы тебя обездолить.

Пёс ворчал, не переставая.

– Тихо! – успокаивал и ласкал его Гервазий, который всегда говорил с ним по-польски. – Тихо, пёсик, дай мне сообразить, дай понять, что тебя так сердит, что беспокоит?

Послушный Приятель прилёг у ног Гервазия, но шерсть у него встала дыбом и глаза гневно сверкали.

В торжественной тишине благоуханной и тёплой июньской ночи слышно было лишь тихое журчание маленького водопада, около которого рос одинокий коровяк, или медвежье ухо, колыхаясь на своей тонкой стройной ножке, усеянной бледно-жёлтыми цветами.

И от этого водопада, что ниспадал из двух скальных разломов, до ушей Гервазия долетел как бы вздох, такой тихий и заглушённый, что сразу показался лишь игрой воображения.

Вздох повторился второй, третий раз, а потом очень тихий, очень мелодичный голос сказал:

*За Родину я жизнь отдам,
Я так предчувствую, я знаю.
И за то, Великий Боже,
Тебя в душе благословляю.*

Это была первая строфа песни, очень распространённой среди высшего общества во время Николая I, то есть когда Гервазий Гзовский первый раз прибывал на каторгу и поселение.

Эту песнь Рылеева он прекрасно знал.

Он не раз и сам пел её. На Нерчинской каторге её пели хором Поляки и Россияне. Но услышать её тут, среди ночи, в стороне, далёкой от хоженных дорог, в далёком краю, это либо привидение, либо галлюцинация, принесённые ему эхом из дальних стран и из давно минувших лет...

Но нет, однако! Голос повторил: «За Родину я жизнь отдал, я так предчувствую, я знаю. О! Бог Великий, я за то тебя в душе благословляю».

Голос повторял эти строки всё громче и разборчивее, но, видно, уже из последних сил.

– Ищи! – велел Гервазий Приятелю, который несколькими скачками добрался до водопада, остановился у расщелины в скалистой стене и радостно взвизгнул, словно хвастаясь, что так легко справился с приказанием.

За собакой последовал Гервазий.

В широкой расщелине скалы, опираясь плечами об отвесную скалистую стену, сидел мужчина.

Высокий, хорошо сложенный и ещё не старый; но такой худой и измождённый, что казался лишь тенью человека. Щёки его ввалились, грудь впала. Только глаза блестели горячечным возбуждением. Волосы его были светлы и шелковисты, припорошенные сединами, причёсанные неровно, с одной стороны длиннее, чем с другой. У него были маленькие изящные ступни, малы и изящны также руки, но огрубевшие, как у людей, занятых тяжёлым физическим трудом.

Одет он был в длинный тонкого сукна обносок, который некогда, наверное, был *николаевским* плащом. Всё остальное – грязные потрёпанные тряпки.

– Брат! – сказал он. – Мы поняли друг друга через песню и молитву. Я знаю хорал, который ты пел... Я знал Варшаву и было у меня там немало добрых, сердечных друзей: Гжимайло, Кжижановский, Андрей Плихте, и много, о! очень много других... Поскольку ты тут, значит, шли мы одной или близкими друг к другу дорогами. Это точно! Хочешь знать, кто я?

– Нет! Нет! – вскричал Гервазий. – Не хочу знать ни твоего имени, ни откуда ты идёшь, и куда направляешься. Я ничего не хочу видеть, ничего! Ничего! Ради Бога, не будем тратить время на разговоры, тебе очень нужна помощь, брат! Говори, что тебе прежде всего необходимо?

Путник обнял Гервазия и с волнением прижал к груди. Он горячо целовал его лицо, голову и в смятении вымолвил:

– О! что мне прежде всего надобно... О! чего я страстно желаю... Боже! Сколько же лет я не видел Человека.

Гервазий с лихвой отвечал на объятья. Однако, сильный и здоровый, он первый сумел совладать с этим нервным взрывом чувств, и, легонько высвободившись, сказал:

– Догадываюсь, ты голоден и устал... Вижу, тебе нужны бельё и обувь. А я, брат, могу всё это тебе доставить. Только мне надо добежать до дома. Позволь, я отлучусь. Вернусь возможно скорее.

Они опять обнялись. Гервазий подостлал незнакомцу накидку, чтоб ему удобно было отдыхать. Приятелю же наказал оставаться рядом и сказал:

– Сторожи!

Пёс махал хвостом и радостно поскуливал, будто благодарил за доверенные ему обязанности. Потомлизал руки и ноги путника, что должно было обозначать заключение акта знакомства между ними, уселся рядом со своим новым приятелем, одновременно и не отводя глаз от стада.

Гервазий удалился быстрым шагом.

Дом Глеба Евдокиевича, как и вообще дома сибирских крестьян и все их хозяйственные постройки, окружал острый частокол и главный ход был со двора, к которому вёл проход, обычно запертый на ночь.

Гервазий, взволнованный встречей с человеком, который, по его соображениям, не мог быть не кем иным, кроме беглого политического преступника, перескочил через частокол, размышляя, каким образом раздобыть немного молока и хлеба, потому что о других припасах среди ночи нечего было и думать. Необходимо сейчас же подкрепить хоть чем-нибудь умирающего от голода и усталости путника.

Счастливый случай помог страстному желанию Гервазия подержать незнакомца.

На лавке под стеной, украшенной деревянной резьбой, сидела какая-то фигура. Маленькая, сгорбленная, в свете месяца, выглядела она, как ведьма. Но Гервазий её не испугался, ибо это была хозяйка и совладелица дома: жена Глеба Евдокиевича, Татьяна.

Была она весьма почтенной женщиной. Работящая, некогда очень красивая, строгих правил, – то есть такой цветок, что редко цветёт среди сибирских крестьянок, – всей душой любящая дочку и мужа. А он её почему-то смертельно ненавидел, оскорблял и нередко бывала она бита, хотя никаких поводов к тому не давала.

Татьяна сама оправдывала крутой нрав мужа. Когда кто-нибудь жалел её, за то, что муж так издевается над ней, говорила:

– Заслужила! Ой, заслужила! Не родила ему сына. И дочку ему родила неудачную.

«Неудачная дочка» была красивой, светловолосой и черноглазой девицей, расторопной и смышлённой. Её красота в любом цивилизованном крае могла бы покорить самый изысканный салон.

В Сибири иные вкусы.

Там в чести женщины высокие, дородные, румяные и сильные.

Не раз, возвращаясь с какой-нибудь гулянки, Глеб Евдокиевич яростно нападал на жену:

– Соседи говорят, и поп, и попадья, и дьяк, все говорят, что наша дочь и фунта лебяжьего пуха не весит. Дохни и с ветром через окно в тайгу выскользнет... Так все говорят, а я должен слушать. А что я могу сказать, коли это правда. Должен молчать и выставлять водку, штоф за штофом, чтобы себе пасти залили, и всё из-за тебя, нечестивая!

И разъярённый пьяный мужичишка пинал сапогами и в беспамятстве немилосердно бил кулаками несчастную женщину.

Она принимала истязания покорно и только стонала, заливаясь слезами.

– За дело! За дело! Не родила ему сына, а дочь родила неудачную.

У Татьяны был необычайно покладистый характер. Отвергнутая и замученная, она полностью предалась набожности.

Молилась по книжке и по памяти твердила молитвенные слова, не раз просыпалась по ночам и снова молилась. По собственной воле, без принуждения, сама на себя налагала тяжёлые епитимьи, за то, что не было у неё сына. Только после долгих *молебнов* в церкви, возвращалась с улыбкой и удовлетворённая. А уж для церкви, для попа и дьяка, была наищедрейшей прихожанкой. Поскольку дом, земля, оснащение были приданным самой Татьяны, Глебу Евдокиевичу, по крайней мере, хватило сообразительности, хоть в этом не ограничивать жену, да и сам он горстями черпал из её шкатулки.

Гервазий Гзовский питал к Татьяне искреннюю симпатию и уважение, хвалил в глаза и за глаза её доброту, спокойствие, расторопность, домовитость, и рассказывал, что в далёких краях её «доченька» прослыла бы чудом красоты.

Это заставило сибиряков задуматься, и если не убедило полностью, что девушка хороша собой, то, по крайней мере, хоть на время ограждало её от насмешек и издёвки.

Поэтому Гервазий был любимцем обеих женщин.

Как-то в воскресенье, когда Глеб Евдокиевич, как обычно, председательствовал *в кабаке*, на гулянке, Татьяна позвала Гзовского на ступеньки, что вели в *горницу* и совершенно пустую спальню, с постланными под лампой кроватями, в которые никто не ложился, и служили они только как дорогое и нарядное украшение.

Она повела его в альков. Здесь были спрятаны самые ценные предметы. Открыла окованный железом сундук, – своеобразный склад реальных и духовных ценностей дома, со дна сундука вытащила какой-то предмет, обёрнутый в серебристую парчу, обвязанный золотым шнуром, и взволнованно вынула из-под оболочек большой лист бумаги, с победным выражением лица вручив его Гервазию.

– Что это? – спросил он, не понимая и не умея прочесть текста, которым был исписан лист.

Бледное, увядшее от слёз личико Татьяны просияло и покрылось горячим румянцем, сияя какой-то выпрепной благодатью.

– Это паспорт в небо! – сказала она.

– ?

– Да! Паспорт в небо! Сегодня я получила его от попадья. На нём подписи разных попов и архимандрита из Москвы, и церковная печать. Я этот паспорт ждала целый год и стоил он мне порядочно (она назвала, по мужицким достаткам, огромную сумму). Но зато сейчас я могу умереть спокойно, потому что знаю, что меня сразу же пустят на небо.

Гервазий сильно сомневался в истинности подписи архимандрита и пяти церковников, но было бы просто жестоко разочаровать совершенно счастливую бедолагу в «действенности» документа, и он сказал только:

– Ну, паспорт каждому человеку нужен. Но вас, Татьяна, и без паспорта архимандрита сразу же примут на небо. Потому что Христос пообещал корону небесную всем, кто на земле носил терновый венец, кто терпел безропотно, а вы, я знаю, далеко несчастливы.

– Нет! Я несчастлива, известное дело! Но ведь по справедливости! По справедливости, потому что не родила ему сына...

С глубочайшим почтением поцеловала она *паспорт* с подписями попов и архимандрита, обернула и укрыла на дно сундука.

С этого воскресения Татьяна лютые преследования Глеба Евдокиевича сносила с безмятежным лицом, только молилась ещё горячее и чаще бывала в церкви.

Увидев Гервазия в такую необычную пору, когда он должен находиться в лугах, Татьяна встревоженно спросила:

– Что это вас привело с пастбища? Может, какая скотина заболела?

– Оборони Бог! Весь скот здоров, пасутся и носятся по лугу.

– *Слава Богу! Слава Богу!* – и трёхкратно перекрестилась после трёхкратного поклона перед иконами, повешенными над крыльцом, и начала шептать какую-то благодарственную молитву.

Горя от нетерпения, Гзовский прервал её молитвенный экстаз.

– Что меня пригнало с пастбища, спрашиваете добрая пани Татьяна? Отвечаю: голод, любезная хозяйка. Глеб Евдокиевич засиделся сегодня у старшины, так что я должен был поработать и за себя, и за него. Так что сегодня я, правда, не обедал.

– Ясно! Ясно! Значит, вы не обедали сегодня. Значит, надо вам дать чего-нибудь перекусить.

– О том я и прошу!

– Дам, дам, *миленький!* Но что вам дать?

– Хоть бы что, мне всё равно... Хотя нет! Дайте мне, уважаемая хозяйка, молоко, хлеб, хоть капельку водки.

– Святой Николай Чудотворец! Почему это только капельку? Принесу целую фляжку, и кусок мяса тоже не помешает.

– А как же! Чтoб мясо могло помешать! – рассмеялся Гервазий, ошастливленный щедростью доброй женщины. – Только прошу вас, поспешите, хозяйюшка, а то мне надо быстро вернуться на пастбище, чтобы, пока меня нет, со скотом чего не случилось.

Татьяна побежала в кладовую, Гервазий – к своему кофру.

Нервными движениями вынимал бельё, обувь, мыло, гребень, сибирскую куртку, какую сам носил, даже бутылочку одеколona, которая много лет оставалась не откупоренной. Всё это связал в узелок, который перекинул через частокол, чтобы Татьяна не заметила. Она тоже вскоре пришла с корзинкой, полной съестных

припасов в таком количестве, как будто предназначалось для побега из осаждённой крепости.

Между двумя высокими скалистыми стенами ущелье заламывалось трёхкратно, а за ним широкая горловина открывала вид на просторные луга.

Возвращаясь с узелком и корзинкой, Гервазий в этом ущелье почувствовал страшное волнение.

Приятель ожесточённо лаял.

– Может, погоня напала на след беглеца?

Но нет! Он вдруг увидел, что это был просто спор Приятеля с конём, которому вздумалось перескочить через демаркационную линию пастбища.

Пёс пытался не допускать такого нарушения, с ощеренными клыками, ворча и повизгивая, он заступил дорогу коню, подскакивая до самых его губ. Конь умело вывёртывался то в одну, то в другую сторону. Наконец, ему, видно, надоело пререкается с Приятелем, или он понял, что сопротивляться бесполезно, а, может, вспомнив: «Умный глупому уступает», повернулся, энергично взягнув, принялся щипать траву, и удалился в противоположную сторону.

Приятель постоял ещё минутку, оглядел стадо, не предпринимает ли какая-нибудь скотина «революционных» действий – несколько раз тявкнул, так, для острастки, и возвратился на свой пост около путника, которого стеречь и защищать поручил ему Гервазий.

* * *

С момента появления путника, Гервазий Гзовский жил как бы двойной жизнью. Косил траву, занимался жатвой, свозил и укладывал в снопы, пахал, чистил инвентарь, чинил испорченные сельхозинструменты, прытко исполнял все те обязанности, которыми, воистину, сверх меры нагружал его непонятливый хозяин и кормилец, – но все эти работы он выполнял машинально, как бы в полусне.

В то время, как Гервазий сновал по полям и дорогам, по дому и хозяйственным постройкам во владениях Глеба Евдокиевича, мыслью, душой, всем сердцем он пребывал рядом с незнакомцем, что укрывался в скалистом ущелье у водопада на лугах.

Гервазий называл его путником. Он не хотел знать его имени. Хватало того, что с каждым днём возрастала уверенность, что оба они люди равного нравственного и умственного уровня, одинаковых убеждений, стремлений и надежд, и вообще, что пострадали во имя одной и той же идеи.

Приодевшись, путник оказался ещё довольно красивым мужчиной. Изящество в обхождении и способе выражаться выдавали человека высшего общества. Некогда был он богатым помещиком Московской губернии, но чаще пребывал в Петербурге. Тесные связи объединяли его с Сергеем Муравьевым и с Рылеевым, настолько, что он оказался в Сибири.

Гервазий сразу же рассказал ему о своей деятельности и происшествиях его биографии.

И после этих взаимных признаний оба приятеля переносились в сферы утопии, сферы, которые являются единственным убежищем душ страдавших, совершенно одиноких, пребывающих в бесконечной тоске.

Если бы кто-нибудь спросил Гервазия, сколько дней он так прожил, вряд ли бы он ответил.

– Дней? Я днём как сонный или как бездушный автомат. Я живу только вечером и ночью в обществе путника, на лугах у водопада.

А тем временем наступила осень. Холода и ненастья бывали, порой, такими, что невозможно было погнать стадо на пастбища.

И щель в скале уже не была приятным и безопасным убежищем. В любую минуту мог начаться снегопад, засыпать путника и попасть на пойму уже было бы невозможно.

И тогда, что стало бы с путником?...

Расставанье приятелей казалось неизбежным. Первым заговорил об этом путник и предполагал, что в одежде *мужика* поищет работу, доберётся до Кавказа к ещё не подвластным России горцам. А оттуда уже нетрудно будет податься в Турцию. Тогда он напишет родственникам Гервазия, а те пришлют ему из Польши вести о приятеле, который спас ему жизнь... А, может, и Гервазия уже освободят, и позволят вернуться на родину. Тогда они могли бы общаться без всяких посредников.

Это были проекты столь же иллюзорные, как бледные огоньки, что носятся над болотом, – но за неимением более позитивных идей, приятелям приходилось довольствоваться этими.

Одежду, деньги, пистолет достал Гервазий. И как-то ночью, после тесного сердечного долгого объятия они расстались.

Путник ушёл. Несколько раз оборачивался, пока ступал по долине. Перед лесом обернулся в последний раз. Снял шапку... Махнул белым платком... Потом его стройная, крепкая фигура погрузилась в лесную гущу...

Гервазий Гзовский остался один...

А была эта ночь такой же ясной, лунной, только холодной, как тогда, когда Гервазий пел хорал, взывающий о помощи, и когда познакомился с путником. Но вместо жемчужной росы на лугах лежал иней, и водопад шумел уныло, будто жалуясь, что вскоре зима скуёт его ледяными оковами.

Тонкий лёгкий стебель коровьяка колыбался перед скалой, уже утратив нежные свои цветы и листики.

Отовсюду веяло печалью, тоской, запустением...

Гервазий с тяжёлым стоном пал около опустевшего укрытия путника. Одиночество угнетало его теперь с двойной тяжестью.

* * *

Хотя «дочь» подвергалась насмешкам из-за её хрупкой фигуры и деликатной красоты, но слава о богатстве её родителей разнеслась далеко, так что претенденты на приданое и руку наследницы Евдокиевичей являлись даже из дальних окрестностей.

Тихая прежде усадьба наполнилась весельем и жизнью, о! даже сверхмерной оживлённостью.

От Нового Года до Крещения, по сибирскому обычаю, вся деревня устраивала «маскарады», состоящие в том, что парни и девчата в смешных и странных одёжках, повязывались яркими платками, закрывающими голову и лицо, и с песнями и криками бегали от дома к дому, кто, никем не признанный, выдумает самые непристойные выходки и самые смешные нелепицы и больше всех насмешит, тому достаются аплодисменты и общее восхищение. Обычно, такие «маскарады» кончаются ссорами и

кровавой дракой, потому что если ряженный кого-нибудь слишком обсмеёт или *наступит на гонор*, то он вынужден защищать себя кулаками от обиженных. И хотя льётся кровь и друг другу выбивают зубы – ничего! Всё равно эти забавы ряженных один из самых любимых праздников у сибирских мужиков.

Татьяна, как *матушка*, которая «не родила мужу сына», тоже служила мишенью для насмешек и издёвки ряженных, которых Глеб щедро одарял, но добрая женщина терпеливо сносила все шутки и в доме Евдокиевичей никогда не случалось драк. Понемногу этот дом стал любимым местом сборищ, поскольку славился обильным угощением, на которые добрая хозяйка не скупилась, не ожидая от соседей ответных приглашений.

В последние дни Масленицы развлекались и по иному.

Молодёжь на дорогах строила ледяные горы, а на полях – даже крепости из снега.

С этих гор, часто очень крутых, скользких и гладких, будто стеклянные, пускались на сани, на конных тройках, нередко ломая шею, так что любителям острых ощущений такая забава, порой, грозила серьёзными повреждениями или даже смертью.

Но такими любителями острых ощущений были все жители деревни!

Хватало и защитников, и боевитых завоевателей снеговых крепостей, которые и брали, и защищали под пушечные и ружейные выстрелы.

Как только крепость рассыплется на груды блестящих атомов, обе воюющие стороны убегают отмечать свои победы и оплакивать поражение при обильных возлияниях горилки.

В тяжёлой работе и в безумных забавах, в которых Гервазий Гзовский не участвовал, но обязан был представляться признанным свидетелем, а также деятельно помогать при их приготовлении, дни, недели, месяцы проходили быстро, не принося никаких изменений в участи поселенца, и лишь обостряли печаль и тоску о случайно найденном приятеле, но не приносили ни от него, ни о нём, никаких вестей.

Так прошла суровая в тех краях зима. Расцвела прекрасная, как везде, весна.

* * *

Глеб Евдокиевич, который в лице Гервазия нашёл дельного помощника и мудрого советчика, всё хозяйство свалил на него и Татьяну, и всё чаще мотался по дорогам.

Как-то, выехав ранней весной, вернулся домой лишь поздней осенью.

В усадьбе никто не скучал о пьянице и авантюристе и, когда он вернулся, никто у него не спросил, ни где был, ни чем занимался в столь долгом отсутствии. Он сам, вопреки своим привычкам, плёл небылицы, как по льдам и рекам добирался до тёплых краёв, где видел *побережье* Чёрного моря.

Упоминание о Чёрном море взволновало Гзовского. Именно в те края рассчитывал направиться путник.

Удалось ли ему избежать погони?... Удалось ли бедняге дойти до цели? Что с ним произошло?... Где он сейчас?... В безопасном ли месте находится?

Гервазий отодвинул миску с едой, подсел поближе к Глебу Евдокиевичу, и начал расспрашивать его с большим интересом, что и кого он видел там, откуда вернулся.

Но узнать ему удалось немного.

Мысли Глеба уже обратились к иному: он развязывал привезённые узлы и вытаскивал из них разнообразные вещи, которые закупил для себя и для украшения *горницы*. Повернувшись к Гервазию, показывал покупки и спрашивал: пусть отгадает, сколько стоит какой-нибудь предмет, сколько за него запросили и за сколько удалось сторговаться, и этой глупой болтовнёй сильно огорчил человека, которому хотелось лишь узнать что-нибудь о своём друге.

Из последнего развязанного узла выпал уже потрёпанный полушубок и растянулся на полу.

Гервазий взглянул на него и сердце громко забило в его груди. На рукавах колушка он увидел листки четверолистника, которые он некогда собственноручно вышил зелёной шерстью.

Четверолистник должен был служить талисманом для спасения и счастья того, кто колушок получил от Гзовского.

А получил его путник.

И этот человек добровольно ни за какую цену не расстался бы с этой памяткой, с этим кожушком. В этом Гервазий был уверен.

Каково же обернулась его участь на самом деле?...

Нелегко было Гервaziю Гзовскому овладеть собой и справиться с охватившим волнением, и со слезами, что набегали в глаза. А когда это ему удалось, кожушок ещё лежал на полу... Спасительные талисманы, зелёные листики клевера цвета надежды – иллюзорной, обманчивой надежды, выделялись на тёмном фоне...

– Глеб Евдокиевич, – спросил Гервазий, стараясь придать голосу полное безразличие, – сколько заплатили за этот полушубок?

– Я его в карты выиграл.

– А у кого? Наверное, не запомнили?

– Чтобы я что забыл! Что, у меня память плохая? Для моих дел – вполне хватает, – огрызнулся оскорблённый мужик. – Я его выиграл у *матроса* с парохода «*Ермак*». Засел, бестия, за карты без копейки денег, и проиграл. А наша пословица такая: «От плохого должника – хоть собачью шкуру». Так я у этого матроса взял баранью шкуру. Скажи, что плохого? – смеялся он, радуясь собственному остроумию.

– Вы, как всегда, поступили разумно, – польстил мужику Гервазий, чтобы привести его в доброе настроение. – Но, послушайте, Глеб Евдокиевич, вот мой баран уже облысел, мне этот полушубок нравится, и я бы у вас его купил.

Пока Глеб думал, что ответить, Татьяна закричала:

– Ать! Вечный позор хозяину, который продаёт обноски. Если тебе полушубок нравится, бери его себе, *миленький*, и пусть он тебе служит на доброе здоровье, дай Бог!

Глеб не позволил жене превзойти себя в щедрости и, тиская на коленях гервaziев полушубок, повторил:

– Бери, и пусть тебе служит на доброе здоровье!

Гзовский ещё раз при свете внимательно оглядел полушубок... Да, это был тот самый, что он отдал путнику.

В кармане он нашёл листок бумаги, испиленный карандашом, уже полустёртым, изящным мелким почерком.

– Разве в тёплых краях и на кораблях, что плавают по Чёрному морю, нужны меховые одежды? – спросил Гервазий у мужика

в надежде, что ему удастся узнать хоть какие-то подробности, касательно путника.

– Конечно, в тёплых краях тоже нужен мех, раз он там имеется. Но первый владелец полушубка, похоже, прибыл издалека.

– А каков он был из себя, Глеб?

– Откуда мне знать? По всякому там гадали люди, что слышал, то и знаю. Говорили, прибыл один, неведомо откуда, нанялся на уборку парохода, а когда «*Ермак*» уже отплывал, купил билет в Цареград...

– Ах! – вскрикнул Гервазий.

– Что с тобой, *миленький*? – участливо спросила Татьяна.

– Я-то здоров, только очень удивился, рассказывайте, Глеб, пожалуйста, это так интересно!

– Когда все уже взошли на пароход, и «*Ермак*» должен был вот-вот отплыть, какой-то генерал, а, может, и вовсе не генерал?... кто его знает?... в общем, какой-то генерал начал кричать, что тот, кто нанялся на корабль и должен был ехать в Цареград, что он убежал с каторги.

– Боже!

– Правда, какой *мерзавец*. Из Забайкальского края, с Петровска, аж до Чёрного моря добрался, и был он *государственный преступник*⁴¹. Тогда *матросы* тут же сбежались и, что есть силы, схватились за верёвки и тросы, чтобы *государственного преступника* схватить и заковать в кандалы.

– Христос распятый! Спаси! Иисус-Мария! – стонал Гзовский, закрыв лицо руками.

– Жалко тебе его? – подозрительно спросил Глеб. – Может, ты его знал?

– Не знал я его, откуда бы?... Первый раз в жизни слышу о Петровском. Просто меня разморило... Не выспался... Рассказывайте, Глеб. Мне очень интересно. Не часто доводится слышать про такие случаи. И вы, Глеб, рассказываете так хорошо!

– Известно, я умею рассказывать, но такое не выдумать, – засмеялся Глеб, – и не придумать. Понимаешь, они его верёвками связали, но в кандалы не заковали, потому что он вырвался от того генерала, который схватил его за ворот рубахи... И прыгнул в море.

– И утонул?

– А ты как думаешь, что он до Цареграда пешком собирался? Сразу пошёл ко дну, рыбам на корм... А тот *матрос*, который первый схватился за верёвки, получил в награду весь скарб беглого *государственного преступника*. И что это было за имущество? Смех один!... А *матрос* этот кожушок тоже получил в награду. А я его у *матроса* выиграл и подарил тебе.

НА СБОР...



Кто идёт?

– Аустерлиц, Фридлянд, Ваграм.

– Внимание! Оружие к ноге! Легион! Становись в двойки! Вперёд, за мной!

– *Vive l'empereur!*⁴²

– Правой! Ровнее! Ровнее! Сукины дети, император смотрит!

Командует Себастьян Скарбек Мальчевский, легионер, кавалер Почётного Легиона, бывший подполковник 4-го стрелкового конного полка, бывшего Войска Польского, ныне *поселенец*.

Место действия: Сибирь, Омск, скромное жилище пани Натальи Кжижановской, вдовы Кароля Кжижановского, сосланного в карательный батальон.

Конвойные из сеней поворачивают налево в кухню. Мы, каторжане, – направо, в маленькое помещенье, и, напирая, кричим:

– Лёгкой службы, милостивый полковник!

Скарбек Мальчевский порывисто поворачивается к нам:

– А! Кавалер де Токаржевский... Кавалер де Богуславский...

А!... И прочие... Вы, пановие, откуда?

– Прямо из острога, имеем честь доложить.

– Располагайтесь, судари мои.

– Будет исполнено. Благодарствуем.

Садимся на лавку около печи.

Скарбек Мальчевский кружит по комнате, сопит, нервно во рошит седую бороду.

– Пан полковник чем-то расстроен?

– Попали в самую точку, пан кавалер! – вспыхнул старик. – У меня всего восемь рядовых и даже с этой лихой армией я не могу справиться!... Не понимают простейших команд! Клянусь честью!

Мальчевский всё больше раздражается.

Тем временем *армия*, состоящая из двух дочек пани Кжижановской и других братьев-поселенцев, «опустила носы на квинту» и весьма однозначно собирается объявить о желании дезертировать.

Мы выражаем полковнику возмущение и сочувствие.

Хозяйка дома заступает за восьмерых «рядовых» и от имени провинившихся просит прощения. Успокоившись, инструктор командует уже мягче.

– Оружие на плечо! В полоборот налево. В казармы! Марш!

Армия поднимает вверх палки, которые изображают оружие, и с учебного плаца быстренько исчезает и, что сил хватает, бьют в железный таз, долженствующий заменить барабан.

Потом появляется Андзя Кжижановская, и по-военному рапортует:

– Полдник готов. Имею честь доложить!

Переходим в соседнюю комнату.

Там уже ожидает группа братьев-изгнанников.

За скромным угощением беседа, начатая с городских новостей, сразу переходит к повествованию эпизодов из всемирной эпопеи Бонапарта...

Подобно бурному потоку, что течёт необычным путём, проходила жизнь Себастьяна Адама Скарбека Мальчевского.

Уроженец Земли Ленчицкой, в XVIII веке он ещё совсем юнцом вырвался из-под родительского крова под знамёна Наполеона. Львиной отвагой добился офицерского звания и высшей Ленты Почётного Легиона.

После манифеста Александра I капитан Мальчевский вступил в Войско Польское, в четвёртый стрелково-конный полк. В ноябрьском восстании получил повышение и чин подполковника.

В 1831 году, вывезенный в Сибирь, в Тобольскую губернию, потом двадцать лет пребывал в Барабинской степи.

Кто знает *Барабу*, между Иртышем и Обью, кто знает эту степь, где бесчисленные болота отравляют воздух, где находится гнездо *сибирской заразы*, где летом 37 градусов жары, а зимы неимоверно

студёные, где земля бесплодна и, кроме пастбищных трав, никакая другая растительность там не приживается, словом, кто знает *Барabu*, тот должен изумиться, как мог четверть века прожить там европеец, культурный, немолодой, изнурённый долгой военной службой и разочарованный.

На скудном питании и в убогом жилище Скарбек Мальчевский летом работал как пастух скота, а зимой изготовлял спички. Летними вечерами, вдали от деревни, в степи, при лунном свете, перечитывал привезённые из Европы бумаги.

Это были описания битв, в которых он участвовал, это были дневниковые записки гениального вождя, это были воззвания к войскам любимого императора.

И из этих воспоминаний, из этих пожелтевших страниц старый вояка черпал непреодолимую закалку, ту силу, которая поддерживала его телом и духом в удивительной, всех изумляющей бодрости и форме.

В 1851 году подполковника Мальчевского переместили из *Барaбы* в Омск, где он тоже пребывал на каторге. С первой минуты знакомства мы полюбили друг друга от всей души.

Партия приговорённых, к которой принадлежал и я, в 1864г. остановилась на долгий отдых в Омске. Нам позволили посетить подполковника Скарбека Мальчевского. И мы отправились к нему: Томаш Булгак и я, рецидивисты, давние знакомые легионера, и несколько *новых* братьев, желающих с ним познакомиться.

Подполковника мы застали в комнатке с самой убогой утварью.

Увидев нас, он был тронут безмерно.

– А там что слышно, – спросил он, – я имею ввиду обстоятельства там, в Отчизне?

– Видите нас тут, – сказал Томаш Булгак, – вот вам и ответ, Ваше Превосходительство, пан полковник.

Желая отвлечь мысли старика к иной теме, я сказал:

– Милому полковнику хотел бы сообщить такие новости: сейчас у нас в каждом доме имеется изображение или статуэтка Наполеона...

– Императора? – выкрикнул полковник. – Так ведь это естественно, что в каждом рыцарском, шляхетском доме...

– Что вы! То же самое и в домах простых горожан...

– И у буржуазии тоже? Это очень хорошо, это очень здорово! Почитание Императора, ясное дело, возрастает и будет ещё расти.

– О! Во всей Европе! Даже в Германии.

Легионер просиял. Разразился смехом:

– И у немцев, а? что скажете? Ведь император столько раз, и не на шутку, трепал шкуры немчишкам.

– А притом, в Германии самые тонкие умы слагают оды памяти Наполеона.

Например, прекрасные стихи Генриха Гейне «Два гренадёра». Мы знаем эти стихи на память. Можем хоть сейчас прочитать, если полковник позволит.

– Боже милый! Читайте же, читайте сейчас же, кавалер де Токаржевский... Только, будьте любезны, чтобы громко и с выражением, достойным титула.

В комнате с маленькими замёрзшими окнами уже опустились серые сумерки. Дрожа от нетерпения, Мальчевский садится напротив меня.

Начинаю:

*Во Францию два гренадёра
Из русского плена брели,
И входят во вражьи квартиры,
Понуро глаза опустив...*

– Замолчи! – крикнул Томаш Булгак. – Полковник Скарбек потерял сознание.

Мы все кинулись укладывать бедолагу, который безучастно лежал на полу, упав с лавки.

Мы уложили его на узкую, твёрдую, солдатскую кровать... Сорвали с него залатанную одежду и бельё.

Боже! Как это было страшно.

Тело легионера представляло единую массу синих шрамов, углублений после извлечённых пуль, шрамов от удара палаша, от укола копьём...

Из мешочка, который полковник носил на шее, выпала записка. Я поднял её. Жёлтая, потрёпанная бумага... Из мешочка выпадает другая, маленькая, на которой написано: «Земля из моей

родной деревни. Положите эту землю в мой гроб, пусть возьедится с моим прахом».

Выпал также выцветший портретик со следами слёз на нём... Портретик Наполеона...

После долгого обморока он всё-таки очнулся.

Среди унылой, зловещей тишины с его уст срывались бессвязные слова, из которых можно было узнать, что одна и та же мысль царил в его мозгу, торопила биение сердца, учащала пульс:

– Играй атаку! Императорские орлы на бастионах распростёрли крылья... Побудку не на учения, а на атаку играй! Легион – за мной! Вперёд, мы должны идти только вперёд, побеждать и погибать. Может, наша пролитая кровь вымолит у Императора Жечь Посполиту⁴³. Зачем я не отъехал оттуда сейчас же? Был бы около Императора... Тысячи, тысячи миль... Ничего... Если над моим гробом зазвучат фанфары, я успею добежать к тебе на помощь, Император!... Если сейчас не могу встать на переключку, прости меня, дорогой Император!

Крикнул он это сильным, чистым голосом, вскочил с кровати, встал... и упал на пол бездыханный и без сознания, словно мёртвый...

Вызванный лекарь, не задумываясь, постановил:

– Весь организм старика чем-то пронзительно был впечатлён. Какой-то моральный удар сразил его. Подполковник Скарбек Мальчевский, думается, не сможет жить... не будет жить... это конец...

* * *

Диагноз лекаря оказался совершенно ошибочным. Подполковник Скарбек Мальчевский не умер. Более того, он поразительно быстро и полностью выздоровел.

ЧЕРЕЗ ТАЙГУ В МОНГОЛИЮ



Имон Себастьянович! Голубчик! Оставьте!

Так обратился ко мне Константин Михайлович Светилкин, положив сильную руку, огромную, как медвежья лапа, на лист моей счётной книги, над которой я склонился.

У Светилкина я работал после освобождения из омской крепости. Он владел водочным заводом в деревне Большой Участок, и был богатым купцом. Дарил меня полным доверием и уважением. – Оставь, пан, работу, наработался на сегодня, хватит, – настаивал Светилкин, и когда я послушно отставил кассовую книгу, спросил:

– А нет ли у пана охоты отправиться в небольшую поездку?

На равнинах Сибири уже царил весна. Снег лежал только на самых высоких пиках гор. Из девственной, покрытой буйной зеленью, земли, тянулись вверх прекрасные цветы; воздух, тёплый и чистый, был проникнут солнечным сиянием и благоухал, а я по нескольку часов ежедневно сидел над счётными книгами в низкой душной комнате, пока свет и тепло не проникали скупо через створки окна. Потому, страшно обрадованный предложением Светилкина, я живо ответил:

– С удовольствием поеду, когда скажете, Константин Михайлович!

– Ладно! Тогда поедете через Минусинск к китайской границе за конями и чаем.

Я расхохотался:

– Через Минусинск к китайской границе? И это вы, Константин Михайлович, называете «маленькой поездкой»! Но это же путешествие, что называется! Не менее тысячи вёрст.

– С хвостиком, с длинным хвостиком... Ну и что? Поди из Польши до Омска ещё дальше, а, однако ж, пан прибыл благополучно. Даст Бог, поедете до Таштыпа и вернётесь оттуда без всяких приключений.

– И то правда! Поеду в Таштыб хоть сейчас.

Я выехал в первых днях июня вместе с моим учеником Сергеем, двенадцатилетним единственным сыном Светилкина, и с Мандаринкой, верным его слугой – человеком оборотистым и находчивым, который владел в совершенстве татарским и китайским языками, что в пути к китайской границе было немаловажно.

К югу от Минусинска расположены татарские селения. На расстоянии в несколько десятков вёрст одно от другого, тянутся они среди степей по левому берегу Енисея, среди буйных пастбищ.

Эти татары пасут табуны коней, они скотоводы и коневоды, владельцы многочисленных стад овец и скота, бывает, порой, очень богаты. Несмотря на это, многочисленные татарские семьи гнездятся в юртах, где темнота соседствует с духотой и дымом, где кроме сломанных циновок и кухонной утвари никаких других предметов обстановки не бывает.

В еде эти степняки тоже неприхотливы: полусырые конина и баранина, водка, именуемая *арак*, и *ариаш*, напиток из кобыльего молока – их любимые блюда. В этих татарских селениях мы останавливались охотно, поскольку находили там чистосердечное и бескорыстное гостеприимство.

Сто юрт, образующих самое красивое, состоятельное и последнее селение в этих татарских краях, находятся в долине, окружённой лесистыми холмами, или полосой зелени.

Мрак, чуть освещённый фиолетово-пурпурными отсветами солнечного заката, уже охватил долину, а медные блески света ещё задержались над синеватыми вершинами лесов, что росли на пригорках, когда мы ехали по дороге над пропастью глубокого яра, и приблизились к этому селению. Здесь надо было задержаться надолго для выбора коней, которых татары должны были доставить на Большой Участок.

Мы остановились перед одной из юрт, у самого въезда в долину. – *Аным джох!* – крикнул Мандаринко. На этот приветственный окрик из юрты вышел седой татарин.

Это был Ахмет, старшина селения, так называемый *князь*. Увидев нас, он поднёс руку ко лбу, к устам и к груди, причём причмокивал и приветствовал нас по-русски, высказывая большую радость, и пригласил в свою юрту.

Построение в виде высокого островерхого купола, покрытое звериными шкурами и древесной корой, внешне отличалось от других только большей величиной.

Но внутренняя обстановка показывала, что князь Ахмет не чужд был цивилизации и кое-что от неё перенял. В юрте, поделённой на две половины, высокая глиняная печь над топкой, выпускала дым наружу. Это была первая печь, которую мы видели в татарском селении. Зимой татары настилали на пол кроме обычных соломенных циновок цветные войлоки, и точно такие же

висели на стенах, прикрывая все щели. Но прежде всего поражало их равнодушие к чистоте и личным удобствам.

Князь сразу же подал нам трубки, в знак братства. И пока мы курили и разговаривали, вся многочисленная семья Ахмета занималась приготовлением ужина, который вскоре подали; ужин состоял из разных блюд и шашлыка, то есть кусочков жеребятины, обжаренных на воткнутой в землю штырях, а также из баранины, тушёной с рисом, и из кумыса с *ариашем*.

Мой крепкий сон на мягких войлоках, сложенных высокой горкой гостеприимной дочкой Ахмета, прервали страшные крики, топот конского галопа и выстрелы.

Поражённый, я натянул на себя бурку, схватил пистолеты и с неотступным Сергеем Светиликиным выбежал на двор.

Светало...

Посреди двора, подобный крылатому аргамаку из баллады, мчится великолепный серый конь, уносящий какие-то две фигуры.

За ним летят такие же прекрасные кони, но в седле на каждом сидит только один человек.

Видно, за кем-то гонятся. Но за кем?

Всё селение в смятении. Старики, женщины, дети толпами выскакивают из юрт на улицу. Мандаринко, в простом неглиже, прибегает с пистолетом в руке и винтовкой через плечо.

– Что случилось, князь? – спрашиваю у Ахмета. – Что случилось?

– *Гассан увёз буюмби⁴⁴ моей юрты!*

– Буюмби вашей юрты, князь? – повторяет Мандаринко. – Что это такое?

– Моя наикрасивейшая дочка! – отвечает Ахмет.

– И «сорвал» этот цветок Гассан? Ну, значит, хорошо он поступил! Дельный парень! А вы, князь, в скорости справите свадьбу, – смеётся Мандаринко и, оборачиваясь ко мне:

– Пошли спать, пан!

У степняков-татар юноша добывает себе жену, похищая избранницу. Та чаще всего знает об этом заранее и согласна, а родственники официально будто бы ни о чём не имеют понятия. И после увоза девушки поднимают страшный шум. Отец или брат

девицы, если отец слишком стар, заранее собирают себе дружину из приятелей. Садятся на коней и преследуют беглецов, что тоже оговорено и входит в предсвадебную программу, начинается битва, в которой рыцари двух партий получают наградные ленты. Возврат девицы в родную юрту, обильные возлияния *ариаша* и *арака*, торги за выкуп невесты, предложения конкурентов более богатого выкупа – конями, скотом, шкурами и домашней утварью, – это дальнейший ритуал предсвадебной трагикомедии.

Раны, полученные во время преследования (а нередко и серьёзные повреждения, как переломы рук и рёбер) оглядывает *гойя*, бабка-лекарка, которая в каждом татарском селении пользуется большим почётом и уважением. Как только «раненые» выздорoveют, начнётся свадебный церемониал.

Чтобы выбрать коней для Светилкина, нам нужно было попасть на отдалённые пастбища. Там мы провели долгое время.

А между тем, приготовления к свадьбе княжеской *буемби* закончились и мы получили от Ахмета приглашение участвовать в свадебных торжествах.

Начались они молением шамана «Белому Богу» о счастье для молодой пары.

Взывая к этому благожелательному Божеству, шаман выступает с закрытым лицом, в бараньем кожухе, вывернутом шерстью наружу, украшенном множеством разноцветных лоскутков.

На площади пылает яркий огонь; шаман вертится вокруг, шепчет таинственные заклинания и моления, причём всякий раз полными горстями бросает в пламя звёздчатые цветы крупной ромашки.

Это длится довольно долго. Наконец, шаман умолкает и исчезает. Огонь пылает ещё какое-то время, рассыпая рубиновые отблески... Искрится... Загухает... Покрывается мелким пеплом... И, наконец, окончательно гаснет.

Теперь шаман появляется снова, но совершенно преображённый. Прежний страшный его облик сменился на менее впечатляющий. На нём высокая шапка с мелкими серебряными колокольчиками; длинная белая складчатая рубаха мягко облегает его тело, в руке он держит палку выше собственного роста, обёрнутую шкурой, с серебряным звоночком на вершине.

Он вручает брачующимся *свастики*, как известные знаки милости *Белого Бога*, которые должны принести им счастье и всяческую удачу.

Вручением свастик кончается религиозная церемония, и начинаются вольные развлечения и величания.

Над горами разожжённого угля жарятся целиком жеребята, целые туши, целые четверти конины. В медных котлах кипит вода для чая, пенится кумыс в деревянных кубках. Молодые татарки в широких шёлковых шароварах и таких же ярких цветистых *юбках*, повязанных двумя лентами поверх колен, пробираются между собеседниками, наливая старшинам *арак* и *ариаш*.

А среди весёлых и нарядных групп крутится толпа совершенно голых детей: девчата и пареньки до двенадцати лет.

Вдруг слышится шум, слышится топот коней...

Беседующие умолкают и прежде, чем мы смогли сориентироваться, на дворе появляются несколько десятков всадников.

На маленьких, по большей части пегих, долгогривых лошадаках, прямо сидят, будто пригвождённые к высоким сёдлам, всадники, четвёрками спускаются с холма. В островерхих бараньих шапках, одетые в короткие кожухи, чёрные, белые и пёстрые, вывернутые шерстью кверху. Через плечо у них подвешены сагайдаки; в руках они держат конские челюсти, насаженные на короткие палки. Перед ними едет татарин в зелёной бархатной шубе, обшитой куньим мехом и в такой же шапке. Всадники из первых рядов потрясают латунными побрякушками и бьют в медные блюда, а некоторые – в барабаны, либо, с помощью пищалок, издают резкие и пискливые звуки... И этой оглушающей кавалькаде вторит нечто, что должно бы считаться песней, а на самом деле напоминает вой.

Некоторые всадники в этом сумасшедшем беге поднимаются над сёдлами и конскими челюстями, прикрепленными к палкам, скидывают с высоты ряда кедровых столбов какие-то глиняные страшилища, которые, падая, рассыпаются на мелкие осколки.

Потом ватага, безумным галопом три раза объехав долину, вдруг, будто падает в пропасть, так быстро исчезает она с наших глаз в овраге, укрытом растрёпанным кустарником.

В сумерки на холмах зажглись огромные костры из кедрового дерева, золотом и пурпуром расцветив весь небосвод над юртами и гостями. Это истинно чародейская иллюминация горела до восхода солнца...

* * *

– Гнедой захромал, надо осмотреть ему ногу. Мы с Василием остановимся, а вы идите себе шаг за шагом пешим ходом, чтобы мы могли вас догнать. Прогулка – неплохо от скуки. Наверное, пан меня понимает, потому что он довольно-таки неглупый пан, молодой человек.

Так сказал мне Мандаринко. Согласно его распоряжению, мы проходим часть дороги по зигзагообразному горному оврагу.

Аж за одним из многочисленных поворотов перед нами появилось какое-то селение, состоящее из нескольких домов, пригнанных к горному склону и частично в котловане у подножия горы.

Сергей настаивал, чтобы мы тут подождали Мандаринко. Я согласился с его желанием, учитывая жару, тем более, что перед нами простиралась бесконечная незаселённая тайга.

У дороги стоял дом, окружённый высоким частоколом. Двери были наполовину открыты, словно гостеприимно приглашая...

Мы вошли.

– Прибыли мы издалека, – говорим, – и нам предстоит ещё долгая дорога. Хотелось бы тут отдохнуть, поесть. Позвольте...

– *Нельзя!* – буркнул человек, к которому мы обратились. Был это старец с седой бородой и с седыми прядями, свисающими около ушей. Одет в чёрный атласный халат, опоясанный длинным поясом, тканым из чёрного шёлка, белые чулки до колен, туфли без задников и в меховой шапке на голове.

– У нас свои запасы еды, – настаивали мы, не обескураженные отказом, – мы хотели бы только согреть воды в вашей кухне.

Старец отреагировал бурно:

– В день субботний нельзя зажигать огонь, а кто допускает такой грех, тот никогда не увидит рая и никогда не попробует ни кусочка рыбы Левиафан! Разве не знаешь про всё это, сын язычника? – кричал разгневанный старец.

На его крик в комнату забежал молодой рыжий великан, одетый точно также, как старик, с длинной рыжей бородой и такими же длинными прядями около ушей.

– Что происходит? – спрашивает он по-русски.

Старец умеряет пыл, я повторяю свою просьбу, подкрепляя обещание щедрой оплатой.

– Молчи, искуситель! И пусть бесы утащат тебя вглубь земли, в Таран, где подышают такие, как ты, которые оскверняли святой день Сабата.

– Прочь отсюда, сын язычника! – вновь распаляется старец и грозит нам стиснутыми кулаками.

Выбегаю из этого дома, Сергей – за мной. Рыжий великан выходит за нами.

Внимательно оглядев наш *тарантас*, коней и всё оборудование *повозки*, спрашивает одного из возниц, причём любезно поворачивается к нам:

– Мой отец очень набожный...

– Набожный, согласен, – смеясь, прерываю его, – но ваш отец ещё и гневливый, невоспитанный и негостеприимный.

– Извините! Вообще мой отец и воспитанный, и гостеприимный, но сегодня у нас праздник, а нам, в день Сабата, не положено ни чужих принимать, ни готовить. Так что я вам посоветую: зажгите костёр в лесу поблизости и поешьте что-нибудь. После захода солнца Сабат кончается, а тогда мы сами с низким поклоном попросим вас к нам на ужин и на ночлег под нашим убогим кровом.

Совет был хорош, и мы им воспользовались.

На ярком огне вода быстро вскипала в котелке. Роскошествуем за горячим чаем. А рыжий великан следует за нами неотступно. Он очень прилично говорит по-русски, советует нам выпрячь коней и пустить их на пастбище, и вообще держит себя униженно и учтиво; и притом этот приятнейший на вид человек с несколько заспаным лицом почему-то напоминает мне хищную птицу.

Я вижу, что часть его дома построена на сваях, над глубоким оврагом, и в эту минуту вспоминаю некогда читанную ещё в студенческие времена страшную повесть, в которой описаны замки Раубриттеров. Путешествующие богачи, которые заночуют в

таких разбойничьих гнёздах, вдруг через раскрытую половицу попадали из роскошных комнат с удобными постелями в скалистые подземелья, или в глубокие, залитые водой, ямы, а хозяин в это время грабил их имущество.

– Здесь мы не заночуем, – решаю твёрдо, – не заночуем! Если Мандаринко и захочет, я не соглашусь.

А Мандаринко как раз подошёл и принимает все предложения великана; рассыпается в благодарностях, обещает щедрую оплату, смеясь и беседуя, будто ему очень нравится перспектива такого ночлега, он бежит от *повозки* к *повозке*, оглядывает колёса и упряжь, не нуждаются ли в починке.

Рыжий великан заверяет, что в посёлке мы найдём очень искусных мастеров, которые по низкой цене могут выправить любую поломку, и добавляет:

– Пойду почитаю послеобеденную молитву и пришлю свою сестричку. Пусть побегают с молодым паничем.

Отходит.

Вдруг исчезает в тёмных сенях дома и кричит:

– Фромеле! Фромеле!

Тут же Мандаринко хватается Сергея в охапку, впихивает в *тарантас*, строго велит им не садиться, сам вскакивает с другой стороны, и рукой, и голосом коротко приказывает:

– Двигай!

Возница вскакивает на козлы, легко хватается вожжи, чмокает, и дико кричит:

– Ху-у-у! Хе-е-е! Лети! Уноси!

Отпускает коней на волю, пусть летят, как хотят. Те ржут, мнутя на месте, потом напрягаются и утаскивают *тарантас* так, что он аж стонет, и с развевающимися гривами уносят нас, как ураган...

Блеснула молния. Не обращая внимания, Мандаринко командует:

– Погоняй! Погоняй!

Ошеломлённый всем этим, сперва молчу, потом начинаю подзревать, не сошёл ли внезапно с ума Мандаринко, или, может, подвыпил.

Наконец, рискую спросить:

– Нагоним часы, которые потеряли при осмотре гнедого?

– Вот именно, правильно говоришь, пан. Сэкономили бы время, так попали бы к Ян-Саню «когда надо», что было бы очень плохо, и даже скверно, – громко смеётся Мандаринко, и шёпотом прямо в ухо твердит мне:

– Сабатники!

– Что это?

– Ать! Некогда разговоры разговаривать... Погоняй!

Теперь мы несёмся с ровной скоростью. Вдруг после крутого съезда выезжаем из мрачной горловины на вызолоченную солнцем дорогу.

– *Слава Богу!* Три свечки *Николаю Чудотворцу* поставлю! – кричит Мандаринко, набожно крестясь. – Солнце ещё высоко... Стой!

Возница соскакивает с козел и быстро справляется со своими делами... Каждый вытирает сеном бока, морды и ноги своих коней. Как только они немного отдышались, горстями даём им траву и овёс.

Мандаринко умело помогает возницам. Сергей вытащил из корзины какие-то лакомства и питается, весело щебеча. Я оглядываю окружающий нас пейзаж. Я в восхищении, но слышу, тем не менее, отрывки разговора Мандаринко с возницами.

– ... Никита, старый пьяница, зачем ты ему сказал, что везём *женшень*?... *Черти поганые*, у них кони, как кабаны... И наши не хуже... *Козья их мать!* Если бы выехали из своих свинских хлевов, то только по-собачьи...

Что всё это значит, силось понять напрасно.

Среди сект, в ту эпоху, не поощряемых властью (например, раскольники, скопцы), своеобразием своих обычаев выделялись *сабатники*.

Их религия – удивительный сплав иудаизма и ислама. Как магометане, они верят в семь райских сфер с гуриями, а как иудеи – ждут пришествия Мессии, не едят пищу, запрещённую заповедями Моисея. Десять заповедей и святые книги Старого Завета им не знакомы. Одетые в белые рубахи, громко молятся по-русски. Носят староверскую еврейскую одежду и с виду близки к семитскому типу.

Они праздновали субботу так, что любой вид занятий в этот день считался величайшим преступлением, которое будет наказано вечными муками. Отсюда и название секты: сабатники. По сказаниям секты, или на самом деле, были они потомками евреев, сосланных в Сибирь в незапамятные времена. С годами эти поселенцы, униженные и преследуемые, понемногу утратили память о родном языке и обрядах. Так образовалась секта, довольно многочисленная, которая осела в тайге, достаточно далеко от людских селений и резиденции властей.

Сабатники имели репутацию грабителей и убийц. Мнимым гостеприимством заманивали путников в свои дома. Купцы с грузом мехов или чая, мужики, что везли зерно в Монголию, не раз исчезали без вести. Говорили, что они оказывались жертвами жадности и фанатизма этих сектантов, верящих, что убийство человека иной веры является обязанностью и заслугой перед Иеговой.

Кто видел, каковы были сабатники, тот старался проезжать через их селения только в субботу утром. Единственно в этот день не следовало бояться их нападения.

Все эти обстоятельства обсказал мне Мандаринко во время ночлега у костра. Он не мог рассказать об этом раньше, чтобы не напугать нашего мальчика Светилкина.

– И во всю эту беду мы попали по моей вине. Лучше бы чёрт побрал гнедого!... А я, болван безмозглый, пустил вас вперёд, ни о чём не предупредил, а Никита ещё догадался, что мы везём *женшень*⁴⁵. Такая соблазнительная вещь! Увидите, они за нами погонятся!

– Будем защищаться, – сказал я с воинственным запалом.

– Нас всего семь, а их целая толпа, и наверняка вооружённая не хуже солдат.

– Тогда почему власти не посадят в тюрьму этих разбойников?

– Вот уж глупый вопрос! А кто докажет сабатникам, что именно они ограбили того или другого, кто погиб, например, по дороге из Минусинска к китайской границе? Эти бесы живьём никого не отпустят. Вредные *молодцы* – беда такой человек. Никто не смеет сопротивляться.

Сергей спит в *тарантасе*, завернувшись в войлок, кони легли на траву. Ночь привольно раскинула над землёй свой звёздный шатёр, луга излучают тепло, но от горных снежных вершин веет холодом.

Завёрнутые в бурки, с пистолетами в руках, сидим, ожидая опасности, которая то ли подкрадывается к нам ползком, то ли летит на ястребиных крыльях.

Царит глубокая тишина. Даже ветерок, который привольно веял днём, теперь уснул на цветах. Размышляю: если мне суждено погибнуть здесь, то как же, однако, далеко от Отчизны окажутся мои кости!

В это время хмурая поволока закрывает весь пейзаж, затемняя звёзды. Делается всё темнее и темнее. Наконец, дорога, деревья, луга сливаются в единый непроглядный мрак. Над нами висят тучи, как траурный навес, а там, в тех горах, которые мы оставили за собой, уже разразилась буря. Луна едва светит. Вспышки молний и взрывы грома следуют непрерывно, так что земля стонет и дрожит.

Мандаринко радостно потирает руки.

– *Слава Богу!* Сейчас уже опасность миновала. Эти *черти поганые*, даже если бы пустились в погоню за нами, вернутся домой, потому что верят, что во время бури разгневанный Иегова всегда кого-нибудь прихватит с грешной земли. *Ай-да молодцы!* Сейчас напьемся горилочки. Перед образом Святого Николая Чудотворца поставлю целых двенадцать свечек!

* * *

Подворье выложено гранитными плитами, а ворота, оббитые каким-то розовым растением, ведут в ограду, в которой цветут чудесные, огромные махровые маки, душистые пионы, фиолетовые ирисы и множество неизвестных мне растений, цветов и кустарников.

В середине ограды стоит дом с китайской фарфоровой крышей и крыльцом, которое опирается на стройные колонки, окрашенные красным лаком.

Это резиденция Янь-Саня, который основал в Монголии торговую фирму.

Нам сообщают, что Янь-Сань ожидает нас у себя. Входим. У стен на разостланных жёлтых матах сидят несколько важных китайцев в шёлковых сапфирового цвета одеждах. Волосы у них зачёсаны со лба и заплетены в длинные чёрные косы. Курят короткие трубочки. Высокий помост под окном занимает молодая китайка. Настоящая кукла! В цветистом шёлковом платье, широком шарфе, тесно охватывающим её талию, с лицом, накрашенным белой и розовой блестящей пастой, с накрашенными чёрными бровями, со сложным сооружением из волос. Перед ней на столике разложены художественские принадлежности: таблички ярких красок, золото в маленьких фарфоровых мисочках, тончайшие кисточки, которыми она очень ловко пользуется, рисуя на белой пластине рисового теста.

Присутствующие прикладывают ко лбу стиснутые кулаки и вопрошают:

- Хорошая погода во дворе? Вы уже поели вашу кашу?
- Хорошая погода! Поели! – отвечаем.

Такой обмен вопросов и ответов – обычный ритуал приветствий. Потом Янь-Сань говорит по-русски:

– Я счастлив видеть в моём скромном доме столь давнишних и достойных гостей: моего старого приятеля и сына моего удачливого и благоразумного друга Светилкина.

Что-то бормоча о взаимном счастье, вручаю писаное золотом, моею рукой, письмо от Светилкина и начинаю разговор о грузе *женьшеня*, который мы привезли. Хозяин прерывает меня глубокомысленной китайской поговоркой и величественным жестом руки:

– Кто слишком торопится, тот спотыкается. Сперва отдохните, а потом поговорим о наших торговых делах.

Указывает нам место на циновке. Китайцы подают нам из собственных уст вынутые трубочки.

– Настали дни великой жары, жар льётся с небес, как росистый дождь, – начинает разговор Янь-Сань и продолжает в том же духе. В это время пареньки, похожие на гномов, перед каждым из нас... [*завершающий фрагмент главы в книге отсутствует*]⁴⁶.

Шимон Токаржевский
СРЕДИ УМЕРШИХ ДЛЯ
ОБЩЕСТВА
Зарисовки из жизни
поляков в Сибири
Варшава, 1911¹



НА ИРТЫШЕ



ветало...

На светло-сером небосводе, из-за лёгких опаловых облачков, местами проглядывали как бы только что расцветшие бледно-розовые цветы.

Из-под тонких, прозрачных предрассветных покровов мглы начал проглядывать погожий, летний, жаркий день, розовели воды Иртыша, а на бескрайних киргизских степях, что тянулись по ту сторону величественной реки, появились светлые полосы, что предвещало: сейчас покажется солнце. И вскоре оно показалось, щедрое и лучезарное.

Тут же повеял живительный ветер... Какое-то радостное оживление послышалось над Иртышем, над степью, над дальним аулом кочевников, над табуном пасущихся коней и над скалистым берегом, который при солнечном восходе заискрился, словно посыпанный крупными песчинками золота.

По этому берегу, в тот ранний час, ватага каторжников омской крепости отправлялась на работу.

Барабан, подающий заключённым сигнал подъёма, отбивал дробь, задолго до рассвета.

Но никто не жаловался на такую раннюю побудку, потому что жаркие летние ночи в душном воздухе каземат были истинной пыткой, после которой даже самая тяжёлая работа под открытым небом, на свежем воздухе, казалась живительным облегчением.

В тот день нам надлежало в мрачном старом бору начать прорезать гущу, прокладывать дорожки, делать на деревьях зарубки, «зачёсы».

И всё это, чтобы губернатор Западной Сибири Пётр Дмитриевич Горчаков мог здесь легко ориентироваться во время охоты, которые затевал, чтобы развлечь и в знак почтения к чиновникам, приезжавшим из Петербурга для проверки.

С лопатами на плечах, с топорами в руках, мы маршировали бодро и весело.

Веселы были все без исключения.

Даже обычно хмурый и ворчливый дозорный на сей раз не ругался, не поторапливал, не грозил «пулей в лоб» за задержку, не

Источник:

Tokarzewsky Szymon. Posrod cywylnie umarlych. Obrazki z zycia Polakow na Syberyi. – Warszawa, {1911}. [Токаржевский Ш. Среди умерших для общества: зарисовки из жизни поляков в Сибири. – Варшава, {1911}. – На польском языке].

осматривал, крепко ли привинчены кандалы, что делал постоянно, поскольку каторжане работали в лесу, в степи, над Иртышем, либо на отдалённых от Омска полях и на тракте.

Творец живописной природы и благоуханного воздуха, на время умягчил дозорного и сделал его весёлым и даже снисходительным.

Он стал до того снисходителен, что велел бить в барабан на отдых уже в половине двенадцатого.

И тогда целая ватага вышла из бора из-под тени древних деревьев и группами разместилась на траве.

Мы, Поляки, сели с краю, стараясь, как обычно, занимать возможно меньше места, ничем не стесняя наших сотоварищей по каторге, чтобы не вызывать их недоброжелательности, но и не привлекать их внимания...

Федор Достоевский и Сергей Дуров присоединились к нам.

– Сегодня впервые с тех пор, как прибыл в острог, в первый раз дышу сейчас полной грудью и испытываю приятные впечатления. Такое впечатление, будто я не на каторжных работах, а как свободный человек, на какой-нибудь загородной прогулке, – сказал по-французски писатель Федор Достоевский.

Каторжники-преступники ненавидели «политиков»². Поэтому, если случалось, что между собой мы говорили не по-русски, они просто впадали в ярость.

Хотя до сих пор исключительно французские разговоры Фёдора Достоевского раздражали, сейчас мы не обратили на это внимания, может, оттого, что он обратился к нам любезно.

Только арестант Сушилов сплюнул сквозь зубы в нашу сторону и, презрительно оглянув нас, запел во всё горло:

*Пётр через Москву прёт,
А теперь верёвки вьёт.*

Тут же послышались хохотки, вслед насмешливой песенке Сушилова.

Но вдруг общее внимание обратилось к пришедшим из города «калачницам».

Калачницами звались девчата, которые разносили «сайки».

Для многих омских женщин выпечка таких пшеничных булочек составляла неплохой источник заработка, хотя за добрую сайку платили всего полкопейки.

Крепостные заключённые толпами покупали сайки, хрустящие, свежие, и поедали их так же жадно, как вглядывались в румяные лица и ладную статью молоденьких продавщиц.

Они тоже приязненно и охотно «зыркали» на ловеласов с наполовину обритыми головами, с выжженными на лбу и на щеках клеймами, с кандалами на ногах.

Где бы ни работали каторжане, за забором острога, в предместье или на окраинах города, в кирпичных мануфактурах, в сараях и кузнях, или на ремонте тракта после осенней слякоти или весенних паводков, в любое время года, – в полуденный час отдыха всегда появлялись эти девчата с корзинами булочек, и их встречали бурными проявлениями радости и шутивными колкостями.

Подойдя к булочницам, каторжане весело загалдели:

– Ксекунда! Марьяшка! Хаврошка! Мы уже давно мечтали погрызть ваши сайки. Почему сегодня так поздно? Где валандались?

– Помогали матушкам высаживать сайки из печи, – отвечали девчата.

– Так-с?! Бендерская хвороба на вас, какая это правда!

– Глянь-ка! Он ещё и проклинает! – с притворным возмущением парировали калачницы, а Ксекунда важно заявила:

– Я вам скажу чистую правду. Правда, чистая как золото: со вчерашней полночи до сегодняшнего полудня, мы всё время танцевали...

– В кабаке, под рыжим псом, – прервал Сушилов, – у паршивого Элиашки...

– А не правда! А врешь! – вроде бы обиделась Ксекунда, – не в кабаке и не у Элиашки, а у самого генерала, мы здорово позабылись с офицерами.

– Пусть у генерала, – сказал Сушилов, – генерал большой человек! Но генерал генералу рознь! И вот что скажу вам, миленькие девчата, вы у какого-нибудь бандитского генерала баловались...

Эта шутка вызвала взрыв хохота и возмущение калачниц, так закончилась оживлённая перепалка.

Сушилов ещё и пригрозил девочкам:

– И глядите, соломенные коровы, чтобы не скалили зубы в сторону политиков!

– А мы вот как раз и собираемся! «Приказ» твой, а воля наша! – хохотали девочки, ошарашенные беседой с кавалерами, но и тем, что в их кожаные кошелёчки так и сыпались грошики за булочки, которые вместе с водой из источника, что сочился с ближайшей скалы, составляли основную часть нашего обеда.

С пустыми корзинами на головах, булочницы уже собрались уходить, дозорный уже должен был отдать приказ, чтобы мы вернулись в лес к начатым работам, когда пред нами предстало пречудное видение... Посреди Иртыша плыла ладья, украшенная зелёными гирляндами, в которых местами проглядывали разноцветные цветы.

Величественная, роскошная, в виде огромного лебедя, с пурпуровыми парусами и флагом с надписью «Mon plaisir»³ ...

За ней, как бы сопровождающая, плыла целая флотилия меньших лодок, выкрашенных в белый цвет, тоже роскошных, и с разноцветными парусами. Там сидели женщины в светлых платьях и шляпках, были и военные высших чинов, в парадных мундирах, квартирующего тогда в Омске полка «красноярцев».

Течение реки легко уносило эти красивые, изящные силуэты.

Гребцы шевелили вёслами только изредка и как бы скуки ради, и вскоре полковой оркестр в сопровождающей флотилии заиграл *fortissimo*⁴.

Смех и пересуды среди каторжников прекратились внезапно.

На ладьях тоже, вероятно, говорили очень негромко, потому звуки оркестра вместе с лёгким плеском волн Иртыша звучал среди окружающей тишины слаженно, мелодично и впечатляюще.

– *Freischutz!*⁵ – вскричал Сергей Дуров. – Ах! На этой опере мы были вместе в Петербурге. Помните, Федор Михайлович? – спросил он Достоевского.

Тот печально улыбнулся и ответил:

– Помню...

И оба умолкли...

А между тем, флотилия уже доплыла до нас. Каторжники обнажили головы и стали во фронт, лицом к реке, напряжённые, как струны...

Конвойные солдаты отдали честь. В первой из изящных лодок, той, что с пунцовыми парусами, среди военных и штатских чиновников из Петербурга и омской знати, сидевших на скамьях, покрытых коврами, первое место занимала генеральша Шрамм⁶.

Справа от неё сидел какой-то петербургский чиновник, а слева – губернатор, князь Петр Горчаков.

И эта флотилия с гирляндами зелени и цветами, с разноцветными парусами, с музыкой, – эта флотилия, полная свободных, статных, уверенных в своей безопасности людей, посреди величественной реки, плыла перед нашими глазами, как фантастическое явление, колдовское видение, или сон, приснившийся наяву, в этот солнечный июльский полдень.

Флотилия медленно исчезала из вида...

Истинно мимолетное видение... медленно удалялось... удалялось... пока не исчезло за выступом скалы, что остро врезалась в Иртыш.

Мелодия из «Вольного стрелка» тоже стихала в благоухающем золотистом мареве... пока совсем не утихла, и только шепот ветра слышался над старыми деревьями...

Мы вернулись в лес, к прерванным перед полднем работам.

Но прекрасное видение, что мелькнуло перед ватагой этих людей, которых мучили голод, нужда, неволя, унижения, – это прекрасное видение всколыхнуло в них желчность, зависть и ненависть к тем счастливым избранникам судьбы, которых они видели мгновением ранее.

– Слякоть, нелюди, подлые кобылки⁷, имеют тысячные состояния, челядью обросли по горло, как генералы, валяются на мягких перинах... Каждый день напиваются, как короли... «Сволочь», а не люди! – сказал Скуратов, хромой безобразный карлик, похожий на гнома.

Вздыхнул, отхаркался, сплюнул сквозь зубы и, поворотившись к нам, Полякам, издевательски смеясь, спросил:

– Ну-с? Как вам? Ничего себе, а?... Господа «иляхта»?

И, хотя дозорный, прапорщик Иван Матвеевич, методично одёргивал:

– Мелите языками, как мельничные жернова! Кому говорю, молчать!

Напрасны были понукания.

Напрасны были и угрозы кнутом. Работа шла медленно, вяло, лениво...

Сегодня метка деревьев утруждала нас и раздражала, хотя это была одна из самых лёгких работ.

Часы тянулись нестерпимо долго!...

А бор, тем временем, всё более мрачнел, в нём стало душно...

Верхушки деревьев сотрясали зловещие порывы ветра...

Из толпы прокладывающих дорожки послышался громкий голос, доносившийся сквозь удары топоров и скрипа лопат, голос злобного карлика Скуратова:

– Эй! *«Господин надзиратель»!* Уже день погас как свечка Тобиашки паршивого, а вы ещё держите на работе нас, «молодцов»!

– Да уж, такие вы *«молодцы»!* – раздражённо проворчал дозорный Иван Матвеевич.

– Мы не молодцы, согласен, но прапорщик тоже не офицер! – огрызнулся злобный Скуратов, намекая на слабость Ивана Матвеевича, который, будучи всего лишь прапорщиком, требовал, чтобы ему отдавали *«честь»*, как полагалось военным высшим чинам.

Скуратов, осуждённый на двадцать лет каторги за убийство двух своих родственников, иногда бывал довольно остроумен.

Проворный, находчивый, не лишённый юмора, он в омском остроге был как бы местным шутком. Ему удавалось развеселить даже самых понурых. Каждую его реплику сотоварищи встречали громкими неудержимыми взрывами хохота.

Он очень этим гордился, остроумие приносило ему немало пользы.

*«Кашевары»*⁸ подсовывали ему самые лакомые куски, сотоварищи по каторге делились с ним водкой и табаком, помогали на работе, часто даже отработывали за него задания, которые карлику было не под силу выполнить самому...

Когда мы вышли из бора, солнце уже клонилось к закату, зажигая на водах Иртыша фиолетовые кровавые отблески.

От киргизских степей шёл парной, душный воздух...

Когда мы приблизились к городу, сорвался ветер.

Откуда-то издалека надвинулась туча.

Закрыла собой пламенеющий закат, затемняя его яркие краски.

Вскоре появилась ещё одна, ещё больше и гуще... Всё вокруг стало хмурым и потемнело...

Лёгкие дуновения ветра превратились в грозный вихрь...

Вдоль дороги, ведущей в Омск, стояли ряды деревянных строений, *«балаганы»*⁹, служившие складами для кирпича и упряжи артиллерийских коней, сараями для толчения и обжига алебастра и кирпича.

Сейчас все они были давно закрыты. Только в огромной кирпичной кухне солдаты ещё работали.

Вокруг раздавались удары молота, брэнчание железных рельс, разложенных на каменном полу.

Из трубы валили снопы искр. Облака чёрного дыма плыли ввысь и там сливались с хмурым, почти чёрным небосводом.

Перед кузней встали несколько возов, гружёных железом.

Когда мы проходили мимо, офицер, сопровождавший эти возы, задержал партию окриком.

– Стать!

Мы остановились, ожидая дальнейших распоряжений.

Оказалось, что требуется наша помощь при разгрузке и переноске железа в кузню, к чему мы приступили сразу же, хотя весьма неохотно, потому что не имели права ни отказаться, ни даже протестовать.

Начал моросить густой мелкий дождик.

Наступило предвечернее время...

Золотисто-пурпурная полоса догорающей вечерней зари ещё светилась на западе, но со всех сторон небосклон был так тёмнен, что казалось, будто ночные тени уже витают над землёй.

– Само небо сжалилось над нами и плачет о нашей тяжкой доле! – сказал Сергей Дуров¹⁰, который любил прибегать к риторическим и патетичным, возвышенным выражениям, постоянно

сохраняя облик мученика за правое дело, сетуя на мстительную руку судьбы, так обидевшей его.

А дождь превратился в сплошной ливень, перемежающийся с градом небывалой величины.

Мы промокли до нитки. И очень были благодарны офицеру, когда тот, посоветовавшись с Иваном Матвеевичем, решил позволить нам прекратить работу и укрыться в кузне.

Мы вошли.

Около огромных кувалд и мехов трудились обнажённые до пояса солдаты.

От огня шёл жар, как в гроте у Циклопа, или в аду. Дружно, в унисон падали удары молотов, солдаты хором пели какую-то заунывную песню.

И вдруг... грянул выстрел... один... второй... третий...

Потом несколько pistolетных выстрелов послышались одновременно.

Офицер и дозорный, Иван Матвеевич, бросились к дверям, чтобы узнать, что произошло... Вскоре непрерывные выстрелы слышались чередой друг за другом, солдаты оставили меха, кувалды, молоты, а за ними и все, не соблюдая субординации, высыпали из кузни во двор.

При последних отблесках закатной зари мы увидели страшную картину.

Воды Иртыша вздымались... поднимались... росли... Пару часов назад Иртыш струился так тихо и спокойно... Сейчас он рычал как легендарный зверь, изрыгая из своей развернутой пасти настоящие фонтаны мутных волн и серо-белесой пены.

Ветер, свирепо свистя, уносил ввысь бурные волны; он свивал их в столбы и будто в каком-то адском танце вертел изящные ладьи, которые в погожий солнечный полдень под голубым балдахинном небосвода, с музыкой проплыли перед нашими глазами.

На обратном пути в Омск их накрыла гроза.

Ураган посрывал с мачт цветочные гирлянды, в лохмотья превратил цветные паруса, поломал мачты, вырвал вёсла из рук усатых гребцов...

Лодки пытались пристать к берегу...

Тщетно...

Вихрь отталкивал их от берегов, отталкивал на середину реки...

Они сталкивались и, толкая друг друга, наносили друг другу всё новые повреждения.

Казалось, что две мощные стихии, ураган и вода, сговорились между собой и поклялись истрепать, уничтожить и погрузить вглубь Иртыша эту красивую флотилию, и этих людей, таких весёлых и беззаботных несколькими часами ранее.

Увидев освещённое помещение и множество мужчин на дворе, несчастные потерпевшие начали стрелять из pistolетов.

Это был призыв о помощи, просьба спасти...

Но даже при искреннем желании помочь, – уже было поздно, не хватало людей, не хватало тросов, а притом стихия разыгралась – дождь лил ручьями, вихрь ломал придорожные деревья, которые с треском валялись во двор... Неустанно рокотал гром, сверкали молнии и, словно стрелы, вонзались в Иртыш и тонули в бурливых глубинах реки.

Страшная это была буря.

К счастью, продлилась она недолго, как это нередко бывает летней порой...

Когда ураган и молнии немного притихли, офицер велел солдатам отпрягать коней от возов и мчаться верхом в город за людьми, верёвками и повозками. Нас задержали, полагая, что при спасательной акции наша помощь может понадобиться.

.....

Чёрные угрожающие тучи по-над рекой, над степью и над берегами реки поплыли на север и вскоре совсем исчезли за далёким горизонтом.

Иртыш совершенно успокоился...

Только «баранки», или пенные пятна, плывущие по спокойной сейчас глади воды, говорили о прежнем бесновании реки, а также о последствиях страшной бури.

Притом, положение флотилии оказалось весьма небезопасным. Усилия матросов прибиться, или хотя бы приблизиться к берегу, откуда можно было ожидать помощи, оставались тщетными.

Ветер упорно толкал лодки к середине реки, к самым глубоким местам.

Женщины в лодках жалобно кричали:

– Спасите! Спасите! Господи и Святой Николай Чудотворец, – спасите!

– Сейчас! Сейчас! Успокойтесь! Прошу покорно! – изо всех сил своих юных лёгких кричал молодой офицер, размахивая белым платком, привязанным к длинной жерди, указывая в сторону Омска, чтобы потерпевшие поняли, что из города вскоре должна приспеть помощь.

Более всего пострадала ладья с пурпурным парусом, именно та, в которой сидела генеральша Шрамм с омской знатью и петербургскими гостями.

Флаг с надписью «Mon plaisir» был продырявлен.

Не двигаясь с места, ладья углублялась в реку, она всё больше тяжелела. Матросы что-то мастерили на дне. Очевидно, пытались заткнуть образовавшееся грозное отверстие.

Дамы в промокших платьях встали на скамьи, мужчины шапками выливали набравшуюся воду из лодки и переходили из одного конца в другой, чтобы удержать её в равновесии.

Один за другим с «Mon plaisir'a» выкидывали утяжелявшие лодку предметы: ковры, всякие корзинки, коробки, шали, зонтики, дамские накидки... Всё делалось для того, чтобы облегчить набравшую воду лодку.

Но, несмотря на все усилия, она погружалась всё больше... Казалось, ещё мгновение, и она пойдёт ко дну...

А люди из Омска, позванные на помощь, не прибывали... Всё не прибывали.

Другие судёнышки, входившие в состав флотилии, несколько приближались к причалу. Только ладье с пурпурными парусами грозила неминуемая и быстрая гибель...

И тут на лодке «Mon plaisir» поднялся какой-то солдат, до тех пор занятый работой вместе со всеми.

Видимо, его подозвал генерал. Солдат приблизился и салютовал.

Генерал дал ему какой-то короткий приказ.

Солдат вновь отсалютовал.

Затем снял одежду, обнажив свою богатырскую постань, снял фуражку и бросил на дно лодки, глянул в опять распогодившееся голубое, чуть порозовевшее небо, трёхкратно перекрестился, широко расправил плечи и кинулся в реку, крикнув:

– Господи, помилуй!

«Mon plaisir» сильно заколыхалась, а потом сразу же чуть приподнялась...

* * *

Вся флотилия прогулочных лодок с «Mon plaisir'ом» счастливо избежала потопления и не разбилась во время бури, а была чудодейственно спасена.

Генерал Горчаков и генеральша Шрамм затеяли ещё более захватывающую охоту, чем было запланировано ранее.

Очевидно, такой праздник должен был компенсировать прибывшим из Петербурга чиновникам неудачную прогулку по Иртышу, испуг и пережитые волнения, когда они попали в бурю, которая разбушевалась именно здесь.

Потому мы вновь отправились на следующий день в бор, прокладывая дорожки, строить из дёрна и мягкого мха скамейки, мастерить из веток шалаши, в которых охотники могли бы отдохнуть, и беседки, где будут расставлены роскошные угощения.

На третий день после бури, когда, после работы в лесу, мы по берегу Иртыша возвращались в острог, конвойные предшествующей партии каторжан подбежали с криком:

– Андроник Оноприенко!

В их голосе звучала жалость, горечь и испуг...

Они многократно клялись, повторяя беспрестанно слова какой-то молитвы, что дорогу им загородило какое-то ведьмовское видение.

Вся ватага каторжников остановилась.

– Ну-с! Чего стали? Чего подняли такой гвалт? – допытывался дозорный.

В ответ один из конвойных опустил руку, указал на землю и дрожащим голосом опять закричал:

– Андроник Оноприенко!

На влажном песке лежал труп...

Синий, распухший, с открытыми глазами лежал труп того солдата, который тремя днями ранее кинулся в Иртыш с ладьи «Mon plaisir»...

Попал в самую глубину и утонул...

Никто о нём не беспокоился.

Никто не искал его следов.

И всё же бурливая и убийственная стихия на сей раз оказалась милосердной: вода вернула земле тело, чтобы оно упокоилось в освящённом месте.

– Ну-с, и чего стоите, как болваны? Чтоб вам сгореть от водки! – злился прапорщик. – Андроник Оноприенко утопился, велика беда! Зачем из лодки выскочил, *дурачище*.

Скуратов выступил из ряда вперёд и, сдвинув шапку на затылок, сказал:

– Он, бедолага, Иван Матвеевич, прыгнул в реку, потому что от своего генерала получил такой *приказ*.

Сообщение Скуратова вызвало общее смятение. Некоторые кивали головой в недоумении, а прапорщик пнул карлика:

– Врёшь, зараза сибирская!

Хромой настаивал на своём:

– Не вру, Иван Матвеевич, *честное слово*, не вру. Инвалид и Гришка, и другие матросы говорили про это вчера, когда мы помогали грузить на возы попорченные лодки. Андроник Оноприенко здоровенный был, как вол, а большой и сильный, как медведь, да и тяжёлый на диво... А лодка с губернатором и генералами была дырявая... Так, чтобы облегчить лодку, генерал велел Оноприенко выпрыгнуть. Гришка и Инвалид, и все матросы слышали, как *Его Превосходительство* сказал: «ничего с ним не станется, выкупается, а то, наверняка, грязный весь, доплывёт до берега, глотнёт горилки и получит полрубля!». *Верно*, так генерал и думал... Только бедолага Андроник не доплыл и горилки так и не выпил, и полрубля не получил. Ну-с, и жизни лишился...

Во время рассказа Скуратова меня охватило состояние, будто морозный ветер повеял с севера и заледенил мне кровь.

.....

Дорога до острога, где находились казематы каторжан, проходила около летнего обоза полка, в котором состоял Андроник Оноприенко. Среди палаток ходили солдатики, а, закончив свои дневные занятия, пели хором:

Нам прикажут – мы идём,

Нам прикажут – мы стоим,

Нам прикажут – мы лежим

И, до приказа, в гробе стим!

Мы, Поляки: профессор Жоховский, Мирецкий, Юзек Богуславский и я, шли тесной группкой. Только стихла эта песня, проникнутая безграничной безнадёжностью, подбежал к нам Федор Достоевский:

– Слышали, господа!... Слышали эту песню? Молодцы! Молодцы красноярцы! Ах, с такой дисциплинированной армией, с такой армией можно совершать чудеса... Можно одерживать такие победы и... Александра Македонского превзойти... Можно завоевать Цареград... Победоносные российские знамёна будут реять над Босфором и Геллеспонтом... Можно захватить и покорить весь мир!...

Он говорил возбуждённо, с сияющим лицом и пламенным взором...

Выглядел он горделиво...

Расправил плечи, как будто тоже... тоже видел перед собой воплощение лучезарной мечты...

Тем временем мы уже подошли к частоколу, окружающему крепость.

Конвойный потянул за колокол, подвешенный у ворот.

Заскрипели двустворчатые ворота. Партия каторжников вступила на территорию острога...

Ефрейтор принялся считать вернувшихся с работы:

– Первый!... Второй!... Третий!... Четвёртый! – выкрикивал, дотрагиваясь длинной тростью до плеча каждого из нас.

Закончив, отправился в своё жилище в доме при офицерских апартаментах, а каторжники заспешили на обед на кухню.

Нам, Полякам, идущим вместе, загородил дорогу Федор Достоевский:

– А то, о чём я говорил вам давеча, господа, должно исполниться... должно, – подчёркнуто повторял с упором, – Я вам это говорю, Я.

Мы не ответили ни единым словом, и ни единым движением...

АДАМ МИЦКЕВИЧ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

В пути на каторгу в партию, состоящую из нескольких десятков рецидивистов, включили и трёх политических преступников Поляков¹¹, в сентябре 1849г. нам полагался трёхдневный отдых в Семипалатинске.

Остановили нас в крепости за полверсты от города.

Крепость и город получили название от развалин каких-то семи зданий (*палат*), во время моего пребывания ещё хорошо сохранившихся и свидетельствовавших о их прочности и величии.

В Семипалатинске в то время пребывало много Поляков, политических преступников, простых солдат, однако, с высшим образованием, и экс-каторжников, которые после принудительных работ, уже как поселенцы, получали должности в разных конторах и благодаря учтивости и образованию добивались высоких чинов в чиновничьей иерархии.

Как только по городу пошёл слух, что в этой партии тоже есть Поляки, на следующее утро после нашего прибытия, в крепости появились дорогие наши земляки с приветами и новостями.

Из земляков, Юзеф Хиршфельд, экс-солдат, уполномоченный и управляющий всеми делами богача Попова, занимал в Семипалатинске высокое, даже можно сказать, видное положение. Благодаря своему разуму и покладистому характеру, он пользовался полным доверием своего хозяина и всеобщим уважением.

Притом, ему одному известными способами, умел сообразоваться с взглядами властей, с которыми, по причине разнообразных интересов купца Попова, должен был общаться и поддерживать постоянные и тесные связи.

Поэтому, без особого труда, ему удалось получить у начальника батальона Белихова позволение, чтобы мы, профессор Жоховский, Юзик Богуславский и я, провели целый день в его доме и вместе с ним побывали в городе.

Семипалатинск над Иртышем и Семипалатинка в 1849 году выглядели как настоящий восточный город.

Восточные черты придавали ему девять мечетей, мусульманские школы, удобные караван-сарай, население преимущественно киргизско-казахское, а россияне неохотно вспоминали времена, когда в Семипалатинске обитал и правил хан. Это были не столь уж далёкие времена, а именно 28 годами ранее, в 1818, российская власть упразднила ханство, а Семипалатинскую область отдала во владение и под правление губернатора Западной Сибири.

Вернувшись после осмотра города в дом Хиршфельда, мы застали там уже ожидавших нас товарищей.

Тут оказался интендантский урядник Орлинский, каторжанин с 1825, был солдат Ян Май, мобилизованный в русскую армию из Варшавской Духовной Академии, был солдат Рокицкий и поселенец Зелинский, урядник таможенного управления.

Был также россиянин, капитан Тарасов, который свою военную карьеру начал в Королевстве Польском, о котором сохранил самые радужные воспоминания.

Было ещё несколько россиян, очень симпатизирующих Полякам, ещё много земляков-поселенцев, имена которых в течение долгих лет мы позабыли.

Вся компания была отлично подобрана.

Нам троим на каждом шагу давали почувствовать и убедиться, что мы – главные лица в этом собрании, самые дорогие гости, долгожданные товарищи.

В этой атмосфере истинно братской сердечности – в такой атмосфере, от которой мы за время этапов и в тюрьмах отвыкли, легче было вспомнить о тяжкой и неумолимой доле, которая уже на нас обрушилась, и которая, кто бы знал?... могла стать нашим уделом на всю жизнь.

Мы собрались в большой квадратной светлой комнате с восемью окнами, выходящими на просторную площадку, буйно заросшую уже желтеющей травой.

Обстановка в комнате была небогатая.

Юзеф Хиршфельд за свою работу получал от купца Попова вознаграждение, если считать по тому времени, высокое, и распорядился большими материальными средствами, а притом свои

личные потребности свёл до минимума, считая, что изгнаннику излишества не подобают, и что они даже греховны, в такое время, когда тысячи братьев-земляков терпят тяжкую нужду в этом северном крае, столь отдалённом от их Отчизны.

Но, тем не менее, в комнате Юзефа Хиршфельда было нечто, что притягивало взоры Поляков и радовало их сердца.

Это несколько десятков старых и даже довольно потрёпанных сборников стихов.

Одетые в скромные, чёрные, будто бы траурные рамки, висели также портреты двух последних представителей рода Ягеллонов, Стефана Батория, покидающего Вену, Костюшки, Казимира Пулавского, князя Юзефа и Наполеона.

Никто не беспокоил Юзефа Хиршфельда из-за этих портретов, поскольку, кроме Наполеона, это были лица неизвестные в этом уголке мира, и только для Польских изгнанников неописуемым счастьем было видеть эти обожаемые лики!...

Беседа в этом избранном кружке текла живо и свободно.

Её стержнем и непрерывным сюжетом оказались рассказы об ураганах, которые нас вырвали из Отчизны и пригнали аж в эту страну изгнания, рассказы о наших личных невзгодах, о судьбах других братьев, с которыми некогда связывали нас узелки общих целей и совместной деятельности: о судьбах тех, с кем мы встречались в тюрьмах, на этапах, в походах.

Поистине, – тема, богатая событиями и неисчерпаема!...

Во время наших разговоров в избе появился какой-то юнец.

Он быстро осмотрелся, нашёл взглядом хозяина, и отозвал его на минуту.

Оба вышли. Вскоре Хиршфельд вернулся смущённый.

– Что за несчастливый случай! – обратился он к профессору Жоховскому. – Как раз, когда у меня такие дорогие сердцу гости, как вы, съезжаются отовсюду купцы, с которыми ведёт торговлю мой хозяин. Вам, дорогие мои, могу сказать, что наши торговые связи простираются в далёкие края, в Бухару, на Кавказ, в Китай. И представьте – не раньше – не позже – из разных стран прибыли сегодня грузы! Ковры, шелка, табак, кони. Будто, как назло, все эти купцы назначили себе сегодня *рандеву* в Семипалатинске! Так что я должен идти в контору, чтобы самые важные и ответственные

дела снять с плеч, остальные отложу до утра. Постараюсь вернуться к вам возможно скорее.

– Иди, брат, одно слово, *служба не дружба*, – ответил профессор Жоховский.

Подошёл к нам капитан Тарасов.

– Похоже, подвезли коней, заказанных губернатором, князем Горчаковым. Значит, их надо будет отвести в конюшню. Может быть, господа хотели бы на них посмотреть? Тогда станьте к окну. Уверен, что их стоит внимательно оглядеть.

– Конечно же, охотно полюбуемся. Каждый польский шляхтич – прирождённый любитель лошадей.

– Ну, вы только посмотрите, господа! – воскликнул Тарасов, когда мы встали рядом с ним около открытого окна. – Правда же, великолепные аргамаки?

– Аргамаки? А что это за порода?

– Туркестанская. Аргамак наилучшая скаковая лошадь в мире! Удивительно послушный, выдержанный, выносливее в деле, чем арабский конь – без шуток – может сотни вёрст проскакать без остановки, будто его изящные сухощавые ножки наделены крыльями, их и подковывают очень редко.

– Прекрасные животные! – восхищался капитан Тарасов, когда перед окнами прошли шесть искусно подобранных коней, златогнедых, с мягкой лоснящейся шерстью, шелковистыми гривами, небольшой головой, маленькими ушками и большими, огневными глазами.

Видно, и темперамент у коней был огневой, несмотря на усталость после долгого похода.

– В Туркестане, – рассказывал Тарасов, – аргамакам к обычному корму подмешивают бараний жир. Который кони едят охотно. Единственный недостаток чудесных скакунов – их высокая цена. Ах, если бы человеку было дано перед смертью хотя бы на один только год обладать таким конём... Какое это было бы счастье!

Во время нашей беседы вернулся Юзеф Хиршфельд с ещё несколькими мужчинами, которые окружающих приветствовали весьма сердечно, как давних добрых и привычных знакомых.

Хиршфельд позвал их к нам и представил по-русски:

– Мои приятели, грузины.

И указал на нас.

– Мои братья, поляки.

Затем назвал имена грузинов и наши.

Молодые люди, с которыми нас познакомил хозяин, были одеты в чёрные суконные кафтаны, присборенные у пояса, опоясанные широкими наборными злато-серебряными ремнями, с которых свисали длинные кривые сабли.

На груди – богатые газыри, за поясом пистолеты и кинжалы с великолепной серебряной инкрустацией на рукоятках.

Большие бирюзовые, оправленные в золото, заколки скрепляли воротники их белых сорочек. Чёрные башлыки из мягкой шерстяной ткани, слегка подвязанные под шейей, спадали им на плечи и на спину, нисколько не портя совершенного облика этих высоких, худощавых юношей, от которых веяло энергией, благородной сдержанностью и, вместе с тем, уверенностью в собственной силе и неустранимой отваге.

Все они принадлежали к знатым грузинским фамилиям, подавленным и обедневшим после утраты Грузией независимости. Они получили высшее образование в лицее Ришелье в Одессе. И, хорошо зная французский, немецкий и русский языки, выбрали себе торговую карьеру, которая обеспечивала им личную свободу и, что ещё важнее, независимость политических убеждений.

Они много путешествовали и, как агентам богатых купцов, им не раз приходилось из какого-нибудь полудикого азиатского уголка попадать в цивилизованную Европу.

Между нами быстро установились сердечные отношения.

«*Polenuli*»¹², как нас уверяли юноши, пользовались большой симпатией у грузинов.

Хиршфельд угощал своих гостей по старопольским обычаям. Общая приязнь окутывала атмосферу юмора и весёлых розыгрышей.

Затем Зелинский басом, от которого сотрясались стены комнаты, запел:

*Хватит, братья, в уголке сидеть,
Ничего не слышать,
Ничего не видеть,
Давайте петь!...*

– Конечно, конечно же, споём. Но первый номер концерта уступим грузинам, – сказал Хиршфельд.

И тут же один из юношей вышел.

Но вскоре вернулся к нам.

За ним слуги внесли большой, тяжёлый, окованный ящик из красной кожи.

Из него извлекли духовые музыкальные инструменты, видом похожие на кларнет.

Грузины сели в круг посреди комнаты и все пламенно сыграли кавказскую *лезгинку*.

Музыка эта была шумлива, в быстрейшем *allegro*¹³, порывистая, как буря, как вихрь, околдовывающая, как исступление...

Прервалась она внезапно, как промчавшаяся буря, и сразу же, без всякого перерыва, без какой-либо даже самой короткой паузы, один из грузинов запел.

Текст песни (о котором мне потом рассказали) пересказывал унижения, перенесённые народом покорённой Грузии... Тенор Григория Руставолли был полон бесконечной печали.

Порой, казалось, что этот дивный голос сорвётся, сломается в заглушённом рыдании... что певец разразится плачем, столько было в том голосе правдивого и искреннего отчаяния.

Аkkомпаниаторы отлично подстраивались под голос певца.

Поистине, не услышав, трудно бы поверить, что с помощью такого простого инструмента, как кавказская *зурна*, можно передать столько мелодий, столько экспрессий.

– Непривычное дело, чтобы музы своими дарами оделяли тех, кто служит Меркурию. Пан, видно, является исключением, владея необычно чистым и звонким голосом, – сказал я Григорию Руставолли.

Он поклонился и, смеясь, ответил:

– Поляки от веку слыли образцом вежливости и приятности в обиходе. Поэт Георгий Эристави тоже об этом поминает. А вы слышали об Эристави?

– Стыжусь, но должен сознаться, что нет.

– А ведь он долгое время пребывал среди вас. Как писатель, в 1834г. был изгнан и перевезён в Вильно. На счастье! Можно ему только позавидовать за такое место изгнания... Потом жил

в Варшаве, где выучился польскому языку. Настолько, что воспользовался этим и перевёл на грузинский импровизации «Конрад и Крымские сонеты». Эти переводы познакомили меня с вашей культурой. Когда я учился в лицее Ришелье в Одессе, то привык уважать Адама Мицкевича. Там память об Адаме жива, там всё ещё цветёт его культ среди молодёжи. Там каждый юнец знает поэзию Мицкевича, может прочесть её по памяти.

– Неужели? Что в нашем крае всё происходит также, это не удивительно...

– И в Одессе тоже. Там тоже много поляков... И каждый счастливый обладатель напечатанной поэзии Мицкевича вынужден прятать своё сокровище, как преступление, за которое карают очень сурово... Кроме того, поэзия Мицкевича кружит среди молодёжи в списках, отдельными страницами, вырванными из книг. Пару лет тому, я собирал эти вырванные страницы, как драгоценные жемчужины, так что мне удалось собрать целых два тома полностью... Я давно мечтал отблагодарить господина Юзефа Хиршфельда каким-нибудь подарком за его доброту, сердечность, гостеприимство. Сейчас я могу, наконец, предложить ему такой драгоценный подарок. Возьми, пан!

Он достал шёлковый мешочек, который носил спрятанным на груди, и из него вынул два томика.

Я взглянул на них...

Это был «Пан Тадеуш», изданный в 1834 году.

«Пан Тадеуш», составленный из тех самых страничек, что кружили среди молодёжи.

«Пан Тадеуш» переходил из рук в руки... Каждому хотелось увидеть эту книжку, состоящую из страничек, которые от постоянного многолетнего чтения пожелтели и несколько истрепались.

Каждому хотелось почтительно дотронуться до них, посмотреть на эту книжку хотя бы издали...

Нам, ещё недавно прибывшим с Родины, это издание «Пана Тадеуша» было известно.

Потому мы тактично отошли в сторонку.

Казалось, от этой книжки в скромном сером переплёте исходит странное сияние, как от реликвария в оправе из драгоценных камней...

.....
Профессор Жоховский взял книжку...

Прижал к груди...

Поднял её вверх и преклонил перед ней свою седую голову...

Солнечные лучи, преломляясь в чистых стёклах мелких форточек, словно общим ореолом окружили древнего старца и запечатлённые в печати образы и мысли гениального поэта...

Наконец, профессор Жоховский открыл книжку и дрожащим от волнения голосом начал читать:

*Отчизна моя! Ты – как здоровье,
Лишь тот тебя ценит,
Кто тебя потерял...*

После этих слов послышался стон...

И тут же из наших глаз полились «чистые и обильные слёзы», слёзы тоски о возлюбленной... о той, что от нас так далека... далека... далека...

.....
И в комнате, где минутой ранее царил весёлый говор, сгустилась тишина...

Порой лишь слышались вздохи...

Иногда – шепот...

*Отчизна моя! Ты – как здоровье,
Лишь тот тебя ценит,
Кто тебя потерял...*

.....
– Богуславский! Токаржевский! Жоховский! Господа! Прошу собираться! Время идти в острог, прошу покорно, поспешите!

Чары разрушились...

Очаровательная мечта уплыла, развеялась, как сон, когда человека вдруг грубо разбудят...

Из экстаза вывел нас резкий жёсткий голос, который пытался казаться мягким и доброжелательным.

Это был голос прапорщика.

Он стоял на пороге в окружении четырёх солдат с заряжёнными карабинами на плечах.

Это была «свита», которая должна была сопутствовать нам, Полякам, отверженным, и сопроводить нас обратно в тюрьму, в Семипалатинский острог.

Щедро угощённый Юзефом Хиршфельдом и задаренный им прапорщик был необычайно доброжелателен и вежлив.

Выкрикивая наши имена, имена преступников и каторжан, он не поспешил добавить: «*господа*», и «*прошу покорно*»...

.....

Настало время расставанья...

С братьями-изгнанниками, с Грузинами, с Никитой Николаевичем Тарасовым, со всеми окружающими. На прощанье долго и крепко обнимали друг друга.

Ничьи уста не смели сказать: «До свиданья!».

Ибо сердце разрывалось от смутного предчувствия, что не скоро мы сойдёмся и не встретимся таким кружком, полным сердечности.

«Пана Тадеуша» на прощание тоже приветствовали долгими и горячими поцелуями.

– Эти Поляки... не пойму я их! Вот прочитали патриотическую книжку, и, кажется, уже готовы в любую минуту кинуться в огонь, лететь на край света, угодить в тюрьму, пройти сквозь строй, идти на каторгу... Любопытно, хоть кто-нибудь из наших, для примера, ну!... Радищев¹⁴, допустим, хотел бы нарваться на такие беды?... Странный народ эти Поляки! Бог с ними! – вполголоса рассуждал сам с собой Тарасов, а прапорщику, повернувшись, командовал:

– *Пошли вон!* В сенях обождите! Я сам этих господ отведу в крепость.

* * *

Уже последние блики догорали на Западе, когда мы, после дня, полного впечатлений, проведенного в гостеприимном доме Юзефа Хиршфельда, вернулись в Семипалатинскую крепость.

По приказу капитана Тарасова, прапорщик с конвойными держались далеко позади. А сам Тарасов специально повёл нас через настоящий лабиринт улочек старого и нового Семипалатинска.

Движение было, в основном, в центре города, новые центральные кварталы были шумными, оживлёнными, особенно во время приезда купцов и привоза товаров.

Сейчас посреди серых, низких домов, похожих на длинные каменные прямоугольники, мы встречали только приезжих, киргизов в мохнатых коричневых круглых бурнусах, азиатов с пограничья Персии в длинных плащах, с волосами и бородами, крашенными хной в рыжий цвет.

В этой тёмной пустоши мы не встретили ни одну женщину.

Зато часто встречали *байгушов*¹⁵, с поблекшими, изнурёнными, тёмными лицами, в дырявых войлочных накидках.

Видно, они укрывались в этом старом квартале, неухоженном, убогом, отдалённом от центра города, а к ночи прятались в свои халупы.

При виде офицеров высшего чина и солдат, сопровождавших в острог за город трёх мужчин в арестантской одежде, убыстряли ход и боязливо скрывались за углами домов или ныряли в их тёмные недра.

Беседуя с Тарасовым и слушая его объяснения, мы бодро прошли двухверстовый путь от города до острога.

Перед тем, как войти в крепость, я ещё раз обозрел город и его окрестности.

Барнаульский бор, исчезающий за далёким горизонтом, тянулся широкой линией, овеянный лёгкой фиолетовой дымкой.

В городе минареты вздымались ввысь рядом с круглыми византийскими куполами.

С минаретов мечетей муэдзины протяжным и каким-то сдавленным голосом выкрикивали:

– Хиллали! халлала! Илла ху! Алла ху! Аллах! Аллах!

Поскольку был сочельник по старому стилю, церковные звоны звали православных на вечерний молебен...

В городе уже горели фонари около чиновных зданий, зажгли свет и в домах.

Старинные руины во славе своего заката тихо лежали, будто в море крови.

«*Was Hande bauten, konnten Hande sturzen. Das Haus der Freiheit, hat Gott gegründet*»¹⁶...

– Что пан сказал? – спросил капитан Тарасов.

– Что сказал? Да так, ни с того, ни с сего припомнил некое двестишестое Шиллера, – ответил я. – Видите ли, Никита Николаевич, – Каминский, учитель немецкого языка в Щебжезинской школе, где я учился, был любителем и пламенным поклонником этого поэта. Мы, ученики, должны были учить наизусть целые долгие страницы из Шиллера... Как-то во время летних каникул, с огромным успехом, мы поставили на немецком языке, – представьте себе! – целый акт из Вильгельма Телля...

У СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ



Ярмарки в Минусинске, во время первого моего изгнания в Сибирь, были важным событием, имевшим огромное значение.

Обычно они начинались в мае, продолжались в июне, июле, и кончались в сентябре, и могу сказать без преувеличения, что за эти пару месяцев через Минусинск проезжали и проходили многие, многие тысячи человек.

Кому требовалось завязать торговые связи с китайскими, а даже и с европейскими купцами, кому требовалось сделать какие-нибудь значительные закупки, или кто просто хотел развлечься, увидеть всякие забавы, недоступные, или просто незнакомые в иных местах Сибири, – тот во время ярмарки отправлялся в Минусинск, где можно было заключать с кочевниками буквально сказочно выгодные торговые операции, а если после этого душа просила «погулять», – была бы только щедрая рука и прежде всего хорошо набитый кошелек.

Во время ярмарки жизнь и деятельность в Минусинске текли широким и бурным потоком.

Большие состояния, заботливо копившиеся в течение многих лет, не раз истаявали за пару часов в игорных заведениях.

И если такой экс-богач, проигравшийся до нитки, до последней рубашки, возвращался домой, не выпрашивая кусок хлеба на пропитание, то только благодаря щедрости соседей или родственников, с которыми из далёких окраин, себе на погибель, приехал в Минусинск на ярмарку.

О таких, сгубивших своё состояние несчастливых игроках, о таких шулерах, богатевших одним взмахом карт, о разных подозрительных обстоятельствах, хитрости китайцев и саянцев, о разных изумительных происшествиях, вкупе с невиданной роскошью и заграничными чудесами, которые можно увидеть на такой ярмарке, я был наслышан и в Омске, и на Большом Участке.

Всё это часто служило богатой темой для пересудов во время семейных и соседских встреч. Не помню, чтоб эти рассказы вызвали во мне особое любопытство или разжигали острое желание поучаствовать в таких праздниках и увидеть ярмарочные дива, и потому я не очень обрадовался, когда как-то вечером мой начальник вломился ко мне в жилище с криком:

– Едем на ярмарку в Минусинск! Я и вы, Шимон Себастьянович, – идёт? Ну-с, конечно, вы согласны, правда?...

– Ну, – рассмеялся я, – должен быть согласен, раз вы так решили.

– Да, решил, решил и сейчас мы распределим обязанности. Я добываю деньги, моя жена позаботится о еде и напитках, то есть о припасах на дорогу, а вы, пане, молодой человек, пакуете ваши одежды. Утром, чуть свет, айда! В дорогу! Вы так усердно и успешно работали всю зиму, что вам полагаются отдых и развлечения. Ну-с, и мне тоже. Жалеть не будем ни рублей, ни копеек... Развлечёмся, погуляем... А уж чудеса увидите, пан, молодой человек!

Он радостно захохотал во всё горло, похлопал себя по бёдрам, а меня, по-приятельски, по плечам и, чуть не облизываясь и кивая головой, повторял:

– Чудеса! Чудеса! Сами увидите, пан, молодой человек!

Представление о развлечениях у меня и Светилкина сильно различались и перспектива развлечений и «гулянки» с ним в его компании, хоть и не радовала, но и не претила мне, учитывая его благие намерения, притом не хотелось его обижать, так что я смолчал и сразу же занялся приготовлением в путь.

* * *

Минусинский округ, занимающий примерно две тысячи квадратных миль, представляет собой одну из живописнейших частей Сибири.

Поскольку по дороге через эти живописные окрестности я ехал уже не впервые, она не показалась мне ни слишком долгой, ни утомительной.

Когда я впервые попал в этот край, кроме урядников в самом Минусинске, и во всей этой огромной части Енисейской губернии, вообще было мало россиян, не считая, конечно, войска.

Немного было и крестьян, оседлых и ведущих хозяйство на земле, много политических заключённых и разных российских народностей, подвластных России, немало экс-каторжников, осуждённых на пожизненное поселение, а в остальном, преимущественную часть населения составляли кочевые племена.

Из глубин девственных, мрачных пущей, где они занимаются охотой, а кое-где рыболовством, из цветущих долин и заросших буйными травами пастбищ, где бытуют стада скота и табуны коней, тянулись кочевники со своими жёнами, детьми, со всей своей скотиной и передвижным скарбом.

Вокруг города они разместились в юртах из древесной коры, или из заранее заготовленных звериных шкур.

Так они образовали посады, что служили наглядным образцом способа жизни и обычаев в древней доисторической эпохе.

Всё это для цивилизованного европейца казалось оригинальным и необыкновенно интересным. Это был настоящий неисчерпаемый клад для этнографического изучения.

Мой начальник Светилкин придерживался порядков, завешанных в его доме, с той только разницей, что теперь он направо и налево широкой рукой и с лёгким сердцем швырял уже не копейки и даже не рубли, а сотни рублей, к своему собственному удовольствию и к радости своих убогатворённых компаньонов, целый штаб коих пристал к нам сразу по приезде в Минусинск.

Когда Светилкин понял, наконец, что все его усилия втянуть меня в круг его знакомств и в мир излюбленных городских развлечений и забав тщетны, и таковыми останутся впредь, он предоставил мне полную свободу распоряжаться собой и своим временем.

Осчастливленный подобной свободой мысли и действий, я с утра до вечера бродил вдоль и поперёк, с одного конца Минусинска до другого, и по ближайшим его околицам.

Необыкновенно занимала меня разнородность типов рас, обычаев, языков и диалектов людей, с которыми я мог встречаться; а ещё — мозаичное разнообразие и пестрота одежд, украшений, упряжек, огромное обилие разных видов чая, шёлковых тканей¹⁷, мехов, китайского фарфора и не поддающихся пересказу видов и сортов товаров.

В южной стороне Минусинска на пастбищах усердные и работающие китайцы на время ярмарки построили временный городок, который выглядел так, как будто его перенесли без всяких изменений в Минусинск прямо из Небесной Империи с берегов Хуанхэ или Янцзы.

Маленькие домики с фантастично изогнутыми крышами встали среди миниатюрных огородов, полных золотистых дынь, тыкв, светло-зелёных огурцов, салата со свежими кудрявыми листьями, серебристых крупнолиственных трав и разноцветных, чудесно расцветших маков, которые колыхались на тонких, гибких, высоких стеблях.

Как бы в дополнение к экзотической картине, по-за маленькими домиками, на взгорке, возвышалась маленькая пагода с фарфоровой крышей и прекрасные башенки.

За живыми изгородями огородов мелькали сапфировые шёлковые богато расшитые *курмы*¹⁸ косооких красавиц, а их мужья и отцы прохаживались по улочкам, выложенным мелкими каменными плитками.

Одетые в длинные шёлковые халаты, в чёрных шляпах, завязанных под подбородком жёлтыми лентами, или в лёгких совершенно плоских шапочках, мастерски сплетённых из рисовой соломки, с длинными спадающими на плечи косами, обутые в жёлтые или красные башмаки с загнутыми кверху носками, косоокие мужчины ходили степенно, молчаливо, будто погружённые в важные размышления.

По реке, словно проворные ласточки, сновали *джонки*¹⁹, доставляющие грузы товаров к кораблям, что плыли по Енисею.

Средину улицы занимали обычные ослики, *арбы*²⁰, которые везли *джонерикиши*²¹, довозившие в Минусинск товары, что заполняли китайские магазины и склады.

Временами, в этой толкотне, искусно лавируя, появлялся паланкин какого-нибудь китайского вельможи или знатной дамы-китайки.

Теснота, крики, разноязычный говор, словно на каком-нибудь всесветном торжище, царили в этом временном китайском городке, с первыми лучами рано утром, и стихали только с заходом солнца.

Как-то привлёк моё внимание человек, который в этой цветастой и пёстрой толпе выделялся совершенно особым и отличным от всех видом.

Высокий, крепко сложенный, с длинной, белой как молоко, бородой.

На голове он носил шапку, так называемую *баторовку*, с чёрными завязками по бокам. Одет он был в капот из серого грубого сукна, похожим по крою на свитки литовских мужиков.

Я сразу же понял, что этот человек не Россиянин, не уроженец Сибири и, тем более, не из оседлых кочевников.

Так кто же он?

Возможно, политический ссыльный?

— Ах! А вдруг он поляк, — подумал я и тут же решил утвердиться в своих предположениях и обратился к нему по-польски.

Однако было легче принять такое решение, нежели его выполнить.

Обладатель баторовки и серой свитки превратился для меня в неуловимый призрак... То приближался ко мне, был, только что был тут... тут... то исчезал с глаз долой, терялся среди разномастной толпы, то снова над толпой высилась его красивая голова, и я вот-вот... догонял его, именно догонял, пока с запруженных улочек не перешли на тропинку среди поляны, засаженной кукурузой и *чумизой*²².

Несколько листовниц среди деревьев, деревянный домик — вот куда устремлён был обладатель шапочки-баторовки.

Очевидно, это была его усадьба, о чём нетрудно было догадаться, так гармонично подходила хатка и её окружение к чертам и всему облику этого человека.

Он отворил запертые двери, толкнул сильно рукой, оставил открытыми настежь и вошёл.

За ним, в тёмную маленькую комнатку, проникали полосы солнечного света... Он открыл окно с небольшими створками и

выглянул наружу. Сорвал пару подсолнухов, что росли перед домишкой, повернув свои золотые головки к солнцу, сорвал несколько стебельков резеды и настурций, которые росли в маленьком садике близ стены, а потом исчез в избе.

Тем временем я медленно приблизился, придумывая, как обратиться к этому полуземляку, которого случайно встретил в другой части света, за тысячи миль от Отчизны.

Пока я стоял так в раздумье, из домика послышалась песня:

*С жаворонками взялись до работы,
Спать пойдём на вечерней зорьке,
Но и в гробах мы всегда скитальцы
И всего лишь божья рать.*

*Кто раз присягнул Господу Христу,
И шёл к Святому краю без неволи,
Тот из глубин²³ хоть тёмного кургана
Подыметя на трубный глас.*

Теперь я уже не сомневался... хозяин, или, может, жилец этого древнего домика был Поляком — был политическим преступником, как и я, и так же, как и я, был поселенцем.

Сейчас уже нечего было раздумывать, сочинять в уме приветственный диалог, я сделал шаг...

Вошёл...

Мой любопытный взор мигом оглядел избу...

Скарб в ней был самый простой, деревянный, два стула, два стола, полочка с нехитрой кухонной утварью — другая с несколькими старыми книжками. На одной стене висела двустволка, два смычка, скрипка, похоже, сработанная в этом же доме... Над кроватью Распятие, Образы Остробрамской и Ченстоховской Божией Матери.

С потолка свисали большие и малые связки пахучих засушенных трав.

От каждого угла этой избы веяло убожеством, но, одновременно, чистотой, симметрией, порядком...

Единственным предметом «излишества» здесь была большая и роскошная китайская ваза, в которой красовались свежесорванные подсолнухи, резеда и настурции.

Когда я вошёл, хозяин как раз разжигал огонь в печи.

– Хвала Иисусу Христу! – сказал я, обнажая голову, и остановился на пороге.

Хозяин быстро обернулся...

Видимо, он отвык от такого приветствия, потому что так и стоял, держа в руке какой-то глиняный горшочек... и, дрожа всем телом, ответил:

– Во веки веков, Аминь!

Мгновение мы разглядывали друг друга, как бы взаимно изучая один другого... И вдруг, как бы несомые магнетической волной, мы приблизились друг к другу с протянутыми руками и обнялись горячим братским объятием...

Познакомились поближе. Может, через каких-нибудь полчаса мы уже говорили так открыто, так искренне, будто прожили годы бок о бок...

Хозяин домика был литвин, из окрестностей Минска. В 1812г. под Москвой был взят в плен и стал простым солдатом в русских войсках на Кавказе, воюющих с непокорёнными горцами. За какую-то малую провинность, из-за плохо понятого приказа полковника, Томаш Корсак попал в штрафной батальон в Петровске и был осуждён на пожизненное поселение в Минусинском округе.

Поскольку ему не разрешалось жить в самом городе, пришлось поселиться в предместье.

Власти его не донимали, потому что, живя вблизи от Минусинска, Томаш Корсак, человек образованный, не раз бывал весьма полезен урядникам разных окружных ведомств, особенно во время больших ежегодных ярмарок.

Китайцам он служил переводчиком во время торговых переговоров.

Таким образом, он зарабатывал на своё скромное содержание и остаток своей несчастливой жизни доживал, окружённый общей приязнью и большим уважением...

В течение лет, наверное, сорока, не получал от своих ни единой весточки.

– Разве у тебя нет близкой родни, или хотя бы дальних родственников, которые бы о тебе беспокоились, дорогой брат? – спросил я.

– Как не быть! – весело рассмеялся он. – Разве не знаешь литовскую поговорку, что около Минска, на много миль вокруг, «что ни кустик, то Корсачек». Дальних родственников у меня хватает, и близкая родня есть, по крайней мере, была много лет назад, и я уверен, что не одно сердце обливалось кровью, гадая, что со мною случилось. И ещё я думаю, что у многих, и не раз, горькие слёзы текли из глаз, при мысли о моей доле...

Просто не было никакой возможности ни с кем связаться. Солдаты сдавали свои письма в полковые канцелярии, откуда их должны были отсылать по адресам. Но доходили ли?

Конечно, нет!

Так же, как не доходили письма, которые родня и приятели слали на Кавказ.

Откуда бы узнать шляхтичам в Польше, в Литве или на Руси, кто мог бы знать, в каком месте на Кавказе находится полк, где служит родич? Адресовали письма наугад, а полковая канцелярия не очень утруждалась нахождением адресата.

Притом, непокорённые горцы воевали с российскими войсками и просто-таки охотились на почтовые фургоны. Вы, наверное, слышали об этом?

– Да, слышал, и на омской каторге даже сроднился с такими горцами.

– Вот видишь! Таких горцев, захватывающих почту, вовсе не занимала корреспонденция. Они искали государственные сообщения, а больше всего им нужны были деньги, чтобы продолжить войну с неприятелем...

А вообще, кабы ты видел, юноша, – солдаты стали ко всему безучастными, все чувства в нас угасли во время этой мародёрской и захватнической войны, во время форсированных маршей через огромные нехоженые пустоши, без капли пресной воды, по пустыне, где свирепствует лихорадка, полно убийственных болотных испарений, скорпионов, змей, ядовитых пауков, зловредных комаров. Солнечный жар опалял солдат, как огонь, летящий с неба, а когда после короткого дня наступал мрак, а за ним

парная, душная, тёмная, безветренная ночь, – шакалы тоскливо выли, словно желая нам быстрой смерти...

А смерть, на самом деле, поджидала на каждом шагу, в узких горлах ущелий, что тянулись каменными зигзагами между двумя гигантскими горами... на дорогах, которые вились через безлюд-ные степи, посреди высокого тростника, такого густого, что в нём всадники на конях могли полностью скрыться...

Кажется, – никого нет поблизости... вокруг – тишина и слышен только топот конских копыт, жужжание насекомых, чирика-ние какой-нибудь маленькой птицы – и внезапно из этих тростни-ковых зарослей густо летят стрелы...

На горячую землю падают солдаты...

Их сотоварищи наугад стреляют в тростники... редко, когда в кого попадали...

Налётчики исчезли... пропали среди бурьянов, а тела погиб-ших солдат так и остались в степи или ущелье, не погребённые, как падаль – корм диким птицам и шакалам... кости погибших растащили дикие звери по степи и пустыне, и спалит их солнеч-ный жар, и вихри разнесут по всему Кавказу.

Порой, в степи, а ещё в пустыне, являлись нам какие-то фи-гуры...

Обычно шли или плыли по верху в кровавом тумане. Мы счи-тали, что это видения, в бою polegшие товарищи – видения маро-дёрской баталии, уже проигранной и всё же несущей смерть на поле боя... В отдалении видны были войска... мелькали... расхо-дились... исчезали...

Это была игра световых волн и причудливых испарений...

Как-то, ночной порой, наш обоз окружило огромное кольцо пламени...

Барабаны бьют тревогу... спешно сворачиваются *палатки*... пикеты раз за разом стреляют, оповещая врага, который прячется неподалёку, что обоз не спит, что не позволит захватить себя нео-жиданно, что будет защищаться до последней капли крови...

Испуганные кони ржали, рвались с привязи – солдаты броса-ли оружие. Они готовы были сражаться с людьми, но не с бурли-вым морем пожара, из тисков которого мы никак не могли выр-ваться...

Страшная, страшная это была ночь!

Если мы все не сошли с ума, то разве что из-за той апатии, той абсолютной безучастности, того каменного бесчувствия, которое всех охватило...

– Чёрт подери! – говорили мы. – Если уж пропадать, то всё равно – от огня или от пули!... всё равно, пусть бы уже оборвалась эта страшная, подлая жизнь! Лучше, стократ лучше смерть!

Были моменты, когда высокие столбы огня сливались вместе, в единую огромную пелену, которую порывы ветра рвали во все стороны и превращали в рваные полосы среди чёрной ночи...

Счастьем было, что этот огонь, на удивление, не выделял ни угара, ни дыма, а не то попадали бы сплошные трупы, все, и люди, и животные.

Вскоре после этой адской ночи забрезжило утро и оказалось, что это был не пожар, а загорелись газы, которые в этой части Кавказа, от века названной «огневой край», вырываются сами из земли. Во всяком случае, почитатели огня считают это место священным.

Двое суток кольцо пламени окружало наш обоз...

На третью ночь, наконец, хлынул ливень, и тогда мы остались в полной темноте.

Часто, ох, часто, горцы устраивали нам такие фейерверки и иллюминации, только со временем мы к ним привыкли, а потом смотрели на всё это без всякой тревоги.

А ещё и так случалось: маршируем... вдруг слышится подзем-ный гул, шум, булькотанье, как от кипящей воды...

Потом у нас под ногами расступается грунт – вдруг из своего нутра выкидывает кипящий шланг, клубы зловонных газов, кото-рые часто ещё и загораются пламенем.

Это были извержения болотных вулканов, на вид похожих на небольшие стожки...

Ой! Как земля кавказская и кавказские горцы изо всех своих сил и по всякому пытались защитить свою независимость...

После боя при Палиа-дута в Дагестанской области, меня, про-шитого множеством пуль, унесли едва живого...

Потом в Забайкальском крае, в Петровске, пребывал я лет... лет... сколько? не помню, ей-богу! не хочу ни прибавить, ни уба-вить. В свободную минуту справлюсь в полиции.

А ты когда думаешь уехать из Минусинска?

– Не знаю. Это не от меня зависит. Видно, задержались надолго, потому что у моего начальника Светилкина здесь много торговых интересов, к тому же, как он меня уверял, он тут прекрасно проводит время.

– Прекрасно проводит время! Значит: мертвецки напивается и дуется в карты целыми ночами, – рассмеялся Томаш Корсак. – Тогда день и час вашего выезда не поддаются вычислению. Можете здесь остаться до конца ярмарки, но можете и через несколько часов выехать обратно домой, если твой знаменитый Светилкин до копейки проигрался в карты.

Желал бы я, чтобы это случилось не скоро, или не случилось вовсе, и желаю из чисто эгоистических соображений, чтобы возможно больше тешиться общением с тобой, твоей дружбой, милый мой земляк. А пока что позволь угостить тебя по старопольскому обычаю, *чем хата богата*.

Беседуя, мы скромно перекусили. А потом вместе поспешили в город, где Томаш Корсак во время ярмарок бывал занят у начальника округа.

* * *

– Господина пана, молодого человека, никогда не видно в городе. Пан только с китайцами знается, – обратился ко мне Светилкин, – господин влюбился в этих чернокосых дьяволов, а?

– Китайцы и вправду интересный народ, достойный скорей удивления, чем влюблённости, – ответил я, – но я с удовольствием наблюдаю, как они работают, удивляюсь их выносливости, а то, чем бы мне ещё заниматься в Минусинске? Вы сами улаживаете свои дела, а волочиться по городу вовсе не забавно. Впрочем, я здесь встретил земляка. Он живёт за городом и, когда он не занят, мы проводим время вместе.

– Хавайт! Ладно, вы хорошо объяснили, Шимон Себастьянович, почему вас не видно в городе. Тебе интересно с китайцами – ладно! Сидишь на квартире у земляка – *славно*! А вот *неславно* получилось бы, если бы ты и я, два друга, ни разу так бы и не позабавились вместе. Пан, господин молодой человек, ты должен сейчас со мной во французском *ресторане* погулять. Хочешь, не хочешь, а должен!

Я уже пару раз присутствовал на гулянках сибирских богачей, так что у меня мурашки пошли по коже при предложении Светилкина.

Впрочем, он, не ожидая моего согласия или отказа, радостно смеялся и, хлопая меня по спине, повторял:

– Хочешь, не хочешь, должен, должен погулять! Да и почему бы тебе не хотеть?...

Он вдруг замолк, а потом:

– Слушай, пан, господин молодой человек, может, и этот твой земляк, что живёт за городом, не отказался бы!... Может, взял бы ты его с нами?... Напился бы и встряхнулся?

– Это странный человек, с военной службы на Кавказе, был на каторге, на Петровских заводах, – ответил я, – он старый, я даже не посмел бы ему предложить, он, конечно бы, отказался.

– Отказался бы, говоришь? Ну тогда пусть поцелует пса в нос! Тогда мы оба, пан, господин молодой человек и я, айда! Давай, собирайся!

Я расхохотался, потому что теми же словами «давай, собирайся!» жандармы в крепости звали меня на следствие – и в иных подобных же обстоятельствах я слышал такое же предложение, как сейчас от Светилкина.

.....

В каком-то тесном переулке на окраине города, в плоском, длинном, как кошара, выкрашенном жёлтой краской доме, помещалась эта *французская ресторация*, ничего общего со своим названием не имеющая, что заметно было с первого взгляда.

Хотя солнце ещё не зашло, в сенях, и во всём помещении, было темно, несколько масляных ламп светили не ярко.

От пьяных выкриков, от хмельного дыхания стояла душная, тяжкая атмосфера.

Лампы чадили, коптили, жирная сажа, которая, подобно миллиардам мелких насекомых, витала в воздухе, покрывала чёрной пылью всё кругом: мебель, столовые приборы, еду, напитки, людей.

В нескольких больших комнатах, анфиладой, было тесно.

Прокладывая себе дорогу локтями, и держа меня за руку, как маленького мальчика, Светилкин, не без труда, добрался до обильно

заставленного закусками буфета, за которым восседала «сударыня» в ярких шелках, фальшивых драгоценностях и с причёской кудельками.

Выставляя крупные белые зубы, «стреляя» довольно красивыми глазами, с многообещающей усмешкой, она спросила Светилкина, что тот прикажет сперва подать.

– Сперва, *мадемуазель*, дайте мне вашу ручку для поцелуя, покорно вас прошу, – с комичной галантностью изрёк мой патрон.

«Мадемуазель» быстро протянула ему игриво свою лапу, и когда он её несколько раз поцеловал, рассмеялась.

– От ваших поцелуев просто огнём прошибает, жаром обдаёт, *месье* Светилкин.

Я заметил, что оба титула: *мадемуазель* и *месье*, которыми обменивались гость и «сударыня», царящая за буфетом, являли собой единственные французские штрихи этого ресторана. Помимо этого не было ничего, ну абсолютно ничего, что хоть как-нибудь напоминало прекрасную, изысканную Францию.

Казалось, что вся Сибирь, от края до края, поставляла гостей для «французского ресторана» в Минусинске.

Среди разнообразнейших монгольских типов выделялась маленькая группка интеллигентнейшего вида европейцев.

Среди тёмных костюмов мужчин мелькали офицерские мундиры и поражающие взор пестротой красок наряды дам.

Одетый в церковное одеяние, с фиолетовой подкладкой, в угол на обочине протиснулся поп.

Какой-то человек, видно, прихожанин этого попа, и организатор пира, накладывал ему на тарелку самые лакомые куски и раз за разом наполнял опустевшую рюмку каким-то напитком. Всё это он проделывал с большим почтением, как и полагалось, имея дело с духовным лицом, и одновременно что-то рассказывал, что поп слушал не очень внимательно, тем не менее, отвечая хмыканьем и кивком головы.

В огромной комнате пламенноокий цыган пиликал на скрипке какую-то танцевальную мелодию.

Акомпанировала ему на бубне девица в пунцовой, шитой золотистыми полосками, парчовой юбке, и в огромном пунцовом торбане на кудрявой голове.

Под эту громкую музыку несколько пар плясали по комнате с притоптыванием и выкрикивали щекоотливые припевы.

Мальчики-прислужники в кафтанах и некогда белых фартуках, постоянно совали за фартуки бутылки водки, или вина, а также куски мяса и пироги, незаметно утащенные со столов пирующих.

Другие служащие, в нише за огромной печью, вылизывали блюда и выливали последние капли из уже опорожнённых и опрокинутых бутылок.

Человека, который, как я, не привык к подобной обстановке, сам запах жирных и пряных яств насыщал, а алкогольные пары одуряли, вызывая тошноту и несносное отвращение. А притом всё громче звучали голоса, взвизги, встреченные смехом, свистящее рыготание, и это вызвало во мне омерзение к еде и вообще к гулянкам – я жаждал возможно скорее выйти, чтобы подышать свежим воздухом. Вышел в сени.

К изумлению увидел, что обе створки входных дверей закрыты и заперты. Сторожил их парень, которого я вежливо попросил выпустить меня на улицу, он жестом указал мне особь, погружённую в глубокое кресло, забаррикадированное двумя столами. Я вернулся к сторожу с той же просьбой.

– Счёт, – сказал он, протягивая ко мне руку.

– Какой ещё счёт? – спросил я с удивлением.

– Ну-с, что вы заплатили всё, что с вас полагается в кассе.

– Но с меня кассе ничего не полагается, я здесь не ел и не пил...

– Все так говорят, а притом все тут едят и пьют...

– Замолчи, грубиян, не оскорбляй меня подозрением в обмане! – крикнул я в приступе бешенства.

Сторож посмотрел на меня исподлобья. Хотел что-то сказать, открыл рот, но умолк.

Пока я так стоял перед ним, злой, оскорблённый, не зная, куда мне деваться, мой голос и гневный крик выманил хозяина в сени.

– Кланяюсь покорно, что случилось? – шепелявил он слащавым голосом, и, выслушав мою жалобу, сказал:

– Извиняюсь очень покорно, *простите, барин*, мой слуга вас не оскорбил, такой уж тут обычай в этом моём французском *ресторане*.

– Это недопустимый и обидный для ваших гостей обычай.
– Извиняюсь глубоко и покорно, но каждый должен заботиться о своём кошельке.

– Да кто же у вас тут бывает? – крикнул я. – Что за люди? Злодеи, отребье? Освобождённые каторжники... бродяги?

– Святой Иннокентий Кульчицкий, покровитель-чудотворец! *Барин*, что вы такое говорите?... Прошу покорно. Самые *честные* люди приходят сюда в этот мой французский *ресторан*. *Барин!* Что вам пришло в голову? От несчастья! – стонал он, заламывая руки.

– Меня сюда привёл Светилкин, – прервал я сетования хозяина.

– Светилкин? С Большого Участка? Знаю, знаю. А как же! Он много лет мой постоянный гость и добрый друг. Светилкин?... Богатый человек. Богатый и *честный*. Ну и что? Хоть бы сам князь-губернатор из Омска... Уж такой в моём *французском ресторане* обычай.

– Скажи, чёрт бы тебя побрал, откуда мне взять счёт, если я вам ничего не должен и у меня нет никакого счёта к оплате? Ответьте, или выпустите меня из этой мерзкой ямы, я заплачу немедленно.

– «Мерзкая яма»! – возмутился хозяин. – Ах! Барин, покорно извиняюсь: мой французский ресторан не мерзкая яма, что до этого – то нет!... Святой Николай-Чудотворец!

– Вместо того, чтоб призывать Святых покровителей и чудотворцев, подумайте, что мне надо сделать, чтобы от вас выбраться? Я хочу, мне необходимо вернуться в город.

– Ну-с, вот и хорошо! Воля ваша, *барин*. Только сперва вернитесь в зал, возьмите от *мадемуазель* счёт, отдайте его тому моему слуге, – указал кресло за столом, – и как только он подтвердит, что подпись *мадемуазель* и цифры не фальшивые, тогда другой мой *человек* сразу же откроет дверь, а! отворит обе створки и выпустит вас с Богом! – чувствуя себя хозяином положения, он стоял на своём. Очевидно, это была месть за «мерзкую яму».

Сказав так, он легонько обернулся ко мне спиной и исчез в толпе, уже за порогом сеней.

В этот миг какой-то экипаж с грохотом, фырканьем коней и звоном *колокольчиков* и упряжи, остановился около ресторана. Сторож отпер дверь и отворил настежь.

В сени вошёл новый гость, перед которым сторож и *человек* согнулись в поклонах, аж до земли.

Это был мужчина с сухощавым лицом, резкими чертами, с болезненно-жёлтой кожей и чёрной, остро подстриженной бородкой. Высокий, хорошо одетый, – во всём его облике было что-то отгалкивающее. Хотя в движениях и одежде заметна была известная элегантность и изящество, что редко встречается в этих краях, столь отдалённых от очагов цивилизации.

Николаевский свой плащ он уронил на руки слуги, смерил меня испытывающим взглядом. Потом мы оба вошли в ресторан.

Шум и гам тут дошли до кульминации. Цыган-скрипач пиликал всё фальшивее.

Откуда-то сбоку долетал лепет самобытной балалайки.

Пирующие провозглашали всё новые тосты и здравницы:

Наших, омских!

Наших, тульских!

Наших, акмолинских!

Всякий раз всё новые голоса выкрикивали названия губерний, округов, разных российских и сибирских городов, в честь коих предлагались тосты и после каждого тоста многократно кричали: *урра!*

– *Человек, человек!* – верещал какой-то толстяк в сборчатом капоте, в бархатной крымской тюбетейке, которая сползла ему на брови. – *Человек*, ты зачем вместо вина принёс нам *щи*²⁴?

– *Извините, барин*, это не *щи*, а наилучший французский *Lafit*. Прошу покорно, мы в нашем французском *ресторане* подаём гостям самые лучшие и дорогие вина, – извинялся *человек*, а во время пререкания слуги и амфитриона, собутельники вполголоса беседовали между собой:

– Гляди! Иллариий Таганцев в Тобольской тюрьме лаптем щипал хлеб, кандалы на ногах носил, а теперь играет из себя *дворянского*

помещика²⁵. Фальшивые деньги делал. Не довелось... Такой умный мужик был!...

– Теперь собольи шубы и шапки носит, золотых цепей на себя повесил, жену и дочерей в шелка одевает. За дочками тысячное приданое даёт, сына с дочерью того самого судьи, что его посадил, женит, в полной роскоши живёт. В том самом Тобольске люди его патриархом зовут – руки у него широкие и щедрые. Мудрый мужик, мудрый!

– Ну! Илларион Таганцев, наше тобольское! А *особенно* ваше здоровье... *Ши* или *Lafit*, всё равно, через горло перельётся в одно и то же место, куда следует. А? Или не так? А?

Поднявшему тост остальные ответили зычным хохотом и опорожнили бокалы до последней капли.

– Вы с нами, Илларион Таганцев? – спросил новоприбывший господин, сдвигая стол, где царил, излучая мудрость, умный мужик и тобольский патриарх в одном лице.

– *Конечно! Конечно!* С вами, Владимир Осипович, – ответил он.

Владимир Осипович подвинулся в сторону и рукой подал знак, что желал бы пропустить Таганцева перед собой.

– Ну, прошу! – сказал Илларион Таганцев. – Прощу!

– Не сейчас, не сейчас, оставь, не могу, пока мои друзья не съедят и не выпьют всё, что я для них заказал. Вникните в моё положение, Владимир Осипович.

Господин с острстриженной бородкой склонил голову, что должно было означать: «конечно, понимаю ваше положение», и, низко поклонившись «тобольскому патриарху», сказал любезнейшим голосом:

– Тогда до скорой встречи, Илларион Таганцев, освободившись от обязанностей амфитриона, поспешите в Золотой зал, к нам, нетерпеливо вас ожидающим.

Незнакомое здесь слово «амфитрион» произвело на присутствующих огромное впечатление.

Перед Владимиром Осиповичем толпа расступилась с почтением.

А он, словно любимый, милостивый, популярный монарх, раскланивался направо и налево, то одному, то другому, из изящно

одетых и вежливых присутствующих, которые тянулись к нему подобострастно и напоминали, что когда-то... когда-то..., там, виделись с ним, познакомились и... тут же сели играть в карты.

В поисках Светилкина, чтобы с его помощью уладить вопрос со «счётом», я зашёл в Золотой зал.

Здесь на стене висело несколько зеркал, пара цветных гравюр, между которыми выделялся портрет Юлии Пастраны, в то время известной на обоих полушариях, существа с фигурой женщины и лицом бородатой обезьяны, в коротком платье балерины.

Как в музеях и картинных галереях, где представлены шедевры великих мастеров, здесь, в Минусинске, перед образом Юлии Пастраны, всегда толпились зрители, с восторгом любовавшиеся на эту женщину-обезьяну.

В этой шумной комнате, известной как «Золотой зал», вдоль стен стояли диваны, кресла, покрытые цветастой тканью, на которых покоились опьяневшие до беспамьятства, или просто уснувшие гости; посреди комнаты стояли столы, заставленные тарелками, блюдами, бокалами и бутылками разных форм и цвета.

Здесь собрались все сливки Минусинского общества; высшие чиновники разных окружных контор, офицеры и несколько «весёлых дам», которые пользовались особыми привилегиями и вниманием.

Они, эти «весёлые дамы», занимали первое место в беседе и задавали тон повелительниц среди военных и штатских Минусинских чиновников, резко отвечали на их остроты и, не щадя для них эпитетов, которые ничего общего не имели с вежливостью, любезностью, стыдливостью и хорошим тоном.

Главной мишенью их шуточных наскоков был офицер, который в расстегнутом несвежем мундире с потускневшими эполетами, с бородой, опирался на эфес сабли и сидел верхом на кресле, как на коне.

– Ну-с, вы, *пустомели*²⁶, не упражняйте свою пасть на мне. Мы с вами ни разу не пасли скот вместе.

– Но вместе из одного корыта едали не раз, – буркнул молодой пристойный офицер.

– Правда! Чистая правда! – довольным смехом разразилась мужская компания.

Зато дамы просто разгневались донельзя.

– Как звездану тебя этой бутылкой, прапорщик! – крикнула самая бойкая из них, Соня, подтверждая угрозу красноречивым жестом. – Смотри-ка на него! Дибич Забалканский.

– Успокойтесь, милочка, красавица, – сказал молодой офицерик, – мне не в чем каяться перед вами, потому что я вас никак не обидел. Успокойся, Соня, чернобровая. Бутылку водки лучше с приятелем выпить, чем разбить об его голову, за что можно и в *тюрьму* угодить, уже не говоря про то, что разливать водку – грех.

– Правда твоя! Лев Леонтьевич, – поддакивали все, как мужчины, так и дамы.

– Тогда опорожняйте бутылки, а то, я вижу, их тут *предостаточно*, полных и не откупоренных, а я вам пока буду петь...

В глубокой нише, на постаменте, до которого нужно было подниматься по нескольким ступеням, стоял палисандровый, на тонких ножках ящик, который некогда, много лет назад, был клавикордами.

Лев Леонтьевич открыл ящик, удобно уселся в кресле, опёрся о его спинку и ударил по щербатым, жёлтым, как шафран, клавишам.

Надтреснутые струны застонали...

Из глубины бывших клавикорд послышалось вроде жужжания насекомых... Лев Леонтьевич пробежал по всей клавиатуре несколькими пассажами... взял несколько аккордов и при стопах и брэнчании сорванных струн запел:

*Сватали меня
Без меня.*

*А женили меня
Без неё.*

*Свата искал –
Не нашёл.*

*И зря искал её,
Всё искал.*

*Свата я не нашёл,
Так же и её не встретил.*

*Палач свата порешил,
А её сам чёрт не отпустил.*

Эта песня была в ту пору очень распространённой и излюбленной в Сибири. Пели её все: мужики, заключённые каторжники, даже во время работы; люди, не только состоятельные, но даже некоторым образом образованные, пели её на своих сходках и увеселениях. Само содержание её говорило о том, что возникла она в тюремных стенах, или каторжных казематах.

Несмотря на это, везде и всюду слушали её с восхищением и встречали дружными аплодисментами.

– *Прелесть! Прелесть!* Вот это музыка, вот это пение! От неё – прямо как в тумане... *Чудесно!* Лев Леонтьевич! Вы могли бы петь в театре, в Москве или Петербурге. Урра! Урра! Лев Леонтьевич *артист*, – орала и хлопала в ладоши вся компания.

А Лев Леонтьевич поднялся с кресла и, стоя на эстраде, улыбался, сияя, принимая как заслуженную дань своего таланта возгласы восхищения и рукоплескания...

Но тут кто-то крикнул:

– Владимир Осипович!

Это имя всех наэлектризовало.

Слушатели поднимались из-за столов...

Соня, Татьяна, Ольга и Наташа подбежали к зеркалам, поправить помятые туалеты...

Лев Леонтьевич соскочил с эстрады... Все взоры обратились к дверям.

Владимир Осипович, непринуждённый, эlegantный, надутый, с иронической усмешкой на устах и победительным выражением на лице, лёгким, эластичным шагом хорошо вымуштрованного солдата ступил в Золотой зал.

Молчащий и хмурый офицер сорвался с кресла, снял фуражку, застегнул мундир на все пуговицы, отстегнул саблю и, повесив её на крючок, велел прислуживающему лакею:

– *Карточки!* Быстро! Быстро!

Поскольку меня настращали, что возвращаться в город одному небезопасно, волей-неволей пришлось дожидаться расвета в этом *французском ресторане*.

Я уж до тошноты насмотрелся на эту гулянку, в самом её откровенном и отвратительном виде.

Попил чая в буфете и чем-то перекусил, не столь оттого, что проголодался, а для того, чтобы добыть, наконец, этот злосчастный *счёт*, который дал бы мне возможность выбраться из под принудительного ареста во французском ресторане.

Воспользовавшись местом, которое временно освободила *мадемуазель*, я навёл её на разговор о Владимире Осиповиче, который, как я заметил, играл здесь важную, даже перворядную роль.

Со слов моей собеседницы, узнал, что славный Владимир Осипович был попросту шулером, который «гастролировал» по России и Сибири.

На всех ярмарках, съездах, и на всех публичных сборищах он появлялся неизменно.

Мало интеллигентным и умственно слабо развитым сибирским кругам импонировал своим действительно необычным для этих мест видом, изысканностью одежды, поведения, разговора. Богатых простаков ошеломлял своими рассказами об обширных владениях, о многих сотнях *душ*, коими якобы обладал в губерниях средней России, о приятельских отношениях, которые связывали его с петербургской и московской знатью.

Эти импровизации, принятые «за чистую монету», определяли: «гулять», напиваться, играть в карты с Владимиром Осиповичем считалось недюжинной честью, которой добивались все, но которой тот достаивал только избранных, только привилегированных.

Не лишне добавить, конечно, что таковыми были прежде всего люди богатые, щедрые, не считавшиеся с расходами и не жалевшие денег.

Вопреки известной поговорке, Владимиру Осиповичу удача не изменяла никогда, ни в картах, ни с женщинами.

Что он сам «помогал» удаче – не вызывало сомнений. Надо, однако, признать, что делал он это очень умело, очень осторожно.

Впрочем, кто бы мог его в шулерстве уличить?... Владимир Осипович появлялся и за карты садился лишь тогда, когда вся компания была уже крепко под хмельком, а партнёры его – пьяны до бессознательности.

Мадемуазель, довольная, что нашла слушателя, который ей ни в чём не перечил, рассказывала, рассказывала без умолку, не останавливаясь, и говорила тем свободнее, что около буфета образовалась полная пустота, – никому не нужно было ни еды, ни напитков, гости *французского ресторана* уже всем пресытились до предела!

Некоторые, сморённые выпитым, вытянувшись на лавках, спали; другие, более стойкие, или не сумевшие найти место на лавках, дремали, опираясь головой о стол.

Из других комнат слышался топот наиболее выносливых танцоров, отрывочные слова бессмысленных песен и невообразимое пиликание цыганской скрипки.

Только самобытная балалайка ещё очень громко и удачно звучала из боковой комнаты...

Лампы гасли, розовый рассвет уже заглядывал через грязные стёкла...

И вдруг раздался какой-то адский шум.

Кто-то подражал завыванию собаки... Другой кто-то – мяуканью кота... Кто-то мычал, как вол... Кто-то подражал пению петуха... кудахтанью курицы, которая снесла яйцо... Слышались и голоса, изображающие женский плач, гуканье младенца... грубый мужской смех... чавканье... храп...

Кто-то наяривал разухабистую песню...

Оказалось, это та самая компания, которая, как я видел, «завлялась» в Золотом зале и сейчас высыпала в буфетную с таким адским ором...

Присутствовали все в полном составе, кроме Владимира Осиповича, который успел незаметно испариться, выиграв, как мне потом рассказали, огромные суммы.

Это шумное пьяное шествие возглавлял «патриарх тобольский», экс-заклочённый, обвинённый в фабрикации фальшивых банкнот, а сейчас – настоящий Крез: Иллариий Таганцев.

Ольга и Соня вели его под руки.

Все трое становились перед буфетом.

Мадемуазель сорвалась с места, ожидая заказов.

– *Человек!* – рыкнул Иллариий Таганцев, прерванный подражанием собачьего визга. – *Человек!* Счёт!

– Уже готов, – ответила *мадемуазель* и, кокетничая, призывно глядя, выставив зубы, подала Таганцеву длинный исписанный лист.

Он посмотрел...

Пробежал лист глазами раз... второй... и третий... и крикнул:

– Неверный счёт!

– Но, *месье*, только то, что вы велели подавать, и здесь, и в Золотом зале, только то и внесено в наши книги и записано в ваш счёт: *parole d'honneur!*²⁷

– *Врёшь, скотина!* – рыкнул Иллариий Таганцев, бросив лист на прилавок и придерживая его кулаком. – *Врёшь!*

– Ах, *monsieur*, я обижусь! Я уже обиделась! – воскликнула *мадемуазель*, закрывая лицо ладонями и притворяясь, что плачет.

На помощь прибежал хозяин.

– Ах, *Превосходительство! Миленький! Голубчик!* Ах, если вы считаете, что в вашем счёте слишком много записано... я готов... и *мадемуазель* готова, мы вычеркнем, всё, что хотите... всё, только скажите, что... потрудитесь сказать, Иллариий Таганцев!

– Ничего не надо вычёркивать... А надо дописать... *Человек!* Подними с пола счёт. *Мадемуазель!* Дописывайте!

Иллариий Таганцев надулся, как индюк, красующийся на хозяйском дворе, и, слог за слогом, чётко и вразумительно отчеканил:

– Вписывайте, *мадемуазель*, сколько за то, что я в ваш *рояль* наплевал.

У *мадемуазель* перо выпало из рук, хозяин схватился за голову, потом заломил руки:

– Вы, вы, Иллариий Таганцев, наплевали в мой *рояль*... В мой прекрасный *рояль*.

– И не раз! – разразился хохотом «патриарх тобольский».

Вторила ему вся его компания.

– Как можно? – вскричал действительно поражённый владелец *рояля*. – Не верю!

– Ваша воля не верить... А моя воля была наплевать... Идите, *хозяин*, смотрите... Убедитесь... Удостоверьтесь.

Хозяин выскочил из-за прилавка, как стрела из лука, и полетел к Золотому залу. За ним подалась ватага менее пьяных гостей.

И тут же вернулись.

– Правда, чистая правда, Иллариий Таганцев, – подтвердил хозяин.

– Сколько я должен за то? – спросил «тобольский патриарх».

– Посчитайте, прикиньте, *господин хозяин*, а вы, *мадемуазель*, на моём счёте запишите сумму, которая с меня полагается.

Хозяин со своей бухгалтершей советовались в сторонке. Говорили так тихо, что только некоторые выражения и цифры, подчёркнутые ими, можно было услышать:

– В Париже *рояль* стоил рублей...

– Упаковка рублей...

– Отправка морем...

– Морем и сушей, *патрон*...

– Ваша правда, *мадемуазель*. Морем и сушей, рублей...

– В таможене пошлина... рублей...

– Перевозка через Москву, Нижний... рублей...

– Доставка в Минусинск... рублей...

Пока *мадемуазель* и владелец *рояля* подсчитывали общие затраты, записывали цифры, пока, наконец, подбивали общий итог, на лицах окружающих читалось напряжённое ожидание. Только «тобольский патриарх» стоял победителем и большой потной лапой гладил Сонино лицо.

– *Превосходительство*... Иллариий Таганцев... *голубчик*..., – несмело, путаясь, бормотал хозяин, – мы подсчитали... я и *мадемуазель*... Она не... Она очень умная... Она подтвердит... этот *рояль* стоил мне очень, очень дорого...

– Сколько? – назовите, *прошу, господин хозяин*...

– Четыре тысячи рублей, – тихим голосом неуверенно сказал хозяин.

«Патриарх тобольский» рассмеялся во всё горло:

– И всего-то?

Вытянул из засаленного и потного кафтана покорёженный кожаный кошель, из растянутых его отделений вытащил банкноты, поцеловал пальцы и, демонстративно выкладывая на прилавок банкноту за банкнотой, отсчитал четыре тысячи рублей, заплатил по счёту за еду и напитки, затем снял с пальца дорогую печатку, завернул в несколько ценных банкнот, вручил всё это бухгалтерше и, поцеловав в обе щёчки, проговорил любезнейшим тоном:

– За то, что вам *надурочил*, миленькая *мадемуазель*.

Она поцеловала щедрую, дарующую руку и низко поклонилась.

– *Merci monsieur!* – радостно и взволнованно сказала она, прижимая подарок к груди. – Вы настоящий вельможа, Иллариус Таганцев. Покорно, покорно благодарю!

«Тобольский патриарх» сиял от несказанного удовлетворения.

– Счастье меня так и распирает, что я с вами, милые мои дружки. Пора, однако, возвращаться в город, для подкрепления, для *похмелья*²⁸. Покорно приглашаю дорогих друзей, покорно прошу ко мне.

И, хитро усмехаясь, добавил:

– Если бы *господин хозяин* был бы умнее и за *рояль* потребовал в два раза больше, я б охотно заплатил, не рядясь... Но, коли запросил только сумму стоимости, – я, Иллариус Таганцев, именуемый «патриарх тобольский», говорю вам: *господин хозяин французского ресторана дурачище*.

Хозяин низко поклонился, в знак согласия.

Мнение о владельце ресторана громко обсуждала вся компания, сопровождающая Таганцева.

– *Дурачище! Дурачище!* – повторяли все, сплёвывая на пол прямо под ноги несчастного хозяина французского ресторана. Он осоловел от сожаления, что по своей же вине упустил пару тысяч рублей.

Компания Таганцева вывалилась за ним в сени, а оттуда на улицу, где перед домом их уже ожидало несколько тарантасов, запряжённых огнистыми рысаками...

Наконец, появился Светилкин.

К моему большому удовольствию, мой патрон был навеселе, но не пьян. Засмеялся и сказал:

– Я слышал, что этот наш «патриарх тобольский» по сей день фабрикует фальшивые деньги.

Хозяин молитвенно сложил руки.

– Помоги ему бог! Он настоящий вельможа...

– *Silence, monsieur!*²⁹ – громко прервала своего патрона осторожная *мадемуазель*. Наконец, мы со Светилкиным вышли.

Нет слов сказать, как я был измучен этим вынужденным участием в гулянке всю ночь во французском ресторане.

Светало.

Работящие китайцы встают одновременно с солнцем.

Сейчас, выйдя, мы повстречали арбы, которые уже возвращались из Минусинска.

Остановились.

Джонерикша, что-то жевавший, остановился, обрадованный возможностью заработать.

Мы спросили его, хочет ли отвезти нас в город.

Сговорились мы без труда, хотя русский язык он не знал вовсе.

– *Хао! Хао! Но ходиа хао*³⁰, – согласился он с великой охотой и любезной улыбкой. Светилкин взгромоздился на арбу, я вскочил за ним.

Джонерикша понёсся такой рысью, словно добрый конь.

* * *

Никогда жилище Томаша Корсака не казалось мне таким живописным, как в тот день, когда я шёл к нему последний раз, когда накануне выезда из Минусинска шёл к брату по изгнанию попрощаться.

Крыша и стены домика, полностью обвитого хмелем и другими растениями, казались будто из малахита.

Отражение оранжевых настурций, пунцовых маков, пурпурных и белых пионов превратили стёкла окон в прекрасные, разноцветные витражи.

Большой, белый сибирский пёс с шелковистой шерстью, с хвостом, похожим на великолепный султан, встретил меня радостным



визгом, – и быстрыми скачками понёсся к избе, словно лакей с докладом к хозяину о прибытии уважаемого гостя.

Томаш Корсак отвернулся от стола, на котором оставалась собственноручно приготовленная им еда, услышав визг своего любимца, и, быстро оглянув меня, воскликнул:

– Уезжаешь! Пришёл проститься со мной!

– Да, – ответил я тихо, потому что горе сжало мне горло, – Светилкин закончил все свои торговые дела, ему тоже уже надоели местные развлечения, и он сказал мне сейчас, что завтра ранним утром мы отбываем обратно на Большой Участок. Я упросил его освободить меня на сегодняшний день, чтобы познакомить его с вами, дорогой брат. Вы уже побывали в городе? Или от кого-то уже слышали о нашем отъезде, так что сразу угадали, с чем я к вам пришёл?

– Если бы я и был в городе, мне всё равно никто бы не мог сказать о предстоящем выезде Светилкина и о твоём. Но, видишь ли, дорогой, я в своей жизни пережил уже столько прощаний, столько расставаний, не надеясь на встречу в этом мире, что, только взглянув на твоё лицо, понял: твоё присутствие под этой крышей – последний раз.

– О! Ну почему же в последний? Может, я ещё сюда приеду через год...

– Дай-то бог, чтобы через год ты сюда не приезжал... Дай-то бог! Чтобы через год ты вернулся в свою Отчизну...

– А для вас, дорогой брат, – вскрикнул я, – для вас разве нет уже никакой надежды вернуться на Родину?

Он задумчиво покачал головой.

– Уже нет!... Я стар, измождён, берегу последние силы, последний дух... Напрасно тешиться надеждами, которым сбыться не суждено...

Снял с полки старинную, потрёпанную от частого пользования книжку, одетую в чёрный кожаный переплёт...

Перелистал в ней сколько-то страниц...

На каждой, наверное, было немало следов от его слёз...

Найдя место, которое искал, прочитал:

«Останетесь не только без Господина своей крови, но и без Отчизны, и станете изгнанниками, повсюду будете нищие, презренные, убогие бродяги, ногами коих движет беда».



Закрыв книгу, поцеловал её и сказал:

– Ведь и над нами исполнилось Сетование преподобного Златоуста... То, что Муж, преисполненный Божьим духом, предсказал, уже наступило, и встречается нам повсюду... Знаешь, я и ты, брат мой, и все, кто пошёл по нашим стопам, должны считать себя смертниками... Таким, как ты, как я, всем таким, как мы оба, не полагается изведать личного счастья и искать личной удачи... Наше терпение, наши беды, наши страдания, мы обязаны смиренно возложить на жертвенный алтарь, с той верой и надеждой, что из них расцветёт возрождение и благополучие будущих поколений...

Я опустил на землю...

Обнял колени старца, пребывавшего как бы в пророческом состоянии...

Он возложил на мою голову благословляющую ладонь...

.....

.....

В этот последний день моего пребывания в Минусинске мы не хотели расставаться и решили провести его вместе, – Томаш Корсак проводил меня в город.

Мы шли по дороге, что проходила через тот временный китайский городок, где на каждом шагу моему взору открывалось нечто, из-за чего стоило остановиться, что-то, к чему стоило подойти поближе...

Прежде всего поражали яркость и гармония красок в вышивках на шёлковых тканях; чудный колорит бабочек, птиц, цветов, растений и деревьев с фантастическим, не существующим в природе, обликом драконов, чешуйчатými хребтами и переливчатыми крылами.

Можно было только подивиться шедеврам терпения и искусства человеческих рук: то истинно кружевная, тончайшая резьба по слоновой кости, то длинные цепочки из колечек без единого соединения, сделанных из единого куска кости, то ажурные шары, также нигде не спаянные, нигде не склеенные, в одном большом шаре, вмещающем пять или шесть всё уменьшающихся шаров – вплоть до маленького шарика, и все они украшены единым вырезанным рисунком.

В одной лавке, среди фестонов из голубого шёлка, на золочёных досках размещены были картины на прозрачных тонюсеньких пластинах из рисового теста.

Эти картинки подробно представляли сцены из жизни обитателей Небесной Империи, фигурки красивых китайянок, важных мандаринов, учёных мудрецов, задумчивых бонз, грозных воинов, богатырей из древних легенд.

На личиках этих фигурок у каждой было своё выражение, каждая статья выражала свой особый характер. Каждая мельчайшая деталь одежды или оружия, все аксессуары, китайские художники передавали с неимоверной достоверностью, притом колорит этих искусных картинок был изумительно живописный и правдивый, без всякой лишней пестроты.

Чтобы это оценить, надо, конечно, всё это видеть...

Шаг за шагом мы медленно шли вдоль улиц, где на одной стороне стояли жилые дома, а на другой лавки, которые для европейцев оказывались полны чудес и чарующих особенностей.

Вместе с нами по улице двигалась разномастная толпа.

Окрики: *тхи-гха-хо!* Врывались в разноязыкий говор, всё время встречались китайские пареньки, которые развозили на тачках сладкие печенья: тхи, гха, хо, что сразу же привлекали приятным ароматом.

– Дорогой мой, ты совершенно погрузился в восхищение всякими изделиями, картинками, резьбой по слоновой кости. Несомненно, всё это прекрасно и говорит о необыкновенном искусстве китайских мастеров, а также о высокой древней культуре Китая. А теперь, позволь, я покажу тебе нечто, что, без сомнения, заинтересует тебя не меньше, чем все эти безделки, что ты разглядываешь, – сказал Томаш Корсак, и повёл меня в самый конец улицы.

Перед домиком с изогнутой крышей двое маленьких китайчат сидели на траве, задорно выбивая дробь двумя палочками на круглых плоских барабанчиках, кивая головками, так что их косички, тонкие и короткие, как мышинные хвостики, взлетали в такт ударов.

Стены этого домика полностью заслонял настоящий лес огромных, махровых, пунцовых, лиловых, розовых и белых маков.

При сильном ветре маки колыхались и похожи были на разноцветные волны...

В этом доме жил Кванг-си-тун, преславный лекарь. Здесь же помещалась его подручная аптека.

Единственные в этом доме двери, вернее, ворота, были открыты настежь. Через них виднелось довольно узкое, но очень длинное помещение, тем более, что в конце его висело зеркало, что усиливало впечатление длины.

В этом помещении находился целый зверинец чучел птиц и рептилий.

Огромные крокодилы с разверзнутой пастью, ядовитые ящерицы с высунутыми жалами, пауки, летучие мыши и многие другие...

Все эти твари были развешены высоко, так что для стоящих внизу оставались недосыгаемы. И все эти мёртвые создания двигались, словно живые, вертелись, переворачивались, крокодиловая чешуя и шкурки ящериц блестели металлическим блеском, наверное, искусственным, как и глаза этих созданий, глаза сапфирового, изумрудного, рубинового, топазового цвета, видимо, стеклянные, но блестящие, как живые.

Чучела гадов и птиц были сильно освещены сверху.

Около ворот, на жёлтой рисовой циновке, в кругу верхнего света, сидел старый человек, худой, как скелет, с коричневой увядшей кожей, с выступающими скулами, глазами, глубоко сидевшими в орбитах, с длинной, седой косой. Лоб его бороздили глубокие морщины, а на бескровных губах блуждала насмешливая улыбка.

С плеч свисала тёмная шёлковая накидка, вышитая иероглифами.

Это был китаец Кванг-си-тун, лекарь, пользующийся в Минусинске огромной известностью.

Перед воротами, ведущими в длинное помещение, стоял молодой, очень высокий мужчина, который высоким голосом очень громко рассказывал несусветные истории о дивных излечениях Кванг-си-туна, а также о чудесах, что творили изготовленные им лекарства и эликсиры.

Этот зазывала, восхваляющий лекаря, все дифирамбы в честь Эскулапа и его лекарств возглашал по-русски, но и на языках

разных кочевников, которыми, надо признать, владел свободно и бегло.

Бессильные старцы, удручённые женщины с детьми, разные калеки толпились перед этим чудодейственным прибежищем, где, судя по громким обещаниям, можно было получить излечение от разных болезней, недугов и людских огорчений, притом за малую плату, и не только выздороветь, но даже добиться омоложения и счастья.

Кванг-си-тун, как заверял зазывала, с одного взгляда определял болезнь и сразу же подбирал лекарство, которое могло эту болезнь одолеть.

Неудивительно, что при такой рекламе, большие и малые суммы легковёрные больные и калеки массажи опускали в большой кожаный кошель, что висел у пояса зазывалы и как о милости просили у него совета.

Как только пациент входил в помещение и вставал пред очи Кванг-си-туна, тот вперялся в него внимательным взглядом и долго всматривался. Потом брал со столика с перламутровой инкрустацией фарфоровые флакончики с жидкостью или коробочки из цветной бумаги, исписанные иероглифами, и вручал пациентам.

Это были лекарства для внутреннего употребления. Другим пациентам лекарь на больные части тела собственноручно накладывал пластыри, сперва окурив их ароматами и шепча заклинания. Все эти манипуляции, должно быть, очень хорошо действовали на пациентов, потому что все, без исключения, выходили от Кванг-си-туна явно полные бодрости, веры и надежды в улучшение здоровья и облегчение болезни.

– Я тоже попрошу Кванг-си-туна о помощи, – сказал я своему товарищу.

– Разве ты болен, – удивился Томаш Корсак, – и разве доверяешь советам этого косоглазого шарлатана?

– Я не болен, но хочу развлечься, а, главное, вблизи присмотреться к этой личности, потому что уж, наверное, другой раз в жизни мне не представится возможности увидеть подобное в таком окружении и на таком фоне.

Когда подошла моя очередь, я приблизился к толмачу и спросил его по-русски:

– Обладает ли великий учёный и мудрый Кванг-си-тун в своей чудодейственной аптеке таким напитком, или порошком, который может излечить душевную болезнь?

Зазывала, который явно не понимал выражение «душевная болезнь», уставился на меня удивлёнными глазами.

– Расскажите учёному Кванг-си-туну, что изгнанник из очень далёкой и красивой страны, тоскующий днём и ночью, просит у него лекарства от своей тоски.

– Повторите то, что сказали, дословно повторите Кванг-си-туну, – сказал зазывала, и когда я так сделал, китаец-лекарь пару раз воскликнул:

– Funda! Funda!

Быстро, пронзительно и со всем вниманием поглядел на меня... покачал головой и тихо произнёс пару слов, которые, как объяснил толмач, значат, что от подобной болезни нет и не может быть, ни порошков, и никакого зелья, и никаких микстур, и вообще никаких лекарств.

– Смотри-ка, этот косоокий Эскулап очень толково рассуждает, он, видно, гораздо разумнее и порядочней, чем можно представить, – засмеялся Томаш Корсак, а я снова повернулся к толмачу.

– А мог бы великий мудрец и учёный Кванг-си-тун сделать так, чтобы я, хотя бы во сне, хотя бы на минуту, увидел те любимые края, по каким я тоскую?

На этот раз, выслушав толмача, китайский лекарь улыбнулся мне и склонил голову, подтверждая, что якобы может исполнить то, о чём его просят.

Тогда я вложил уплату в кожаный кошель толмача, который пригласил нас вглубь дома, явно торопясь, потому что китайцы свой рабочий день ориентируют по солнцу. Сразу же после закатной зари все дела заканчиваются.

Только в курительных опиума в это время наступает оживление.

Через помещение, где Кванг-си-тун весь день пользовал пациентов и наделял их лекарствами, толмач провёл нас в комнату, значительно меньшую и совершенно иной обстановки.

Стены здесь были покрыты тёмными лаковыми таблицами цвета палисандра, с позолоченными выпуклыми иероглифами.

На низеньких столиках стояли великолепные фарфоровые вазы, в которых красовались пучки зелёных растений, а также букеты цветов необычного вида, так что возникала мысль, будто к свежим цветам добавлены искусственные из тончайшей прозрачной ткани.

Свисающие с потолка бумажные китайские фонари легко колыхались, так что по комнате мелькали разноцветные блики света, перемежаясь с глубокой тенью...

Сразу же, когда мы сюда вошли, нас охватило необычное, особое ощущение...

Оба мы молчали...

Вдруг откуда-то из-за какой-то ширмочки появилась некая фигура. Это был Кванг-си-тун, одетый в сапфировый халат, вышитый выпуклыми грифами и драконами. На голове – золотистая тюрбетейка.

Теперь он казался ещё выше, ещё худее, ещё внушительнее, чем днём.

А в этих золотистых отблесках выглядел как маг, или властелин какой-нибудь сказочной Колхиды...

Он встал напротив меня и заговорил голосом, вибрирующим низкими тонами, медленно и настойчиво.

Толмач тоже убедительно и, свободно владея российским, повторял за ним, обращаясь ко мне:

– Думайте о той далёкой и красивой стране, о стране, по которой тоскуете... Думайте о ней... Желайте её увидеть... И вскоре увидите её... И вскоре окажетесь там...

Во время этого разговора Кванг-си-тун пристально устремил свой взор в мои глаза...

Что-то необычайное, неподдающееся описанию, происходило, какая-то неестественная сила струилась из глаз и от всего тела этого Азиата, непреодолимо приковывала к нему.

Я хотел отвернуться – не мог... Пытался опустить веки – не мог... Я чувствовал, что какой-то горячий поток струится из его глаз и проникает в меня...

Я чувствовал, что его воля подавляет мою... Что вся моя духовная сущность покорена, попала в полное, абсолютное подчинение, так же, как обессилела моя физическая оболочка...

Коридор, таблицы с иероглифами, вазы, букеты...

Томаш Корсак... Толмач... Сам Кванг-си-тун – отступали от меня всё дальше и дальше... Пока совсем не исчезли из глаз.

А вместо – я увидел:

Цветущие, душистые луга...

Вспаханные нивы...

На ветках грушевого дерева – белое, весеннее цветение...

Вишнёвые сады, полные деревьев, покрытых пурпурными ягодами...

Сады, полные золотистых, красных яблок и тёмно-фиолетовых слив...

Узрел мою родную сторонку...

Увидел знакомые мне околицы, по которым бродил, как посланник Пробста из Ходля...

Узнавал знакомые дворы...

Соломой покрытые хаты, где меня всегда так радостно и гостеприимно встречали...

Я слышал, как шелестят тёмные, древние леса, я слышал весёлый шум лиственных рощ...

Я слышал, как поёт жаворонок и клекочет *бочек* на душистой цветущей липе...

Я слышал, как в костёле из груди верующего люда рвался протяжный хорал:

Боже Святой!

Святой Всесильный, Святой и Бессмертный,

Смилуйся над нами!...

Как картинки в волшебном фонаре, передо мной, выросшим и любимым в этом краю, мелькали все облики его красы, в разные времена года, в разное время дня...

И всё так правдиво, так точно в главных контурах и в наимельчайших подробностях предметов, освещения, колорита...

Потом эти живописные пейзажи покрыли тени... Тени сгустились... Всё более чернели, будто над этой моей землёй исчез ясный свет...

И, наконец, всё, и меня со всем, что я только что видел, объяла тёмная, непреодолимая ночь...

.....

 Вдруг я почувствовал, будто кто-то сильно встряхнул меня...
 будто какая-то тяжесть свалилась с моей головы и груди... как
 будто сняты с меня оковы, мешавшие свободно двигаться...

Я глубоко вздохнул...

Окружающая меня темнота поредела... расплылась, как рас-
 сеиваются перед солнцем тучи.

Обретаю полное сознание... полное ощущение действитель-
 ности...

Я уже знаю, что нахожусь в комнате китайского лекаря...

Вижу, что в стороне, недалеко от меня стоит Томаш Корсак...

Кванг-си-тун тоже стоит напротив меня...

Он опирается рукой о какую-то бамбуковую перегородку с
 высоким гребнем... Из его приоткрытого халата видна сухая,
 смуглая грудь, которая будто колеблется волнами, так быстро он
 дышит.

Он выглядит ещё более усталым, изнурённым, сгорбленным,
 физически обессиленным. Лицо его как бы присыпано пеплом,
 глаза глубоко запали в орбиты и глядят матово, без блеска, будто
 утратили свою силу.

– Ну что? Ну что? – спрашивает Томаш Корсак... – Ты стоял,
 как каменный столб, совершенно недвижимый...

– Как долго? – спросил я.

– Четыре минуты.

– Ты шутишь, наверное, дорогой брат.

– Совсем не шучу. Я посмотрел на часы. Твоя неподвижность
 во время этого эксперимента уже начала меня волновать.

– Что? Четыре минуты? Всего четыре минуты длилось это моё
 необыкновенное видение?

– А что это было за видение?

– Я думаю, что душа моя пребывала там, где хотел бы нахо-
 диться я сам. Я видел то, что хотел видеть... Всё получилось, как
 я надеялся, и как обещал Кванг-си-тун.

– То есть...

– То есть мой дух в течение четырёх минут очутился в другой
 части света и гостил в моей Отчизне.

Я очень низко склонился перед Кванг-си-туном. Его ладонь я
 пожал так сильно, что даже почувствовал сердцебиение, и с глу-
 бокой, горячей благодарностью сказал:

– *Taosje!*³¹

Добродушная усмешка озарила мрачный облик китайского
 лекаря, то ли лекаря, то ли чародея, – я не знаю, каким титулом
 величать Кванг-си-туна.

Его рука ответила мне долгим, долгим рукопожатием.

.....

.....

Неужели, волею какой-то ещё неизученной силы, которой
 Кванг-си-тун обладал и вдохнул в меня, мой дух взвился *ad astra*³²
 и в непостижимых для людского ока видениях, – в обычном со-
 стоянии, – в течение этих четырёх минут я побывал на любимой
 Земле? Или только необычная обстановка, при моём столь жгу-
 чем желании вызвала такую галлюцинацию? Сам не знаю...

И, конечно, никто мне этого ни объяснить, ни растолковать не
 смог...

Одно – непреложно: это моё четырёхминутное ощущение, будто
 я побывал в королевстве *Спящей Красавицы*, я причислил к са-
 мым дорогим мгновениям моего первого изгнания в Сибирь...

«СКАЖИТЕ ЕМУ, ЧТО...»



...сть такие... Я вам говорю, *господа*, их много, целая тол-
 па!...

Так закончил свой рассказ Максименко. После отбы-
 тия из Тобольска, партия, в которую нас включили, пройдя ме-
 сячный поход, задержалась для длительного отдыха в уездном
 городе Тобольской губернии под названием Тара.

Братья поляки, поселенцы Тары: Кароль Богдашевский, Адам
 Ключевский, Константин Дороткевич, Скивский, Хомницкий про-
 водывали нас ежедневно, а то и по два раза в день, тем самым
 облегчая пребывание в *арестантском дворе*.

Лишь после того, как закрывались ворота тюрьмы, вечерами
 мы очень скучали, поскольку в карты не играли и не напивались,
 как обычно коротают время наши сотоварищи, «бандиты».

Обычно, вечерами, в избе, куда нас, Поляков, помещали, появлялся некий Максименко.

Кем был на самом деле этот дедок?...

Мы не спрашивали и, конечно, правды не узнали бы, да и никто не мог бы нам рассказать о нём, потому что даже старожилы Тары помнили Максименко как поселенца. Он нигде не работал, не имел никаких средств, но держался весьма достойно, всякий раз рассказывая, что принадлежит к партии, которая задерживается в Таре на некоторое время с этапом.

Смутные слухи доносили, что услуги, которые Максименко иногда оказывал, не всегда соответствовали законам, например: он пускал в оборот фальшивые мелкие деньги, которые во множестве фабриковали рецидивисты в сибирских тюрьмах.

Однако Максименко всегда удавалось «отлизаться»³³ из всяких ситуаций и заковырок, притом даже фискальные фигуры не раз пользовались посредничеством этого деда в разных делах «деликатного свойства».

Максименко шатался по всему зданию тюрьмы, имел доступ повсюду, часто в тюрьме и ночевал, а в нашу избу назойливо пытался втереться, уже зная, что у *политиков* можно легче всего заработать, притом ничем не рискуя, и не попадая в неприятности с властями. Мы же сразу приняли его неохотно и резко...

Не обидевшись, он постоянно приставал к нам столько раз, что напролом всё же добился доступа в нашу избу и закрепился на занятой позиции.

Западную Сибирь и большую часть Забайкальского края он знал наизусть, и об уже известных нам местах, а также о якутах, тунгусах и других кочевниках, об их обычаях и верованиях рассказывал очень интересные подробности, очень красочным и своеобразным языком описывал таинственную тайгу и необозримые степи.

И образы эти оживлял, вплетая в них свои личные, часто архизабавные и необычные похождения.

Заметив, что ему удалось нас заинтересовать своими рассказами, смеялся, обнажая пеньки испорченных зубов, и, протягивая нам свою меховую сибирскую ушанку, хохотал:

– Ну-с, господа, киньте сюда горсть *николашек*³⁴, и скажите: «вот тебе на горилку и хлеб-соль, и на постолы, старый гриб».

Разумеется, такое обращение к нашему великодушному никогда не оставалось безответным.

Максименко с хитроватой, слегка ироничной усмешкой прятал в значку копейки и, если пора была ещё не поздняя, а нам хотелось ещё слушать, опять принимался рассказывать.

* * *

– «Есть такие», говоришь, дед, тогда я спрашиваю: какие они «такие»? – спросил Александр Гжегожевский, который вернулся из тюремной канцелярии, куда ходил за какой-то нужной нам информацией.

Максименко рад вопросу и не медлит с ответом.

– Я слышал, что есть такие «бродячие» люди, которые в мешках прячут всякие ветры. Такие ветры, которые землю осушают и вызывают солнечные пожары, а в жару вдруг приносят холод...

И ещё – такие бури, что строения сдувает с земли, как пёрышки, а *народ* и всяких зверей убивают, на озёрах и реках лодки и даже корабли на морях топят. Слышал я, что есть такие люди, что разносят по свету мор и разные болезни в своих больших кожаных мешках... Где захотят, развяжут и выпустят заразы и болезни... И тогда люди целыми табунами падают замертво...

– А ты сам веришь в это, дед? – прервал Александр Гжегожевский.

– Откуда мне знать?... Верю или не верю... Мои старые выщепшие зенки много чего в этом мире повидали... Много чего... Наверное, верю! – воскликнул он после долгого раздумья.

Когда мы прибыли в Тобольск, в городе как раз вспыхнула холера, городские жители обвиняли нас, Поляков, что это мы из ненависти к россиянам, умышленно привезли холеру в своём багаже.

Если бы нас не заперли в тюрьме, куда имели доступ урядник и стража, и никто с нами больше не общался, мы вполне могли заплатить жизнью за невежество тёмного люда.

Рассказ Максименко напомнил Гжегожевскому эти недавние наши невзгоды и беды, и он не на шутку рассердился.

– И как вы, дорогие мои, можете слушать байки, которые нам плетёт этот пьяница и попрошайка! Это просто стыд для интеллигентных людей! – кричал он, бегая по избе.

– Поскольку ты сам его спросил, Олесь, стыдись ты, знаешь ли, мы тут не при чём. Мы только слушаем байки деда, а ты сам натолкнул его на такие разговоры, – смеялись мы, что приводило Гжегожевского в ещё больший гнев.

Хотя мы говорили по-польски, шустрый Максименко догадался, что речь идёт о нём. Потому, опасаясь потерять источник *николашек*, повёл разговор о другом.

– Забыл вам сказать, *господа*, что сегодня я был в *петербургской гостинице*... Приехала и остановилась там...

Медленно цедил он слово за словом. И замолк. Смотрел на нас исподлобья, пытаясь определить, достаточно ли разжёт наше любопытство. И ждал.

А не дождавшись от нас вопроса, кто приехал в петербургскую гостиницу, и кто там пребывает, выпалил одним духом:

– Приехала какая-то *барышня*, по-русски плохо понимает, *видно*, из ваших, потому что очень на вас похожа.

Поистине, дед Максименко был мудрым и бывалым человеком, к тому же хорошим психологом.

И ему удалось-таки нас заинтересовать и разжечь наше любопытство.

Все впились в него глазами и кто-то из нас спросил:

– А Максименко не знает, как зовут эту приезжую госпожу?

Дед покачал головой.

– Не знаю. Но могу узнать, если угодно господам «шляхте».

– Так пусть же Максименко узнает, просим, и соответственно вознаградим.

– Бегите, дед, в эту *петербургскую гостиницу*, и узнайте об этой госпоже точные и вразумительные сведения.

Дед хитро усмехнулся.

– Сейчас я в *петербургскую гостиницу* идти не могу, я же не *летяга*³⁵, чтобы мне по ночам летать. Если я отсюда сейчас выйду, так они, мать их, сука шелудивая, не впустят меня обратно в *тюрьму*. Но утром, как только отопрут ворота, выскочу в город, всё узнаю, вернусь в вашу *спальню* и подробно вам отрапортую,

что и как было и есть, – и, отсалютовав по-военному, вышел, не скрывая радости, что весть, которую нам сообщил, так быстро нас заинтриговала.

Максименко слово сдержал.

Утром, чуть не на рассвете, появился в нашей избе.

Сперва набожно перекрестился и пожелал нам счастливого доброго дня. Потом встал посреди избы, держа шапку под мышкой, одной рукой опираясь о косяк, другой расчёсывал свою длинную, спутанную белую бороду, закрывающую почти всё его лицо.

То моргал, то обтирал красные, набрякшие веки... Харкал... Громко кашлял и, наконец, крикнул:

– Всё в полном порядке!

Олесь Гжегожевский нетерпеливо его прервал:

– Максименко был в этом петербургском отеле? Максименко видал эту госпожу?

Дед обхватил большущей лапой свою бороду, стиснул в горсти, потом самый кончик всунул в беззубый рот, покивал головой и ответил:

– Видел – почему нет? – видел эту *барышню*... Бледная, как мамонтова кость, щёчки гладенькие, как зеркальца, а на личике румянец просто как красное *винцо*. А *бродни*³⁶ такие малюсенькие, как мои два пальца... не, вру! Такие малюсенькие, как мой один палец.

– Хватит об этом, – раздражённо прервал кто-то из нас этот бесполезный разговор, – ты узнал, дед, как зовут эту госпожу?

– Этого не узнал, – ответил Максименко, и после долгих колебаний и увёрток должен был всё-таки сознаться, что не смог добыть других сведений о приезжей, которую только мимолётно увидел, когда она остановилась около «петербургского отеля».

Хозяин отеля, татарин Ахметка, который, по заверениям деда, очень с ним дружен и ничего от него не скрывает, тем не менее, отказался от всяких объяснений и ответов, касательно незнакомой приезжей.

Слуги в гостинице тоже ничего не хотели о ней говорить.

– Я предлагал этим *лизолапам* полсеребряника, так не хотели даже морды повернуть, – сердился Максименко, очень сконфуженный и униженный неполнотой добытых сведений.

– Это, наверное, какая-нибудь княжна или купчиха с тысячным состоянием из дому от родителей сбежала искать свою судьбу в широком и большом мире, или своего милого любовничка догоняет. И прячется от людей, чтобы родители не напали на её след.

Так считал Максименко.

У нас же были другие предположения.

В ту пору уже не одна Польша и не одна Россиянка последовали тернистым путём за каторжником-мужем в Сибирь.

Мы предполагали, что таинственная приезжая – именно такая восторженная женщина, такая благородная добровольная изгнанница, которая ожидает в Таре прибытия своего мужа, чтобы дальше проделать поход до места казни вместе с партией, в которую попал арестованный.

– Наверное, – думали мы, – это дама из высшего общества и потому избегает любопытствующих, их разговоров, и скрывается от слуг.

Это очень разумно и правильно.

Как бы там ни было, а мы решили с этой дамой обязательно познакомиться.

И тогда, вчетвером, взяв с собой Кароля Богдашевского в качестве переговорщика, отправились в «петербургский отель». Это был большой грязный дом с обязательным *кабаком*, с лавкой разных разностей и несколькими хозяйственными постройками, стоящими в каре, около главного здания, где размещались комнаты для гостей – приезжих или местных – что приходили сюда искать утех или сгубить кусочек повседневной жизни в кабаке.

Таковых, очевидно, собралась немалая компания, причём в отменном настроении, поскольку издали слышны была бала-лайка, песни, танцы и громкий говор.

В конюшне было полно тарантасов, коней, возов, кибиток, а перед настежь распахнутыми воротами дома мы увидели особых посетителей: медведя и волка.

То ли двое четвероногих сторожей каждого впускали в отель, но никого не выпускали, а лишь тех, кого провожал кто-нибудь из слуг, либо сам хозяин.

С теми, кого они знали, с постоянными посетителями кабака и постоянными гостями отеля, Миша-медведь и Саша-волк, они «здоровались», приветствовали, ощерив клыки, что должно было служить знаком большого расположения.

Миша быстро карабкался на высокий столб, с которого сползал с ловкостью истового гимнаста, а Саша в это время грыз кости, целая груда которых лежала под стенами и воротами отеля.

Кароль Богдашевский велел позвать хозяина.

На вопросы о той даме, что пару дней приехала издали и здесь остановилась, татарин Ахметка отвечал путано, двусмысленно и увильвая.

Причём на его плоском тёмном лице читалось беспокойство, а в маленьких скошенных глазах загорались настороженные огоньки, как в зрачках дикого зверя.

Всё это было очень подозрительно.

Кароль Богдашевский сказал, что эта постоялица его кровная родня, приезд которой он давно ожидает, что он хочет и должен увидеться с ней, что если Ахметка тут же не проводит нас к этой госпоже, – мы пойдём в полицию.

Загнанный в угол, Ахметка, наконец, решился проводить нас вглубь дома, причём рассказывал, что дама приехала уже нездоровой, что её состояние всё ухудшалось и сейчас она очень больна.

– Почему не вызвали врача? – спросил Кароль.

– Сама *барышня* не хотела, не приказывала, а почему? Не могу знать, – ответил Ахметка.

Всё ещё медля, жалуясь и сетуя на хлопоты и неприятности, с которыми ему, как хозяину отеля, приходится слишком часто сталкиваться, татарин проводил нас через целый лабиринт коридорчиков, каморок, потайных лестниц, высоких порогов, до боковой пристройки.

Тут, опередивши нас перед дверью в деревянной стене и указав на дверь, сказал:

– Здесь!

Богдашевский легонько постучал.

Постучал чуть громче второй раз. И, наконец, в третий...

Но из-за закрытых дверей не слышно было ни голоса, ни движения, ни наилегчайшего шелеста.

– Может, она вышла? – спросил он у Ахмета.

Тот отрицательно покачал головой.

– Нет! Я вам точно говорю, что она больна, что вообще не выходит и даже не поднимается с постели.

– Тем более нам нужно её повидать. Нечего раздумывать, нечего колебаться.

– Конечно! Иди ты, Кароль, на первый залп, – сказали мы, – ты одет как цивилизованный европеец, мы же в наших каторжных одежках выглядим как бандиты, мы только испугаем больную.

– Правда! – поддакнули друзья.

Богдашевский осторожно приоткрыл дверь. Вошёл... Осторожно закрыл дверь за собой.

Нас удивило, что за этими дверьми мы не услышали никакого голоса...

Вдруг Кароль быстро вышел в коридорчик...

– Входите! Входите! Бога ради, – звал он нас шёпотом, голос его сильно изменился.

В комнатке, вернее, в низкой мансарде, слабо освещённой круглым окном под самой крышей, на кровати, накрытой несвежей постелью, лежала женщина. Она была молода.

Её длинные светлые косы свисали, расплетёнными и растрёпанными концами касаясь пола. Под шёлковым лёгким одеялом угадывались контуры высокой, худощавой фигуры.

Молодая женщина явно была очень тяжело больна.

О сильной горячке свидетельствовала её пылающая голова, неподвижно лежащая на подушках; её воспалённые глаза, горевшее от жара, нежное, прекрасное лицо, её горячие руки, которые на пурпуровом атласе одеяла казались выточенными из алебаstra.

Она была совершенно без сознания.

Мы обратились к ней по-польски, по-французски, наконец, по-русски.

Она не ответила нам, очевидно, не понимая ничего и не отдавая себя отчёт, что около неё происходит.

– Но тут нужна немедленная медицинская помощь, – вскричал Богдашевский.

– Адам, – обратился он к Клосовскому, – беги к доктору Муравову. Если дома не застанешь, то в офицерском клубе точно его найдёшь. Хватай деда, сажай в тарантас, и доставь возможно скорее.

Клосовский выбежал, а мы тем временем осмотрели мансарду, пытаясь отгадать, кто это чудесное создание, молоденькая девушка, которую трагическая судьба пригнала сюда северной зимой, – а случай отдал больную, безродную неприкаемую под опеку изгнанников, под нашу опеку. Что она принадлежала к высшему обществу, свидетельствовало всё её обличье, благородство её поистине изумительной красоты.

Женщина бедная не могла быть одета в такое изящное бельё, лежать на дорогой постели, как эта больная.

Пока мы бились над этой живой загадкой, Олесь Гжегожевский, который в это время шнырял по мансарде, изучая все её углы, вдруг поднял с пола какой-то маленький предмет...

Это была суконная ладанка.

На одной стороне ладанки голубым шёлком вышиты слова:

«Наисвятейшая Богоматерь Ченстоховская, проводи мою Маришеньку по тернистому пути, который она для себя избрала».

Таинственность, окружавшая больную женщину, понемногу начала разясняться в самой для нас интересной ипостаси: эта прекрасная особа была Полька и эта ладанка, несомненно, принадлежала ей.

Никто из местных не чтит и не носил таких святынь.

Ни один наш земляк в эту пору через Тару не проезжал, в этом отеле не останавливался, жившие здесь Поляки об этом бы узнали.

Наше сочувствие к больной ещё усилилось от того, что эта несчастная оказалась нашей землячкой.

Богдашевский решил, что сразу же после посещения врача он перевезёт её в другое жилище, более достойное, чем эта мансарда в грязном сибирском заезжем дворе, где днём и ночью раздавались крики и пьяная брань, и царило беспредельное хамство, где из каждой комнаты и каждого уголка исходило несносное злование, просто убийственные для изнурённой женщины, притом непривычной к подобной обстановке.

Вскоре Адам Клосовский привёл доктора Муразова. Эскулап явился хмурый, в кислом, как уксус, настроении, сердитый, оттого, что его оторвали от забав офицерского клуба. Именно в этот день ему везло в игре, и тут чёрт принёс этого Поляка с вызовом к больной родственнице. Наверняка это жена какого-нибудь «мятежника», а может, она сама – «мятежница», которая могла бы себе спокойно помереть в любое время, никого не утруждая: смерть каждого «мятежника» или «мятежницы» – очевидная польза для «матушки России».

Примерно так должен был рассуждать доктор Муразов, что мы поняли из его поведения и чёрного юмора.

Тем не менее, он стал вежливым, любезным и приятным в обращении, как только после взаимных приветствий Кароль Богдашевский прямо у входа вручил ему свиток банкнот.

Он принял деньги без церемоний и, удостоверившись, что предложенная сумма намного превышает обычный докторский гонорар в Таре, сразу же из грубияна превратился в человека обходительного и внимательного, как и положено врачу, лечащего охотно, и принялся выслушивать больную. Осмотр получился печальный. Муразов признал состояние пациентки, как весьма опасное.

Поставил диагноз: воспаление лёгких, осложнённое воспаление мозга. А эти две болезни, при слабом организме, не сулят быстрого выздоровления, более того: следовало готовиться к катастрофе.

* * *

Партия, в которую мы входили, выбывала из Тары быстрее, чем было намечено. Разные прогнозы, а, главное, ранние холода предвещали быструю и тяжкую зиму. Потому партия должна была поспешить, чтобы возможно скорее добраться до Томска.

Покидая Тару, мы оставили «нашу Маришеньку» (теперь мы так называли больную девушку) в том же состоянии, в каком увидели её впервые.

Её польское происхождение не вызывало никаких сомнений.

Ни на минуту не приходила она в сознание, лишь при каких-то горячечных видениях с её прекрасных уст срывались имена,

или выражения, бессвязные слова – имена, обычные в Польше, и выражения были часто чисто польские.

Что последовала она в Сибирь за мужем или возлюбленным, тоже можно было сказать наверняка, ибо какой другой повод кроме жертвенной любви мог бы погнать красавицу, молоденькую Полячку, по этому тернистому пути, вытоптанному стопами политических преступников?...

Тем не менее, фамилия нашей Маришеньки так и оставалась для нас тайной.

В течение многих лет нас переводили из тюрьмы в тюрьму, перемещали из крепости в крепость, мы знали целую армию осуждённых, если не лично, то понаслышке из рассказов сотоварищей.

Не чужды были мне имена разных заговорщиков, известен их удел в разных обстоятельствах и в разных происшествиях. Всё это засело у меня в памяти, также, как Катехизис и Отче Наш.

Не раз я пытался звать: «Сестрица», и называл то или иное имя, возможно, счастливица, которого удостоила любви «наша Маришенька».

В конце концов, при различных раскладах и комбинациях, сопоставлениях времени, мест, личностей, выросло целое сооружение правдоподобности и домыслов, и всё это привычно рушилось, как здание на хрупком фундаменте.

Но, конечно, у «нашей Маришеньки» должен был быть паспорт и прочие подорожные документы, подтверждающие её личность, место рождения, место, куда она отправлялась в свою вынужденную дорогу.

А эти документы исчезли, пропали без следа.

Некоторые из посетителей «кабака» и «петербургского» заезжего двора вспоминали, что эта красивая больная девица, которую взяли под опеку Поляки, прибыла несколько дней назад в Тару на тарантасе, гружённом *чемоданами* и множеством тюков.

Они помнили, что эти чемоданы и тюки отнесены были в переднюю комнату отеля.

По наблюдениям таких свидетелей, эта барышня была очень богата, *ящик*, который её привёз, долго и подробно рассказывал

о её доброте и щедрости, о том, что она ни с кем не торговалась, платила за всё, сколько просили, хотя ей называли цены, намного выше, чем обычные.

Отсюда следовал вывод, что «наша Маришенька» заболела сразу по приезде в Тару, что Ахметка перевёл неприкайнную несчастную из её *парадной комнаты* в мансарду, чтоб её там спрятать и скрыть от любопытных глаз, что он присвоил весь её багаж, а паспорт и подорожные документы уничтожил, сразу же уложив больную девушку в постель, в доказательство её болезни.

Всё это было ясно.

Тем не менее, Ахметка всё отрицал.

Досмотр в *петербургском отеле* не выявил ничего подозрительного, равно полиция отрицала наличие подорожных бумаг.

Накануне отбытия партии в поход мы пошли проведать больную.

Наши братья, живущие в Таре, перенесли «нашу Маришеньку» из мансарды заезжего двора в другое жилище.

Теперь она занимала большую комнату, чистую и светлую, с видом на реку Архарку и древние вечнозелёные леса.

Она располагала удобствами, её лечил лекарь, её неустанно опекали приянные горячие сердца, готовые ради неё на любые жертвы...

С уважением пожимали мы исхудалые и горячие ручки больной, прикасались к ней лёгкими поцелуями и шептали пожелания здоровья.

– Встретимся ли мы с ней ещё когда-нибудь?... – спрашивал я растроганно и печально.

– Ты спрашиваешь, встретимся ли мы ещё с ней? Но, дорогой мой, конечно же, встретимся... если не на этой земле, то по ту сторону гроба... Ведь мы шли по жизни общим путём, – ответил профессор Жоховский.

* * *

– Фактически наша работа – это работа Данаид! Несколько дней дождя напрочь смывали вал, построенный нашими руками.

Первый же разлив снесёт его вообще. И снова придётся тачками подвозить навоз, смешивать с гравием, песком, тростником, придётся всё это укладывать, трамбовать, чтобы, закончив, вскоре проделать то же самое... Право, трудно придумать другую, столь же оглупляющую работу!

Так вещал Юзеф Богуславский, тыкая в землю лопатой, которую держал в руке, а я отвечал ему со смехом:

– А ты что думал, Юзик? Что нас послали на каторгу с целью развития умственных способностей и для использования на полезной и продуктивной работе?... Мы должны приучать себя к «оглупляющим» работам, потому что других на каторге не будет...

Юзеф Богуславский и я беседовали так в Усть-Каменогорске³⁷.

Поскольку мы закончили назначенную нам порцию работы раньше других и ожидали, пока сотоварищи закончат свою, мы отдыхали, глядя то на погожее небо, то на Иртыш, в то время спокойный, гладкий, как отполированный лист стекла, в котором отражался то сапфир небес, то белые перелётные облака.

Подошёл офицер в звании инженера, обозрел вал, который каторжники насыпали над Иртышем. Местами замечал небрежную работу и, наверное, чтобы придать себе больше веса, ругал каторжников, ругал конвойных дозорных, а потом приказал вернуться в каземат.

В дороге встретили ефрейтора, который сказал, чтобы я явился в канцелярию коменданта крепости.

Комендант, майор Маценко, был неплохим человеком, особенно для нас, поляков. Держал себя пристойно, вежливо, и не скрывал симпатии, что таилась в его душе по отношению к Польше.

– Рад, что могу вам доставить удовольствие, Шимон Себастьянович, – сказал он, когда меня привели в канцелярию и вручили мне письмо, которое почта только что привезла.

Я взглянул на почтовый штампель...

Письмо пришло из Тары.

Пропутешествовало оно всего пару месяцев...

В сороковых годах, нас, каторжников, редко когда привозили сразу к месту казни.

Включали нас то в одну, то в другую партию преступников. Мы отбывали долгие походы вглубь Сибири, чтобы потом, той же дорогой, поворачивать к Уралу и России.

Это были поспешные марши и поспешные рокировки.

Были то долгие и короткие этапы, в зависимости, конечно, от соображений начальников в главных сибирских городах.

Так что письма тоже проделывали долгие путешествия, пока попадали к адресату.

Получив письмо из рук майора Маценко, распечатал его поспешно.

Я был уверен, что это, несколько месяцев ожидаемое мною послание, содержит вести о «нашей Маришеньке».

И предчувствие меня не обмануло...

Кароль Богдашевский, не скупясь на подробности, рассказал нам о той женщине, которую мы узнали в Таре и к которой испытывали такую сердечную привязанность и сочувствие.

Лекарь Муразов правильно поставил диагноз.

«Наша Маришенька» потихоньку... потихоньку... увядала, как цветок, схваченный морозом...

Угасла, как звезда, которую громовые тучи укрыли так, что она совсем исчезает и навсегда прячется от устремлённых к ней людских глаз...

«Наша Маришенька» оставалась без сознания. За минуту до гибели у бедняжки появился лёгкий проблеск сознания...

Просящим жестом протянула она ручонки к братьям-изгнанникам, которые в последние дни её жизни находились около неё непрерывно, с большим усилием прошептала:

– Передайте ему, что...

И – всё.

Более не последовало ни одного слова... ни одного слога...

* * *

Никто из нас не смог выполнить предсмертной воли «нашей Маришеньки». Никому из нас не удалось узнать, что и кому хотела она передать.

Шимон Токаржевский **В СКИТАНИЯХ** **Воспоминания** **изгнанника** **Варшава – Львов¹**



Героями этих повествований являются Поляки-каторжники и Поляки-поселенцы.

На фоне экзотической природы Сибири среди коренных жителей тех далёких краёв контрастно рисуются фигуры Поляков, таких чистых в своих помыслах, таких безмятежных, несмотря на многоликие беды, которые их одолевали, таких благородных в каждом порыве своих чувств.

Тот, кто писал эти страницы, Шимон Токаржевский, был участником конспирационных дел ксёндза Петра Щегуенного и тридцать семь лет своей жизни провёл в тюрьме, на каторге и на поселении.

В сороковых годах² был арестован во Львове, затем переведён в Варшавскую крепость и Модлин, после чего отбывал каторгу в Усть-Каменогорске и в Омске.

В шестидесятых годах был вновь арестован на Павиаке и опять попал в крепость, некоторое время пребывал в карательном учреждении в Кадаи в Нерчинском горном округе. Отбывал каторгу в Александровске над Амуром, жил в Иркутске – словом: как каторжник, а потом как поселенец, прошёл всю Сибирь от Урала до Благовещенска.

В этих принудительных путешествиях Шимон Токаржевский накопил много наблюдений, был свидетелем многих необычных происшествий или их непосредственных участниками.

Эти избранные страницы из книги воспоминаний Шимона Токаржевского, несомненно, заинтересуют читателей, также, как ранее изданные его воспоминания и рассказы.

Издатели.

В БЕГАХ

В Омской крепости среди двухсот шестидесяти четырёх каторжан разных народностей и племён, подвластных российскому скипетру, не учитывая и нас, *политических преступников*, было и огромное число бродяг.

Они в шутку говорили: «Чёрт сто пар лаптей сносил, пока со всех сторон сумел собрать нас в одну кучу».

Источник:

Tokarzewsky Szymon. W ucieczce. Opowiadania wygnanka. – Warszawa, Lwow, {b.r.}. [Токаржевский Ш. В скитаниях: воспоминания изгнанника. – Варшава, Львов, {год изд. не указ.}. – На польском языке].

Но среди этой ватаги совершенно разложившихся отбросов общества находились также люди неиспорченные, добрые, вызывающие сочувствие, которых только стечение несчастных обстоятельств повергло в омскую Геенну.

Нам, Полякам, особенно нравились наши сотоварищи-заключённые Кабардинцы. Мы жили с ними в одном каземате, по мере возможности пытаясь облегчать друг другу нашу тяжкую долю, ведь надо было долгие годы прожить в *остроге*. Особенно привлекательным нам казался один из кабардинцев, по имени Нурра-Шах-Нурра-Оглы.

Это был мужчина примерно двадцати двух лет, с благородными тонкими чертами бледного, сухощавого лица, оживлённого блеском чёрных прекрасных глаз.

Высокий, хорошего сложения, во всей его постати было что-то рыцарское.

.....

Его родная усадьба находилась в той части Кавказа, что уже была подвластна Российской империи.

Несмотря на это, Нурра-Шах-Нурра-Оглы часто прокрадывался к вольным ещё горцам и вместе с ними нападал на посты и даже на обозы и маленькие крепости россиян. Во время одной такой вылазки, окружённый штыками, он попал в плен и был осуждён на бессрочные каторжные работы в омском *остроге*.

На удивление, довольно спокойно сносил он каторгу. Правда, держался на расстоянии от прочих сотоварищей, но притом со всеми был услужлив, предупредителен, охотно помогал тем, для которых назначенная работа оказывалась слишком изнурительной или непосильной.

Помогал он тем охотней, что был наделён истинно геркулевой силой.

Эта его сила, а также отвага и всем импонирующее достоинство в обхождении снискали Нурре-Шах-Нурре-Оглы среди сотоварищей кличку «лев».

Обычно, кавказские горцы, пойманные с оружием в руках, зачислялись в общую категорию преступников, причём их метили на лбу и щеках.

Вследствие какой-то счастливой ошибки, Нурра-Шах-Нурра-Оглы клеймения избежал.

Потому бандиты в омском остроге называли его *политиком*³.

Но этим, по их понятиям, унижительным прозвищем Нурру называли только втихую и только между собой, поскольку Кабардинец малейшую шутку в свой адрес считал смертельным оскорблением и загорался неуёмным гневом.

Мы, Поляки, и он почти одновременно прибыли в омскую крепость, и сразу же познакомились.

Условия для знакомства были тем более благоприятными, что Нурра-Шах-Нурра-Оглы некоторое время находился в омском госпитале и уже хорошо понимал, и вообще довольно неплохо говорил по-русски.

А связи наши ещё более укрепились, когда мы, Поляки, упростили плац-майора Кривцева, чтобы нас с Кабардинцами поместили в один каземат. Во время работ на открытом пространстве Кабардинец Нурра бывал особенно спокойно и даже весело настроен.

Но когда казематы вечером запирались, Нурра хмурился и свои вечерние *намазы*⁴ совершал с глубокой набожностью, голосом, полным боли, гнева и печальной жалобы...

В этих молитвах, в этом голосе, чувствовались все порывы сердца и притеснённой воли, вся его индивидуальность, измученная унижением и неволей каторжной жизни, чувствовалось, какие адские муки терпит человек в бурном расцвете сил и молодости, человек с живым, буйным и поэтичным воображением, привычный к безграничной свободе, к бескрайним просторам, к великолепной природе, неустанным и героическим боям за независимость своей родной земли.

Логически рассуждая, осуждённые на бессрочные тяжкие работы, а особенно принадлежащие к категории преступников, подобных нам, Полякам, и нашему приятелю Кабардинцу, не могли рассчитывать на полную амнистию и на возвращение в Отчизну.

И всё же... всё же... Нурра-Шах-Нурра-Оглы-Лев эти надежды постоянно лелеял в своём сердце, пламенно, беззаветно, — не позволяя им угасать.

На чём основаны были эти надежды?

Чем он их подкреплял?

Нурра-Шах-Нурра-Оглы никогда и никому не поверял, ни нам, ни приятелям, ни землякам своим – Кабардинцам.

* * *

Солнце, как пламенный шар, горело на бледно-голубом небосводе, и огневые стрелы безжалостно пронзают каторжан, одни из коих рубят деревья, другие тут же пилят их и складывают в сажени дров; осенью дрова привезут в Омск для нужд стоящих там войск и для заключённых, содержащихся в *остроге*.

Короткое, но чрезвычайно жаркое сибирское лето в этом году уже ознаменовалось многими неделями зноя, засухи, ни разу не прерванной хотя бы мимолётным дождём.

Воды Иртыша сильно понизились.

Местами обнажились серые скалистые насыпи, что показались из глубины величественной реки, которая обычно плавно несла свои волны, а сейчас выглядела, порой, так, словно неким проклятьем обречена на неподвижность и гибель.

Около леса, на придорожье, солнце совершенно выжгло буйные, обычно вьющиеся здесь заросли.

Только местами, обсыпанные мелкими розовыми цветами, поникшие кусты тамариска привычно сопротивлялись страшному солнечному жару.

Угнетающая душу печаль глядела из каждого уголка, той, несмотря на солнечный огонь, зелёной околицы, где, помимо нас, работающих каторжников и конвойных солдат, не видно было ни одной живой души: ни человека, ни птицы, ни одного животного. Все существа куда-то попрятались. Казалось, что там, за Иртышем, где горизонт неуловимо соприкасается с киргизской степью, – там и есть конец света...

Плац-майор омской крепости, Василий Григорьевич Кривцев, ненавидел вообще всех каторжных, подлежащих его надзору и опеке, особой же ненавистью пылал к политическим преступникам, Кабардинцам и Полякам.

– Ах! Вы *бунтовщики*, вы *зачинщики*, если бы я мог... я бы вас, я бы...

Так он твердил при каждой возможности. Однако, никогда вразумительно не говорил, что именно он бы с нами сделал, если бы только мог... Зато с истинно бесовской злобностью выискивал способы притеснять нас и издеваться над нами.

Одной из таких и взаправду нечеловеческой выдумкой Василия Григорьевича Кривцева был приказ, именно во время этого страшного зноя, вырубать деревья на уже почти оголённой рубке, где, помимо мачтовых сосен, оставалось едва лишь несколько штук покрупнее. И при этой обессиливающей жаре неизбежно работа должна была идти не споро.

Поминутно из обессиленных рук выпадали топоры, выскальзывали пилы...

Поминутно кто-то из нас стонал, когда перехватывало дыхание в груди от атмосферы, пропитанной ароматами вянущих растений и сильным живичным запахом, исходящим от бора хвойных деревьев...

Опираясь на карабины, дремали конвойные.

Дремал также, обычно суровый к каторжанам, дозорный Иван Матвейч.

А из работающей братии раз за разом вырывались проклятия:

– Чтоб тебя чума Бендерская пришибла!

– Чтоб тебя турецкая сабля проткнула насквозь!

– А чтоб ты собственной слюной насмерть подавился!

Все эти «пожелания» были адресованы плац-майору Василию Григорьевичу Кривцеву.

Каторжник Газин, который троих маленьких детей, не из-за какой-либо выгоды, а просто ради собственного удовольствия, зарезал, приблизился к нам, Полякам (мы работали в тесной группе, возможно ближе друг к другу), похлопал меня по плечу и доверительно шепнул:

– А что бы нам вот так всей ватагой пойти служить к генералу Кукушкину⁵... Что скажете, господа *шляхта*, а?

– Всей ватагой – нет... Если вам охота, Газин, воля ваша... Позовите и других за компанию... А перед нами другая и слишком долгая дорога! – отказались мы, усмехаясь.

Стоявший поблизости Нурра-Шах-Нурра-Оглы слышал этот мой разговор с Газиным...

Дрогнул, поглядел на свои ноги, скованные кандалами...

Затем глаза его быстро и внимательно оглядели всю околицу...

Газин насмешливо посмотрел на меня, сплюнул через зубы и отошёл, бурча:

– Поляки! Политики! Мерзавцы!

В это время Нурра-Шах-Нурра-Оглы-Лев рубил на поленья огромную поваленную сосну, рубил с какой-то нечеловеческой силой, и поразительной яростью и размахом, так что аж щепки взлетали в воздух, – и из колоссального дерева вскоре только они одни и остались.

Отдохнув минуту, Кабардинец выпрямил свою крепкую, юную, выносливую фигуру.

Подошёл ко мне и сказал:

– Сегодня я убегу!

– Нурра! – шепнул я ему в ответ, не переставая работать, чтобы приглушить звук голоса. – Ты что, ошалел?... Убежать в белый день, с открытого поля?... Это же безумие, подстрелят тебя, как воробья.

– Не подстрелят!... Все спят... убегу!

– Подожди, Нурра! Ночью посоветуемся все вместе... подумаем, что и как сделать, чтобы облегчить тебе побег, чтоб тебя не поймали... И денег тебе надо взять хоть немного на дорогу... Сжался, брат, над собой и над нами... Подожди хоть пару дней... Хотя бы только до завтра.

Но все мои просьбы и убеждения оказались тщетны.

Проект побега, неумолимо задуманный Нуррой с момента вступления в омскую крепость, конечно, уже был им тщательно обдуман со всех сторон, а в тот день дозрел до окончательного решения, неоспоримого и неодолимого.

И когда Нурра-Шах-Нурра-Оглы-Лев понял, что обстоятельства сложились соответственно и благоприятно, он уже не хотел больше ждать, не хотел откладывать даже хоть на один час...

Он порывисто обнял меня и прижал к себе изо всей силы.

Короткий горячий поцелуй запечатлел у меня на лбу, и шепнул:

– Попрощайся с братьями за меня и от меня.

Потом я едва успел сориентироваться, как Нурра-Шах-Нурра-Оглы исчез среди пней срубленных сосен, молниеносно, словно не касаясь земли, улепётывая в лес...

– Кабардинец удрал! – заорал Газин. По убеждению бродяг, отбывающих срок в омском остроге, донос не был ни преступлением, ни позором, не причинял никаких угрызений совести доносчику, хотя бы даже притворных.

Так что за Газиным несколько голосов завопили:

– Кабардинец сбежал!

И тут Газин поднял кандалы, которые оставил Нурра, потрясал ими и смеялся во всё горло:

– Перекусил эти «мелкозвоны», как *сайки*. И топор взял с собой. Гляди, какой умный! Прямо адъютант царский... Этот в *свете* справится!

Конвойные очнулись от безмятежной дремоты.

Крики и бесовский хохот разбудили также и дозорного Ивана Матвеевича.

Парой слов ему объяснили, что случилось...

Он тут же скомандовал:

– Пали!

По команде Ивана Матвеевича залп карабинных выстрелов грохнул в сторону беглеца.

Тот упал.

Но сразу же поднялся и по прыткости его движений было видно, что ни одна пуля в него не попала. Конвойные зарядили карабины и выстрелили повторно.

Тоже бесполезно, слава Богу!

Расстояние между убегающим Нуррой и нами всё больше увеличивалось.

Мы, Поляки, шептались между собой:

– Лишь бы он только добежал до леса... Там уже и погоня, и пули будут не так опасны для него.

И вдруг от пашни в долгой полосе, отделяющей порубку от бора, заблестели миллиарды мелких цветочных точек!

Они увеличиваются с каждой секундой и вспыхнули, как огненный смерч...

Мы пытаемся понять и объяснить себе это явление – вот уж вся пашня и межа под лесом, ближе и дальше придорожья, превратились в пламенное море, пылающее огненным жаром.

Видно, хозяин этой пашни, по сибирскому обычаю, подпалил высохшую траву, чтобы на следующий год обеспечить себе буйный, щедрый запас сена.

Иван Матвеевич просто ошалел от радости... Хлопает себя ладонями по бёдрам и хохочет адским смехом:

– Спечётся! Сгорит до уголька этот «помощник дьявола», убежать, видишь, ему захотелось... Так вот же тебе, «чёртово отродье»!

– *Ребята!* Три залпа одним за другим, чтоб ему повезло в пути, – скомандовал.

.....

.....

Дозорный Иван Матвеевич написал своему *начальству* наипрекраснейший рапорт, что *политический преступник* Кабардинец Нурра-Шах-Нурра-Оглы по прозвищу Лев полностью сгорел на пашне под лесом.

.....

.....

Поскольку этот факт ничем нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть, – рапорт Ивана Матвеевича власти признали как свершившийся и вполне правдоподобный.

Но было ли так на самом деле?

Сумел ли Нурра-Шах-Нурра-Оглы пробраться через это огненное море?

Или сгинул в нём?

Сумел ли благополучно преодолеть столько опасностей, грозивших ему в побеге?

Смог ли добраться до своей любимой Отчизны?...

Этого мы не узнали никогда.

[*Название главы отсутствует*]⁶



Никогда ни одна мелодия не впечатлила меня так, как скрежет напильника, которым кузнец перепилил мои кандалы!...

Происходило это на кузне инженерных войск в крепости в Омске.

Желкин, экс-конокрад, недавно уволенный из карательных батальонов солдат, великан и силач, который без малейших усилий завязывал железные прутья, как шёлковые шнуры, распилывал мои кандалы очень умело, легко и осторожно, чтоб не покалечить мою обнажённую ногу, что нередко случается при подобных операциях.

Кандалы осуждённых на принудительные работы состояли из четырёх железных, толщиной в дюйм, обручей, соединённых друг с другом такой же толщины прутьями.

Таковыми кандалами сковывают ноги каторжника перед поступлением в острог.

Снимают их, только если осуждённый умер во время наказания, или когда вследствие амнистии, или после отбытия наказания, покидал тюрьму.

Счастливым каторжникам, в день 26 ноября 1855 года покидающим Геенну Омскую, после семилетнего пребывания в ней, был – я.

Желкин не медлил, когда работал. Дело выполнял хорошо и – быстро. Перепиленные оковы с моих ног, брэнча, пали на кирпичный пол кузни.

Кузнец их поднял... взвесил на руке... буркнул по их поводу цветистое проклятье и, сплюнув сквозь зубы, вручил кандалы ефрейтору, который меня сопровождал.

Потом, «руки в боки», обернул ко мне своё загорелое потное, полнокровное, дружелюбно улыбающееся в эту минуту лицо, и сказал:

– А теперь учитеесь, пожалуйста, ходить, *миленький* Шимон Себастьянович.

– Что? Что я должен делать?

– Учиться ходить, говорю вам, – повторил он с усмешкой. – Ну и *айда, маршируйте! Ра-аз, два-а!... Ра-аз! Два, три!*

Не соображая, что делаю, и для чего слушаюсь команды Желкина, начинаю маршировать из глубины кузни к дверям.

Марширую неверными шагами, будто скольжу по льду, или по сильно вощённому полу танцую мазурку. Несмотря на мои усилия, мне трудно ходить прямо... невозможно держаться в равновесии.

У меня такое впечатление, будто земля колеблется подо мной... Будто под моими ногами открывается пропасть... Будто я вдруг превратился в некую бестелесную сущность, лишённую веса...

Колени сгибаются подо мной, вытягиваю руки перед собой, ища какой-нибудь опоры, чтобы не упасть...

Ефрейтор Драженников кивает головой, задумчиво глядит на меня и кричит:

– Что, Семён Себастьянович... Ей-же! Ей! Что я вижу, вы...

Он, несомненно, намеревался сказать: вы пьяны, но Желкин участливо его прерывает:

– Шимон Себастьянович сегодня вышел из каторги на свободу, а воля... известное дело: ни к чему и горилка, человек и так, как пьяный.

Драженников поводит плечами.

– Ать! Сказал, что увидел!

Кузнец хмурый, недоброжелательным взглядом провожает ефрейтора, сплёвывает, а ко мне поворачивается с победным смешком:

– Ну что?... А?... Правда моя! Скоро вам потребуются *мелкозвонь*⁷, не умеете ходить, двигать ногами не умеете.

– Научусь, правда, ходить и без *мелкозвонь*! – весело отвечаю я. В кармане нахожу горсть мелкой медной монеты и хочу подарить её Желкину – но его сентенция о *воле* меня озадачила.

– Спасибо вам, Желкин, от души и от сердца вам спасибо, за то, что расковали мои кандалы, и за добрый совет.

Пожимаю рабочую, закопченную ладонь кузнеца и приглашаю его, чтобы он в ближайшее воскресенье меня посетил.

Добрый детина принимает приглашение очень приветливо и охотно. Расстаёмся с большой приязнью.

Выхожу из кузни...

За мной следует сильный протяжный баритон поющего Желкина:

*Воля, ты, воля!
Зачем как дикая птица
От человека бежишь?...
Ой, воля! Милая воля!*

.....
В течение семи лет в омском *остроге* я жил как номер 154... В этот день ранним утром меня переименовали: я вновь стал человеком...

Мне хотелось в одиночестве насладиться этой своей метампсихозой⁸.

Мне хотелось ещё раз пережить это ошеломительное впечатление, какое я испытал и запомнил, когда комендант омской крепости Алексей Фёдорович де Граве в своей канцелярии сообщил мне радостную вещь:

– Теперь вы свободны, господин Шимон Себастьянович. Желаю пану от всего сердца спокойной и свободной жизни, – сказал он, подав мне руку.

Мне хотелось, сняв кандалы, вжиться в правильную походку без свидетелей.

Потому, выйдя из кухни, вместо того, чтобы отправиться в Омск, как сперва надумал, я свернул в противоположную сторону, где царила полная тишина и полное безлюдие.

Погожий, морозный, короткий день северной осени близился к концу.

Ярко заходящее солнце зажгло миллиарды малюсеньких искорок, в кристалликах инея, покрывших ветви лесных деревьев, которые тянулись вдоль дороги, впечатляя своей таинственностью и величиной.

На замёрзшей поверхности Иртыша прозрачные куски льда мерцали и переливались всеми цветами радуги.

За другим берегом прекрасной реки тянулся огромный простор, однообразная плоскость, убелённая снежным покровом.

Это была степь, что тянулась на тысячу пятьсот вёрст непрерывной полосой, за которой в далёкой перспективе местами вились дымы из юрт кочующих киргизов, как лёгкие серые тучки.

Солнце поспешно добегало круг своего каждодневного пути... Лишь на прощание, послав на землю несколько меланхолических взглядов, полностью скрылось за занавесом пурпурных встрёпанных, щедро окаймлённых золотом, облаков.

Воспламенённый горизонт угасал... На бледно-голубом небосводе лишь местами гасли красные и фиолетовые полосы...

Но, наконец, исчезли и они. Сумрак унылой своей серостью сперва добрался до степи и реки, вдоль леса и дороги, а потом дотянулся и к облакам.

С севера подул морозный ветер, и, легко посвистывая, сметал и укладывал в стожки снег, блестящий множеством атомов бриллиантовой пыли. Притом, немилосердно хлестал и сёк мои щёки, и насквозь продувал мою куртку из лезгинского сукна, которое было такое твёрдое, что волк сломал бы зубы об него.

Снег хрустел под моими шагами. Клубы пара отмечали каждый мой выдох. Ничего! Морозных северных порывов я не ощущал, а бежал, окрылённый какой-то безбрежной силой, радуясь свободе и надеждам. Ибо перейти с каторги на поселение было, по крайней мере, первым шагом к возвращению в Отчизну.

И я дал волю радостным мыслям, которые – как быстрый поток! – стремительно летели... летели...

Из этих путаных мыслей, развихрённых мечтаний, из этих беспорядочных видений, пробудили меня отголоски чего-то, что всколыхнуло царившую здесь пустынную тишину.

Вдруг послышался конский топот, шелест санных полозьев по мёрзлому снегу, и унылый, словно плачущий звон *колокольчика* и тут же на дороге показалась тройка рысаков, запряжённых в большие, загружённые узлами, сани.

По сибирскому обычаю, рысаки спускались с холма на бешеном скаку.

По напряжению рук, по тому, как склонилась назад грузная фигура *ямщика*, видно было, что этот здоровенный детина всё-таки трудно, с огромным усилием, сдерживает размах этих огневых коней.

Перед этим летящим, как ураган, экипажем, я отскочил в сторону. Ноги, привыкшие к тяжести кандалов, теперь отвыкли от энергичных, резких движений. Тут сказался и недостаток ловкости: головой вниз я скатился в ров, который отделял лес от дороги.

Так я потерял сознание.

.....

Когда я пришёл в себя, то лежал в тех самых санях, что послужили причиной происшествия, в которое я попал. Два человека

старательно пытались вывести меня из обморока: *ямщик* натирал мне виски снегом, и во время этой спасительной процедуры взывал ко всем адским силам и ругался с изобретательностью, выдающей большой опыт в этом жанре.

Окутанный мехами путник ложечкой вливал мне в рот какое-то сильное ароматическое сердечное средство и вполголоса причитал по-польски:

– Муки Христовы! Спасите! Все святые покровители польской короны, заступитесь за нас!

Эти слова подействовали на меня лучше всякого живительно-го лекарства. Бодро сорвался я с мягких подушек, на которые меня уложили, и, схватив за руки путника, вскричал:

– Дорогой земляк! Прости, пожалуйста, хлопоты и испуг, которые я невольно тебе причинил.

Не ответив ни слова, путник сжал меня братским, горячим долгим объятьем...

После первых шумных порывов радости, путник, как оказалось, весьма сердечный, очень обеспокоился моим здоровьем.

– Не хлопочи о моём благополучии, добрый брат, – весело ответил я на его взволнованные вопросы, – я вовсе не деликатный паничек, и никакой не франт, что вернулся с пьянки. При этом моём полёте в ров я не потерпел никаких повреждений, потому что снег только сверху покрыт твёрдой мёрзлой скорлупой, а под ней – истинно пуховая перина.

Чувствую, кости у меня целы, и связки не повреждены, а лёгкое головокружение и шум в ушах, которые я сейчас ещё испытываю, наверное, скоро пройдут. Подвезёшь меня, брат, до Омска?

– Ну конечно же, разумеется, что я тебя не отпущу! – ответил путник, садясь в сани, в которых я уселся весьма удобно.

Ямщик вскочил на козлы, хватил вожжи, легко натянул их, чмокнул и закричал:

– Ху-у-у! Ха-а-а!

Рысаки тронулись по дороге, которая при благоприятных условиях должна была привести нас в город.

Если в эту эпоху в Сибири пребывал Поляк, интеллигентный, образованный, шляхтич, то это был, несомненно, политический преступник – экс-солдат или экс-каторжник.

Поляк, попавший в Сибирь в поисках хлеба насущного, богатства или карьеры, был особым, очень редким явлением.

– По какому делу ты оказался тут, брат?...

Это был первый вопрос, который задавали друг другу Поляки при первом знакомстве.

С таким же вопросом обратился ко мне мой новый знакомый Вендриховский.

Я рассказал ему вкратце мою Одиссею, избобилующую бедами и происшествиями.

Когда я кончил рассказывать, мы как раз въехали в город.

* * *

Я уговорил Адама Вендриховского оставить свой багаж, сани, ямщика и рысаков на заезжем дворе, а сам отправился бы со мной к Булгакам, где именно в этот вечер должна побывать вся омская Polonia.

Только перед домом губернатора Западной Сибири, перед домом коменданта крепости и прочими государственными учреждениями горели масляные фонари.

А в остальном – труды и стоимость освещения Омска во время моего пребывания в этом городе были преимущественно лунные.

Итак, из мрака освещённого мы попали в мрак лишь посебрённый блеском полнолуния, и шли мы по длинной улице, застроенной двумя рядами одноэтажных деревянных усадеб.

Плохонькие это были домишки, сильно тронутые временем, которые отводились для жилья Полякам, интеллигентным поселенцам, поскольку поблизости не было ни отелей, ни *кабаков*, ни ресторанов, и никаких заведений в этом роде, потому что они размещались в других, лучше застроенных и гуще заселённых районах Омска.

Жители этих усадебок все знали друг друга, если не лично, то, по крайней мере, с виду. Так что мужчина, незнакомый и в дорогих мехах, очень заинтересовал жителей улицы, которые возвращались домой из города.

Все оборачивались и оглядывали нас.

Некоторые приближались и следили, куда мы идём.

Наиболее смелые, или более любопытные, останавливали Вендриховского, и спрашивали напрямик:

– Вы не тутошний? Не омский?

– Нет.

– Так, может, вы томский?

– И не томский.

– Так вы, наверное, *заморский человек*, из-за Байкала?⁹

– И тоже нет.

– Ей-же ей! Так откуда вы к нам приехали?

– Из мира, – отвечал Вендриховский, правда, очень невразумительно, зато очень любезно, тем более, что спрашивали, в основном, женщины.

Домик, в котором жили Булгаки, находился в самом конце улицы, которая здесь именно расширялась в виде странной полукруглой площадочки.

Через щели окон сочился свет, оставляя на снегу золотистые мигающие пятна, фантастически разбросанные по белому ковру, усеянному мелкими бриллиантиками снега.

У входной двери не было звонка или даже дверной ручки, которую заменяла староверская деревянная калитка.

Мы сильно её толкнули...

Она стукнула и заскрипела, громко и протяжно, после чего в сенях раздался топот сапог, что служили Прасковье, прибежавшей из глубин дома. Ждали мы недолго. Прасковья отодвинула засов, двери отворила настежь, и, пуская нас в сени, слабо освещённые фонарём, который свисал с потолка, приветствовала нас весёлым окриком:

– Гляди-ка, должен был прийти только один, пришли двое, и этот второй незнакомый!

– Этот незнакомый вместе со снегом упал с облаков в Омск и пришёл поприветствовать Прасковью, – пошутил я.

Девушка окинула Вендриховского любопытным взглядом, и, громко смеясь, убежала вглубь двора, хлопнув дверью.

Мы входим в *горницу*. Уютная, светлая, тёплая атмосфера охватывает нас от самого порога. В большом очаге камина с железным колпаком бушует огонь из огромных сосновых поленьев, весело потрескивая, посылая на беленые стены комнаты подвижные пурпурные отблески и странные смещающиеся тени.

Посреди комнаты большой продолговатый стол, накрытый грубым белым полотном, на нём чайные приборы, посуда для скромного ужина и огромный тульский самовар, который ворчит и шипит.

В гостеприимном доме Булгаков в этот вечер собрались почти все братья-изгнанники, пребывающие сейчас в Омске.

Уселись около огня, слушая рассказы нашего Нестора: Себастьяна Адама Скарбека Мальчевского¹⁰, подполковника четвёртого полка конных стрелков бывшего Войска Польского. Он воевал под победоносными знамёнами Наполеона и любил рассказывать о той мировой и так трагично закончившейся эпопее.

Рассказывал он выразительно, образно, красноречиво. Повествуя, старик сиял от счастья и воспоминаний.

Вспоминая про конец своей военной карьеры на родной своей земле, хмурился и тосковал...

Но – недолго!

О, нет! Хотя бы потому, что был оптимистом в высшей степени, неисправимым оптимистом от рождения, как, впрочем, и все мы, можно сказать, без исключения.

Тоску и печаль его сердца успокаивала надежда, как в известной песне:

*Что не удалось сегодня,
Может завтра сбыться...*

Этой песней, обычно, заканчивал свои рассказы подполковник Себастьян Скарбек Мальчевский, и мы все пели её хором.

Весь наш кружок изгнанников и гостеприимные хозяева с искренней радостью встретили Адама Вендриховского.

Это был красивый, представительный мужчина с длинной светлой бородой и светлыми волосами, уже порядочно припорошенными сединой...

Его поведение, его движения, голос, всё – свидетельствовало, что это человек хорошо воспитанный и высоко образованный.

Изъяснялся он гладко, последовательно, интересно, по нашей просьбе рассказывая о своей биографии.

* * *

Благодаря стараниям богатых и влиятельных родственников, участники Союза Молодёжи братья Адам и Юлиуш Вендриховские за свою конспиративную деятельность были осуждены *всего лишь* на поселение в дальней части Сибири.

Им велено было бессрочно пребывать в Нижнеудинске, окружном городе в Восточной Сибири, а именно в Иркутской губернии.

Вообще-то, по сравнению с участием других политических преступников, братьям Вендриховским было не так уж плохо в Нижнеудинском, если где-нибудь на земном шаре вообще можно считать сносным бытование тех, кто вкушает горький хлеб изгнания и пребывает в постоянной тоске по родной земле, притом, что личная их свобода стеснена и ограничена различными запретами.

Во время бытования Вендриховских в Нижнеудинске, других Поляков там не было.

Не много, не мало, три тысячи жителей в Нижнеудинском состояли из войск и чиновников с семьями, людей с очень низким умственным развитием и вообще-то не слишком высоким нравственным уровнем.

Об утехах общественной жизни люди образованные и культурные здесь и мечтать не могли.

Вести из цивилизованного мира попадали сюда, часто с опозданием на целый год, через посредство купцов, владельцев рудников, уже действующих, или ещё только в стадии предпринимательства, с намерением начать эксплуатацию золотых, серебряных или железных приисков.

Горный Нижнеудинский округ обладал огромными минеральными богатствами, лишь малая часть которых была открыта, а большая – едва использовалась из-за плохого управления, неумения неспособных предпринимателей и из-за отсутствия рабочих рук.

Население Нижнеудинского округа составляли, в основном, кочующие поколения бурятов, которых ни за какие деньги не удалось бы сманить на постоянное местожительство, тем более на тяжёлую работу в рудниках.

Биргал тоже был редкостью, которую отыскивали тщательно и высоко ценили, – пока он не получил задаток и не подписал договор, отдающий его душой и телом в руки предпринимателя, на более или менее долгий срок, оговоренный в условиях.

В конце зимы агенты владельцев рудников начинали вербовать кандидатов в *биргалы*.

Сильные молодые парни из отдалённых окрестностей, деревень и богом забытых уголков прибывали в Нижнеудинск с целью узнать об условиях и подписать контракт.

При конторах найма всегда размещался *кабак*, где днями и ночами заливались балалайки, гулящие непристойные песни, танцы – там были и неисчерпаемые бочонки горилки и миски, полные еды.

Горилкой и едой вербовщики бесплатно потчевали кандидатов в *биргалы*, а те были ослеплены угощениями, беспримерной щедростью, уважением, заманчивыми обещаниями, которым никогда не суждено сбыться, да и выполнение их было нереально...

То ли посулы были прельстительны, то ли агенты владельцев золотых приисков или других рудников прилагали все усилия, чтобы изобразить своих хозяев-предпринимателей, как наиболее надёжных защитников рабочих, ибо потребность в рабочих руках была больше, чем их наличие, но неизвестно откуда явился российский купец Алиберт и начал эксплуатацию графита на горе, которую так и назвали: *Гора Алиберта*.

Его агенты и вербовщики, направо и налево, на север и на юг, с энергией, превосходящей все возможности в обычных условиях, даже в другой, весьма цивилизованной, среде, находили-таки работников для графитных месторождений.

Там нужны были, конечно, работники, но прежде всего – люди с известным умственным развитием, то есть такие, какие могли бы работать в самой администрации рудников графита на Горе Алиберта.

Конечно, нелегко было из Европы в Сибирь сманить интеллигентов, а также, кто знает?... может, ещё труднее было привлечь в Сибирь людей образованных и порядочных, а также способных к канцелярской работе.

Таких можно было искать только среди политических преступников. И Поляки, без всяких усилий со своей стороны, сразу же привлекли внимание вербовщиков купца Алиберта.

Неоднократно Вендриховским удавалось своим внешним видом импонировать владельцам рудников в Нижнеудинске.

Неоднократно удавалось им оказывать местным жителям какие-нибудь важные услуги.

Честность Вендриховских, их открытость и порядочность, щепетильность в денежных делах, были известны повсюду и высоко ценились.

Так что какой-то из многочисленных агентов купца Алиберта обратился к ним: не хотели бы они поработать в канцеляриях ново-заложенных графитовых рудников, как счётные работники и корреспонденты.

Вынужденная бездеятельность, монотонность и беспросветная жизнь среди чужих, в маленьком местечке смертельно надоела Вендриховским.

К тому же их денежные запасы, привезённые из дому, подходили к концу, так что они с радостью приняли предложение доходной работы, тем более, в среде, которая, по их представлениям и надеждам, состояла из людей, по своим понятиям и образованию более или менее близким к тем, с какими им приходилось общаться в своей Отчизне.

Алиберт выхлопотал в Петербурге для Адама и Юлиуша Вендриховских позволение перебраться на свои предприятия. Заверил начальство, что они не уйдут, что по первому вызову властей явятся в указанное время и место, обязался назначить им высокое вознаграждение.

И братья Вендриховские охотно подписали условия с уполномоченным Алиберта, и совершенно ошарашенные таким оборотом дел, выехали из Нижнеудинска, оставив там самые лучшие воспоминания о себе, при весьма благосклонном и приятном прощании с властями и местными жителями.

Все дороги, все замёрзшие реки, все артерии связи Нижнеудинска с рудниками Алиберта были забиты множеством саней, которые перевозили продукты: солонину, сухари, крупы, сушёную рыбу, муку, соль, масло, разного рода жиры и горилку.

Рудник графита находился на высоте двух тысяч метров.

Так что все виды транспорта, предназначенные для предприятия Алиберта, были заготовлены у подножья горы, и стояли в *балаганах*¹¹, специально для того построенных.

Пока снег не растаял и дороги по склонам горы не стали доступны для коней, продукты хранились в магазине, построенном на вершине Горы Алиберта. Такая доставка была затруднительна и затратна, что снизило львиную долю заработков у работников рудника и у администрации.

Вендриховские прибыли на Гору Алиберта сразу после открытия рудника.

Всё устроено было пока наскоро; всё было временно, не запланировано и задумано поспешно и непредусмотрительно.

Разместили их в клетушках, в маленьком домишке, построенном из неотёсанных брёвен, который трясся и колыхался при каждом порыве ветра.

Не было в этом помещении ни малейшей обстановки, даже для самых скромных потребностей.

Стол, табуреты, топчаны из нестроганных досок – вот и вся меблировка.

Но все недостатки возмещал чистый горный воздух и вид из окна на обрывистые склоны, поросшие хвойным лесом.

Братья Вендриховские приехали на рудники в марте.

И хотя с севера всё ещё веяли холодные ветры, хотя смеркалось рано, всё же уже чувствовалось, что природа просыпается и вырывается из оков зимы.

Деревья рьяно сбрасывали снег со своих мохнатых ветвей, которые зеленели всё ярче.

Огромный ледяной блок, который мешал войти братьям в их жилище, начал трещать и понемногу таял в полуденные часы, когда солнце с высоты небесной синевы слало вниз свои лучистые поцелуи.

– После Нижнеудинской мертвечины, которая могла довести человека до безумия, как радуется это беспрестанное движение, говор работающей толпы, эта жизнь, которая кипит вокруг, где, наверное, с первых дней творения до сих пор царила глухая пустота!

Так говорил брату молоденький Юлек Вендриховский, который безмерно радовался пребыванию на Горе Алиберта.

Вендриховским нисколько не надоедала работа, хотя они были ею буквально завалены.

Но именно такая занятость с короткими перерывами на отдых позволяла юношам забыть хоть ненадолго об их тяжкой личной судьбе, о тоске по своим, по Отчизне; а горный воздух укрепил их здоровье, их физические силы, а также поддержал их морально.

Лишь в одном они столкнулись с горьким разочарованием: в этой толпе людей они не обнаружили ни одной близкой души, ни одного пристойного товарища, с которым можно было бы обменяться впечатлениями, мыслями, взглядами, и провести время в праздничные дни и в часы короткого отдыха после работы.

Ближе всех к Вендриховским по своему образованию оказался Ларс Олден из Фаргаса в Финляндии.

Ларс Олден заложил рудник Алиберта. Отбирал и сортировал добытые образцы, сколки, таблички графита по их мягкости, для изготовления карандашей, для машинных смазок и для тиглей при расплавке золота и серебра.

Это была важная работа, требующая внимания, профессионализма, потому что ошибка в отборе образцов графита вела к большим потерям для владельца рудника.

Старый, опытный, мудрый финн вскоре справедливо оценил Вендриховских по их интеллектуальным и нравственным достоинствам, и именно их выбрал себе в помощники, раскрыл им тонкости своей профессии, хвалил за находчивость, за педантичную аккуратность в выполнении заданий, держал себя с ними приветливо, на равных, при каждой возможности выказывал им симпатию и уважение, но не был склонен к приятельским отношениям с ними. Они тоже не навязывались Олдену в друзья, учитывая своё положение.

Так что пришлось Вендриховским, как и до сих пор, довольствоваться обществом друг друга, и они постоянно отказывались от участия в крикливых и пьяных погулянках *приказчиков*, с которыми работали в конторе.

* * *

– Господа Поляки? Я спрашиваю, где же господа Поляки?

Этот вопрос задал мужчина, который вошёл, вернее, проскользнул в контору рудника на Горе Алиберта.

– Это наш шеф, Сергей Демьянович Истeneв, вчера приехал прямо из Петербурга, как полномочный представитель владельца рудника, – приглушённым голосом сообщил братьям Ларс Олден.

В полотняной блузе, красной краской и толстыми кистями, он надписывал адреса на ящиках, гружёных графитом и готовых к отправке за Урал, в Европу.

Молодые люди прекратили свою работу и поспешили на вызов Сергея Демьяновича Истенева.

– Мы – те Поляки, которых вы вызывали, Сергей Демьянович.

Мы – братья Вендриховские, – представился Адам и оба поклонились вежливо, но с полным достоинством.

Истeneв снял очки, старательно, медленно протирал их красным клетчатым платком; затем снова надел и долго, долго приглядывался к молодым людям, с нарочитым, грубоватым любопытством приглядывался, как будто к особым экзотическим животным, выставленным на показ в какой-нибудь ярмарочной будке.

Наконец, слегка наклонил голову, как бы приветствуя их, и сказал:

– Рад знакомству! Очень рад познакомиться с господами Поляками. Представьте, вы только представьте, я первый раз в жизни имею честь, ну, и удовольствие, большое удовольствие, встретиться с Поляками и разговаривать с Поляками... Рад был бы также что-нибудь узнать о Польше и Поляках, если вас, дорогие мои господа, это не затруднит.

– Нисколько, нисколько, – ответил Адам, – я готов рассказать пану о всех интересующих вас обстоятельствах в моей Отчизне, и сообщить любую необходимую вам информацию, Сергей Демьянович.

– Ну-с, ладно!... Похоже, в Польше заговоры против власти составляют все обыватели... вся шляхта... это правда?

– Кажется, да, – ответил старший Вендриховский, – и даже, можно сказать, довольно часто.

Толстые, мясистые губы Сергея Истенева, под коротко стриженными щетинистыми усами искривились в сатанинско-ироническую улыбку.

– На самом деле так?... А я, Фома неверующий, хотел в том удостовериться. Согласитесь, не очень красиво постоянно составлять заговоры.

– Это зависит... зависит от многих... от разных обстоятельств... которые и приводят к такому... то, что в кодексе называется «смягчающие обстоятельства».

– Да! Да! – без воодушевления поддакивал Сергей Истeneв, хитро усмехаясь и после долгого молчания продолжил:

– В Сибири, слышал я, сейчас много политических преступников, много польской шляхты.

– Действительно, многие Поляки приговорены сейчас к депортации в Сибирь...

– Вы, господа, тоже шляхта?

– Да.

– *Пожалованные в мужики?*¹²

– Да.

– Очень сожалею, господа, что с вами случилась такая неприятность, – иронически усмехнулся Истeneв, – очень сожалею!

– Напрасно!

– Как это напрасно?... Шляхтичи, разжалованные в мужики, которых каждый может ударить палкой по своему хотению, – хорошенькая история! – с насмешливым сочувствием кивая головой, сказал Сергей Истeneв... – Разве что вы, господа, имеете надежду добраться до права и вернуться в Польшу.

– Кто бы отрёкся от прельстительной надежды вернуться на Родину!

– Правда! Правда! Но скажи, пан, прошу покорно, скажи ты мне, вы не намереваетесь ли затеять какой-нибудь заговор здесь?

– То есть где? Тут? На Горе Алиберта?

– Нет! Нет! Но в Сибири вообще, я слышал, в крепостях множество шляхты...

– Согласитесь, что эти достаточно ограждены от возможности затевать заговоры.

– Ну-с, так! Те, в крепостях, согласен! Но ведь есть и другие. Я слышал, наши города и сёла просто роятся от Поляков-поселенцев, политических преступников, шляхтичей... Не замышляют

ли такие же польские паны-шляхтичи устроить какой-нибудь заговор тут?...

– Конечно, нет! Какой смысл Полякам устраивать заговоры в Сибири! – живо и смело отпарировал Адам Вендриховский, не опуская глаз перед пронзительным взором Сергея Демьяновича Истенева.

И после долгого молчания сказал:

– Хотите ли вы ещё о чём-нибудь нас спросить, Сергей Демьянович?

Тот отрицательно покачал головой:

– Нет! То, что я узнал от пана, рассеяло мои опасения и на сегодня мне вполне достаточно.

– Тогда мы вернёмся к своим начатым работам, если позволите.

– Возвращайтесь, господа! Позволяем, а почему нет?... Позволяем. Потому что, как полномочный представитель купца Алиберта, я желаю всё делать в интересах моего хозяина, а, значит, хочу и должен следить, чтобы в наших рудниках и наших конторах все *рабочие* трудились возможно дольше, энергичнее и плодотворнее. *Здравствуйте, господа!*

Они раскланялись очень вежливо и изысканно, после чего поспешно удалились.

Ларс Олден, хотя и занятый подсчётом и подписыванием ящиков, слышал дословно весь разговор Сергея Демьяновича с Вендриховскими.

Когда они вошли, подавая Адаму кисть, Ларс сильно пожал ему руку, и, усмехаясь уголками губ, шепнул:

– Мерзкая, опасная минута; дороге мои! умеете владеть собой!... Да поможет вам Бог и поддержит в вашей тяжёлой доле. Терпение и выдержка!

* * *

Сергей Демьянович Истенев, человек ещё не старый, но изурённый распушенной жизнью, чрезвычайно нервный, циник, фанфарон, фантаст; у него даже был некоторый опыт научной работы (хотя и очень бестолковый), была у него и некоторая приятность в общении с товарищами, однако, в отношениях с

подчинёнными он всегда бывал безгранично грубым и скандальным, не выбирал выражений и жестов в минуты *хандры* и приступов гнева.

Он относился к той группе россиян, которая без всякой логической причины, без всякого повода ненавидели Поляков, совсем не зная ни этого народа, ни его истории.

С первой минуты прибытия на Гору Алиберта, Истенев начал систематически и неустанно преследовать Вендриховских.

К этому имелась у него полная возможность, как у шефа администрации рудников и как у главного полномочного их управляющего.

Например, – он то рвал страницы, которые минутой ранее кому-нибудь из братьев велел написать; рвал, ругая стиль, почерк, неясное представление интересов.

То высмеивал *польские ударения*.

То давал им распоряжения и приказы, совершенно противоречащие друг другу или такие, которые потом сам же и отменял, как только Вендриховские брались за их выполнение.

То использовал их для работ, не входящих в их обязанности, или даже привлекал к собственному обслуживанию.

Говорил с ними всегда грубовато, множеством способов прижимая их всё больше, всё изощрённее, ими обоими пренебрегали, всё тяжелее становилась их зависимость.

Совет старого Ларса Олдена: «терпение и выдержка!»! – всё более и более нужен был братьям Вендриховским.

Сергей Истенев охотно перевёл бы обоих братьев-поселенцев из конторы в рудник и нагрузил бы их самой тяжёлой и грязной работой, если бы не то, что Ларс Олден всякий раз решительно становился на их защиту:

– Эти молодые Поляки основа конторы, они – моя правая рука, и ни за что я не соглашусь потерять таких трудолюбивых способных и порядочных помощников. Скорей, сам оставлю Гору Алиберта.

Сергей Демьянович хорошо знал, что таких администраторов, как Олден, он мог бы найти хоть сотню, и уговорить, и нанять, но – в Петербурге, а найти такого, как Олден, чтобы тот согласился поехать в Сибирь, – почти невозможно.

Поэтому, благодаря угрозе Олдена, который действительно был душой рудника, Юлиуш и Адам Вендриховские остались на своих должностях.

Но господин администратор своих намерений относительно их никак не изменил. Более того: защита Олдена ещё более разожгла его ненависть к Полякам вообще и к Вендриховским – особенно.

А несчастные изгнанники решили не упустить ни малейшей возможности вырваться из этого ада, который на Горе Алиберта устроил им враг Поляков, Сергей Демьянович Истенев. И, поскольку такой возможности не предвиделось, участь Вендриховских была невыносимой. Они старались, насколько удавалось, не попадаться на глаза своего преследователя, избегали встреч с ним и любого столкновения.

Когда не были заняты в конторе, прятались в своём домишке. В воскресные дни и в праздники исчезали в лесу, что рос на склоне горы, или над рекой Боготол, омывающей графитовые залежи в Алибертовом руднике.

Чем занимались Вендриховские во время таких вылазок?

Как и все мы, изгнанники, пребывающие на каторге, или на поселении, в каждую свободную минуту изучали карты Европы, и вместо существующей, рисовали новую, – хотя бы и на песке.

А ещё: вспоминали деяния прошлых веков нашей истории, пытаясь почерпнуть в ней опыт и поддержку в сегодняшнем нашем положении.

А ещё: рассказывали друг другу о своей деятельности на Родине... И во время таких рассказов ещё раз переживали уже пережитые однажды чувства и впечатления: пламенный энтузиазм и светлые надежды, которые угасли, как вечерняя заря... развеялись, как сон, от которого человек просыпается, попадая в ужасы действительности – заключение, этапы, принудительные работы, депортации, изгнание.

А ещё: собирали цветы и травы, чтобы их засушить и привезти на Родину, как память о пребывании в далёких краях.

А ещё: записывали впечатления, своё отношение к людям, с которыми их судьба мимолётно столкнула, и к окружающей природе.

.....
 Как-то во время такой воскресной вылазки в лес, среди нежной чуть голубоватой зелени, перед глазами Вендриховских мелькнуло нечто подвижное, ярко-красное.

Не успев ещё сообразить, что бы это могло быть, они увидели, что из лесной гущи появилась высокая женщина в шёлковом красном платье и белой шёлковой шали, накинутой на плечи.

Они безмерно удивились, потому что, если в этих краях им доводилось встречать женщин, то только – Буряток, в тройных кафтанах на меху, таких же накидках, в войлочных шапочках на голове, с безобразными, коричневыми, верблюжьими губами.

Перед этой европейской женщиной, которая встала перед ними на узкой дорожке, загораживая путь, Вендриховские остолбенели...

Женщина засмеялась, весело, непринуждённо...

– Ну, что дальше?... Вы меня боитесь, *господа*? – спросила она по-русски. – Может ли так быть, что вы меня не знаете?

– Жаль, очень жаль, – весело ответил Адам, – но не имели такой чести...

– Не жалейте! А то я вас сейчас же огорошу. Потому что я... хотя нет! Не скажу... угадайте, *господа*!

– Пани велит нам угадывать, – сказал Юлек, – но это напрасный труд! Лучше сразу назовите себя, если хотите. Если нет, – что ж, будьте здоровы!

– Ать! Не будь такой шустрый, дурачок!

– Дурачок! – возмущённо повторил парень. – О, пожалуйста! Лучше фамильярность, чем знакомство.

Этот всплеск недовольства Юлека Вендриховского очень понравился женщине. Она захлопала в ладоши и засмеялась:

– Смотри-ка! Какой обидчивый. Ну! Ну! Без гнева, без обид! Прошу прощения и заодно представлюсь: я – Шура...

– Шура? – спросил Юлек. – Это имя или кличка?

– Имя!

– Дивное имя! – иронично заметил парень. – Никогда в жизни не слышал такого.

– Потому что ещё мало жил на свете и много чего ещё не знаешь и не слышал, юнец! – отпарировала обиженная женщина.

Потом перестала хмуриться и сказала:

– Шура, Шурочка – значит, Олесья, а, вообще же, я: Александра Павловна, Сергея Демьяновича Истенева законная жена.

– Приятно познакомиться, пани.

– Приятность взаимная! – поклонилась Шурочка, живо добавив:

– А вам, *господа*, и представляться не надо, я вас знаю. Вы – *Поляки*, бунтовщики.

– Наши фамилии Вендриховские, – прервал её Адам, нахмурив брови, но вежливо кланяясь, – мы помощники Ларса Олдена. После тяжёлой, недельной работы в душной конторе рудника нам нужен отдых и прогулка на свежем воздухе... Мы ещё должны пройти до аймака бурятов в долине. Позвольте, пани, попрощаться.

– Не позволю! Не позволю! – рассмеялась женщина высоким и неприятным голосом, расправляя плечи, чтобы загородить им дорогу на узкой тропинке между двумя оврагами. – Не пушу вас. *Ей-же, ей!* Я хотела познакомиться с вами!

Братья вновь поклонились:

– Весьма благодарны!...

– *Ну-с!* Не за что! Не за что... Я уже не раз сама себе говорила: Шура Павловна! Ни к чему такое твоё хотение: эти Поляки каждое воскресенье, каждый праздник прячутся, как мыши, в какой-нибудь норке... Аж здесь вас отыскала, оказывается, вы прячетесь в лесу и гуляете... Вот и хорошо! теперь вместе гулять будем.

– Для нас это было бы и почётно, и приятно, – ответил Адам, – только что бы на то сказал Сергей Демьянович Истенев!

– Мой муж? Что с того? Вы думаете, я боюсь своего мужа?

– Нет, конечно, мы так не считаем, просто мы думаем, что вашему мужу было бы неприятно, что вы лишаете его своего присутствия... И если пани любит...

– Кого? Мужа? Люблю ли я его? Ах! Конечно, нет! *Надо*едал он мне немало. Сохрани, святой Николай Чудотворец!...

На минуту задумавшись, продолжила:

– В Петербурге, правда, – ко всем чертям! – ещё кое-как... Сергей Демьянович получал большую пенсию, *казённую*, а ещё большие доходы... Но что ж, если кто любит излишества, напитки, карты, гулянки с девушками в роскошных *ресторанах*... *Ей-же,*

ей, мало он тысяч рублей потратил на этих *дряней*... Ах! Душа у меня болит, как об этом подумаю... Часто корила его за это, а он смеётся: «Я люблю красивых девиц, а ты любишь красивых юнцов, – так что мы квиты»...

– А пани считает, что Сергей Демьянович имел основания так говорить? – усмехнулся Адам.

Она очень возмутилась:

– Конечно, не имел никаких оснований, хотя бы потому, что я денег на юнцов не тратила. Видите ли, пан, тут разница! Большая разница! Когда я сидела дома и нужно было и порядок соблюдать, и воевать со слугами, он в это время разыгрывал в городе из себя вельможу, миллионера... И после этих забав пришлось подавать в отставку, – как кирпич на голову...

– Это худо! – притворно посочувствовал младший Вендриховский.

– Конечно, худо! – вздохнула Шура. – Ах! Худо, жалко... Всю нашу красивую обстановку, чёрт бы их побрал, присвоили кредиторы. Мы переселились в одну комнату за городом. *Ей-же, ей*, не повезло нам в Петербурге!... Сергей Демьянович уже начал напиваться по *кабакам*. К счастью, появилась служба у Алиберта. *Ну-с*, и приехали мы сюда... Хотя тут мы и недавно живём, но мне уже до мозга костей *надоело* жить в пустыне. *Хандра! Хандра!* Нападает на меня днём, а в ночи рой всяких несусветных мыслей так и мечется у меня в голове... Я только и придумываю, как бы отсюда перво-наперво вырваться, если уж в Москву или в Петербург не удастся, так хотя бы в какой-нибудь губернский город.

Шура Павловна всё это рассказывала горячечно и поспешно, с напором, и мимикой, соответствующей голосу и содержанию этих признаний.

Втроём они уселись на полянку, поросшую густой и мягкой травой, словно ковёр из стриженного пушистого бархата.

После короткого молчания она продолжила свой рассказ:

– Правда, есть две дочери, россиянка и немка, её отец был врачом в Петербурге. Была у него большая практика, пользовался уважением в богатых кругах, но состояние сколотить не сумел, умер молодым и ни копейки не оставил осиротевшим: жене и дочери. Но мы всё же остались в столице, сводили концы

с концами, даже жили в достатке, принимали гостей... Так под-
вернулся претендент: Сергей Демьянович Истeneв.

И так они полюбили друг друга и поженились.

Только любовь вскоре покинула их дом, улетела, как птица из
клетки.

Дальше в своих откровениях Александра Павловна с полной
откровенностью признаётся, что не равнодушна к «красивым
юношам».

Обращение её всё более фамильярно.

Она придвинулась к Юлеку, хлопает его по плечам, щекочет
под подбородком, пощипывает щёки, нежно гладит ладонью
шелковистый блондинистый пушок над верхней губой.

Юлек, застыдившийся, смущённый, пытается избежать этих
ласк, весьма однозначно высказывая Александре Павловне своё
недовольство, в котором кто-либо более проницательный, чем гос-
пожа Истeneва, заподозрил бы отвращение.

– А вам, пан Юлиан, нравятся красивые женстинки? – цинично
спрашивает Шура Павловна.

Юлек порывисто поднимается, распрямляет свою стройную
крепкую фигуру, и серьёзно отвечает:

– На семнадцатом году жизни меня арестовали. Я долгое время
пробыл в тюрьме. Целый год этапами шёл в Нижнеудинск... Так
что не время и не место было заниматься «женстинками». А сейчас
у меня нет на это времени, и я ещё меньше этого хочу. Лучше
забыть об этом, Александра Павловна!

И отошёл, хмурый и разгневанный. Отходит и исчезает в чаще
леса.

– Гляди-ка на него, юнец, дурачок, такой был тихий, как мышь
под веником, а какую дал мне жёсткую отповедь! – говорит
Истeneва шутливым тоном и смеётся.

И чувствуется, что смех притворный, принуждённый, что «от-
поведь» совсем не пришлась ей по вкусу.

Сейчас она поворачивается к Адаму, который тоже сидит, как
на раскалённых углях, а она всё болтает и болтает.

– Там приехали к нам какой-то *урядник, пристав, поп...* А я
показала фигу им всем, чтобы познакомиться.

Адам молчал.

– Сейчас начнут в карты играть... Сергей Демьянович снова
проиграет месячную пенсию, а то и ещё больше, – вздыхает Алек-
сандра Павловна.

– Сергей Демьянович и здесь в карты играет? – спросил Адам
Вендриховский лишь для того, чтобы выказать хоть какой-то
интерес к разговору.

– Играет ли он в карты?... – вспыхнула Шура. – И ещё как!
Двое суток не вставал бы от стола, если бы нашёл подходящих
партнёров. И надо ли удивляться? Верно говорит пословица:
«Чёрного кобеля не отмоешь до бела», и шулера от карт не оту-
чишь.

Адам Вендриховский, наконец, теряет терпение. Болтовня этой
женщины, циничной и навязчивой, раздражает его донельзя.

Он встаёт с травы и говорит:

– Уже вечерет. Над рекой носятся влажные облака, из лесу
веет холодом. Вам, пани, надо возвращаться домой. Александра
Павловна, вам надо идти, во избежание горячки, или даже вос-
паления лёгких, которое тут грозит неосторожным.

Шура мнётся и говорит, что ещё не уйдёт.

Клянётся, что здорова *как корова*, что не боится ни горячки, ни
воспаления лёгких... И, наконец, искренне и прямо признаётся:

– Жаль мне с вами расставаться! Проводите меня домой, –
заискивающе упрашивает она, кокетничая.

Вендриховский решительно отказывается.

– Простите, пани, Александра Павловна, – простите, что я не
могу выполнить ваш милый приказ. Нам с братом сегодня ещё
надо побывать в долине.

– Разве это обязательно? – настаивает Истeneва. – Разве нельзя
это отложить до следующего воскресенья?

– Это и обязательно, и отложить его нельзя до следующего
воскресенья. Мы заказали у бурятов оленьи шкуры. Нам сооб-
щили, что они готовы. Мы должны их забрать, потому что дав-
но их ожидаем. Они нам очень необходимы.

– Жаль! Очень жаль! – вздыхает Шура. – Прогулка с вами
была бы такая *прелесть*, но раз нельзя, что поделаешь... До сви-
дания! До приятного и скорого свидания! – кричит она, посы-
лая Адаму воздушные поцелуи.

Потом накидывает шаль на голову, закутывается в неё и, волоча за собой шлейф красного платья, медленно направляется к руднику.

* * *

С тех пор, как Александра Павловна познакомилась с Вендриховскими, она постоянно искала встреч с Юлеком.

В обычные дни подкарауливала его на территории Алибертова предприятия.

В праздники искала и настигала его в лесу и даже в долине, в айматах кочующих бурятов.

Однако, несмотря на уловки Шуры, молодые люди всегда как-то исчезали у неё из поля зрения, благополучно и хитро избегая долгих встреч с навязчивой особой...

И, наконец, уже зимней порой, потеряв терпение и раздражённая неудачей своих замыслов, Шура как-то зашла в контору.

Приказчики вскочили с кресел, склоняясь чуть не до земли в поклоне перед женой своего начальника, и заискивающе спрашивали:

– Что *Превосходительство* прикажет?

«Превосходительство» высоко поднимает голову, красуется, как пава, не обращая внимания на *приказчиков*, и направляется прямо к креслу, в котором сидит её муж, и с наимилейшей своей улыбкой говорит:

– Сережа Демьянович, *голубчик*, ты не брал ключи от кладовой?

Истенев удивлённо глядит на свою усмехающуюся половину; ему очень хотелось бы одёрнуть её и спросить:

– Чего прилезла?

Но он не может сразу сориентироваться в ситуации, подстраивается под её тон и громко отвечает:

– Никаких ключей, Шура Павловна, *миленькая*, я не брал.

– Так куда же они *девались*? В доме их нет. Я уж их везде обыскалась... Не мыши же их уволокли в нору! Вспомни, Сережа, *голубчик*, может, ты их где спрятал?... Целая связка была на ремне. Самые необходимые!...

Александра Павловна ластится к мужу, щебечет, кокетничает, принимает позы наивной девочки, призывно усмехается, – тогда

как её глаза, искрящиеся, любопытные, беспокойно оглядывают все уголки комнаты, всматриваются в анфиладу других комнат, упорно разыскивая Вендриховских.

Наконец, она их высмотрела.

Адам в последней комнате что-то вписывает в огромную книгу, Юлек подаёт Ларсу Олдену шестиугольные таблицы графита, которые тот считает, сперва внимательно осматривая, складывает в пирамидки.

Истенева не может совладать с радостью, что, наконец, ей удалось достигнуть цели своих долгих и неустанных поисков. Она отворачивается от мужа и спешит в комнату, где работают Вендриховские.

– Как поживаете, господа? И *любезный Юлек!* Наконец, я вас нашла! – кричит она, довольная «находкой», и хочет проникнуть в комнату.

Ларс заступает ей дорогу, вежливо снимает шапочку, которую носит постоянно, кланяется, и со своим архикомическим акцентом говорит:

– *Нельзя! Извините-с*, Александра Павловна, мы тут очень заняты.

– Я пришла вас проведать, *господа!*... Не хотите принять даму, это невежливо, это очень невежливо с вашей стороны!

– У нас нет времени принимать визиты, – учтиво, но решительно заявляет Ларс Олден, и захлопывает дверь перед госпожой Истеновой, энергично задвинув засов.

Шура сконфуженно уходит.

Сергей Истенев, который насмешливо наблюдал за ухищрениями своей половины, наконец, раздражается хохотом, по поводу её конфуза и афронта, которым её встретил старый финн.

– Ну! Шуручка! Душа моя! Нашла ключи, а? Ту связку *самых* необходимых?... Нашла? – спрашивает Истенев, когда жена проходит около его кресла.

Шура, головой и плечами, делает жест неопределённого значения.

– *Дрянь!* – громко говорит Сергей Истенев, и опять хохочет. – Знаю, зачем ты сюда приволоклась... «Нет такой мыши, чтоб колокольчик на шею коту повесила», и ты, Шуручка, не

найдёшь способа меня обмануть. – *Дрян!* – повторяет он и сплёвывает.

* * *

– *Христос воскрес! Христос воскрес!* – этот окрик звучит на все лады в доме Сергея Демьяновича Истенева. По поводу пасхальных праздников все работники администрации Алибертовского графитного рудника собрались у своего шефа.

Александра Павловна одета в самое яркое из своих петербургских платьев и считает себя красавицей. Ведь так ей повторяют собравшиеся гости в доме её мужа Сергея Истенева. Повторяют хором и *в унисон*. А Шура больше всего верит похвалам, хотя зеркало должно бы её остеречь и предупредить, что всё неправда, всё издёвки, потому что у неё короткий, калмыцкий нос, крупное лицо, пятнистая кожа, волосы рыжие, а фигура – грузная, унаследованная, видимо, от отца-немца.

Но она вертится по комнате, как юла, раздаёт поцелуи направо и налево, и охотно принимает ответные.

Притом, неустанное внимание её направлено в сторону Юлека Вендриховского, который её избегает.

Приказчики давно уже всё поняли. Чтобы услужить и понравиться жене своего начальника, они окружают Юлека тесным кольцом, из которого бедный паренёк пробует вырваться.

Напрасно! Осадили его надёжно.

И тогда он предаётся своей судьбе...

Александра Павловна замечает положение Юлека, выгодное для её планов.

Как уж проскальзывает она в кружок *приказчиков*, которые скромно расступаются...

– *Христос воскрес!* – кричит Шура.

Целует Юлека, который с явной неохотой и явным отвращением легко прикасается губами к щеке Истеновой.

– Пан, вы от меня прячетесь! – говорит Шура приглушённым голосом, в котором слышатся обида и огорчение. – Пан ничего не ест и не пьёт... Пану скучно... А однако... А однако... Среди нас найдётся столько чувствительных сердец...

– Я не нуждаюсь в них, и этим счастлив, – нетерпеливо прерывает Юлиуш собеседницу, которая его безмерно раздражает,

поскольку он чувствует, что делается смешон, и что может быть скомпрометирован.

– Я попробовал уже все совершенства кулинарии, которые пани приготовила для нас, и убедился, что Александра Павловна замечательная хозяйка... Поздравляю!...

– Премного благодарна, спасибо, большое, большое спасибо, – усмехается Шура, склоняясь перед Вендриховским в низком поклоне. – Вы попробовали блюда, мною изготовленные, *ладно!* А теперь попробуйте заграничный продукт.

И подаёт ему серебряный кубок, наполненный какой-то мятной ароматной жидкостью.

– Пей, пан! – приглашает Юлека. – Это редкий заграничный ликёр. Алиберт прислал Сереже одну бутылку. Я немножко отлила для вас. Пей, пан, за моё благополучие и за моё здоровье.

Она суёт ему в руку серебряный кубок с ароматной густой жидкостью, и всё более настойчиво требует:

– Пей, пан, за моё здоровье.

Чтобы отвязаться от нахальной бабы, Юлек одним духом выпил всё содержимое кубка.

– Вкусно?... Правда, вкусно, а?... – спрашивает женщина. – Ну-с, скажи, пан, вкусно?...

– Омерзительно! – встряхивается Юлек. – Отвратительно! Никогда в жизни ничего более противного не пил.

Шура пожимает плечами и удивляется:

– Вот и видно, что ты не знаешь толк в заграничных дорогих ликёрах. Но раз тебе не понравился подарок купца Алиберта, закуси калачом моего приготовления. Тесто я месила своими руками.

И подаёт ему калач с сыром.

И крепко стискивает его руку...

Наконец, уходит...

Потом шагает по комнате, держа в руке полотняный, цветной, вышитый рушник и попеременно использует его, как веер, носовой платок и полотенце, которым вытирает принесенные из кухни стаканы и тарелки.

Какой-то музыкальный гость заметил висящую на стене гитару.

Снимает её и извлекает из старого инструмента пару стонущих тонов.

Двое других гостей начинают тренькать на своих балалайках, а потом предлагают хозяйке дома – они охотно бы ей аккомпанировали, если бы она пожелала спеть.

Александра Павловна вздрогнула, отказываясь под предлогом, что охрипла, и не стала.

После долгих упрасиваний, уступает, однако, настойчивым просьбам присутствующих и садится посреди комнаты.

Около неё сидят гитарист и двое с балалайками.

Гости полукругом окружают Александру Павловну и музыкантов.

Шура вытягивает ноги, меланхолично смотрит на кончики своих туфель, будто ожидает найти в них поэтическое вдохновение, смахивает с них пыль всё тем же вышитым рушником, который таинственно складывает и разворачивает и, наконец, перекидывает его себе через плечо и...

Начинает модную в то время весьма распространённую в Сибири песню «О боевом офицере». Этот герой счастливо воевал и побеждал Галлов, которые напали на *матушку Россию*, но сам оказался в плену у своей красавицы-любовницы, которая посекала его на мелкие куски его же победоносной саблей... на могиле некоего храброго юноши.

Песня вызвала аплодисменты и общее восхищение. Присутствующие хлопают в ладоши, притоптывают и кричат, что песня *сердечная*, красивая, такая же красивая, как её исполнительница.

После этой арии Александра Павловна отдыхает.

Глубоко вздыхает, рушником вытирает пот со лба и поглядывает в сторону Юлиуша Вендриховского.

Тот как раз говорит брату:

– Все эти кушанья, алкоголь и этот визг меня одурили: я себя плохо чувствую. Ради Бога! Адасю! Бежим из этого адава предбанника!

Выходят.

Шура заступает им дорогу в дверях.

– Не попрощавшись с хозяйкой дома, господа? Ну-с, это очень нехорошо!

– *Христос воскрес!* – добавляет она, приближая щёку к устам Оулека.

– Христос воскрес только один раз, – жёстко ответил парень, резким движением оттолкнул от себя назойливую и бесстыдную женщину.

За Вендриховскими вышел и Ларс Олден.

Этого никто не задерживал...

Переступив через порог дома Истeneвых, Ларс сплюнул и, зажигая свою короткую фарфоровую трубочку, буркнул:

– Жена Пентефрия¹³!

Притом, его худое, усталое, вспаханное тысячью морщин лицо дёргалось от издевательской усмешки.

.....
.....

Есть в Иркутской губернии далёкий уголок, это Селенгинская долина, с востока до юга открытая для солнечных ласк и улыбок, а с севера заслонённая полосой высоких гор, увенчанных синеватыми лесами.

Таинственный шёпот древней пуши долетает сюда издалека... издалека также чувствуется веяние, ароматное, как восточный бальзам, и живительное, как старое венгерское вино.

В Селенгинской долине особенно буйная и богатая растительность.

Тамошние луга пламенеют сказочной оргией цветов.

Растут там фиолетовые сибирские благоуханные ирисы, мелкие паучки¹⁴, огромные белые ромашки, величиной с астры, у подножия гор над ручьём полосой тянутся голубые кустики незабудок.

Над травами на стройных высоких стеблях колышутся бледно-жёлтые чаши цветка, похожего на наш коровяк или медвежье ухо. Но в этом царстве флоры главенствует пламенно-алый цветок *жарок*, необыкновенно красивый, который в Сибири слывёт символом любви.

В гуще зелёных трав, которые колышутся волнами, как море, в Селенгинской долине высится деревянное строение тёмно-голубого цвета, выше всех хат в аймаке.

Можно бы подумать, старый польский деревенский костёл, только бы напрасно на нём искать крест... Вместо этого на вершине



стоит прут из блестящего металла, с заострённым концом, который как бы вонзается в облака.

Внутри строение заполнено деревянными и каменными изображениями Будды. Стены обвешены картинами, представляющими Будду в его многочисленных обликах.

В глуби строения стоит стол.

На нём три медных сосуда, предназначенных для жертв, состоящих из злаков, соли и кусочка жареной баранины.

Около стола, обращаясь к алтарю, лама ежедневно отправляет религиозный обряд, ибо это синеватое строение – есть пагода бурятов-буддистов, и такое должно находиться в каждом аймаке.¹⁵ Буряты – племя монгольского происхождения и говорят на двух монгольских наречиях.

Одни признают шаманизм и они – диковаты, полны неукротимой похоти, а также кровожадных инстинктов – это кочевники.

Буряты-буддисты, наоборот, облагорожены влиянием культа, который осуждает всякую несправедливость и ненависть, который запрещает всяческие обманы и велит не обижать даже самое ничтожное живое творение.

Буряты-буддисты придерживаются старых мест жительства. Одно из таких как раз и есть аймак в Селенгинской долине.

Синеватые дома в Селенгинской долине видные, высокие, чистые.

Тот, который принадлежит вождю, *тайдзы*¹⁶, стоит на обочине, отличаясь от других, как самый высокий, нарядный, просторный.

Дом начальника племени должен быть обширным, потому что здесь проходят собрания *шуленгов*¹⁷, которых *тайдзы* призывает, когда требуется совет старшин в важных делах племени, при разборке ссор, решений споров и торгов между жителями аймака.

.....

После пасхального завтрака у Истeneвых Юлек Вендриховский сразу же заболел.

А как раз, по случаю радостного рождения в царской семье, общая амнистия была дарована политическим преступникам той каторги, к которой оказались приписаны братья Вендриховские.



Они могли сразу же отправиться в обратный путь на Родину, если бы не то, что Юлек не вынес бы далёкого и утомительного пути.

А Адаму Вендриховскому рассказали, что больные сибиряки, очень часто, после долгого пребывания в Селенгинской долине, вновь обретали силы и здоровье.

Поэтому Адам увёз туда Юлека.

Остановились они в доме князя, где царили сердечность, гостеприимство, удобства, которых и ожидать невозможно было в этом селении, столь отдалённом от цивилизации.

Но, несмотря на прекрасный климат, несмотря на старание и опеку брата, и на лекарства, привезённые из Иркутска, состояние Юлека всё ухудшалось.

Интеллигентный, красивый, полный бодрости цветущий юноша превратился просто в скелет, полысел. Зубы у него расшатались, кожа потемнела, губы покрылись горячечными пузырями, мысли рассеивались – он угасал с каждым днём, а, вернее, даже с каждым часом.

.....

Но что же так внезапно вызвало болезнь Юлека, болезнь, которая поразила и разрушила весь его организм? – Адам узнал это уже после смерти брата.

А случилось вот что: Сергей Истeneв поручил одному из кочующих племён бурятов-шаманистов доставить себе дорогой мех, и как только его получил, отказался уплатить оговорённую цену.

А шаман этого племени прослышал, поскольку это была всем известная тайна, – что Истeneвы живут между собой в постоянном состоянии войны.

И тогда шаман предложил Александре Павловне приготовить для неё настойку из разных трав, которая обладает особыми свойствами: пробуждает в мужчине пламенную страсть к той женщине, которая этим настоем его напоит.

Шура с восторгом приняла предложение и за эликсир шамана заплатила большие деньги.

Но шаман продал Шуру не любовный эликсир, а медленно действующий яд, надеясь, что она напоит им своего мужа, и тот умрёт, а шаман будет отомщён за совершённый Истeneвым обман и воровство неоплаченного меха.

Шура же, считая, что добыла любовный напиток, напоила им Юлека, в которого была так безответно влюблена.

Так Юлек Вендриховский пал невинной жертвой мести бурята за обман Истенева, выпив тот самый заграничный ликёр, которым так потчевала его Шура и который был смертельным ядом, изготовленным шаманом для убийства Истенева, который, увы, уцелел.

ВЕНЧАНИЕ В ТЮРЬМЕ

Высылка из Вильно участников заговора Конарского, для осуждённых к высылке в Сибирь, на срок, утверждённый самим царём, назначена была на 22 марта 1839г.

Как невесту Томаша Булгака, меня тоже арестовали; но в тюрьме я пребывала недолго, потому что при скрупулёзнейшей работе следственной комиссии ничто не доказывало и даже не возникало никакого подозрения, что я действительно участвовала в каком-то заговоре.

По выходе из тюрьмы, с помощью моей дорогой матушки, я занялась приготовлением в дорогу, ибо я решила сопровождать Томаша в изгнание, – уже как его жена.

Виленский губернатор, князь Долгорукий, согласился, чтобы “Томаш Булгак перед выездом в Сибирь, повенчался со своей невестой, Терезой Вербицкой”, но с тем условием, что: “венчание состоится в тюрьме и тотчас же”.

Несмотря на это “тотчас же”, назначенный срок падал на Страстную неделю и потому требовалось получить особое разрешение церкви на венчание, в частности, от властей костёла.

Секретарь римско-католической консистории, Гикольд, к которому мы обратились с просьбой приказать ускорить неизбежные формальности, с большой горячностью, даже с энтузиазмом, помог нам в этом деле, столь важном для меня, поскольку решалась моя судьба и даже всё моё будущее.

Гикольда я поблагодарила, что он так облегчил течение дел. Он и сопровождал меня и мою мать к епископу, заранее предупредив, что епископ, наверняка, будет чинить препятствия в выдаче разрешения и станет отрицать действительность брака с осуждённым в

Сибирь, ибо его Пасторская милость считает это своей обязанностью – однако всё же нет никакой уверенности, что он в разрешении откажет. Так что я следовала за Гикольдом с сильно бьющимся сердцем, и стала у двери апартаментов Виленского епископа.

Им был ксёндз Андрей Клагевич, который до 1831г. служил профессором теологии в Виленском Университете. Ближе узнав его, я убедилась, что ксёндз Клагевич был и щепетильным священнослужителем, и добрым Поляком, ибо он ценил жертвы, принесённые во имя Отчизны, хотя не скрывал, что не разделяет надежд и пыла молодёжи... Книжечка «Катехизис о почитании царя», которую ошибочно приписывали ксёндзу Клагевичу, создала ему репутацию отступника от общенародного дела.

Итак, несмотря на успокаивающие заверения Гикольда, смущённая и дрожащая, стояла я перед тем, от кого зависело решение моей участи.

Епископ принял нас довольно благожелательно. Только один раз обратился к моей матушке, хорошо ли она подумала, какая судьба ожидает её дочь, если та выйдет замуж за человека, осуждённого на поселение в Сибирь.

Матушка ответила, что её дочь, будучи впервые помолвлена, сейчас лишь исполняет данное слово, и в том видит своё счастье, так что она, матушка, не имеет права мне запретить этот шаг, раз уж сама дала согласие на помолвку.

Епископ обернулся ко мне:

– Вы, высокочтимая панна, понимаете, как сложится ваша жизнь в изгнании, в далёких краях, вдали от своих, и наверняка в нужде?

– Я буду счастлива разделить участь моего мужа, всё, что ему придётся перенести, то и я перенести сумею, – ответила я.

– Так вам это, высокочтимая панна, кажется сейчас, когда вы, как я вижу, взволнованы и влюблены. Но когда горячая любовь остынет, вы можете пожалеть о теперешнем шаге, от которого впоследствии уже нельзя отречься. Бракосочетания по горячей любви доставляют нам немало бракоразводных дел.

– Я хорошо знаю своего жениха, – отвечаю, – и уверена, что никогда не пожалею о браке с ним.

Ксёндз-епископ покивал головой, а добропорядочный Гикольд переминался с ноги на ногу от нетерпения.

Епископ опять обратился к маме:

– Имеется ли у высокочтимой пани свидетельства соответствующих пробстов, что оба брачующихся – свободны?

– У меня нет таких свидетельств, но я обязуюсь доставить таковые Вашей Пасторской Милости.

– И ручаешься, высокочтимая пани, что между ними нет никаких родственных связей?

– Ручаюсь и могу привести нужные доказательства.

– Ну, тогда напиши, пан, – обратился он к Гикольду, – освобождение от церковных предписаний на имя ксёндза Менье, пробста костёла святого Яна, а тем временем расскажи ему обо всём, и пусть сразу же ответит этим паннам.

– Можешь ли, панна, принять сейчас святое причастие?

– Могу, я – натошак.

– Ну хорошо, венчание должно совершиться сейчас, потому что завтра Великий Четверг, сам Папа не мог бы дать разрешения, да я и так должен буду сообщить Святому Отцу и получить его согласие на это венчание, обусловленное особыми обстоятельствами... Высокочтимая панна не должна жить вместе с мужем аж до следующего Воскресенья.

– Ни в коем случае, – заверила матушка, – я не позволю ей остаться в тюремной камере. А завтра утром, может, даже этой ночью, он будет выслан.

Епископ склонил голову.

Я встала на колени, прося его благословения.

Он благословил меня и подал руку для целования, а потом ещё повторил свои советы и предостережения.

Во время последних слов епископа Гикольд, помня, что нет ни минуты лишнего времени, побежал в Консисторию по поводу освобождения церковных предписаний, и когда мы с матушкой спускались по ступеням епископского дома, он уже нёс епископу бумаги на подпись.

Благородный, бесценный Гикольд! Такое бескорыстие, такое горячее участие в затруднении незнакомой ему особы, какое же яркое свидетельство щедрости его души...

Ах! В то время вся наша молодёжь пылала патриотизмом и считала за высокую честь любую жертву во имя Отчизны и участие во всём, что с этим связано.

Такие чувства, тогда, как и сейчас¹⁸, были проникнуты романтизмом... Но те, кто это отрицает, пусть заглянут в наше прошлое и пусть задумаются, чем был бы сегодня наш народ, если бы не имел Немцевичей, Бродзинских, Мицкевичей, Словацких, Красинских?... Если бы искры святой любви к Отчизне не разжигали в сердцах тогдашней молодёжи – Филареты, а в сердцах женщин – Танская?... – чем были бы мы?

Мы остались бы бессердечными, бездуховными скелетами народа. Нет! Даже и того меньше!... Мы были бы только прахом на кладбище истории...

С чувством несказанной радости и благодарности к Богу и людям, мы с матушкой пошли в костёл св. Яна.

Там меня уже ожидал ксёндз-декан Менье (который по случайно повторившимся обстоятельствам благословил меня на второй путь в Сибирь двадцатью пятью годами позднее в 1864г.). Он спрашивал меня недолго, и дал мне святое причастие, и сказал, что до пол-второго будет в костёле Базилианов, где помещалась тюрьма, и там нас повенчают.

Перед большим алтарём отправление святой мессы ещё не кончилось. После благословения я всей душой вознеслась к Богу в благодарственной молитве... Я будто поднялась над землёй... Мне казалось, что в сонме благословенных душ я сливаюсь с Предвечной Любовью, что одарила меня дражайшим сокровищем. Ибо: “кто устремится в погоне за роскошью, если познал Великого Бога на небе, и любит достойного мужа на земле?”

Однако недолго длилось мгновение моего восторга, мгновение вознесения духа над землёй, с её страданиями и бедами. Час близился. Ещё надо было уладить официальные формальности, не теряя времени обойти русских чиновников.

Сперва мы направились к штатскому губернатору, которым был тогда Йержи князь Долгорукий, потом к генералу Кветницкому. Весть о предстоящем венчании молодой образованной особы с поселенцем, который отправляется в Сибирь, заинтересовала всех российских чиновников.

Я стала объектом общего любопытства. И губернатор, и комендант были со мною безмерно любезны.

Губернатор, князь Долгорукий, был высокий, красивый мужчина. А жена его – некрасивая, горбатая карлица.

Оба вышли ко мне и сказали несколько приятных, приятных слов. Князь меня заверил, что все официальные формальности уже улажены, а генерал-губернатор поставлен в известность, что епископ выдал разрешение на венчание.

Нам надо было также спешить к генералу Кветницкому.

Этот добропорядочный старец встретил меня на пороге, радостно восклицая по-русски:

– *Слава Богу!* Всё уже улажено. Я только что из церкви, где, как сказал мне князь генерал-губернатор, состоится ваше венчание, и поручил мне выдать нужное распоряжение. Я уже послал приказ к плац-майору, чтобы в зале, где заседает следственная комиссия, устроили алтарь, и чтобы позволено было присутствовать заключённым и тем городским жителям, что придут с вами.

Я сердечно поблагодарила доброго генерала. Он взял в руки богато оправленный образ Святейшей Богоматери Остробрамской, сказал:

– Это ваш, католический, образ. Так позвольте же мне благословить вас этим образом, как дочь.

Растроганная до слёз, я склонила голову, он перекрестил меня и сказал несколько торжественных слов благословения.

Когда я уже была почти на выходе, в дверях показалась госпожа Кветницкая. Генерал представил меня жене словами, полными сочувствия.

Она же, сквозь зубы, процедила по-русски:

– Вы, барышня, приносите большую жертву!

– По моему убеждению, никакая это не жертва, – ответила я, и, поклонившись, поспешно сбежала со ступенек.

А ведь надо было ещё подумать о подвенечном платье и о подружках.

Я поехала к моим великодушным, дорогим Ходзковым.

Доминик Ходзко, женатый на Цезарине Ревенской, выполнял в Вильно обязанности переводчика в так называемой “цивильной палате”. Писал также для периодических изданий, но преимущественно

переводы с французского и немецкого. Он был высоко интеллигентным человеком с добрейшим на свете характером.

Во всё время заключения Томаша, у Ходзков я всегда находила сердечное сочувствие и утешение.

Узнав про мои заботы о платье, Цезаринка Ходзкова предложила мне своё, свадебное, и венок из померанцевых цветов. Платье не очень хорошо сидело на мне и было коротковато, но это меня не беспокоило.

В качестве «дружки» предложил себя шестнадцатилетний Казик Черноцкий, брат моей приятельницы Идалии.

Так, всё уладив, я поехала одеваться...

Дорогая матушка, закрепляя на мне миртовый веночек, орошённый её слезами, тишком вложила в мои волосы кусочек сахара, завёрнутый в бумагу.

Ведь золота у нас не было...

Во всю мою жизнь я действительно знала лишь усладу любви, но никогда не знала недостатка. И мы с Томашем тоже никогда не стремились к богатству.

Благодарение Богу! Материнское благословение сполна осуществилось над нами.

... В коридоре первого этажа (в монастыре Базилианов, превращённом сейчас, как и в 1823 году, в тюрьму) меня уже ожидали плац-майор Богданович, плац-адъютант Валентинович, а также офицеры полка, несущие службу в тюрьме.

Все поприветствовали меня самым уважительным поклоном. Только Валентинович позволил себе замечание: «Тяжело, однако, будет вам в Сибири. Здесь вы привыкли, чтобы работали на вас, а там вы должны будете обслуживать себя сами».

Я, конечно, не вдавалась ни в какие препирательства с господином адъютантом Валентиновичем.

Молча мы с матушкой поспешили на второй этаж в камеру, которую Томаш занимал вместе с Дроздовским.

Дроздовский был весьма достойным молодым человеком. На следствии он никого не выдал. В тюрьме у него открылась грыжа и его пожелтевшее лицо выдавало сильную боль.

Несмотря на это, он силился сохранять доброе настроение и был для Томаша очень милым товарищем... По-братски принимал сердечное участие в наших судьбах...

Вместе с другими заключёнными, он получил разрешение присутствовать на нашей свадьбе...

Во всех комнатах, некогда занятых следственной комиссией, а потом военным судом, было уже полно заключённых, офицеров и особ, приехавших из города.

Среди последних оказались также пани Шнядецкая, сноха Андрея, урождённая Сулистровская, святая женщина, в полном смысле этого слова, в смысле христианской помощи, которую она оказывала самым горячим патриотам, всегда готовым на любые жертвы.

Пани Шнядецкая, вместо матери, благословила Томаша на женитьбу, одарив его медальоном с реликвиями св. Казимира, поскольку незадолго до этого было открыто надгробие, в котором хранились останки покровителя Литвы и оттуда извлекли частицу кости...

В зале направо от входа, на огромном столе, у которого во время следствий заседали члены комиссии, — устроен был алтарь.

Перед алтарём в обрядовой одежде нас уже ожидал декан-ксёндз Менье. Томаш и я встали перед ним, чтобы получить благословение священника на счастье всей жизни.

Мы стояли на том самом месте, где я — один раз, а Томаш — многократно были допрошены и замучены Трубецким в сопровождении издевательских усмешек всяких Варсанюфьевых, Анишевских и многих других.

И именно тут стояли мы рядом, в триумфе нашей любви, окружённые сочувствием даже наших преследователей...

И ещё так получилось, что когда священник соединил наши руки епитрахилью, из-за туч, которые с утра затянули горизонт, рассыпая снег, солнце вдруг пронизало их пелену снопом своих лучей и окружило нас светлым ореолом...

После брачного обряда, родственники и близкие знакомые поспешили в камеру Томаша, куда разрешили войти и нескольким заключённым, уже осуждённым, и которых должны были вывести.

В маленькой камере поместиться удалось немногим. Часть присутствующих, преимущественно заключённые, встали на корточки и поздравляли новобрачных.

Группа заключённых, кроме упомянутого Дроздовского, состояла из Гильдебранда, Гутовского и Людвиг Орды. Терлецкий и ксёндз Трынковский на нашем венчании не присутствовали; других, как Козакевич Станислав, Брынк Ержи, Былевский Ян, Новицкий Наполеон, уже вывезли прошлой ночью.

В эту эпоху городские власти имели обыкновение вывозить политических преступников в Сибирь по ночам. Мне об этом сказал генерал Кветницкий, предупредив, что задержит у себя все бумаги до утра, чтобы я могла попрощаться с мужем.

В семь вечера офицер из стражи выпроводил всех наших гостей... Только мне и матушке позволил остаться ещё на пару часов.

Всё же в девятом часу тот же молодой поручик вошёл снова и с выражением искреннего сожаления, с поклоном, полным уважения, сообщил, что должен просить нас с матушкой покинуть помещение тюрьмы.

Я и Томаш стояли в одном уголке камеры.

Сюда доходил лишь слабый свет сальной свечи, стоящей на столике около кровати Томаша, где сидели матушка и Дроздовский.

Тот же молодой поручик оказался очень понятливым... Он скромно отошёл к двери и там ожидал, пока мы выйдем, всячески подчёркивая, что не слышит нашего разговора...

Тем не менее, надо было расставаться...

Я покинула камеру мужа, опечаленная, не зная, сумею ли увидеть его и проститься с ним утром... И вообще, встретимся ли мы когда-нибудь в этой жизни, поскольку не знала, на какой срок и в какую сторону Сибири повезут Томаша.

Эти неопределённости всё более меня беспокоили, тем более, что силы мои, моральные и физические, уже были исчерпаны, а тюремное окружение, хмурое, страшное, где казалось, что стены пропитаны слезами, где отовсюду слышалось эхо вздохов, стонов отчаяния, — всё это порождало самые мрачные предчувствия.

Конечно же, напряжение всех моих духовных и физических сил в этот день, столь переполненный впечатлениями и трудами, должно было найти выход.

Я впадала в какое-то удивительное состояние умопомрачения и полного физического бессилия...

С помощью матушки я переделалась, и едва дотянувшись до кровати, рухнула на постель, и объял меня сон, тяжёлый, крепкий, в какой обычно впадает человек после великих потрясений и сильнейших моральных испытаний.

В этом сне мысли мои блуждали по пленительным краям, где прошлое и будущее, мечта и действительность, сплетались в фантастические образы...

И в этом суровом сне, который всё же подкреплял, я блуждала всю эту зимнюю ночь.

Наутро, с рассветом, мама стояла около моей кровати и энергично будила меня, трясая за плечи и восклицая:

– Вставай, вставай, детка! Может, твоего мужа уже вывозят! Я оделась в один миг.

Из предместья Погулянки, где мы жили, мы возможно быстрее едем в тюрьму.

И всю дорогу нас мучает неизвестность, не опоздали ли?...

Доезжая до Базилианских ворот, замечаем на улице, покрытой снегом, свежие следы саней.

– Ах! Может, уже выехали!...

Этот удручающий вопрос мы с матушкой задаём себе молча...

Каждая из нас, глядя друг на друга, просто не смеет задать его вслух.

Наконец, доехали до тюремного здания.

Господи, спасибо! Они ещё не выехали!...

На площади ещё стоят запряжённые сани...

Входим в коридор...

Здесь прохаживаются готовые в дорогу жандармы.

Не помню, как добежала до камеры Томаша.

Он как раз паковал свой узелок...

Как только мы вошли, учтивый Дроздовский взял это на себя...

Мама зашивала распоротую подушку Томаша...

Как же мне глубоко засела в памяти эта тяжкая минута...

Мне кажется, я вижу милую мамину голову, склонённую над работой...

Уста её дрожат, стараясь подавить слёзы...

Не менее взволнован и Дроздовский...

Бледный свет зимнего утра, попадающий в комнату через за решёченное окно, делает ещё более бледным его молодое, а уже так постаревшее лицо, пожелтевшее от болезни, и уже облысевший лоб...

Дроздовский с волнением подаёт мне образок, на котором начертал несколько сердечных слов.

Томаш вооружился мужеством и старается всех ободрить...

От его ясного лица я тоже черпаю силы, чтобы воздержаться от слёз, о чём он горячо меня просил...

Он разговаривает так спокойно, будто собрался в недолгий путь, откуда вскоре вернётся домой...

В это время родственники осуждённых всё прибывают и прибывают в тюрьму...

В коридорах собралось множество людей, печальных, взволнованных.

Среди них мать каноника Трынковского¹⁹, и жена Терлецкого.

Они просили Томаша, чтобы в дороге он опекал их. Особенно это требовалось канонику Трынковскому, который в тюрьме впал в меланхолию.

Но вот пробило одиннадцать часов...

В коридоре показался тюремный дозорный...

Он передаёт приказ вывозить осуждённых.

Томаш закликает меня не плакать...

Итак, подавляю рыдания, что бурно рвутся из моей груди...

Матушка обнимает и со слезами благословляет зятя, которого уже никогда не суждено было ей увидеть на этой земле.

Бедная мама! В эту минуту она предчувствовала, что и с дочерью тоже расстанется навсегда...

Мы выходим из камеры, идём с Томашем об руку...

За нами следует полицмейстер и плац-майор...

Как же сократилась сейчас эта дорога!

Ещё вчера эти коридоры казались бесконечно, бесконечно длинными...

А сейчас мы прошли их удивительно быстро...

Мы уже на пороге...

Уже выходим на площадь...

Площадь полна людей...

Женщины особенно стараются приблизиться к нам...
 Некоторые машут платками издали...
 Послышался стон, громкий, полный отчаяния...
 Только я, глядя на Томаша, не выронила ни слезинки...
 Он крепко сжимает мои руки...
 Потом... с оглушительным бряцанием колокольчиков заезжают четверо саней, запряжённых тройками.
 В каждые сани садятся по двое жандарма и один заключённый.
 Так отъезжают и ксёндз Людвиг Трынковский, Терлецкий и Людвиг Орда...
 Наконец, дошла очередь Томаша...
 Я должна отпустить его руку.
 Кланяется мне Людвиг Орда... На одно мгновение поворачиваю голову, чтобы ответить, но я опоздала...
 Ах! Его уже нет... Санки исчезли за воротами тюрьмы...
 Тут же моя мнимая энергия сдала: я разразилась громкими рыданиями, которые долгим эхом звучали в толпе, переполняющей площадь тюрьмы, и улицы за Острой Брамой, до самых рогаток.
 Почти без чувств, матушка усадила меня в сани, которые медленно продвигаются по запруженным людьми улицам, а за нами, как за погребальным кортежем, тянется толпа всхлипывающих женщин.
 Многим мужчинам тоже не удавалось справиться со своим горем.
 Тем не менее, никто, наверное, не проливал таких горьких слёз, какие текли из глаз моей матушки.
 Меня поддерживала надежда на встречу с любимым моим Томашем...
 У моей матери никаких надежд не было...».

 Ту барышню, которая в день Великой Среды венчалась в тюрьме, в монастыре Базилианов, в Вильно, то есть Терезу, урождённую Вьежбицкую-Булгак, я узнал во время моей первой каторги в Омске...

Какие связи объединяли нас, экс-каторжников и изгнанников, с домом семьи Булгак, лучше всего прояснят строки одного из писем пани Терезы.
 Это письмо я получил во время второго моего изгнания в 1874г., и звучит оно так:

«Дорогие наши братья!

С той поры, как в 1857г. распалось наше братское кольцо, никогда уже и нигде для нас не появилось никакое другое подобное.
 Мы встречали земляков, товарищей по несчастью, приятелей, даже из родственников, но таких братьев по духу, в которых объединялось всё, что нам было дорого, какими были: *ты*, почивший пан Юзеф, почивший пан Ксаверий, Антоний Левицкий и Миечеслав, мы никогда уже не встретили...».

В Омске тоже пани Тереза рассказывала нам о своей судьбе. Рассказывала красочно, связно, правдиво, впрочем, привожу ниже её слова:

«Через несколько месяцев после свадьбы я решила отправиться в Сибирь, чтоб соединиться с мужем, чтобы делить с ним изгнание и его участь.

Я знала о правиле, что жена, добровольно последовавшая за мужем в изгнание, подлежит тем же самым законам, что касаются осуждённых, то есть она не может вернуться из добровольного изгнания, разве что при освобождении мужа через амнистию, или если муж умер.

Но это меня нисколько не останавливало.

Томаш был осуждён на выезд в «ближние местности Западной Сибири», но эти «ближние местности», как же далеки они были! Сколько сотен миль отделяло их от Литвы, от Вильно!...

Уж не говорю о трудностях, – неудобство такой дальней дороги через дикие места, при небольших деньгах, были очень велики.

Нелегко удалось мне отыскать Томаша – ох, нелегко, – после многих пустых сведений, после многих бесполезных поисков, наконец, я узнала, уже наверняка, что мой любимый муж пребывает



в полудикой и пустынной местности, у подножья Алтая, в деревне Тисуль.

Какой же радостной была наша встреча!...

Одно объятие Томаша, отблеск счастья, просветливший его красивое обличье, как щедро вознаградили они меня за все трудности дороги и розысков, и за все, все неприятности, связанные с описанным выше.

В Тисуле мы жили, как колонисты в новооткрытых краях.

Мы посадили огород; Томаш получил кусочек земли для обработки.

И пока мой любимый полностью занят был работой на земле, я занималась домашним хозяйством. Готовила еду, стирала бельё, чинила нашу одежду. А поскольку наш домик, вернее, наша хата, была небольшой, тем более важно было содержать её в чистоте. И так, я начисто мыла полы, двери, окна...

При этих, таких простых, но очень нужных занятиях, время не казалось нам долгим – первый год изгнания прошёл быстро...

.....

Потом Томаш нашёл работу при золотых приисках в Алтайских горах.

Вознаграждение, которое он получал, обеспечивало нам повседневно хлеб насущный...

Но как же тяжела была работа Томаша!

Он просыпался в третьем часу утра, а в долгие летние дни – ещё до рассвета, в два часа. Он наблюдал за работами, в жару, в дождь, в мрачные и холодные дни всё время он проводил под открытым небом.

А я обучала детей местных богачей.

Работа моя тоже была нелёгкой – она намного превышала обговоренные сроки и часы.

Протестовать против придинок я не могла, чтобы не потерять заработок, который позволял мне делать заначки “на чёрный день” и на случай обратной дороги в Литву.

.....

Но шли годы за годами, надежда на возвращение нас постоянно обманывала...



И, наконец, манифест по поводу вступления на трон царя Александра II в 1857г. открыл нам закрытую доселе для нас дорогу поближе к родной земле».

.....

Буря шестидесятых годов, нависшая над Коронаой и Литвой, вновь сорвала Томаша Булгака и опять занесла далеко, далеко... прочь... в Сибирь...

И, разумеется, верная жена опять последовала за любимым мужем...

Сперва они пребывали уже в известном им по первому изгнанию Томске, затем в Цивильске и, наконец, в Казани.

Из этого города я и получил от пани Терезы письмо от 29 декабря 1868 года.

«...Наш кружок изгнанников состоит из нас двоих, из гродненского жителя Бера, доктора Швидерского из Вильно, Мельхиора Ваньковича (его брата вы, наверное, знали в Иркутске).

В прошлом году мы на пару месяцев переместились в Цивильск, мерзкое местечко. Мы оба болели, оба без гроша, и это был один из самых печальных периодов нашей жизни, столь обильно насыщенной печальными – нет! это я неверно сказала – горестными моментами. Горя и страданий судьба для нас не пожалела, но *ты* лучше знаешь, дорогой брат, что точно также, как и ты, мы всё всегда переносили, “если не в веселье, то хотя бы не в отчаянии”...

Мы ведём здесь образ жизни весьма однообразный. Живём преимущественно внутренней жизнью. Много читаем, и ещё больше размышляем... Ибо поразмыслить есть над чем...

Современная наука смело поднимает знамя материализма и старается взбудоражить старый уклад всей Европы, подрывая его основы, то есть Христианство. Можно себе представить, что такое настроение умов очень легко может увести к беде, убивая в сердцах веру в бессмертие человеческой души, в Справедливость, мудрость и Наивысшее Милосердие...

Может, когда-нибудь мы вновь будем жить вместе, во взаимной приязни находя ту панацею, которая лечит все болезни, пока добрый Ангел Смерти не упокоит нас навеки, открыв нам вход в высшие, лучшие, счастливые миры...».



* * *

Обстоятельства больше никогда не сложились так, чтобы нам удалось «жить вместе». Булгаки, вследствие амнистии 1874г., получили свободу, а мне права были возвращены, равно и свобода, только после манифеста 1883г.

Причём виделись мы не так часто, как бы нам этого хотелось, но неоднократно.

Память о достоинствах Терезы Булгак живёт в моём сердце, она всегда теплится и никогда не угаснет...

Спешу пояснить, что эти достоинства Терезы были чисто нравственного свойства.

Нас, каторжников и изгнанников, она сводила вместе в своём доме, делилась с нами сокровищами своих знаний, крепила в нас надежду, утешала в моменты падения духа и в иных бесконечных печалях, которые каждый из нас был обречён переживать в Сибири.

Тереза Булгак была необычайно образованна, обладала редким даром красноречия, изумляющей памятью и удивительно мягкой, ласковой манерой обхождения. Её оведало очарование свойственных ей черт – очарование, которое открывало перед ней людские сердца.

.....
«Прекрасен декабрь моей жизни», – после пятидесяти лет брака говорила она 15 апреля 1889г., и вот что она мне написала:

«Дорогой наш брат Шимон!

С несказанно тёплым чувством читали мы Твоё сердечное письмо, в котором Ты желал нам “золотой свадьбы”. Мы верим, что душой Ты был с нами, Ты, который единственный нам остался из многочисленных некогда и столь тесно связанных сердцем братьев-изгнанников...

...Мы с Томашем пережили эту юбилейную дату нашей свадьбы, которую Бог в своём безмерном милосердии позволил отметить, сверх всяких ожиданий, в родном гнезде Томаша²⁰, при относительно бодрых ещё силах, в окружении внуков, правнуков и добрых приятелей.



Среди них был пан Казимир Чарноцкий, который вёл меня к венчанию в 1839г.

Согласись, не всем удаётся соединить свои “золотые” годы с дружбой...

По просьбе присутствующих, я перечитала описание нашей свадьбы в тюрьме, описание, которое у тебя имеется, дорогой наш брат.

На том, для нас, юбиляров, закончилось торжество, полное самых радостных впечатлений...».²¹

В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ



Ты говоришь, Юзик, что он приедет?

– Сегодня вечером непременно.

– Откуда ты знаешь?

– От пани Бартошевич. В Сургут к нему был отправлен гонец с просьбой, чтобы он нас проведаль.

– Ты говорил с пани Бартошевич?

– Говорил.

– Где? Когда?

– Адольф Грушецкий и я укладывали гравий перед домом Якублевичей и Елизавета Ефремовна прибежала сообщить нам эту радостную новость.

– Благородная душа! Дорогой наш «северный цветок».²² Бог, нам на радость, наказал ему здесь расцвести!

Так, возвращаясь с работ в казематы Усть-Каменогорска, приглушённым голосом разговаривали между собой мы, Поляки-каторжники: профессор Жоховский, Юзеф Богуславский, Бенедикт Косевич, Адольф Грушецкий и автор этих строк.

Уставшие после целого рабочего дня, с тяжёлыми кувалдами на плечах, волочились мы под надзором ефрейтора и четырёх конвойных с заряжёнными карабинами.

Стояла Великая Суббота по новому стилю. Сибирская весна, всё где-то задерживаясь, всё-таки медленно приближалась. В апреле деревья ещё были серые, скучные, без листьев, только за частоколом, окружающем крепость, на палисадах бледно зеленели тоненькие побеги травы.



Со стороны Запада весь небосклон золотился и рдел, как от отвеса преогромного пожара, отблески которого падали на околицы, на Иртыш и впадающую в него Ульбу, на Усть-Каменогорскую крепость и ближние местечки с тем же названием.

Даже наши двухцветные чудаковатые каторжные униформы казались вытканы из золота и пурпура.

Перед нами на дороге показался комендант крепости, малоросс Маценко.

Мы остановились. Солдаты салютовали оружием, ефрейтор стал во фронт, Маценко дал приказ:

– В понедельник освободить Поляков от работы, у них другие пасхальные дни.

– *Слушаюсь, Ваше Превосходительство!* – ответил Алексей Руднев и салютовал своему начальнику.

А когда тот отвернулся и отошёл, мы тоже пошли поживее.

* * *

Когда на площади было ещё светло, в казематах уже царилла полная темнота, которую слегка рассеивала свечка в фонаре, подвешенном к потолочной палке и постоянно колышущимся.

Несколько наших сотоварищей заключённых «бандитов», крутились около печей, выгребая *ухватом* железные горшки с заготовленной кашей, обильно политой каким-то тухлым жиром. На верёвках, растянутых под потолком, сохли лохмотья, которые в воскресенье выстирали себе «бандиты». Зловонная, удушающая атмосфера заполняла помещение. Легчайшее дуновение свежего воздуха не помогло бы, потому что двери были плотно закрыты и не менее плотно задраены форточки маленьких, зарешёченных, очень высоко размещённых оконцев.

В другом малом каземате, который содержался уж совсем неряшливо, нельзя было вздохнуть. Здесь громоздилась, вместе со старым инвалидом, который служил надзирателем, целая ватага каторжников, размещённых в этом отделе *острога*.



Инвалид Осип Степанович Белорусин, с первого знакомства благоволил нам и, по мере возможности, оказывал нам неоценимые услуги.

В обязанности дозорного входило и задраивание форточек, около которых собирались обычно каторжники в казематах.

Эту Великую Субботу мы упросили Осипа Степановича, чтобы форточки в нашем помещении он только прикрыл, так, чтобы, потянув за форточку, можно было открыть её вовнутрь.

Долго ругался дед, прежде чем решиться сделать то, что, на самом деле, в случае обнаружения, грозило бы ему обвинением в плохом исполнении обязанностей.

В конце концов, он поддался на наши просьбы, доверившись нашим обещаниям, что мы вовсе не собираемся сбегать, и не таим какое-либо намерение, которое доставило бы ему неприятности, а что отворим форточку, только чтобы проветрить помещение перед приездом ксёндза Юргелевича, который должен был прибыть в Усть-Каменогорск этой ночью, чтобы торжественно отправить для нас, Поляков, утреннюю службу в Воскресение Господне.

.....

В сороковые и последующие годы ксёндз Юргелевич был неустрашимо деятельным душеспасителем для Поляков-изгнанников в Сибири. И во время самых суровых северных зим, и во время смертельной жары короткого сибирского лета, этот неуёмный священник находился в бесконечных странствиях. Если бы посчитать, сколько вёрст он прошёл пешком, сколько миль проехал на тарансах, саях, верхом, или на оленях, в разных направлениях, получилась бы, несомненно, потрясающая, гигантская цифра.

С одного конца Сибири ксёндз Юргелевич передвигался в другой, и всегда был весел, лицо его неизменно светилось приятной улыбкой, ясной, как утро, он утешал угнетённых, а падающих духом крепил надеждой:

– Ты, брат, маешься, что не увидишь больше Отчизны, – а я тебе говорю: байки! Мы вернёмся туда, все вернёмся, а если не мы сами, то наши души вернутся на землю предков.



* * *

Неприличные анекдоты, ссоры и проклятья сразу же прекратились, в душном каземате воцарилась тишина.

Фонарь колыхался на ржавых цепочках... Лампадка чадила, скворчала и, наконец, угасла...

Осип Степаныч очнулся от дрёмы, зажёл свечи, которые ежевечерне ставил перед образами святых, на цыпочках подошёл ко мне и шепнул:

– *Буран* нежданно двигается с севера, Шимон Себастьянович, не открывайте форточки широко, а то я зябну.

Сказал, и вернулся в свой уголок, улёгся на своё ложе и, укутавшись кожухом, тут же уснул и захрапел.

.....

С наблюдательного пункта, который я занял на узком подоконнике, мой взор в эту ясную весеннюю ночь мог оглядеть обширные окрестности.

Далеко, на тёмной синеве небосвода, чётко рисовались длинные снежные линии вершин Алтая.

У подножья гор теснились старые хвойные боры, окутанные серебристой мглой.

Дорога начиналась в долине и широкой полосой вилась между борами и Иртышем с Ульбой.

В Усть-Каменогорске фонари гасли один за другим, а также и в крепости, жилищах, где жило начальство.

Городок и крепость медленно засыпали. Вокруг царил тишина, которую прерывали только тяжёлые, медленные, размеренные шаги сторожей.

Как и предупредил Осип Степанович, *буран* действительно приближался с севера, сперва очень тихо, легонько колыхая своим дыханием вершины деревьев, и едва замутив гладкое зеркало вод Иртыша, в которых отражался толстощёкий лунный шар.

Но, неизвестно почему, бурану осторожность наскучила, и он принялся за свой разрушительный разгул.

Сперва послышался свист и рычание, как труба, зовущая к бою, и сразу же все деревья погибались, как бы придавленные откуда-то сверху огромной тяжестью. Треск сломанных веток



сливался с завывающим свистом ветра, с шумом Иртыша и Ульбы, волны коих плескались и, как стеклянные столбы, уносились ввысь, как будто их толкала какая-то подземная вулканическая сила.

С грохотом, огромные древние деревья падали, как карточные домики, валились строения. В крепости и в городке началось движение разбуженных ото сна испуганных людей.

Наша форточка сорвалась с навесов, и с лязгом упала на землю.

– Не приехал! – сказал я моим товарищам.

– И не приедет! – вздохнул профессор Жоховский.

– Однако, должен же был он где-то спрятаться от такого вихря, который всё рушит на пути. Ехать во время бурана – это рисковать жизнью.

* * *

Перед утром буран совсем успокоился. Его вой и рык притихли. Тучи, которые он нагнал со всех сторон света, остепенались, и, быстро гоняя и выталкивая друг друга, очистили чистое голубое небо.

По случаю торжественного праздника, нам, Полякам, позволено было выйти в палисад под конвоем только Осипа Степановича.

На дороге всё было пусто, также и на лугах, хотя обычно в праздничные дни там звенел говор веселящейся молодёжи.

Эта пустота, эта глушь навевали на нас тоску, беспокоили сердце...

.....

Вдруг далеко, далеко... на Иртыше показалась маленькая чёрная точка.

Мы удручённо молчали.

Течение реки точка быстро приближалась к нам, а приближаясь, обретала конкретные формы маленькой лодки, рулевым гребцом и единственным пассажиром которой был мужчина в плаще с пелериной, в шапке, не похожей на те, какие носят местные жители.

– Ксёндз Юргелевич! – в один голос закричали мы.



Да! Это был он.

Он встал в лодке, которая подсакивала на волнах, как косточка, которую подбрасывали своевольные руки, или начинала вертеться кругами над пучинами, подхваченная взволнованными волнами Иртыша.

Он пытался приблизиться к берегу, но всякий раз вздыбленные волны отталкивали его к середине реки.

Нам казалось, что ещё минута, и эта утлая скорлупа развалится, что в любую минуту её поглотит пучина бунтующей реки.

Глядя на эту борьбу человека с разыгравшейся стихией, я чувствовал, что жизнь меня покидает...

Все мы упали на колени и молились...

– Господи, в твоих руках все королевства и земные силы, – спаси его!

.....

В конце концов, он прибил к берегу и выскочил на лёд.

– Привет, братья! – кричал он. – Буран этой ночью разворотил дороги, и превратил в пропасти и ущелья! Так что я не нашёл перевозчика... Потому так поздно приехал.

– Ничего, для святой Мессы ещё достаточно времени.

Порывисто снял он с себя плащ, промокший от брызг иртышских волн, снял шляпу и, глубоко вдохнув чистый воздух, запел:

*Настал, наконец, весёлый тот день,
Которого каждый из нас так ждал.
В этот день Христос из мёртвых восстал,
Аллилуйя! Аллилуйя!*

Один из нас понёс ящичек с дарами, другие несли плащ и шапку, и, напевая старопольскую песню, с нашим любимым священником среди нас, пошли к сараю, где устроили временную часовенку.

В этот миг солнце выглянуло из-за облаков и золотыми блёстками осыпало достойную постать ксёндза Юргелевича...

По-над реками, над городом и крепостью реял радостный гимн Воскресения из Мёртвых. Он реял над холмами и остановился, лишь столкнувшись со снежными вершинами Алтая...

Шимон Токаржевский **ПОБЕГ** **Воспоминания о Сибири** **Варшава, 1913**

